

"СВОБОДНОЙ МУЗЫ  
ПРИНОШЕНИЕ..."

Европейская  
романтическая  
поэма











**”СВОБОДНОЙ  
МУЗЫ  
ПРИНОШЕНИЕ...”**

*Европейская  
романтическая  
поэма*



**МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ**  
**1988**

ББК 84.4

C25

Составление, предисловие, примечания  
А. В. КАРЕЛЬСКОГО, Л. И. СОБОЛЕВА

Рецензент: доктор филологических наук  
Ю. В. МАНН

Художник Н. УСАЧЕВ

С25 «Свободной музы приношение...»: Европейская  
романтическая поэма / Сост., предисл., примеч.  
А. В. Карельского, Л. И. Соболева.— М.: Моск. рабочий, 1988.— 622 с., ил.

Сборник объединяет наиболее значительные образцы европейской романтической поэмы первых десятилетий XIX века. Наряду с такими широко известными поэмами Жуковского, Пушкина, Байрона, Шелли и других, в антологию вошли редкие или вовсе не переиздававшиеся произведения русских и европейских поэтов — Подолинского, Бернета, Вордсворта, Ламартина.

С  $\frac{4703010200-179}{M172(03)-88}$  165—88

ББК 84.4

ISBN 5—239—00546—X

© Составление, предисловие, примечания, переводы  
на русский язык, отмеченные в содержании \*, оформление  
издательства «Московский рабочий», 1988 г.



## ЗОЛОТОЙ ВЕК РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

...И луч бессмертия горит.

А. Пушкин

В предлагаемой книге собраны произведения двадцати четырех поэтов из шести стран. Все тексты объединены жанром — это романтические поэмы. И, как всегда бывает, в жанре выражен определенный взгляд на мир, в данном случае — романтический.

В доромантической поэме главный интерес был заключен в самом предмете описания — в мире, который существовал независимо от поэта. Автор оставался, как правило, за пределами текста: повествование было объективным, поэма — эпической. Самый резкий, бросающийся в глаза сдвиг, произведенный романтической поэмой, — субъективизация повествования: автор решительно вступает в круг действия — и в душевный мир персонажа. Если он и не всегда прямой участник сюжета, то уж всегда активный сопереживатель судьбы своего героя. Так, он чаще, чем прежде, напоминает о себе, о своем «я», давая собственные — подчас весьма пространные — комментарии и оценку изображаемого (Скотт в «Поле Ватерлоо», Мюссе в «Ролла»).

Близость автора и героя может быть заявлена прямо, как у Козлова:

О сколько раз я плакал над струнами,  
Когда я пел страданья Чернеца,  
И скорбь души, обманутой мечтами,  
И пыл страстей, волнующий сердца!  
Моя душа сжилась с его душою...—

а может ощущаться читателем в монологах персонажа, которому поэт — скажем, Байрон, Шелли, Рылеев, Лермонтов — передает свой духовный опыт.

Но еще важнее другое. Автор сплошь и рядом разрушает впечатление самостоятельного, объективного течения событий: всем должно быть ясно, что это он — сочинитель, поэт — полновластно распоряжается судьбами своих героев, сюжетом, материалом. Он не только сопереживатель, но и устроитель. Он может разорвать цепь событий — выделить какие-то звенья, важные для него, для его замысла, а другие опустить. Эти другие, между прочим, иной раз немаловажны для читателя, и отсутствие их отнюдь не облегчает ему понимания действия. Отчасти тут функционирует излюб-

ленный в романтической поэме мотив тайны, загадки (например, у Мицкевича, Словацкого, Бернета); но и тайна важна романтику не просто как средство заинтересовать читателя. Для него она, как правило, — выражение тайны и загадки мироустройства (и конечно, души героя), то есть во многом тайна и для него самого. Нам не просто пересказывают какое-либо интригующе интересное происшествие — нас увлекают в процесс авторского раздумья над сложностью человеческого бытия в мире.

Для автора романтической поэмы главная забота не изображение, а самовыражение. Все внешнее, объективное предстает в его произведении так или иначе пропущенным сквозь его «я». Поэма под его руками становится жанром *лирическим*, она тяготеет к исповеди — это особенно отчетливо видно в поэмах Ламартина, Шелли, в «Хижине пастуха» Виньи, в «Чернеце» Козлова, в «Мцыри» Лермонтова. И это придает слову романтического героя всю мыслимую полноту убедительности — ведь ему никто не возражает! За тяготением романтической поэмы к монологу, к исповеди стоит убежденность героя в своем праве, в значительности своего «я». С этим связана заразительность романтического образа для читателя: вспомним хотя бы восприятие Байрона и Лермонтова их современниками<sup>1</sup>.

Но самовыражение не означает для романтического поэта самовлюбленности, сосредоточенности на сугубо личных проблемах. Даже то, что могло показаться исключительно личным, — например, несчастная любовь — приобретало у романтика характер всечеловеческий и всемирный и означало в данном случае невозможность счастья на земле. Здесь именно стремление выразить свое представление о *мире*, о его законах (наиболее яркий пример — «Палинодия» Леопарди). Но поскольку это все-таки его личное, индивидуальное представление и поскольку законы эти, как было сказано, нередко предстают в форме загадок, над которыми бьется мысль поэта, то и сами поэмы часто являют нам некий индивидуально творимый космос и миф (поэмы Блейка, Гельдерлина, Китса, Шелли). Если это даже и не цельный миф, то отчетливо символическое иносказание, притча (поэмы Кольриджа, Мура, Подолинского, Бернета, «Тюрьма» Виньи, «Демон» Лермонтова).

Конечно, иные поэмы могут и отдаляться от этой очерченной нами модели в сторону традиционного эпического повествования

---

<sup>1</sup> Вот одна из возможных иллюстраций: В. Г. Белинский пишет В. П. Боткину 17 марта 1842 г.: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе; в нем для меня — миры истин, чувств, красот» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1982, т. 9, с. 495).



(«Майкл» Вордсворта, «Цыганка» Баратынского) или столь же традиционного, лишь более развернутого, лирического размышления (поэмы Ламартина и Леопарди, «Хижина пастуха» Виньи). Но такие исключения лишь оттеняют правило: романтическая поэма — глубоко личное отражение внешнего мира; другими словами, картина не столько мира, сколько души поэта, осмысляющей мир.

В этом убеждает вся история жанра. Она представлена — в основном разделе нашего сборника — порою его юности и расцвета, периодом преимущественного господства романтического мироощущения в европейских литературах. Историческими вехами этого периода являются годы 1789-й и 1830-й — годы двух буржуазных революций во Франции, оказавших огромное влияние на ход общественного и духовного развития всей Европы. Судьбы романтизма с ними непосредственно связаны.

Возникнув на рубеже веков почти одновременно в Германии, Англии и Франции, романтическое сознание начало победоносно распространяться вширь. Поскольку в России, Польше и Италии романтизм в силу национально-исторических условий утвердился несколько позже — с 20-х годов XIX века, — хронологические рамки здесь оказываются тоже сдвинутыми, продленными вплоть до начала 40-х годов. Но повсюду мы имеем дело именно с первыми поколениями — с основателями жанра романтической поэмы. Романтизм в европейских литературах сохранится на протяжении почти всего XIX века, будут в его русле создаваться и поэмы, но это уже будут новые поколения (Эспронседа в Испании, Ап. Григорьев в России, Эминеску в Румынии), да и сам романтизм — в условиях, когда он уже будет сосуществовать с реализмом, — заметно преобразится (Гейне в Германии, Теннисон и Р. Браунинг в Англии).

Романтические поэмы, представленные в нашей антологии, создают в своей совокупности весьма своеобразный универсум. Отметим прежде всего, что поэмы эти, как правило, трагичны; жанр тяготеет не только к лиризму, но и к драматизму. Не случайно в структуру поэмы вторгается диалог (в «Цыганах» Пушкина, в «Демоне» Лермонтова). Существовала и особая жанровая разновидность — драматическая поэма (она представлена в сборнике «Камозэнсом» Жуковского).

Мир в романтической поэме не только увиден сквозь «я» поэта, но и явлен как драма — захватывающая, напряженная, трагически-героическая.

Почему это так? Мы тут подходим к глубинной сути жанра, и она тесно связана с сутью самого романтизма, только через нее и может быть понята.

Если искать самую краткую формулу романтизма, то она, наверное, будет такой: романтизм — философия и искусство свободы. Свободы безоговорочной. Ничем не утесненной. Романтический поэт берется за перо главным образом из двух побуждений: либо чтобы восславить свободу, либо чтобы опротестовать — или оплакать — ее ущемление. Упоминавшиеся выше поэтические вольности в обращении с сюжетом и притязания на сотворение нового мифа и мира — это тоже одно из выражений принципа свободы.

Понятно, почему романтизм родился вместе с французской революцией 1789 года. Сметая феодальные порядки в Европе, она несла на своих знаменах лозунг «Свобода, равенство, братство». Этого было достаточно. Все романтики начального призыва, в том числе Кольридж, Вордсворт, Гельдерлин, были окрылены этим лозунгом. Революция была для этого поколения купелью, она застала их семнадцати-восемнадцатилетними, и прежде чем войти в литературу — стать хрестоматийными «представителями романтизма» — они строили по-юношески восторженные планы политического и социального переустройства мира.

Но первые же результаты революции озадачили этих пылких мечтателей — и от года к году все больше их разочаровывали. Это произошло потому, что они увидели всю принципиальную *буржуазность* этой революции; увидели, что она, уничтожив феодально-сословное неравенство, отнюдь не принесла с собой желанного царства свободы, равенства и братства, а принесла новую, буржуазную, более изощренную форму несвободы.

«После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты». Эти слова Достоевского сказаны в 1877 году: писатель объяснял появление байронизма, выразившего «все крики и стоны человечества»<sup>1</sup>. А Энгельс в год столетнего юбилея французской революции дал четкую материалистическую формулу этой жестокой диалектики, говоря о разочаровании народных низов в результатах революции: «*Плебейское равенство и братство должны были быть только мечтой в такое время, когда речь шла о том, чтобы создать нечто прямо противоположное*

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, т. 26, с. 113—114.



им, и, как всегда, по иронии истории, это *плебейское* понимание революционных лозунгов стало самым мощным рычагом осуществления этой противоположности: *буржуазного равенства — перед законом и братства — в эксплуатации*<sup>1</sup>.

Разочарованные в настоящем, романтики обращаются к прошлому, ища подлинных героев в легендарных временах. Это еще не историзм последующих литературных эпох — это просто полное прошлое, противопоставленное анемичному настоящему. Битва титанов с олимпийскими богами в «Гиперионе» Китса, эпоха Ивана Грозного в «Песне про царя Ивана Васильевича...» Лермонтова, борьба литовцев против Тевтонского ордена в «Конраде Валленроде» Мицкевича — вся эта смесь веков сосуществует в романтическом сознании, не предполагая подробной дифференциации. Поэту важна сама возможность появления героя — своему времени он в этой возможности отказывает:

Да, были люди в наше время,  
Не то, что нынешнее племя:  
Богатыри — не вы!

Явно не случаен повторяющийся из поэмы в поэму мотив разрушения, превращения в прах всех творений рук человеческих: описанием руин заканчиваются поэмы «Майкл» Вордсворта и «Демон» Лермонтова; развалины сицилийских храмов — фон поэмы Бернета; о падении некогда великого Рима вспоминает Полежаев («Кориолан») ... Здесь не только выражается мысль о бренности всего земного, но и предпринимается попытка вернуть прошедшее, возродить его силой творческого духа и как бы предъявить его современности. Противопоставить буржуазности — героике.

Романтики были первыми критиками буржуазного строя. Реалисты потом подхватят и углубят эту критику, подкрепят ее анализом; романтики же, особенно ранние, предпочли не вдаваться в анализ — они отвергли буржуазный порядок заведомо и целиком. Воспитанные преимущественно на идеалистической философии, утверждавшей первенство духа над материей, они расценили этот порядок как наступившее господство пошлой прозы, корыстного «матерьяльного» интереса. Поскольку он был принесен французской революцией, они сочли ее неудавшимся экспериментом. Нет, они не оставили своей мечты о свободе, об обновлении общества и человека. Но *свою* революцию они теперь мыслили главным образом в сфере духа, а не на погрязшей в корысти земле. Сначала человек должен духовно переродиться, и в этом ему способна помочь только поэзия.

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 37. М.: Политиздат, 1965, с. 127.

В этом постулате — еще одно обоснование неограниченных, богоравных полномочий и притязаний романтического поэта. Если он и для себя требует безоговорочной свободы, то отнюдь не из самолюбивого каприза, не из своевольного принципа «делаю, что хочу». Свобода нужна ему для беспрепятственного служения высшим идеалам; он отважно берет на себя одного дело освобождения человечества — во всяком случае, его воспитания, подготовки к будущей свободе.

Конечно, это «сон золотой», утопическая мечта, иллюзия, но она из тех иллюзий, что так украшают поэтов! Романтики служили этой мечте беззаветно. Даже когда они не сбрасывали со счетов реальную возможность революции, их мечта, зародившись вроде бы здесь, на земле, как бы произвольно воспаряла ввысь, в царство духа, где они чувствовали себя увереннее, *свободнее*. Блейк, несмотря на все сомнения, сохранил веру в начальные принципы и идеалы 1789 года, воспетые им в поэме «Французская революция» (1791), но свои духовные силы сосредоточил на создании целого цикла грандиозных поэм-видений — на сотворении новых возвышенных мифов. Шелли облек свою революционную мечту тоже в форму пространной драматической поэмы, основанной на переосмыслении древнего мифа («Прометей освобожденный»), а в поэме «Адонаис», оплакивая смерть реального поэта, воспел бессмертие духа поэзии. Китс в «Гиперионе» мужественно попытался утвердить историческую закономерность революционных катаклизмов, но собирался при этом увенчать возводимое им величественное здание все-таки образом бога поэтов, торжествующего Аполлона.

Собирался — но не закончил поэмы. Незавершенность замысла — частый случай в истории этого жанра романтической литературы. Исповедь души будто не знает однозначного завершения, окончательной точки — либо не решается до нее дойти. Блейк задумывал написать поэму «Французская революция» в семи книгах — написал только одну. Гельдерлин с 1797 по 1800 год трижды приступал к своей драматической поэме «Смерть Эмпедокла» — но так и не довел ее до конца.

Это не случайность — это симптом.

Мы подошли к истокам трагизма романтической поэмы.

\* \* \*

Европейская история первой трети XIX века наносила романтической идее свободы удар за ударом. Революция закончилась устрашающим для романтиков торжеством буржуа, мещански-потребительской стихии. Наполеон, воспринятый поначалу как

знаменосец освободительных идей революции, как возвышающий душу пример неограниченных возможностей человека, его воли и духа, превратился в нового тирана, всеевропейского узурпатора. Формула Пушкина «мятежной вольности наследник и убийца» выражает трагическую диалектику, выстраданную духовным опытом романтического сознания. Поражение Наполеона в 1815 году не принесло Европе мира и спокойствия, на которые надеялся Скотт («Поле Ватерлоо»), а принесло власть реакционных режимов реставрации. Монархи, объединившиеся в «Священный союз», цинично перекраивали карту Европы, искореняя всякую возможность свободомыслия. Беспощадно подавлялись национально-освободительные движения — в Италии, Греции, Польше. Трагическим поражением закончилось восстание декабристов в России. А революция 1830 года во Франции вернула все тот же буржуазный порядок, ненавистный романтикам.

Все это гасило романтическое начальное одушевление и порождало пессимизм, становившийся все более глубоким, всеобъемлющим. Достаточно прочесть горькую «Палинодию» Леопарди, чтобы почувствовать эту глубину. Итальянский поэт фиксирует здесь приметы роковой стабилизации мира несвободы, буржуазно-мещанской стихии — скорбное соответствие одновременным жалобам нашего Баратынского: «Век шествует путем своим железным...» (Кстати, это уже и приступы к аналитическому рассмотрению современной общественной проблематики.)

В этих условиях особенно несостоятельными, беспочвенными представляли романтические попытки переиграть историю в сферах духа. Ощущение проигранной ставки, горечь поражения пропитывает многие романтические поэмы — и те, в которых ставка делалась на отвлеченный дух, и те, в которых надежды возлагались на конкретное деяние, на героiku освободительного подвига. Трагическая гибель Валленрода занимает в поэме Мицкевича едва ли не больше места, чем рассказ о его деяниях. В «Ламбро» Словацкого царит уже атмосфера отчаяния, почти истерии. Пророческим предчувствием смерти проникнута поэма Рылеева «Наливайко» — тоже, отметим, неоконченная.

Не случайно в поэмах, возникающих после 1815 года, герой все чаще предстает узником («Шильонский узник» Байрона, «Кавказский пленник» Пушкина, «Тюрьма» Виньи, «Мцыри» Лермонтова). Сюжет здесь оформляет становящееся общим для романтиков чувство несвободы. Метафора «мир — тюрьма» реализуется и в тех поэмах, в которых затворничество героя не вынужденное, а вроде бы добровольное («Гяур» Байрона, «Чернец Козлова»): стремясь уйти от мира, *освободиться* от него, герой не обретает желанного счастья, ибо неустроенность этого мира оста-

ется для него вечным источником душевного покоя. В романтическом сознании судьба послушника, монаха — вариант общего удела человека; удел этот — невозможность быть понятым, скорбное отчаяние; если и свобода, то мнимая, «постылая».

Комплекс поражения, трагического бессилия чрезвычайно обострил романтические отношения с верой, с религией. Вообще религия была серьезным искушением для многих романтических поэтов — хотя бы уже потому, что ее постулат «царства не от мира сего» был созвучен романтическому желанию отрешиться от «прозы жизни», воспарить над ней. В то же время романтический поэт с его жаждой абсолютной свободы, с его стремлением пересоздать мир ощущал себя наместником творца на земле, а то и его соперником. Если мир обнаруживал несовершенство, несправедливость, несогласие с принципом свободы — поэт готов был и на восстание против того, кого религия объявляла всемогущим — и всеблагим! — создателем этого мира. От Блейка через Байрона, Шелли к Лермонтову проходит сквозь европейский романтизм тема богоборчества, бунта против «кровожадного бога» (Виньи).

Но перед лицом того же самого трагизма бытия взвешивались и другие, прямо противоположные возможности: не своевольный бунт (он в этом случае воспринимался как бессмысленный), а демонстративное отречение от мира, послушничество, приятие высшей, надындивидуальной воли. Однако романтики и тут, как правило, все равно пытались спасти идею свободы — свой главный кумир.

Точнее, речь в данном случае шла именно о свободе воли. Неограниченное своеволие героя было призвано в художественном эксперименте проверить наличие сверхволи, судьбы — необходимости. Жизнь земная в соотношении с жизнью небесной потому и стала предметом постоянной рефлексии для романтиков, что вопрос был поставлен ими с последней прямоотой: есть ли граница индивидуальной воле — воле избранника? Мы едва ли найдем в романтических поэмах однозначный ответ. Даже утверждая, что небеса пусты, герой не опускает головы — продолжает смотреть вверх. Ему — вспомним вновь лермонтовского Демона — нужен достойный соперник, нужна «с небом гордая вражда». Существенно, что при всех различиях вариантов (редакций) поэмы (безоговорочное отпадение от творца в одних — и желание примириться с небом в других) сохраняется напряженный диалог Демона с Всевышним.

В этом отношении чрезвычайно характерен и поучителен спор Ламартина с Байроном в поэме «Человек». Будто бы отрицая байроновскую «исполинскую гордыню» и противопоставляя ей подчас прямо-таки исступленное самоуничтожение, Ламартин в то же вре-

мя парадоксальным образом строит свою поэму как страстную защиту достоинства человека. Он защищает то, чего Байрон вовсе не опровергал! Напротив, уж кто, как не Байрон, восславил человека-бунтаря? Но все дело в том, что Ламартин хочет защитить и слабого человека. За байроновской индивидуалистической гордыней ему чудится недоверие, даже высокомерие по отношению ко «всякому» человеку. А он, этот человек, — «хоть он и слаб и сир — он тайною велик»; «он бог, что пал во прах, но не забыл небес».

Однако самое поразительное, пожалуй, в другом: Ламартин не скрывает, что восхищается Байроном, как и не скрывает того, что он вполне понимает его претензии к творцу; у него, Ламартина, есть к этому творцу свой, и немалый, счет (в одном из стихотворений этой же поры возникает образ «жестокоего бога»). Только если другие становятся с отчаяния богоборцами, он хочет испытать другую крайность — но тоже с отчаяния! И при этом не поступиться идеей свободы; только «свободную волю» он видит теперь — а что же еще остается? — в том, чтобы человек добровольно признал «круг, ему сужденный», — своего рода романтизированный вариант познанной необходимости.

Романтическая мысль тут поистине бьется в тисках неразрешимых противоречий, из одной крайности впадая в другую. По сути, здесь действует своя, иная, не байроновская, но тоже гордыня! Такое взвешивание крайностей — тоже очень характерная черта всего романтического сознания.

Столкновение позиций Ламартина и Байрона сигнализировало еще и о том, что, помимо ударов извне, романтическую идею абсолютной свободы настиг серьезный внутренний кризис. Ламартин неспроста настаивает: «Всяк мудр и всяк велик в кругу, ему сужденном».

\* \* \*

Как мы помним, для романтического мироощущения свобода человека, индивида изначально вовсе не исключала, а предполагала и свободу других, свободу всего человечества. Но очень скоро, с воцарением той самой «буржуазной свободы — в эксплуатации», романтиков охватил и панический страх перед «другими». Это лишь усилило их упование на индивида творческого, носителя духовности, на гения-избранника (отсюда их столь пристальный интерес к судьбе художника, поэта — от поэмы Блейка «Мильтон» до «Камозенса» Жуковского). Что же касается «других», то романтическая мысль попыталась предложить такое решение проблемы — его наиболее четко сформулировал в 1793 году Гельдерлин:



«Я больше не привязываюсь так пылко к *отдельному* человеку. Моя любовь принадлежит человечеству,— правда, не тому развращенному, рабски покорному, косному, с которым мы слишком часто сталкиваемся даже в пределах самого ограниченного опыта... Я люблю человечество грядущих поколений»<sup>1</sup>.

Не правда ли, красивые, «высокие» слова? Но если вдуматься в эту логику, она настораживает. Ведь здесь за космическими заботами, за абстрактным образом человечества грядущих столетий забывается — человек! Реальный, живой, ближний свой — он тут сбрасывается со счетов, ибо он суммарно приписывается к косной мещанской среде, отождествляется с нею.

Это тоже романтизм — риск отчуждения и одиночества на почве мании величия.

Но к чести романтиков надо сказать, что они сами очень быстро это ощутили. Перед их отвлеченно-возвышенными философическими мечтаниями сразу же, как укоризненный призрак, встала проблема *нравственная*. Тот же Гельдерлин в поэме «Смерть Эмпедокла» устами своего героя сокрушенно признавал: «Людей я не любил по-человечьи, служил им слепо, как вода иль пламя», — и, как бы символически искупая это предосудительное бесстрашие стихии, он в «Рейне» стихию очеловечил: создал образ великой реки как попечительницы и объединительницы немецких земель — символ *земного* служения, служения людской пользе. Китс в набросках нового варианта поэмы о Гиперионе обратил к поэту весомый укор: подлинные поэты — лишь те, «что не ищут иных чудес, кроме лица человеческого»; их надо отличать от «фантазеров», «сновидцев»; «сновидцы» лишь растрavляют раны человеческие, а поэты проливают на них целительный бальзам. Поэма Кольриджа о Старом Моряке сейчас, если угодно, может быть прочитана и как пророческое предвидение тревог современной экологии (не стреляйте белых альбатросов); но символическое воплощение темы преступления и наказания здесь, конечно, имеет гораздо более глубокий смысл: речь идет о преодолении одиночества любовью ко всему сущему на земле.

Это не значит, что проблема решена и что любовь обладает все-спасительной силой. Самый очевидный путь, во всяком случае, приносит новое разочарование: земная любовь, любовь мужчины к женщине в романтическом мире чаще всего несчастна. В этом убеждают поэмы, сюжет которых строится на любовной интриге.

Романтический герой бежит из душного мира, где «любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей»; путь его почти всегда лежит в дикий край, и там, среди гор и степей или на берегу моря,

---

<sup>1</sup> Гельдерлин Ф. Сочинения. М.: Худож. лит., 1969, с. 455—456.

разыгрывается драма любви. Часто это кульминация сюжета поэмы — и высшая точка трагедии: умирает Альдона («Конрад Валленрод»), от руки возлюбленного погибает Ида («Ламбро»), погублена злодеем жена героя поэмы «Чернец», смертельна для Тамары любовь Демона. Жизнь должны заплатить за свою любовь Земфира («Цыганы») и Елецкой («Цыганка»). Любовь в романтической поэме бессильна противостоять индивидуалистическому сознанию героя, и это лишь усугубляет его всеобъемлющий пессимизм.

Источником напряженной философской рефлексии становится эта проблематика в поэме Бернета «Вечный жид». Заглавному герою, Агасферу, однажды не хватило сострадания, любви к ближнему, и он наказан бессмертием. Здесь кончается связь поэмы с традиционным сюжетом и начинается романтическая мистерия любви и смерти. Дочь Агасфера, Гинда, — воплощение красоты, но красоты губительной, унаследовавшей и бессмертие и проклятие. Она всякий раз остается жить лишь ценой гибели возлюбленного. Герой поэмы оказывается перед выбором — либо отречься от любви, либо умереть. Он выбирает смерть и спасает Гинду. В символическом самопожертвовании воплощается очерченная выше этическая проблематика: крайнему выражению эгоизма (отец Гинды) противопоставлено крайнее проявление любви.

Но есть в этом сюжете и другая сторона. Служение красоте, вечно требующее все новых жертв (вспомним предшественников Фернандо — древнего эллина и средневекового паладина), обнаруживает не только нравственно возвышающий, но и прямо противоположный, самоубийственный смысл. Романтизм здесь как бы высказывает пророческое предостережение; здесь уже проступают контуры конца века — духовного кризиса декаданта, его опустошительного эстетизма.

Итак, камерного, интимного счастья в любви недостаточно для решения нравственной проблемы романтика: он все-таки примеривает себя к целому миру, к самому мирозданию. Но именно в этом мироздании — в этом масштабе! — он и предстает одиноким себя-любом, тщетно притязающим на особую миссию, на избранничество, как лермонтовский Демон:

И вновь остался он, надменный,  
Один, как прежде, во вселенной  
Без упования и любви!

Вот из этого закланного круга романтизм и ищет выхода; вот почему он осваивает этику земного, человеческого сострадания (еще примеры тому — прозрачная символика поэмы Мура «Пери и ангел» и вариации на ту же тему Подолинского). Он учится ви-

деть вокруг себя не только косную массу буржуа, а и — людей.

Здесь в круг идей романтизма входит столь важная для него тема *народа*.

Народ в мировоззренческой системе романтизма — это противоядие от индивидуализма, решение проблемы «я и другие». Буржуазная «чернь» внушает отвращение — но и сосредоточение на себе не приносит удовлетворения. Тогда-то романтизм, в поисках достойной общности, и прикидается к народным истокам.

В истории романтизма раньше всего это проявилось у англичан. Оно и понятно: опыт буржуазного бытия — опыт, так сказать, противоположной, дурной общности — у них был богаче, поскольку Англия к этому времени давно уже вступила на буржуазный путь развития. Сочувственный интерес к народу родился здесь одновременно с романтизмом. В поэме Вордсворта «Майкл» народ предстает как носитель подлинной нравственности и духовной красоты; а вот городская «торгашеская» жизнь развращает и искривляет человеческую душу.

Русским романтикам идеал нередко виделся в свободном от пут цивилизации, диком народе («Кавказский пленник» Пушкина, «Мцыри» Лермонтова), но рядом с этим жило в их героях и неслабеющее стремление вернуться в «край отцов»; оно движет и Чернецом и Мцыри.

Народную проблематику в романтизме стимулировала волна национально-освободительных движений, не затухавших в Европе на протяжении первой трети XIX века. Мечта о свободе соединялась здесь с отстаиванием права каждого народа на национальную самобытность. Героическая тема национального освобождения в настоящем и прошлом, защиты национального достоинства — одна из великих тем романтической литературы и поэмы в частности (Байрон, Рылеев, Мицкевич, Словацкий).

Романтизм, конечно, и здесь остается самим собой: освободительную идею он связывает прежде всего с образом героя-избранника, будь то Наливайко и Войнаровский у Рылеева или Конрад Валленрод и Гражина у Мицкевича; заметим, что и называются поэмы — по чисто романтическому обычаю — именем героя. Однако этот герой существует в неперменном соотношении с народом — пускай подчас и весьма напряженном. Напряженность возникает оттого, что сам статус избранника заведомо предполагает отделенность и отдаленность от массы, и это противоречие теперь мучит романтиков. Не случайно появляется у них образ героя-отщепенца, воюющего против собственного отечества. В «Осаде Коринфа» Байрона герой вроде бы субъективно прав, ибо мстит за нанесенную ему обиду, но автор совершенно очевидно осуждает его, ибо в личной обиде уже не видит оправдания измене отечеству.

Это крайние случаи; но, пожалуй, еще убедительней эта напряженность отношения романтического героя к народу, это ощущение болезненного отрыва и разрыва воплощается в «Конраде Валленроде» Мицкевича и в «Ламбро» Словацкого. У Ламбро обида на соотечественников, которым он ставит в вину недостаток героизма и жертвенности, опустошает и разрушает его собственную душу. У Валленрода вообще нет никакой обиды: его «измена» отечеству продиктована лишь хитростью, соображениями тактики и даже вроде бы увенчивается победой над врагом; но и он опустошен долгим приспособленчеством и лицедейством, ему тоже не находится места в народной общности.

В связи с темой народа важно и другое. Это новое измерение — «мысль народная», как скажет позже Толстой, — вносит существенные коррективы во всю мировоззренческую систему романтизма. По-прежнему противоборствуя внешнему миру, романтики все чаще теперь опираются на народ как на своего союзника; а этот внешний мир воспринимается уже не исключительно как аморфная масса бездуховной черни, не понимающей поэта-гения, — в ней прозревается ее социальная структура, враждебная не только возвышенным поэтическим грезам, но и насущным жизненным интересам народных низов. Так, Мюссе, называя поэму «Ролла» именем главного героя, как будто сосредоточивает наше внимание на бесшабашии и «безбожии» тогдашней золотой молодежи. Но, соединяя историю Ролла — этого «лишнего человека» — с историей падшей девушки, автор сразу и решительно расширяет тему загубленной юности, дает ей новую акцентировку: он гневно бичует буржуазный социальный порядок, и не просто за то, что при нем юность, любовь и красота продаются за деньги, а за то, что он обрекает на этот удел прежде всего неимущих.

Вообще горький опыт эпохи реставрации с ее победным разгулом контрреволюционных страстей заставил многих романтиков иначе взглянуть и на саму проблему революции, тем более что теперь они стали учитывать в своих преобразовательских построениях и такую важную величину, как народ. Романтическая начальная надежда на «революцию духа» вступает в осязаемое противоречие с их теперешней мечтой о социальном освобождении. Эта мечта наиболее отчетливо выражена у Шелли, Байрона, Словацкого, у русских поэтов-декабристов. Но и поэты, гораздо менее радикально настроенные, уже не могут сбрасывать со счетов возможность революции. Над этой проблемой — пусть еще и в романтически-обобщенном, мифологизированном обличье — размышляют Виньи в стихотворении 1831 года «Париж», Китс в «Гиперионе». Но, пожалуй, ярче всего об этом новом решительном повороте романтической мысли свидетельствует судьба Ламарти-

на: он, вступивший во французскую поэзию в начале 20-х годов как поэт, демонстративно отрешенный от злобы дня, с сильным налетом религиозной экзальтации, уже в 1826 году признается, что его голова «занята больше политикой, чем поэзией», а в 30-е годы — в «Оде о революциях», в эпической поэме «Жослен» — станет рассматривать революции как вехи исторического прогресса, как естественные формы постоянного обновления человечества в его поступательном движении.

Романтизм учится социальности мировидения, учится соотносить мечтания и страсти своего одинокого героя-избранника с конкретными потребностями здешнего, земного мира.

Но тем самым подрывается вся структурная основа, изначальная внутренняя конституция жанра романтической поэмы. Мир, творимый исключительно волей поэта, миф, создаваемый в противовес наличному миру и в укор ему, осознаются как исчерпавшие свои возможности. Романтическая мысль движется из «надзвездных краев» вниз, на «грешную землю».

Эти топографические формулы из лермонтовского «Демона» взяты тут не случайно: мотив нисхождения на землю «сверхчеловеческого» существа — демона ли, ангела (как в поэме Ламартина «Падение ангела»), самого ли божества (как, например, Юпитера в драме Клейста «Амфитрион») — очень активен у романтиков и символически выражает их главную нравственную дилемму: гений — и другие. Здесь зарождается новая художественная идея: романтические поэты обнаруживают для себя самоценность реального мира во всем его земном — даже, можно сказать, прозаическом — многообразии.

Это — начало прощания с романтизмом. В европейской литературе 30—40-х годов задача широкого осмысления мира явственно переместится в жанр социального романа — не только у реалистов, но и у романтиков нового этапа (Гюго, Жорж Санд). Но эти перемены отчетливо намечаются уже и в судьбе романтической поэмы.

Чуть ли не у каждого крупного поэта из романтиков первого этапа тут есть свой документ прощания с романтизмом, причем документ огромной художественной значимости. Поэма снова расширяется, возвращается к эпичности, всеохватности, объективности: Байрон создает «Дон Жуана», Пушкин — «Евгения Онегина», Мицкевич — «Пана Тадеуша», Словацкий — «Бенёвского». При этом чрезвычайно знаменательно, что во всех этих поэмах пульсирует ирония по отношению к самым разным романтическим комплексам, будь то романтическая отрешенная экзальтация («Дон Жуан», «Евгений Онегин») или шляхетский комплекс («Бенёвский»). Подчас поэма на этой линии становится открыто



сатирической («Беппо» и «Видение суда» Байрона, «Батрахомиомахия» Леопарди); эту традицию продолжит в 40-е годы Гейне в «Атта Тролле» и «Германии».

У иных поэтов расчет с романтизмом документируется уже в романе — как в «Герое нашего времени» Лермонтова. Пушкинский «Евгений Онегин» — поэма, демонстративно называемая романом, и гоголевские «Мертвые души» — роман, демонстративно называемый поэмой, — это сочетание ярче всего воплощает эпохальный слом литературного, жанрового сознания.

Золотой век поэмы уходит, уступая место золотому веку романа. Романтический утопизм уступает место принципу трезвого анализа. Романтическая парящая свобода поверяется строгими законами необходимости — законами реального земного бытия.

\* \* \*

Для романтических мечтателей осознание этих законов связано с немалыми трудностями. Чем более привержен поэт изначальной романтической максималистичности требований к жизни, тем трудней дается ему трезвое, «реалистическое» взвешивание этих законов. Как и в случае с первым импульсом — французской революцией конца XVIII века, — бурная история революционных движений Европы XIX века потом не раз окрыляла их новой надеждой; но реальностью оставалась каждый раз еще более стабилизировавшаяся буржуазность европейского общественного порядка, и это наполняло их новой горечью и новым разочарованием.

Есть своя символика в том, что те из романтических поэтов, которым довелось надолго пережить пору юности романтизма, на склоне лет попытались окинуть прощальным взглядом идеалы этой юности. Во втором разделе нашей антологии и представлены такие закатные зарницы огня, питавшего первые поколения романтиков: поэмы 47-летнего Виньи, 56-летнего Жуковского, 67-летнего Ламартина. Леопарди, правда, жил и умер еще в рамках той эпохи (1798—1837) и свою поэму «Дрок» написал 38-летним; но написал он ее за год до смерти, опубликована она была лишь в 1845 году, а главное, и она по своему месту в его творчестве, по духу и тону своему тоже носит характер своеобразного завета.

Это все — прощальные исповеди умудренных жизнью поэтов, многое переживших на своем веку, многому научившихся, но пожелавших все-таки остаться и уйти романтиками.

Здесь завершается романтический круг познания — путь, как бы предсказанный Блейком в его маленькой поэме «Книга Тэль», стоящей в начале этого сборника — и у истоков романтической

поэмы. Это притча о познании мира младенчески хрупкой душой. В том порыве к познанию и опыту, который олицетворяет собою Тэль, есть и надежда и опаска. Тэль томима ощущением быстротечности жизни, но жизнь, природа, мир утешают ее: ничто не исчезает бесследно, всюду царит благой круговорот, и в нем сама смерть служит новому возрождению: облако, растаяв, прежде оросит землю, а земля даст влагу и цветку и червяю. От Земли Тэль выслушивает урок нравственных основ мироздания: «Мы все на свете живем не для себя... Я только знаю, что дано мне жить и, живя, любить». Но жизнь в то же время и не безмятежная идиллия: тревожный град вопросов в конце поэмы — это блейковское выражение той же проблематики, что констатируется в финале пушкинских «Цыган»: «...и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».

Романтическая поэма явила нам историю и роковых страстей, и страстных поисков защиты от судеб — историю победных взлетов, горьких поражений и новых надежд. Это сама жизнь — в романтическом осмыслении и преломлении. И вот теперь, под занавес, романтизм подводит итоги своим борениям. Он стал проще, отринул сверхчеловеческие притязания («Не воззовешь в безумии гордыни ни к звездам, ни к пустыне», — как это формулирует Леопарди), вернулся с космических высот на землю, к простому, но незыблемым истинам. Эти истины — природа, любовь, сострадание, красота искусства, красота и ценность человека.

Казалось бы, все в самом деле просто и не так уж и ново. Ламартин славит прочность и теплоту семейного круга, Виньи — союз двух любящих сердец, Жуковский — вечное пламя поэзии, Леопарди — органическую, природную стойкость дрока, «цветка пустыни». Но и это лишь начальные, исходные темы каждого из голосов этого своеобразного квартета. В своем развитии эти темы в каждой из поэм обогащаются все новыми и новыми мотивами, вступающими друг с другом то в переключку, то в новый нелегкий спор. Нет, и здесь перед нами не просто мудрая умиротворенность и примиренность перед порогом вечности. Они все помнят, эти поэты, — и то, что «земля изнемогла от боли» (Ламартин), и то, что современный им мир «подстегнут алчностью», забывает человека за «коммерцией» и «ревушими машинами» (Виньи), и то, что «проклятых этих стихотворцев» мир коммерции, дай ему волю, охотнее всего обрек бы на судьбу Камозэнса («Дон Лудвиг Камозэнс, десятый нумер — и все тут», — как неоднократно повторяется у Жуковского). Даже сама природа — давняя надежда всех романтических мечтателей — у этих поэтов знаменательно двулика, они и тут не очень уж обольщаются: Виньи резко сталкивает идиллию «пастушьей хижины» с горьким

откровением о равнодушии природы к человеку; Леопарди еще заостряет это в образе «Везувия-злодея».

И все же, несмотря ни на что, — вопреки своему «глупому и надменному веку» (Леопарди), вопреки «Везувию-злодею», вопреки «коммерции» — они не складывают оружия, и то, в чем они ищут опору, лучше всего выразить их же собственными формулами. В поздних этих поэмах они особенно чеканны. Виньи бросает в лицо «ледяной» природе: «Но чту я не тебя — страдание людское», — и отсюда выводит долг поэта — «внять человечеству, его скорбям и пеням». А вот говорит Жуковский: «...быть хочу... зарей, победу дня предвосхищающей, великих дум воспламенителем, глаголом правды». Леопарди утверждает «мысль во славу гражданственности», считая людей «одним союзом... в опасностях бесчисленных, в тревогах судьбы всеобщей».

Мечта осталась жива. Опыт, зрелость, старость, даже предчувствие смерти ее не ослабили, а лишь закалили, сделали яснее и мужественнее. «Все слезы пролиты, ничто не застит взгляда», — как говорят Ламартин. «Ты ж мудр и мощен столь, что знаешь истину: в твоём бессмертье ни ты не властен, ни твоя судьба», — как говорит Леопарди. И Жуковский — мечтательный наш Жуковский! — устами своего Камозэнса обращается к юному преемнику:

О, помни, друг, об этом часе, помни  
О той руке, уж смертью охлажденной,  
Которая на звание поэта  
Тебя теперь благословляет. Жизнь  
Зовет на битву!

Помни, друг, об этом часе... Это обращение к нам, потомкам, отдаленным почти двумя веками от романтических мечтателей. По-прежнему стоит вслушаться внимательней в их голоса. Они напоминают нам о том давнем «чудном мире тревог и битв», тех борениях духа, в которых вопросы о смысле человеческого присутствия в мире ставились с решительной серьезностью и истовостью, поверх сует повседневности, затмевающих подчас вечные истины бытия. Пускай романтические поэты бывали порой слишком горячи, пускай они требовали слишком многого — здравому смыслу всегда легко упрекнуть бескомпромиссную мечту. Но все-таки вслушайтесь, вчитайтесь: здесь предвидели, предчувствовали, формулировали многое из того, что волнует и сегодняшнего человека. Здесь нет монументов — здесь все живые, трепещущие, пламенеющие жребии — люди одной с нами протяженной эпохи и судьбы.

«Звонарями на башне» назвал романтиков один современный американский критик. У порога технической эры, века накопления

и потребления, раздался этот тревожный напутственный звон. «Фантазеры», «мистики», а то и «реакционеры» — как только не называли романтических звонарей критики из последующих поколений, движимые пафосом здравомыслия, практицизма, прагматизма. У них, конечно, были свои резоны. Но сознаемся, что совсем затыкать уши у них не было оснований. Мы-то сегодня видим, что романтики от многого хотели предостеречь.

Вам не терпится обуздать, покорить природу? Не забудьте прежде почитать Кольриджа, или Новалиса, или Леопарди — они предупредят вас, что бездумное обращение с природой может отомстить за себя. Вы одержимы тщеславным желанием создать мыслящий автомат, искусственный мозг и душу? На всякий случай прочтите роман Мэри Шелли «Франкенштейн» — романтическая мечтательница прозрела тут роковые ловушки для людей. И немецкий фантазер Гофман, кстати, тоже — ему привиделись странные образы отчуждения, обездушивания, автоматизации человека. Вы озаботились проблемой города и деревни, ложных наслоений и праведной почвы? Почитайте Вордсворта — но не забудьте еще и «Цыган» Пушкина, чтобы не обольститься слишком слепо соблазном первозданной простоты.

Сейчас, на пороге уже XXI века, мы ищем путей очеловечения материального, вещественного прогресса, встаем против забвения его духовных основ за соображениями сиюминутной корысти. Нам не мешает прислушаться к звонам с романтических башен — прежде всего они предостерегали от воинствующей, самоуверенной бездуховности, от эгоистической обывательской ослепленности выгодой дня. Они знали, что такая ослепленность может стать самоубийственной, если люди забудут измерение вечности, если перестанут соотносить любую свою ежедневную заботу с общечеловеческой и общемировой судьбой.

*А. КАРЕЛЬСКИЙ, Л. СОВОЛЕВ*

# **”ЧУДНЫЙ МИР ТРЕВОГ И БИТВ...”**



# Уильям Блейк

## КНИГА ТЭЛЬ

Известно ль орлу, что таится в земле?  
Иль крот вам скажет о том?  
Как мудрость в серебряном спрятать жезле,  
А любовь — в ковше золотом?

### I

В долине дщери Серафимов пасли своих овец.  
Но Тэль, их младшая сестра, блуждала одиноко,  
Готова с первым дуновеньем исчезнуть навсегда.  
Вдоль по течению Адоны несется скорбный ропот,  
И льются тихие стенанья, как падает роса.

— О ты, бегущая вода! Зачем твой лотос вянет?  
Твоих детей печален жребий: мгновенный смех и смерть.  
Ах, Тэль — как радуга весны, как облако в лазури,  
Как образ в зеркале, как тени, что бродят по воде,  
Как мимолетный детский сон, как резвый смех ребенка,  
Как голос голубя лесного, как музыка вдали.  
Скорей бы голову склонить, забыться безмятежно,  
И тихо спать последним сном, и слышать тихий голос  
Того, кто по саду проходит вечернею порой.

Невинный ландыш, чуть заметный среди смиренных трав,  
Прекрасной девушке ответил: — Я — тонкий стебелек.  
Живу я в низменных долинах; и так я слаб и мал,  
Что мотылек присесть боится, порхая, на меня.  
Но небо благодно ко мне, и Тот, Кто всех лелеет,  
Ко мне приходит в ранний час и, осенив ладонью,  
Мне шепчет: «Радуйся, цветок, о лилия-малютка,  
О дева чистая долин и ручейков укрожных.  
Живи, одевшись в ткань лучей, питайся Божьей манной,  
Пока у звонкого ключа от зноя не увянешь,  
Чтоб расцвести в долинах вечных!» На что же ропщет  
Тэль?

О чем вздыхает безутешно краса долины Гар?

Цветок умолк и притаился в росистом алтаре.  
Тэль отвечала: — О малютка, о лилия долин,





*Но Тэль, их младшая сестра, блуждала одиноко,  
Готова с первым дуновеньем исчезнуть навсегда.*

Ты отдаешь себя усталым, беспомощным, немым,  
Ты нежишь кроткого ягненка: молочный твой наряд  
С восторгом лижет он и щиплет душистые цветы,  
Меж тем как ты с улыбкой нежной глядишь ему в глаза,  
Сметая с мордочки невинной прилипший вредный сор.  
Твой сок прохладный очищает густой янтарный мед.  
Дыша твоим благоуханьем, окрестная трава  
Живит кормилицу-корову, смиряет пыл коня.  
Но Тэль — как облако, случайно зажженное зарей.  
Оно покинет трон жемчужный, и кто его найдет?

— Царица юная долин! — промолвил скромный  
ландыш.—

Ты можешь облако спросить, плывущее над нами,  
Зачем на утренней заре горит оно и блещет,  
Огни и краски рассыпая по влажной синеве.  
Слети к нам, облако, помедли перед глазами Тэль!  
Спустилось облако, а ландыш, головку наклонив,  
Опять ушел к своим бессчетным заботам и делам.

## II

— Скажи мне, облако,— спросила задумчивая Тэль,—  
Как ты не ропщешь, не тоскуешь, живя один лишь час?  
Но час пройдет, и больше в небе тебя мы не найдем.  
И Тэль — как ты. Но Тэль тоскует, и нет ответа ей!  
Главу златую обнаружив и выплыв на простор,  
Сверкнуло облако, витая над головою Тэль.

— Ты знаешь, влагу золотую прохладных родников  
Пьют наши кони там, где Лува меняет лошадей.  
Ты смотришь с грустью и тревогой на молодость мою,  
Скорбя о том, что я растаю, исчезну без следа.  
Но знай, о девушка: растаяв, я только перейду  
К десятикратной новой жизни, к покою и любви.  
К земле спускаясь невидимкой, я чашечек цветов  
Касаюсь крыльями и фею пугливую — росу  
Молю принять меня в прозрачный, сияющий шатер.  
Рыдает трепетная дева, колени преклонив  
Перед светилом восходящим. Но скоро мы встаем  
Соединенной, неразлучной, ликующей четой,  
Чтоб вместе странствовать и пищу нести цветам полей.

— Неужто, облачко? Я вижу, различен наш удел:  
Дышу я тоже ароматом цветов долины Гар,

Но не кормлю цветов душистых. Я слышу щебет птиц,  
Но не питаю малых пташек. Они свой корм в полях  
Находят сами. Я исчезну, и скажут обо мне:  
Без пользы век свой прожила сияющая дева,  
Или жила, чтоб стать добычей прожорливых червей?..

С престола облако склонилось и отвечало Тэль:

— Коль суждено тебе, о дева, стать пищей для червей,  
Как велико твое значенье, как чуден твой удел.  
Все то, что дышит в этом мире, живет не для себя.  
Не бойся, если из могилы червя я позову.  
Явись к задумчивой царице, смиренный сын Земли!

Могильный червь приполз мгновенно и лег на влажный  
лист.

И скрылось облако в погоне за спутницей своей.

### III

Бессильный червь лежал, свернувшись, на маленьком  
листе.

— Ах, кто ты, слабое создание? Ты — червь? И только  
червь?

Передо мной лежит младенец, завернутый в листок.  
Не плачь, о слабый голосок! Ты говорить не можешь  
И только плачешь без конца. Никто тебя не слышит,  
Никто любовью не согреет озябшее дитя!..

Но глыба влажная земли малютку услышала,  
Склонилась ласково над ним и все живые соки,  
Как мать младенцу, отдала. И, накормив питомца,  
Смиренный взгляд спокойных глаз на деву устремила.

— Краса долин! Мы все на свете живем не для себя.  
Меня ты видишь? Я ничтожна, ничтожней в мире всех,  
Я лишена тепла и света, темна и холодна.  
Но Тот, Кто любит всех смиренных, льет на меня елей,  
Меня целует, и одежды мне брачные дает,  
И говорит: «Тебя избрал Я, о мать моих детей,  
И дал тебе венец нетленный, любви Моей залог!»  
Но что, о дева, это значит, понять я не могу.  
И только знаю, что дано мне жить и, живя, любить.

Тэль осушила легкой тканью потоки светлых слез  
И тихо молвила:— Отныне не стану я роптать.  
Я знала: друг всего живого не может не жалеть  
Червя ничтожного и строго накажет за него  
Того, кто с умыслом раздавит беспомощную тварь.  
Но я не знала, что елеем и чистым молоком  
Червя он кормит, и напрасно роптала на него,  
Страшась сойти в сырую землю, покинуть светлый мир.

— Послушай, девушка,— сказала приветливо Земля,—  
Давно твои я слышу вздохи, все жалобы твои  
Неслись над кровлею моею,— я привлекла их вниз.  
Ты хочешь дом мой посетить? Тебе дано спуститься  
И выйти вновь на свет дневной. Перешагни без страха  
Своею девственной ногою запретный мой порог!

#### IV

Угрюмый сторож вечных врат засов железный поднял,  
И Тэль, сойдя, узнала тайны невиданной страны,  
Узрела ложа мертвецов, подземные глубины,  
Где нити всех земных сердец гнездятся, извиваясь,—  
Страну печали, где улыбка не светит никогда.

Она бродила в царстве туч, по сумрачным долинам,  
Внимая жалобам глухим, и часто отдыхала  
Вблизи неведомых могил, прислушиваясь к стонам  
Из глубины сырой земли... Так, медленно блуждая,  
К своей могиле подошла, и тихо там присела,  
И услышала скорбный гул пустой, глубокой ямы:  
— Зачем всегда открыто ухо для роковых вестей,  
А глаз блестящий — для улыбки, таящей сладкий яд?  
Зачем безжалостное веко полно жестоких стрел,  
Скрывая воинов бесчисленных в засаде, или глаз,  
Струящий милости и ласки, червонцы и плоды?  
Зачем язык медовой пылью ласкают ветерки?  
Зачем в круговорот свой ухо втянуть стремится мир?  
Зачем вдыхают ноздри ужас, раскрывшись и дрожа?  
Зачем горящий отрок связан столь нежною уздой?  
Зачем завеса тонкой плоти над логовом страстей?..

Тэль с криком ринулась оттуда — и в сумраке, никем  
Не остановлена, достигла долин цветущих Гар.

# Сэмюель Тэйлор Кольридж

## ПОЭМА О СТАРОМ МОРЯКЕ

Facile credo, plures esse Naturas invisibiles quam visibiles in rerum universitate. Sed horum omnium familiam quis nobis enarrabit? et gradus et cognationes et discrimina et singulorum munera? Quid agunt? quae loca habitant? Harum rerum notitiam semper ambivit ingenium humanum, nunquam attigit. Juvat, interea, non diffiteor, quandoque in animo, tanquam in tabula, majoris et melioris mundi imaginem contemplari: ne mens assuefacta hodiernae vitae minutiis se contrahat nimis, et tota subsidat in pusillas cogitationes. Sed veritati interea invigilandum est, modusque servandus, ut certa ab incertis, diem a nocte, distinguamus.

*T. Burnet. Archeol. Phil., p. 68*

Я охотно верю, что во вселенной есть больше невидимых, чем видимых, существ. Но кто объяснит нам все их множество, характер, взаимные и родственные связи, отличительные признаки и свойства каждого из них? Что они делают? Где обитают? Человеческий ум лишь скользил вокруг ответов на эти вопросы, но никогда не постигал их. Однако, вне всяких сомнений, приятно иногда нарисовать своему мысленному взору, как на картине, образ большего и лучшего мира: чтобы ум, привыкший к мелочам обыденной жизни, не замкнулся в слишком тесных рамках и не погрузился целиком в мелкие мысли. Но в то же время нужно постоянно помнить об истине и соблюдать должную меру, чтобы мы могли отличить достоверное от недостоверного, день от ночи.

*Т. Бернет. Философия древности, с. 68 (лат.)*

### Часть первая

Старый Моряк  
встречает  
трех юношей,  
званных на  
свадебный пир,  
и удерживает  
одного.

Старик Моряк, он одного  
Из трех сдержал рукой.  
«Что хочешь ты, с огнем в глазах,  
С седою бородой?

Открыты двери жениха,  
И родственник мне он;  
Уж есть народ, уж пир идет,  
Веселый слышен звон».

Но держит все его старик:  
«Постой, корабль там был...»  
«Пусти, седобородый лжец».  
Старик его пустил.

Свадебный Гость  
зачарован  
глазами  
старого  
мореплавателя  
и принужден  
выслушать  
его рассказ.

Вперил в него горящий взор.  
Гость — дальше ни на шаг,  
Ему внимает, как дитя,  
Им овладел Моряк.

Присел на камень Брачный Гость  
И головой поник;  
И начал с пламенем в глазах  
Рассказывать старик.

«Корабль плывет, толпа кричит,  
Оставить рады мы  
И церковь, и родимый дом,  
Зеленые холмы.

Моряк  
рассказывает,  
как корабль  
плыл к югу  
при хорошем  
ветре и тихой  
погоде, пока  
не приблизился  
к Экватору.

Вот солнце слева из волны  
Восходит в вышину,  
Горит и с правой стороны  
Спускается в волну.

Все выше, выше с каждым днем  
Над мачтою плывет...»  
Тут Гость себя ударил в грудь,  
Он услышал фэгот.

Свадебный Гость  
слышит музыку;  
но Моряк  
продолжает  
свой рассказ.

Уже вошла невеста в зал,  
И роз она милей,  
И головы веселый хор  
Склоняет перед ней.

И Гость себя ударил в грудь,  
Но дальше ни на шаг.  
И так же, с пламенем в глазах,  
Рассказывал Моряк.

Корабль  
унесен штормом  
к Южному  
полюсу.

«Но вот настиг нас шторм, он был  
Властителен и зол,  
Он ветры встречные крутил  
И к югу нас повел.



Без мачты, под водою нос,  
Как бы спасаясь от угроз  
За ним спешащего врага,  
Подпрыгивая вдруг,  
Корабль летел, а гром гремел,  
И плыли мы на юг.  
И встретил нас туман и снег  
И злые холода,  
Как изумруд, на нас плывут  
Кругом громады льда.

Страна льда  
и пугающего  
гула,  
где не видно  
ничего живого.

Меж снежных трещин иногда  
Угрюмый свет блеснет:  
Ни человека, ни зверей,—  
Повсюду только лед.

Отсюда лед, оттуда лед,  
Вверху и в глубине,  
Трещит, ломается, гремит,  
Как звуки в тяжком сне.

Наконец большая  
морская птица,  
называемая  
Альбатросом,  
прилетает  
сквозь  
снеговой туман.  
Ее встречают  
радостно  
и гостеприимно.

И напоследок Альбатрос  
К нам прилетел из тьмы;  
Как если б был он человек,  
С ним обходились мы.

Он пищу брал у нас из рук.  
Кружил над головой.  
И с громом треснул лед, и вот  
Нас вывел рулевой.

И вот  
Альбатрос  
оказывается  
добрым пред-  
знаменованием  
и сопровождает  
корабль,  
возвращающийся  
к северу  
сквозь туман  
и плавучие льды.

И добрый южный ветер нас мчал,  
Был с нами Альбатрос,  
Он поиграть, поесть слетал  
На корабельный нос.

В сырой туман на мачте он  
Спал девять вечеров,  
И белый месяц нам сиял  
Из белых облаков».

Старый Моряк,  
нарушая  
гостеприимство,  
убивает птицу,  
приносящую счастье.

— Господь с тобой, Моряк седой,  
Дрожишь ты, как в мороз!  
Как смотришь ты? — «Моей стрелой  
Убит был Альбатрос».



«Моей стрелой  
Убит был Альбатрос.»

## Часть вторая

«Вот солнце справа из волны  
Восходит в вышину  
Во мгле, и с левой стороны  
Уходит в глубину.

И добрый южный ветер нас мчит,  
Но умер Альбатрос,  
Он не летит играть иль есть  
На корабельный нос.

Товарищи  
бранят  
Старого Моряка  
за то, что он  
убил птицу,  
приносящую  
счастье.

Но когда  
туман прояснел,  
они оправдывают  
его поступок  
и тем самым  
приобщаются  
к его  
преступлению.

Ветер  
продолжается.  
Корабль входит  
в Тихий Океан  
и плывет  
на север,  
пока не доходит  
до Экватора.

Корабль  
неожиданно  
останавливается.

Я дело адское свершил,  
То было дело зла.  
Я слышал: «Птицу ты убил,  
Что ветер принесла;  
Несчастный, птицу ты убил,  
Что ветер принесла».

Когда же солнечным лучом  
Зажегся океан,  
Я слышал: «Птицу ты убил,  
Пославшую туман,  
Ты прав был, птицу умертвив,  
Пославшую туман».

Белеет пена, дует ветер,  
За нами рябь растет;  
Вошли мы первыми в простор  
Тех молчаливых вод.

Стих ветер, и парус наш повис,  
И горе к нам идет,  
Лишь голос наш звучит в тиши  
Тех молчаливых вод.

В горячих, медных небесах  
Полднечною порой  
Над мачтой Солнце, точно кровь,  
С Луну величиной.

За днями дни, за днями дни  
Мы ждем, корабль наш спит,  
Как в нарисованной воде  
Рисованный стоит.



Но умер Альбатрос,  
Он не летит играть иль есть  
На корабельный нос.

Месть  
за Альбатроса  
начинается.

Вода, вода, одна вода.  
Но чан лежит вверх дном;  
Вода, вода, одна вода,  
Мы ничего не пьем.

Как пахнет гнилью — о, Христос! —  
Как пахнет от волны,  
И твари слизкие ползут  
Из вязкой глубины.

В ночи сплетают хоровод  
Блудящие огни.  
Как свечи ведьмы, зелены,  
Красны, белы они.

Их преследует  
дух, один  
из незримых  
обитателей  
нашей планеты,  
которые не  
души мертвых  
и не ангелы.  
Матросы,  
придя в отчаянье,  
хотят взвалить  
всю вину  
на Старого Моряка,  
в знак чего  
они привязывают  
ему на шею  
труп морской  
птицы.

И многим снился страшный дух,  
Для нас страшней чумы,  
Он плыл за нами под водой  
Из стран снегов и тьмы.

В гортани каждого из нас  
Засох язык, и вот  
Молчали мы, как будто все  
Набили сажей рот.

Со злобой глядя на меня,  
И стар и млад бродил;  
И мне на шею Альбатрос  
Повешен ими был».

## Часть третья

Старый Моряк  
замечает  
что-то вдали.

«Так скучно дни идут. У всех  
Стеклянный блеск в глазах.  
Как скучно нам! Как скучно нам!  
Как страшен блеск в глазах!  
Смотрю вперед, и что-то вдруг  
Мелькнуло в небесах.

Сперва, как легкое пятно,  
И как туман потом;  
Плывет, плывет и, наконец,  
Явилось кораблем.



*Смотрю вперед, и что-то вдруг  
Мелькнуло в небесах.*

Пятно — туман — корабль вдали,  
И все плывет, плывет:  
Как бы по воле духа вод  
То прыгнет, то нырнет.

При  
приближенье  
это  
оказывается  
кораблем;  
и дорогой ценой  
Моряк добывает  
у Жажды  
возможность  
говорить.

Взрыв радости  
и за ним ужас.  
Ибо  
разве бывает  
корабль,  
плывущий  
без ветра  
или течения?

Ему кажется,  
что это  
только скелет  
корабля.

И реи кажутся  
тюремной  
решеткой  
на лике  
заходящего  
Солнца.

С засохшим, черным языком  
Кричать мы не могли;  
Тогда я руку прокусил,  
Напился крови и завыл:  
— Корабль, корабль вдали!

С засохшим, черным языком,  
В движеньях не тверды,  
Они пытались хохотать  
И снова начали дышать,  
Как бы хлебнув воды.

— Смотри! — кричал я, — как он тих,  
Не даст он счастья нам;  
Но без течения, без ветров  
Летит он по водам.—

На западе волна в огне,  
Уходит день, как дым;  
И был над самою волной  
Шар солнца недвижим,  
Когда чудесный призрак вдруг  
Меж нами встал и ним.

Сквозь снасти Солнце видно нам  
(Услышь, Мария, нас!),  
Как за решеткою тюрьмы  
Горящий круглый глаз.

Увы! (я думал и дрожал)  
Он продолжает плыть!  
И неужели паруса —  
На Солнце эта нить?

Пылает Солнце, как в тюрьме,  
Ужели между рей?  
И женщина смеется нам? —  
Не Смерть ли? И вторая там?  
Не Смерть ли та, что с ней?

На борту  
корабля-скелета  
только  
женщина-призрак  
и Смерть, ее товарищ.  
Каково судно,  
такова и команда!

Смерть и Жизнь  
по Смерти  
разыгрывают между  
собой моряков,  
и последняя получает  
Старого Моряка.

Нет сумерек  
по заходе  
солнца.

Восход  
месяца.

Один  
за другим  
его товарищи  
падают  
мертвыми.

Рот красен, желто-золотой  
Ужасный взор горит:  
Пугает кожа белизной,  
То Жизнь по Смерти, дух ночной,  
Что сердце леденит.

Вот близко, близко подошли  
И занялись игрой,  
И, трижды свистнув, крикнул дух:  
«Я выиграл, он мой!»

Уж Солнца нет; уж звезд черед:  
Недолго вечер был,  
И с шумом призрачный корабль  
Опять в моря уплыл.

Мы слушали, смотрели вновь,  
И, как из кубка, нашу кровь  
Точил из сердца страх;  
Мутнели звезды, мрак густел,  
Был рулевой под лампой бел;  
Роса — на парусах.  
А на востоке встал тогда  
Рогатый месяц, и звезда  
Запуталась в рогах.

И каждый, месяцем гоним,  
Безмолвие храня,  
Глазами, полными тоски,  
Преследует меня.

И двести их, живых людей  
(А я не слышал слов),  
С тяжелым стуком полегли,  
Как гряда мертвецов.

Помчались души их, спеша  
Покинуть их тела!  
И пела каждая душа,  
Как та моя стрела».



## Часть четвертая

Свадебный Гость  
боится,  
что говорит  
с призраком.

Но Старый Моряк  
уверяет его,  
что он жив,  
и продолжает  
свою ужасную  
исповедь.

Он презирает  
тварей,  
порожденных  
затишьем,

и сердится,  
зачем они  
живут, когда  
столько людей  
погибло.

Но проклятье  
ему видно  
в глазах  
мертвецов.

— Ты страшен мне, седой Моряк  
С костлявою рукой!  
Ты темен, как морской песок,  
Высокий и худой.

Страшны горящие глаза,  
Костлявая рука,—  
«Постой, не бойся, Брачный Гость!  
Не умер я пока.

Один, один, всегда один,  
Один среди зыбей!  
И нет святых, чтоб о душе  
Припомнили моей.

Так много молодых людей  
Лишились бытия:  
А слизких тварей миллион  
Живет; а с ними я.

Гляжу на гниль кишасших вод  
И отвожу мой взгляд;  
Гляжу на палубу потом,  
Там мертвецы лежат.

Гляжу на небо и мольбу  
Пытаюсь возносить,  
Но раздается страшный звук,  
Чтоб сердце мне сушить.

Когда же веки я сомкну,  
Зрачков ужасен бой,  
Небес и вод, небес и вод  
Лежит на них тяжелый гнет,  
И трупы под ногой.

Холодный пот с лица их льет,  
Но тленье чуждо им,  
И взгляд, каким они глядят,  
Навек неотвратим.

Сирот проклятье с высоты  
Свергает духа в ад;

Но, ах! Проклятье мертвых глаз  
Ужасней во сто крат!  
Семь дней и семь ночей пред ним  
Я умереть был рад.

Подвижный месяц поднялся  
И поплыл в синеве:  
Он тихо плыл, а рядом с ним  
Одна звезда, иль две.

Была в лучах его бела,  
Как иней, глубина;  
Но там, где тень от корабля  
Легла, там искрилась струя,  
Убийственно-красна.

При свете  
месяца он  
в полной  
тишине видит  
Божьих тварей.

Где тени не бросал корабль,  
Я видел змей морских:  
Они неслись лучам во след,  
Вставали на дыбы, и свет  
Был в клочьях снеговых.

Где тени не бросал корабль,  
Наряд их видел я,—  
Зеленый, красный, голубой.  
Они скользили над водой,  
Там искрилась струя.

Их красота  
и их счастье.

Он  
благословляет  
их в сердце  
своём.

Чары  
начинают  
спадать.

Они живыми были! Как  
Их прелесть описать!  
Весна любви вошла в меня,  
Я стал благословлять:  
Святой мой пожалел меня,  
Я стал благословлять.

Я в этот миг молиться мог:  
И с шеи, наконец,  
Сорвавшись, канул Альбатрос  
В пучину, как свинец».

## Часть пятая

«О, милый сон, по всей земле  
И всем отраден он!  
Марии вечная хвала!

Она душе моей дала  
Небесный милый сон.

По милости  
Богоматери  
Старый Моряк  
освежен  
дождем.

На деле чан один пустой  
Случайно уцелел;  
Мне снилось, полон он водой;  
Проснулся — дождь шумел.

Мой рот холодным был, и ткань  
На мне сырой была;  
О, да! Пока я пил во сне,  
И плоть моя пила.

Но я ее не замечал,  
Так легок стал я вдруг,  
Как будто умер я во сне  
И был небесный дух.

Он слышит  
звуки  
и замечает  
странные  
небесные  
знамения.

И я услышал громкий ветер;  
Он веял вдалеке,  
Но все ж надулись паруса,  
Висевшие в тоске.

И разорвались небеса,  
И тысяча огней  
То вспыхнет там, то здесь мелькнет;  
То там, то здесь, назад, вперед,  
И звезды пляшут с ней.

Идущий ветер так могуч,—  
Сломать бы мачту мог;  
Струится дождь из черных туч,  
И месяц в них залег.

Залег он в трещине меж туч,  
Что были так черны:  
Как воды падают со скал,  
Так пламень молнии упал  
С отвесной крутизны.

Трупы  
корабельных  
матросов  
заколдованы,  
и корабль плывет.

Ветров не чувствует корабль,  
Но все же мчится он.  
При свете молний и Луны  
Мне слышен мертвых стон.

Они стенают и дрожат,  
Они встанут без слов,  
И видеть странно, как во сне,  
Встающих мертвецов.

Встал рулевой, корабль плывет,  
Хоть также нет волны;  
И моряки идут туда,  
Где быть они должны,  
Берясь безжизненно за труд,  
Невиданно-страшны.

Племянник мертвый мой со мной  
Нога к ноге стоял:  
Тянули мы один канат,  
Но только он молчал».

Но не души  
умерших  
матросов  
и не демоны  
земли  
или воздуха, но  
благословенный  
рой ангелов  
ниспослан  
по молитве  
его святого.

— Ты страшен мне, седой Моряк! —  
«Не бойся, Гость, постой!  
Не грешных душ то рать была,  
В свои вернувшихся тела,  
А душ блаженных строй:  
Когда настал рассвет, они  
Вкруг мачт сошлись толпой;  
И, поднимая руки ввысь,  
Запели гимн святой.

Летели звуки вновь и вновь,  
Коснутся высоты  
И тихо падали назад,  
То порознь, то слиты.

То пенье жаворонка я  
Там различал едва;  
То пенье птички небольшой  
Меж небесами и водой  
Струила синева.

Уединенной флейты плач,  
Оркестра голоса,  
Хор ангелов, перед каким  
Немеют небеса.

Все смолкло; только в парусах  
До полдня слышен зов,

Как бы в июньскую жару  
Журчанье ручейков,  
Что нежным голосом поют  
В тиши ночных лесов.

И так до полдня плыли мы  
Средь полной тишины:  
Спокойно двигался корабль,  
Влеком из глубины.

Одиноким дух  
мчит корабль  
от Южного  
полюса  
до Экватора,  
повинуясь  
сонму ангелов,  
но возмездие  
должно  
продолжаться.

На девять сажен в глубине  
Из стран снегов и тьмы  
Плыл дух; и наш вносил корабль  
На водные холмы.  
Но в полдень зов средь парусов  
Затих, и стали мы.

Над мачтой Солнце поднялось,  
Идти нам не дает:  
Но через миг опять корабль  
Вдруг подскочил из вод,  
Почти во всю свою длину  
Он подскочил из вод.

Как конь, встающий на дыбы,  
Он сразу подскочил:  
В виски ударила мне кровь,  
И я упал без сил.

Демоны,  
спутники  
Полярного Духа,  
незримые  
обитатели стихий,  
принимают  
участие  
в его работе,  
и двое из них  
сообщают  
один другому,  
что долгое  
и жестокое мщенье  
Старому Морю  
совершено  
Полярным Духом,  
который  
возвращается  
на юг.

Как долго я лежал без чувств,  
Я сам узнать бы рад;  
Когда ж вернулась жизнь ко мне,  
Я услышал, что в вышине  
Два голоса звучат.

— Кто это? — говорил один.—  
Не это ли матрос,  
Чьей злой стрелой был убит  
Незлобный Альбатрос?

Самодержавный властелин  
Страны снегов и мглы  
Любил ту птицу и отмстил  
Хозяину стрелы.—

Ответный голос схожим был  
С медвяною росой:  
— Он к покаянью принужден  
На век останний свой».

## Часть шестая

### *Первый голос*

«Но Расскажи мне! — слышно  
вновь. —

Ответь подробней мне,  
Зачем так движется корабль?  
Что скрыто в глубине?

### *Второй голос*

Как пред своим владыкой раб,  
И океан смирен;  
Его горящий круглый глаз  
На Месяц устремлен, —

И если знает он свой путь,  
То это Месяц правит им;  
Смотри, мой брат, как нежен взгляд,  
Взгляд Месяца над ним.

### *Первый голос*

Но как в безветрии корабль  
Идет, заморожен?

### *Второй голос*

Раздался воздух впереди,  
Сомкнулся сзади он.

Летим, мой брат, скорей летим!  
Мы запоздали так:  
Пока корабль идет вперед,  
Пробудится Моряк. —

Проснулся я; и мы плывем  
В безветренных водах:  
Кругом столпились мертвецы,  
И Месяц в облаках.

Моряк лежит  
без чувств,  
потому что  
ангелы уносят  
корабль  
на север  
так быстро,  
что человек  
не может  
выдержать.

Чудесное  
движеньё  
замедлено;

Моряк очнулся,  
и возмездие  
продолжается.

Возмездие,  
наконец,  
кончается.

И Старый Моряк  
снова видит  
родину.

Стоят на палубе они,  
Уставя на меня  
Глаза стеклянные, где луч  
Небесного огня.  
С проклятьем умерли они,  
Проклятье в их глазах.  
Я глаз не в силах отвести,  
Ни изойти в слезах.

И чары кончились: опять  
Взглянул я в зелень вод,  
И хоть не видел ничего,  
Но все глядел вперед.

Как путник, что идет в глуши  
С тревогой и тоской,  
И закурился, но назад  
На путь не взглянет свой,  
И чувствует, что позади  
Ужасный дух ночной.

Но скоро ветер на меня,  
Чуть ощутим, подул:  
Его неслышный, тихий шаг  
Воды не колыхнул.

Он освежил мое лицо,  
Как ветер весны, маня,  
И, проникая ужас мой,  
Он утешал меня.

Так быстро, быстро шел корабль,  
Легко идти ему;  
И нежно, нежно веял ветер,—  
Мне веял одному.

О, дивный сон! Ужели я  
Родимый вижу дом?  
И этот холм и храм на нем?  
И я в краю родном?

К заливу нашему корабль  
Свой направляет путь,—

О, дай проснуться мне, Господь,  
Иль дай навек заснуть!

В родном заливе воды спят,  
Они, как лед, ровны,  
На них видны лучи луны  
И тени от луны.

Немым сиянием луны  
Озарены вокруг  
Скала и церковь на скале,  
И флюгерный петух.

Ангелы  
оставляют  
трупы  
и являются  
в одеждах  
света.

И призраки встают толпой,  
Средь белых вод красны,  
Те, кто казались мне сейчас  
Теньями от луны.

В одеждах красных, точно кровь,  
Они подходят к нам:  
И я на палубу взглянул —  
Господь! Что было там!

Лежал, как прежде, каждый труп,  
Ужасен, недвижим!  
Но был над каждым в головах  
Крылатый серафим.

Хор ангелов манил рукой  
И посылал привет,  
Как бы сигнальные огни,  
Одеянные в свет.

Хор ангелов манил рукой,  
Ни звука в тишине,  
Но и безмолвие поет,  
Как музыка во мне.

Вдруг я услышал весел плеск  
И кормщика свисток;  
Невольно обернулся я  
И увидел челнок.

Там кормщик и дитя его,  
Они плывут за мной:



Господы! Пред радостью такой  
Ничто и мертвых строй.

Отшельника мне слышен зов,  
Ведь в лодке — третьим он!  
Поет он громко славный гимн,  
Что им в лесу сложен.  
Я знаю, может смыть с души  
Кровь Альбатроса он».

### Часть седьмая

Лесной  
Отшельник.

Отшельник тот в лесу живет  
У голубой волны.  
Поет в безмолвии лесном,  
Болтать он любит с Моряком  
Из дальней стороны.

И по утрам, по вечерам  
Он молит в тишине:  
Мягка его подушка — мох  
На обветшало пне.

Челнок был близко. Слышу я:  
— Здесь колдовства ли нет?  
Куда девался яркий тот,  
Нас призывавший, свет?

Чудесное  
приближенье  
корабля.

И не ответил нам никто, —  
Сказал Отшельник, — да!  
Корабль иссох, а паруса?  
Взгляни, как ткань худа!  
Сравненья не найти; одна  
С ней схожа иногда  
Охапка листьев, что мои  
Ручьи лесные мчат,  
Когда под снегом спит трава  
И с волком говорит сова,  
С тем, что пожрал волчат. —

— То были взоры сатаны!  
(Так кормщик восклицал.)  
— Мне страшно. — Ничего!

плывем! —

Отшельник отвечал.

Челнок уже у корабля,  
Я в забытье немом,  
Челнок причалил к кораблю,  
И вдруг раздался гром.

Корабль  
внезапно  
тонет.

Из-под воды раздался он  
И ширится, растет:  
Он всколыхнул залив, и вот  
Корабль ко дну идет.

Старый Моряк  
находит  
спасенье  
в челноке.

От грома океан застыл,  
И небеса в тоске,  
И, как утопленник, я всплыл  
Из глуби налегке;  
Но я глаза свои открыл  
В надежном челноке.

В воронке, где погиб корабль,  
Челнок крутил волчком;  
Все стихло, только холм гудел,  
В нем отдавался гром.  
Открыл я рот — и кормщик вдруг,  
Закрыв лицо, упал;  
Святой отшельник бледен был  
И Бога призывал.  
Схватил я весла: и дитя,  
Помешано почти,  
Смеется, не отводит глаз  
От моего пути.  
— Ха! Ха! — бормочет, — как я рад,  
Что может Черт грести. —

И я в стране моей родной,  
На твердой я земле!  
Отшельник вышел и спешит,  
Скрывается во мгле.

Старый Моряк  
умоляет  
Отшельника  
принять  
его исповедь;  
и его душа  
облегчена.

«Постой! Я каяться хочу!»  
Отшельник хмурит взор  
И вопрошает: «Кто же ты?  
Что делал до сих пор?» —

И пал с меня тяжелый груз  
С мучительной тоской,



*С тех пор гнетет меня тоска  
В неведомый мне час...*

Что вынудила мой рассказ;  
И я пошел иной.

Но все-таки  
тоска  
заставляет  
его бродить  
из страны  
в страну.

С тех пор гнетет меня тоска  
В неведомый мне час,  
Пока я вновь не расскажу  
Мой сумрачный рассказ.

Как ночь, брожу из края в край,  
Метя то снег, то пыль;  
И по лицу я узнаю,  
Кто может выслушать мою  
Мучительную бль.  
О, как за дверью громок шум!  
Собрались гости там;  
Поет невеста на лугу  
С подружками гостям,  
И слышится вечерний звон,  
Зовя меня во храм.

О, Брачный Гость, я был в морях  
Пустынных одиноков,  
Так одиноков, как, может быть,  
Бывает только Бог.

Но я тебя не попрошу:  
На пир меня возьми!  
Идти мне слаще в Божий храм  
С хорошими людьми.

Ходить всем вместе в Божий храм  
И слушать там напев,  
Которым с Богом говорят,  
Средь стариков, мужчин, ребят,  
И юношей, и дев.

И учит  
на своем  
собственном  
примере  
любви  
и вниманью  
ко всей твари,  
которую создал  
и любит Бог.

Прощай, прощай! Но, Брачный Гость,  
Словам моим поверь!  
Тот молится, кто любит всех,  
Будь птица то иль зверь.

Тот молится, кто любит все —  
Создание и тварь;

Затем, что любящий и Бог  
Над этой тварью царь».

Моряк, с глазами из огня,  
С седой бородой,  
Ушел, и следом Брачный Гость  
Побрел к себе домой.

Побрел, как зверь, что оглушен,  
Спешит в свою нору:  
Но углубленной и мудрей  
Проснулся поутру.



# Уильям Вордсворт

## МАЙКЛ

### *Пастушеская поэма*

Когда, свернув с наезженного тракта  
В ущелье Гринхед, вы ступить решитесь  
Чуть дальше в глубь его, где своенравный  
Бурлит поток, дороги крутизна  
Вас отпугнет сперва: громады скал  
Воздвигнутся такой стеной надменной!  
Но — в путь смелей! Над бурным тем ручьем  
Они потом расступятся и взору  
Откроют потаенный тихий дол.  
Жилищ людских там не видать; лишь овцы  
Пасутся редкие на горных склонах,  
Да в поднебесье коршуны плывут —  
Воистину глубокое безлюдье.  
И я б не стал вам докучать рассказом  
О той долине — но одно в ней место  
Легко б могли тогда вы миновать  
И не заметить: грубых камней груды,  
Что высится на берегу ручья.  
Своя у них история; чудес  
И тайн в ней нет — однако ж можно, право,  
С ней не без пользы время скоротать  
У очага или в тени платана.  
Она одна из первых тех легенд,  
Каких слышал я отроком немало  
О пастухах. Уже тогда любил я  
Сих странников нагорий — но, увы,  
Любил не ради них самих, а ради  
Долин и круч, служивших им приютом.  
И вот юнца, что убегал от книжек,  
Но к кроткому и властному внушенью  
Природы не был глух, простая повесть  
Впервые научила сострадать  
Несчастью не своему — чужому  
И размышлять, пускай еще невнятно,  
О тех страстях, что правят человеком,  
О сердце и о жребии его.

Я эту повесть вам перескажу —  
Она, надеюсь, по сердцу придется  
Немногим тем, кто сердцем чист и прям,—  
И тем еще, другим,— с каким волнением  
Я думаю о них! — поэтам юным,  
Что, в свой черед поднявшись к этим долам,  
Меня заменят в них, когда уйду.

В долине Грасмир жил во время оно  
Пастух; он звался Майклом. Тверд душой,  
Несуетен, в кости широк и прочен,  
Он до седых волос сумел сберечь  
Недюжинную силу, ясный ум,  
Сноровку; был на труд любой горазд,  
А уж в своем-то ремесле пастушьем  
Знал толк, как ни один овчар вокруг:  
Знал, что несет с собою каждый ветер,  
Любой его порыв; другим, бывало,  
Еще и невдомек, а он уж слышал  
Подъятый южным ветром гул подземный,  
Как плач волынки дальной за холмом.  
И вспоминал он про свои отары,  
И приговаривал, собираясь в путь:  
«Вот ветер мне и задает работу!»  
Досужих странников торопит буря  
Искать укрытия — а его она  
Звала на склоны гор, и сколько раз он  
Один бывал там в самом сердце мглы,  
И чередой неслись над ним туманы.  
Так жил он добрых восемьдесят лет.  
И жаль того мне, кто решит поспешно,  
Что он на эти скалы и ручьи  
Взирал лишь с безучастием привычки:  
Зеленый дол, где так легко и вольно  
Дышалось пастуху; крутые склоны,  
Исхоженные вдоль и поперек  
Ногою твердой,— сколько в этих книгах  
Хранилось памяти о днях нужды  
И днях забот, о радостях и бедах,  
О тварях бессловесных, коих он  
Спасал, кормил, сгонял под кров надежный,—  
И трудный, честный свой считал барыш.  
Так диво ли, что горы, доли эти  
Свой вечный знак на нем напечатлели,

Что он их безотчетною любовью  
Любил, как жизнь свою, — как жизнь саму?

Не одиноко дни его текли.  
Их с ним делила верная подруга,  
Жена достойная, в годах почтенных,  
Хоть Майкла и на двадцать младше лет.  
Бодра, жива, всегда в трудах по дому —  
Воистину душа его; две прялки  
Резьбы старинной были у нее:  
Для шерсти — погрубей, для льна — потоньше;  
Коли одна смолкала, то затем лишь,  
Что наставлял черед жужжать другой.  
И был еще в семье, на радость им,  
Сынок единственный; судьба его  
Послала им, когда все чаще Майкл  
Стал намекать, что стареется он, —  
Уж, мол, стоит одной ногой в могиле.  
Вот этот сын да две овчарки верных  
(Одной так вовсе не было цены)  
И составляли весь их круг домашний.  
А что до трудолюбия, семейство  
Давно в пословицу вошло окрест.  
Когда с закатом дня отец и сын  
Под кров родной с нагорий возвращались,  
Они и тут не складывали рук.  
Так вплоть до ужина; тогда они  
За чистый стол садились, где их ждали  
И сытный суп, и свежий сыр домашний,  
И с молоком овсяные лепешки.  
Кончался ужин — Люк (так звался сын)  
Со стариком отцом себе искали  
Занятье, чтобы не сидеть без дела  
У очага: расчесывали шерсть  
Для матушкиных прялок, поправляли  
Косу, иль серп, иль цеп, иль что придется.

Лишь за окном смеркаться начинало —  
Под потолком, у кромки дымохода,  
Что сложен был на грубый местный лад  
И затенял огромным черным клином  
Полкомнаты, мать зажигала лампу.  
Нелегкую светильник древний сей



Нес службу, не в пример иным собратьям.  
От сумерек до ночи он горел,  
Бессменный спутник всех часов несчетных,  
Что здесь текли и складывались в годы,  
На лицах этих тружеников честных  
Встречая и с уходом оставляя  
Коль и не радости беспечной блеск,  
То ровный свет надежды терпеливой.  
Так Люку минуло осьмнадцать лет,  
И так они сидели каждый вечер,  
Отец и сын, под старой верной лампой,  
А мать все знай свою крутила прялку,  
И полнился весь дом в тиши вечерней  
Как бы жужжаньем летней мошкары.  
Свет этой лампы славен был окрест  
Как символ жизни честного семейства.  
К тому же дом их, надобно сказать,  
Стоял отдельно на холме отлогом,  
Откуда взгляд свободно простирался  
Во все пределы: в глубь ущелья Исдейл,  
К нагорьям Данмейл-Рейза, к деревушке,  
Ютившейся близ озера. И все,  
Кто жил в долине той, и стар и млад,  
По этому немеркнушему свету  
Прозвали дом Вечернею Звездой.

Вот так проживши многие года,  
Пастух, конечно же, любил супругу,  
Как самого себя; но сердцу Майкла  
Еще дороже был их сын желанный,  
Их позднышок. Тут не инстинкт один  
Был властен, не слепая нежность крови:  
Бесценнее всех прочих благ земных  
Дитя, что нам на склоне наших дней  
Даровано; оно с собой несет  
Надежду сердца и волненье мысли,  
Нежданных сил прилив,— все то, на что  
Скупей становится природа наша.  
Не описать, как он любил его,  
Души своей отраду! Как умело  
Малютку нянчил он, справляя с ним  
Заботы чисто женские,— не только  
Потехи ради, как мужья иные,  
А терпеливо, с ласковой охотой;

И колыбель его качал так нежно,  
Как лишь способна женская рука.

А в пору чуть поздней, когда малыш  
Лишь только-только вылез из пеленок,  
Любил суровый, нелюдимый Майкл,  
Чтоб был пострел всегда перед глазами,—  
Трудился ль сам он в поле, иль склонялся  
Над связанной овцой, пред ним простертой,  
Под древним дубом, росшим одиноко  
У хижины,— густая тень его  
От солнца укрывала стригалю,  
За что он и зовется по сю пору  
Во всей долине Стригальевым Дубом.  
И там, в тени прохладной, в окруженьи  
Серьезных и живых ребячьих лиц,  
Майкл только что и мог шутливо-строго,  
С укором нежным взглядывать на сына,  
Коль за ногу овцу хватал шалун  
Или ее, лежавшую покорно  
Под ножницами, возгласом пугал.

Когда же с Божьей помощью малец  
Стал пятилетним крепышом и щеки,  
Как яблочко, румянцем налились,  
Майкл срезал крепкий прут в подлеске зимнем,  
Железом рукоятку оковал —  
По всем статьям пастуший посох вышел.  
С орудьем этим у ворот овчарни  
Иль на пути к расщелине наш страж  
Теперь вставал, чтоб придержать овец  
Иль завернуть их. Вам, конечно, ясно,  
Что делу сей подпасок, сам с вершок,  
То ли подмогой был, то ли помехой.  
И оттого ему не так уж часто  
Отцова доставалась похвала —  
Хоть и старался он, что было сил,  
Пуская в дело, как овчар заправский,  
И посох свой, и властный взгляд, и голос.

Но вот сравнялось Люку десять лет,  
И он теперь уж грудью мог встречать  
Напоры горных ветров; ежедневно  
С отцом на равных отправлялся он

На пастбища, не жалуясь, что путь  
Тяжел и крут. И надо ль говорить,  
Что Майклу упования лет былых  
Еще дороже стали? Что от сына  
Шли токи чувств и будто прибавляли  
Сиянья солнцу и музыки ветру?  
Что ожил сердцем вновь седой овчар?

Так под отцовским оком мальчик рос —  
И к восемнадцатому году стал  
Родителю надеждой и опорой.

Но вот однажды в тихий мир семейства  
Пришла беда. Задолго до тех дней,  
О коих речь теперь веду я, Майкл  
Дал поручительство свое за ферму  
Племянника; хозяин работающий  
Племянник был, в достатке жил надежном.  
Но грянула нежданная гроза:  
Он разорился; предписание вышло,  
Чтоб поручителю покрыть убытки.  
То тяжкий был удар для пастуха:  
Доход его и так-то невелик,  
А тут отдай едва ль не половину.  
И показалось в первый миг ему,  
Что горше не бывает испытанья,  
Хоть думал прежде: уж в его-то годы  
Привычен к испытаньям человек.  
По размышленьи же, собрав все силы  
Души, чтоб заглянуть беде в глаза,  
Решил он было, что продать придется  
Наделов отчих часть, но сердце в нем  
Вновь дрогнуло, и он на третье утро  
Сказал жене: «Послушай, Исабел.  
Весь век на этих землях гнул я спину,  
И не сказать, чтоб милостью Господь  
Нас обделил на них; а попади  
Они в чужие руки,— видит Бог,  
Я не найду покоя и в могиле.  
Тяжел наш крест. Уж я ль не был в труде  
Чуть ли не солнца на небе прилежней?  
А вот, выходит, прожил лишь в разор  
Семье своей, седой глупец. Плохой  
Был родственничек тот — и выбор сделал

Плохой, коль нас обманывал; да хоть бы  
И не обманывал: ужели мало  
Других, кому намного был бы легче  
Такой урон! Простим ему. Но лучше б  
Язык отсох мой, чем такое молвить.

Но не к тому я начал речь вести.  
Надежда есть еще. Придется Люку  
Покинуть нас с тобою, Исабел.  
Не быть земле в чужих руках. Свободной  
Останется она и впредь; свободно  
Владеть он будет этою землей —  
Как вольный ветер, что шумит над нею.  
У нас, ты знаешь, есть свояк купец.  
Он пособит нам — при его достатках.  
Вот Люка мы и снарядим к нему;  
С его подмогой и своей сноровкой  
Он заработком скорым возместит  
Убыток наш и снова к нам вернется.  
А здесь ему что толку оставаться,  
Когда кругом, куда ни обернись,  
Лишь беднота одна?»

Старик умолк,  
И молча рядом Исабел сидела,  
А мыслью унеслась в года былые.  
Вот Ричард Бейтман, думалось ей:  
Был приходским сироткой; для него  
На паперти соседи собирали  
Монетки, а потом купили короб  
И мелочь всякую к нему — в разнос.  
Тот с коробом до Лондона добрел,  
А там купец сыскался сердобольный,  
Смышленного приметил паренька,  
На службу взял и за море послал  
Приказчиком в делах своих торговых.  
Тот нажил там несметные богатства  
И бедным щедро жертвовал из них,  
В приходе же своим родном часовню  
Построил, пол в ней мрамором устлал,  
Что тоже прислан был из стран заморских.  
Прикинула все это Исабел,  
И просветлело доброе лицо.  
А Майкл, довольный, так закончил речь:  
«Что ж, Исабел! Три дня мне эти думы

Заместо хлеба были и воды.  
Не все пропало; ведь осталось нам  
Намного больше. Эх, вот стать бы только  
Чуть помоложе! Но надеждой Бог  
Не обошел нас. Собирай-ка Люку  
Одежу лучшую; купи, что надо,  
И не сегодня-завтра в добрый путь!  
Уж коль идти, так чем скорей, тем лучше».  
Так Майкл закончил речь и с легким сердцем  
Пошел на поле. Принялась хозяйка  
Сбирать сыночка в дальнюю дорогу —  
Ни днем ни ночью не смыкала глаз.  
Но все ж была воскресной передышке  
И рада: ведь подряд две ночи Майкл  
Уж больно беспокойно, тяжело спал.  
А утром встали — сердце ей шепнуло:  
Грызет его тоска. И ввечеру,  
Оставшись с сыном, мать к нему присела  
И молвила: «Не уходи, сынок.  
Ведь ты один и есть у нас. Случись  
С тобою что — кого нам будет ждать,  
Кого жалеть? Не уходи, родимый.  
Коль ты отца покинешь, он умрет».  
Ее утешил юноша. Она же,  
Как поделилась страхами своими,  
Так ровно полегчало на душе.  
И славный ужин собрала под вечер,  
И все втроем они за стол уселись,  
Как дружная семья под Рождество.

С утра же снова закипели сборы,  
И всю неделю радостью светился  
Их дом, как роща в майский день, — а тут  
И весть от свояка к ним подоспела.  
Сей добрый человек им обещал,  
Как о родном, заботиться о Люке, —  
Пускай-де без опаски посылают.  
Раз десять было читано письмо,  
Мать понесла его прочесть соседям,  
И не было во всей земле английской  
Счастливей юноши, чем гордый Люк.  
Вернулась Исабел, и Майкл сказал:  
«Что ж, завтра и в дорогу». Тут хозяйка  
Запричитала, что в такой-то спешке

Они уж верно что-нибудь забудут,  
Но, поворчав, смирилась под конец,  
Да и у Майкла отлегло от сердца.

На берегу шумливого ручья  
В ущелье Гринхед Майкл уже давно  
Задумал для овец загон поставить.  
Еще до вести о своей потере  
Он натаскал туда камней; они  
Сейчас лежали там нестройной грудой.  
И Люка он в тот вечер к ним привел  
И так сказал: «Сынок, меня ты завтра  
Покинешь. С переполненной душою  
Я на тебя гляжу; ты для меня  
Надеждой был с рожденья твоего,  
И каждый новый день твой был мне в радость.  
Хочу сейчас я кое-что сказать  
Тебе о нас двоих, о наших жизнях;  
А ты об этом вспомни на чужбине —  
Хоть, может, речь пойдет и о вещах,  
Тебе неведомых.— Лишь ты родился,  
Так двое суток кряду и проспал,—  
С младенцами частенько так бывает,—  
И твоего отца благословенья  
Витали неотступно над тобой.  
День проходил за днем, а все сильнее  
Тебя любил я. Всех гармоний слаще  
Мне был твой первый бессловесный лепет,  
Напев дремотный твой у материнской  
Груды. Шли месяцы; мне приходилось  
Их проводить на пастбищах, в долинах —  
Не дома; а иначе б я, наверно,  
Тебя с коленей не спускал своих.  
Но мы ведь и играли вместе, Люк.  
На склонах этих разве не играли  
И молодость и старость в нас с тобой?  
И отказал ли я тебе когда  
Хоть в малом удовольствии ребячьем?»  
Был Люк душою мужествен и тверд,  
Но тут он разрыдался. А старик  
Взял за руку его и мягко молвил:  
«Не плачь, сынок. Не надо. Я уж вижу:  
Не стоит мне об этом толковать...  
Коли и впрямь во всем я был хорошим

Тебе отцом, то так велел мне долг —  
Мой неоплатный долг перед другими.  
Я стар и сед — но все ж о тех я помню,  
Кто в юности моей меня любил.  
Их нет уж, тех двоих. Почиют рядом  
Он в земле вот этой, где до них  
Почили предки их — отцы и деды.  
Хотел бы я, чтоб жизнь твоя такой же  
Была, какую прожили они.  
Но что глядеть назад нам, сын мой? Долог  
Был путь, ан вот невелика удача...  
Как эти перешли ко мне поля,  
Был чуть не каждый сажень в них заложен.  
Я сорок долгих лет кропил их потом,  
И Бог воздал мне: до беды последней  
Ты на земле свободной жил, мой Люк.  
Сдается мне — ей не стерпеть другого  
Хозяина. Прости меня Господь,  
Коль я несправедлив к тебе, но, видно,  
Судьба тебе идти». — Умолк старик;  
Потом, на грудь камней указавши,  
Продолжил: «Вот для нас была работа;  
Теперь лишь для меня она, сынок.  
Но первый камень положи ты сам,  
Вот этот — за меня — своей рукою...  
Ну, мальчик мой, — храни тебя Господь!  
Да ниспошлет он нам светлее дни,  
Чем эти! Хоть девятый уж десяток  
Пошел мне, я пока еще здоров  
И крепок. Ты свою исполни долю,  
А я — свою. Я завтра вновь примусь  
За те занятия, что твоими были;  
Всходить на самые крутые склоны,  
В грозу или в туман, теперь я буду  
Один. Но мне и не впервой такие  
Труды: я был задолго до того,  
Как Бог тебя послал мне, к ним привычен.  
Храни тебя Господь, сынок! Сейчас  
Надежд ты полон. Так и быть должно.  
Да, да... Я знаю, сам-то по себе  
Ты б никогда не пожелал уйти  
От старого отца: его ты любишь...  
И то сказать: коль ты покинешь нас,  
Что нам останется? — Но я опять

Речь не о том повел. Вот этот камень —  
Ты положи его; а как уйдешь,—  
Коль встретятся тебе дурные люди,  
Ты вспомни обо мне, к родному дому  
Душою обратись, и укрепит  
Тебя Господь; средь тягот и соблазнов  
Всегда ты помни, как отцы и деды  
В неведение, по простоте одной  
Вершили добрые дела. Ну что ж —  
Прощай, мой сын. Когда назад вернешься —  
Ты новое строенье здесь увидишь.  
То уговор наш. Но какой бы жребий  
Тебе ни выпал — знай, что твой отец  
До гробовой доски тебя любил  
И с мыслью о тебе сошел в могилу».

Пастух умолк; и наклонился Люк,  
И заложил загона первый камень,—  
И тут не выдержал старик: он сына  
К груди прижал, и целовал, и плакал.  
И вместе так домой пришли они.  
— С ночью тишиной на этот дом  
Сошел покой — иль видимый покой.  
А утром Люк отправился в дорогу,  
И, выйдя на проселок, горделиво  
Закинул голову, и все соседи  
Ему счастливого пути желали,  
И так, пока не скрылся он из виду,  
Молитвы их ему летели вслед.

От родственника стали приходить  
Известья добрые; и парень слал  
Почтительные, ласковые письма.  
Все было в них для стариков в новинку,  
Все радостью их души наполняло,  
И мать соседям часто говорила:  
«Уж так душевно пишет наш сынок!»  
Так месяц шел за месяцем; пастух  
Дни проводил в своих трудах привычных,  
И было на душе его легко.  
А выдастся свободная минутка —  
Он шел к ручью и строил помаленьку  
Загон.— Но вот все реже стали письма;  
Люк заленился; в городе беспутном





*Мне многих доведось встречать из тех,  
Кто помнил старика и знал, как жил он...*

И сам он сбился с честного пути,  
Навлек позор на голову свою;  
И под конец пришлось ему искать  
Себе укрыться за семью морями.

Есть утешенье в стойкости любви.  
Выносим с нею легче мы несчастья,  
Что нам иначе бы затмили разум  
Или разбили сердце на куски.  
Мне многих довелось встречать из тех,  
Кто помнил старика и знал, как жил он  
Еще и годы после той беды.  
Он до последних дней сберег свою  
Недюжинную силу — и, как прежде,  
Шагал по кручам, зорко примечал,  
Что солнце, ветер и облака сулили,—  
Все те же повседневные заботы  
Об овцах, о своем клочке земли.  
А то, бывало, побредет в ущелье,  
К ручью — загон свой строить. И тогда  
От жалости у всех щемило сердце —  
И до сих пор молва твердит, что часто  
Он приходил к ручью, садился там  
И камней даже пальцем не касался.

Сидел он там на берегу потока  
Один как перст или с собакой верной,  
Что смирно у его лежала ног.  
Семь долгих лет загон он строил свой  
И умер, так его и не достроив.  
Лишь на три года с небольшим жена  
Его пережила; потом надел  
Был продан — перешел в чужие руки.  
Дом, что Вечернею Звездой звали,  
Исчез с лица земли, и плуг прошелся  
По месту, на котором он стоял.  
И многое кругом переменялось.  
Но дуб, что рос пред домом их, и ныне  
Шумит, и громоздится камней гряда —  
Развалины овечьего загона —  
В ущелье Гринхед, где бурлит поток.



# Фридрих Гельдерлин

---

## РЕЙН

*Исааку фон Синклеру*

В плюще зеленом, на пороге леса,  
Сидел я, когда полдень золотой  
Спустился к истоку  
С альпийских вершин,  
Тех, что я именую, по древним преданьям,  
Крепостью небожителей,  
Которую строили боги,  
Но откуда иное из тайных  
Решений к людям доходит, и я  
Нежданно узнал  
Об одной судьбе, когда  
Душа моя в жаркой тени  
Устремилась мечтою  
В Италию  
Или к дальним морейским берегам.

Ныне в горах,  
Под серебром вершин,  
Под веселой листвою,  
Где к потоку склонились, дрожа,  
Чащи, где скалы  
Теснят друг друга,  
Взирая на волны,—  
Я услышал, как в холодной бездне  
Юноша об избавленье молил;  
Проклинал он и Землю-Мать,  
И отца своего, Громовержца,  
И его мученьям  
Сострадая, внимали родители,—  
Но смертные ринулись прочь,  
Ибо страшным было  
Бешенство полубога:  
Он метался в оковах, во тьме.

Так благородный я узнал поток,  
Вольнорожденный Рейн.

Иной он ждал судьбы, когда простился  
Он с братьями — Тессинот и Роданот,  
Когда нетерпеливо рвался в путь.  
Он в Азию стремился царственной душою,  
Но много ли значат желанья  
Для судьбы?  
А самый незрячий из всех  
Сын богов. Ибо смертному ведом  
Дом его, и у зверя есть  
Нора, лишь дети богов  
Мянутся, пути своего  
Не зная неопытным духом.

Таинствен тот, кто рожден в чистоте,  
Даже песнь этой тайны не знает.  
Ибо ты пребудешь, каким ты начал.  
Как ни сильна беда  
И опыт, сильнее всего  
Завет рожденья,  
Тот луч,  
Что озарит новорожденного.  
Но кто сможет всю жизнь  
Остаться вольным, лишь зову сердца  
Повинуясь? Кто рожден  
На счастливых вершинах, как Рейн,  
Возникший из лона святого?

Оттого и ликует слово его.  
Не любит он, как дети иные,  
Плакать в пеленках.  
Там, где берега  
К волнам его подступают  
И, жадно его обнимая,  
Юношу мыслят увлечь  
И уберечь надежно  
В ущельях своих,— он со смехом  
Разрывает путы и мчится  
С добычей своей, и если  
Властелин его не усмирит,  
Не покорит,— он, как молния,  
Опаляет землю, и, послушны волшбе,  
За ним спешат леса и колышутся горы.



*Разрывает пути и мчится  
С добычей своей...*

Но бог, не желая детям своим  
Непокоя, смеется,  
Когда, непокорны, теснимы  
Священными Альпами,  
Потоки бурлят вместе с Рейном.  
Ибо в этом горниле  
Закаляется чистота,  
И Рейн прекрасен, когда он,  
Покинувши горы,  
Течет по германской земле,  
Без забот, утоляя тревогу  
В добрых деяньях, и орошает поля,  
И чад своих кормит  
В основанных им городах.

Но он не забыл ничего.  
Ибо скорее рухнет  
И кров, и лад, и бесчестьем  
Станут людские дела,  
Чем он забудет рожденье свое  
И юности чистый голос.  
Кто первым дерзнул  
Нарушить узы любви  
И сделал оковами их?  
Тогда, поверив в отвагу свою,  
Огонь похитив небесный,  
Богов оскорбили строптивцы,—  
Отвергнув земной удел,  
Они возгордились,  
Возомнивши сравняться с богами.

Но бессмертьем своим  
Пресытились боги.  
Небожителям кровно нужны  
Герои и люди,  
Смертные. Ибо  
Блаженным блаженство неведомо  
И должен (хотя и дерзость  
Открыть эту тайну) во имя богов  
Другой за них сострадать.  
Он им нужен; но так судили они,  
Что разрушит свой дом  
И близких утратит, отца и детей  
Погребет под развалинами,

Кто желает достичь богов  
И до них вознестись, как безумец.

Благо тому, кто обрел  
Радостно-кроткий удел,  
И пусть шумит, как волна,  
Память странствий  
И сладкая память страданий  
У надежных прибрежий.  
Он может без страха  
Пределы те обозреть,  
Где ему божеством от рожденья  
Жить предназначено.  
Он покоится, зная свой жребий,  
Ибо все желанное,  
Все небесное ныне  
С веселой улыбкой само объемлет его,  
Когда смирилась отвага.

Я мыслю о полубогах,  
И мне ли не знать их, любимых,  
Ибо жизнь их так часто  
Волновала мою мятежную грудь.  
Но кто, как ты, Руссо,  
Всепобедным духом,  
Мощно-незыблемым, наделен,  
И ясным умом,  
И сладостным даром — внимать  
И так вещать, что он — в святом изобилье,—  
Как Дионис, божественный и безрассудный,  
Своевольно творит речь богов,  
Понятную добрым, карая по праву  
Неразумных рабов, осквернителей  
Слепотою,— каким назвать его именем?

Сынам Земли дана Вселюбовь.  
Как мать Земля, приемлют  
Счастливы все живое.  
Оттого смертному дивно  
И страшно  
Помыслить о небе,  
Которое он, любя,  
На плечах своих держит,  
И о бремени радости.

Он предпочтет  
Забиться там,  
Где не палят лучи,  
В лесной тени,  
У Билерзее, в зелени свежей,  
И учиться у соловьев  
Их песне, еще не томимый своею.

Но как отрадно, восстав от священного сна,  
Пробудившись в прохладе лесной,  
Вечером  
В неярком свете бродить,  
Когда творец гор,  
Путь начертавший потокам,  
Вдохнувший с улыбкой  
В скудную духом  
Людскую заботную жизнь  
Дыханье свое, словно в парус,—  
Покоится сам, и к своей ученице,  
Взыскав добра, а не зла,—  
К послушной Земле  
Склоняется сам Созидатель.

Тогда свадьбу празднуют люди и боги,  
Празднует все живое,  
И смиряется, пусть на время,  
Судьба.  
И беглецы ищут крова,  
А бойцы — благодатного сна,  
Только влюбленные  
Остаются такими, как прежде,  
Приют их — там, где цветок  
Нежится в легком тепле  
И по кронам мрачных деревьев  
Бежит дуновенье. Даже враги,  
Непримиримые, каются,  
Спеша подать руки друг другу,  
Покуда приветливый свет  
Не померк и ночь не спустилась.

Одни об этом  
Легко забывают, другие  
Долго помнят.  
Вечные боги всегда



Жизнью полны, но и смертный  
Может до самой кончины  
В памяти радость беречь,  
И в этом — высший удел.  
Но каждому — мера своя.  
Ибо трудно сносить  
Несчастье, но счастье — куда трудней.  
И все же сумел мудрец —  
С полудня до полночи  
И пока не зарделось утро,—  
В буйство не впасть на пиру.

Тебе может в бору, на жаркой тропе,  
Или во тьме дубравы, в броне или в облаке,  
Божество явиться, мой Синклер!  
Ты, юный, знаешь добрую мощь его,  
Улыбка властителя светит  
Тебе всегда,— днем ли,  
Когда томится в жарком бреду  
Все живое, или  
Ночью, когда в безначальной  
Тьме смешается все  
И возвратится  
Древний хаос.



# Вальтер Скотт

---

## ПОЛЕ ВАТЕРЛОО

### 1

Сокрылся позади Брюссель,  
И только слышим мы досель,  
Как, эхом повторен,  
Несется мерной чередой  
Над парками и над водой  
Часов протяжный звон.  
Мы входим, темный Суаньи,  
В леса дремучие твои:  
Здесь глянцевитый бук  
Непроницаемый шатер  
Своих густых ветвей простер  
На много лье вокруг.  
Напрасно путник, осмелев,  
Прохода ищет меж дерев,  
Поднявшихся стеной;  
И на ковер гнилой листвы  
Не упадет из синевы  
Ни луч, ни дождь, ни зной.  
Свет не обрадует очей,  
Шумя, сверкающий ручей  
Не вынырнет из мглы;  
Куда ни обращаем взгляд,  
Вдоль нашего пути стоят,  
Угрюмо вытянувшись в ряд,  
Угрюмые стволы.

### 2

Открылась неба синева,  
Вдаль отступают деревья,  
Видны кустарники, трава,  
Селенье и овраг.  
Крестьянин в поле у межи  
Склонился над снопами ржи;  
А ведь не ждал бедняк,  
Когда стояли зелены

Вблизи нещадного огня,  
    Что снимет спелый злак!  
А там лачуги позади  
И храм... О путник, не гляди  
    С презрением на село:  
Хоть жалок колокольни вид,  
Но вспомни, что она стоит  
    В бессмертном Ватерлоо!

3

Не бойся солнца, хоть волной  
Нас обдаёт осенний зной  
И далеко отставший лес  
Не защищает от небес:  
Был день, когда поля и лог  
Иной огонь сильнее жег.  
Идем вперед мы, где кусты,  
Венчая гребень высоты,  
    Над полем поднялись.  
Отлогий холм уходит вдаль  
И, как красавицы вуаль,  
    Спадает плавно вниз.  
Немного дале, в свой черед,  
Пред нами новый холм встает,  
    Сокрывший небосклон,  
И, образуя полукруг,  
Широкою грядкою луг  
    Охватывает он.  
Здесь спуск удобен и подъем,  
И дева робкая верхом  
Без страха правит скакуном,  
    Спускаясь в мирный дол.  
Ни куст, ни дерево, ни сад  
Дороги ей не преградят,  
    Ни ров, ни частокол.  
Но дальше, рощей затенен,  
Подъемлет башни Угумон.

4

И если путника спросить,  
Что здесь могло происходить,  
    То скажет он в ответ:

«С широких спашанных полос  
Крестьянин урожай увез,  
И тяжело нагруженный воз  
Своих окованных колес  
Оставил длинный след.  
А мужики навеселе  
На той утопанной земле  
Плясали до утра,  
И пировали у лачуг,  
Там, где, спаленный, черен луг,  
И жены их сновали вокруг  
Горящего костра».

5

И он и каждый так решит,  
Кто этот край впервые зрит.  
Но только не жнецы  
Трудились здесь, и не серпом,  
А пикой, саблей и штыком —  
Суровые бойцы.  
Не хлеб сбирали в сих полях,  
Не жалкий злак; но каждый взмах  
Героев повергал во прах,  
Как срезанный ячмень;  
И в час, когда ночная мгла  
На жатву страшную сошла,  
Скирдами высились тела  
Сраженных в этот день.

6

Взгляни опять — тот черный знак  
Оставил на поле бивак;  
Вокруг него следы атак  
И грозного огня.  
А рядом, где засохла грязь,  
Там кровь потоками лилась  
И, в битву яростно стремясь,  
Хлестал драгун коня.  
Вон та глубокая нора —  
След раскаленного ядра.  
Ты чувствуешь, как смрадный пар  
Вливается в полдневный жар

Зловонною волной  
Из недр засыпанных холмов?  
Знай — то Убийство до краев  
Амбар набило свой.

7

То был не праздник средь равнин,  
Какой справляет селянин,  
Оставив серп и плуг!  
Над обезумевшей толпой  
Носилась Смерть под битвы вой,  
И всех на пир кровавый свой  
Она звала вокруг.  
А Дьявол, разрывая тьму,  
Гостей отыскивал в дыму,  
И удавалось ему  
Расслышать каждый звук,  
Вливающийся в бранный рев,—  
От зычных пушечных громов,  
И крика дикого стрелков,  
И лязга дикого клинков  
До хрипа смертных мук,  
Когда при скрежете зубов  
Смолкает сердца стук.

8

Пируй, жестокий враг людской!  
Пируй, но знай: чем жарче бой  
С его нещадною резней,  
Тем кончится скорей:  
Губительный напор войны  
Спадает, коль истощены  
Все силы у людей.  
Надежда тщетная! С утра  
Поднялся к тучам крик «ура!»  
Над полем роковым;  
Теперь уж близится закат,  
Но не смолкает крик солдат,  
Клубится черный дым.  
И свыше десяти часов  
Идут, идут с вершин холмов  
На бранный дол ряды полков —



*Над обезумевшей толпой  
Носилась Смерть под битвы вой...*

Несметно их число;  
Свирепым штурмам нет конца,  
Не утихает град свинца:  
Все в страшный бой пошло —  
Уменье, сила и расчет,  
Но битвы не решен исход  
На поле Ватерлоо.

9

Скажи, Брюссель, что думал ты,  
Когда с далекой высоты  
Протяжный несясь гром  
И с дрожью слышал млад и стар  
Звук, предвещавший им пожар,  
Насилье и разгром?  
Как страшно в грохоте колес  
Вдоль улиц двигался обоз  
Страданием груженных телег,  
Везя израненных калек,  
И позади кровавый ток  
Струился прямо на песок.  
Как часто, слыша барабан,  
Ты думал, что вошел тиран  
И что занес уже Разбой  
Кровавый факел над тобой.  
О не страшись! На поле том  
Напрасно на тебя перстом  
Указывает враг,  
И, не привыкший уступать,  
Опять вздымает и опять  
Кровавый вал атак.

10

Он все кричал: «Марш! Марш! Быстрей!  
На пламя ярых батарей!  
На вражеский заслон!  
Пусть каждый латник в бой идет!  
Уланы с пиками, вперед!  
Гвардейцы, Франция зовет  
И я, Наполеон!»  
В ответ восторга клич звучал.  
Он смерти лучших обрекал,

Но с ними горестный удел  
Сам разделить не захотел.  
А Тот — отчизны щит и меч —  
Являлся средь кровавых сеч,  
Чтобы сердца солдат зажечь,  
    Как света луч дневной;  
Одушевляя каждый полк,  
Вождь восклицал: «Исполним долг  
    Пред Англией родной!»

11

Поднялся вихрь, сражение скрыв,  
Как бури яростный порыв;  
Поднялся вихрь, и сталь за ним  
Сверкнула молнией сквозь дым;  
    Проснулась вновь война.  
Три сотни пушек, озверев,  
Извергли из горящих чрев  
    Потоки чугуна.  
И за завесою огня  
Пришпорил кирасир коня,  
Уланы, пиками звеня,  
Пошли, и, войско осеня,  
    Взметнулись знамена.  
Как бурные потоки вод,  
Французы ринулись вперед.  
И над равниной в тот же миг  
Протяжный и свирепый крик  
В честь императора возник.

12

Но страшный натиск вражьих сил  
Сердец британских не смутил;  
Никто из доблестных солдат  
Не опустил свой гордый взгляд,  
И возле падающих тел  
Их твердый шаг не ослабел.  
Как только ядра рвали строй,  
Они смыкались вновь стеной,  
И снова высились, тверды,  
Их непреклонные ряды.  
Когда ж пред ними, как мираж,



Из дыма вырвался плюмаж,  
Кираса, пика и палаш —  
Загрохотал огонь!  
И каждый бравый мушкетер  
В стрельбе проворен был и скор  
И точно выпускал заряд,  
Как будто это был парад.  
Пробили пули бронь.  
Упали кони, седоки;  
Свалились шлемы, тесаки;  
Орлы знаменные, значки  
Валяются в пыли.  
А эскадроны англичан,  
Тесня врагов смятенный стан,  
Их с флангов обошли.  
И вспыхнул рукопашный бой  
Вслед за ружейною пальбой;  
Как в кузнице, со всех сторон  
Металла раздавался звон.  
Когда ж, взметая дым и прах,  
Пробили пушки брешь в рядах,  
Когда врубилась сталь клинков  
В шеренги дрогнувших полков,  
Мгновенный страх объял солдат —  
И с воплем ринулись назад  
Остатки вражеских колонн,  
Без командиров, без знамен.

13

Тут, Веллингтон, твой острый взор  
Судьбы увидел приговор:  
В тот день британский строй  
Под натиском врага стоял,  
Как ряд родных прибрежных скал;  
Когда же ты «Вперед!» сказал,  
Он хлынул, как прибой.  
А ты, коварный властелин,  
Узри позор своих дружин!  
Ты мнишь, что сломленная рать  
Лавину сможет удержать;  
Иль ветеранам нипочем  
С британским встретиться штыком?  
Теперь ты вдаль взгляни,

Где скачут в бой вослед знамен  
За эскадроном эскадрон;  
Ты думаешь, они —  
Войска победные Груши?  
Нет, обольщаться не спеши —  
То пруссаки идут!  
Иль ты забыл сей трубный глас,  
Зловещий в твой недобрый час,  
Который прозвучал сейчас,  
Как зов на страшный суд?  
О, если б ты увлек с собой  
Остатки войск в последний бой  
И вместе с ними пал!  
Ты Риму подражать хотел —  
Так вспомни горестный удел  
Вождя, что притяжал  
На императорский венок  
И гладиаторов увлек  
В мятежный свой союз.  
Он твердо встретил злобный рок,  
Не бросил тех, кого обрек  
На гибель, но, держа клинок,  
На поле брани с ними лег —  
Злодей, но все ж не трус.

14

Но если робкою душой  
Спасения любой ценой  
Ты жаждешь, — прочь стреми свой бег,  
Хоть двадцать тысяч человек  
Смерть приняли в бою,  
Чтоб славу для тебя стяжать,  
А ты ее теперь отдать  
Готов за жизнь свою.  
В веках грядущих кто поймет  
Изменчивость твою? Где тот  
Герой, кого являли нам  
Маренго, Лоди и Ваграм?  
Иль дух твой — как поток:  
Наполненный снегами с круч,  
Он вниз свергается, могуч,  
Неистов и широк;  
Когда ж нет помощи ничьей,

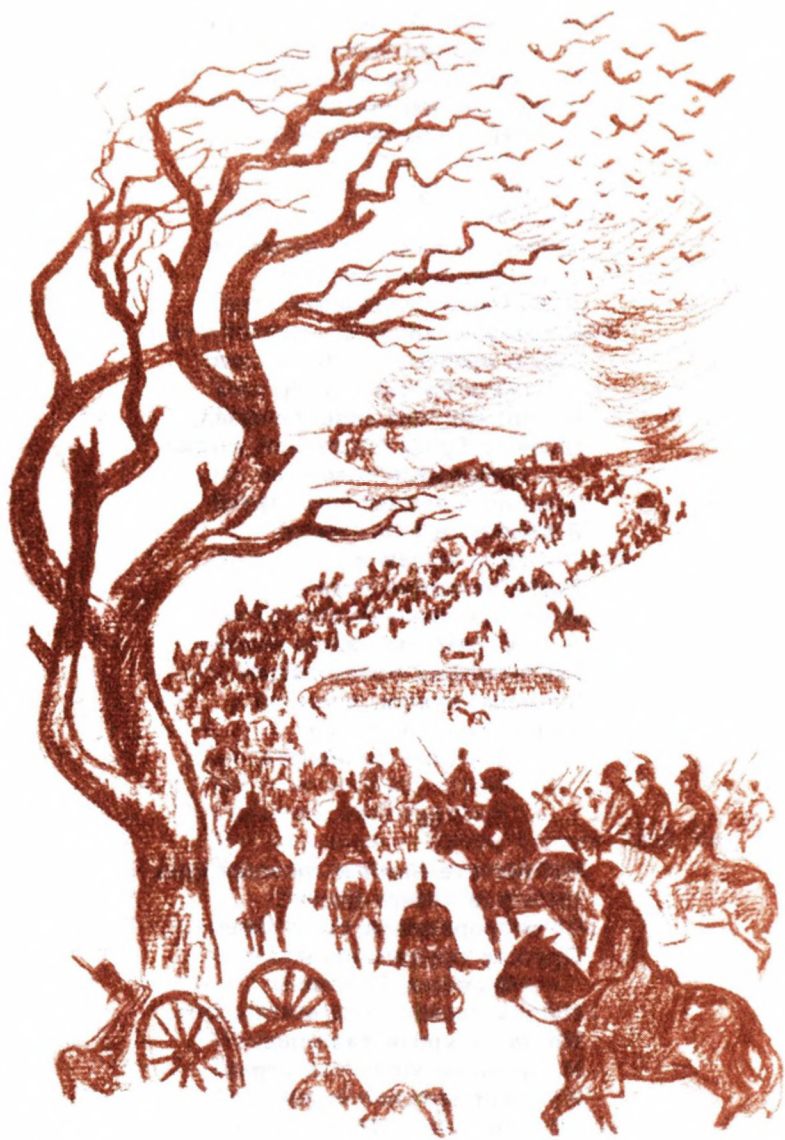
Он — жалкий, высохший ручей,  
И вдоль него тогда  
Остатки буйств его видны —  
Навалены, наметены,  
Но силы нет следа.

15

Пришпорь коня! Не то опять  
Тебе придется услышать  
Твоих гвардейцев стон,  
В котором, мнилось, жгучий стыд  
Был с яростью и болью слит:  
«Уж лучше б умер он!»  
Но прежде чем скакать назад,  
На поле брось последний взгляд,  
Прощаясь навсегда.  
Туманный месяц свет струит  
В долину, и она бурлит,  
Как полая вода,  
Когда весенняя река  
Несет пожитки бедняка,  
Стремя за валом вал,—  
Так бешеный поток людей  
Знамена, пушки, лошадей  
Увлек лавиною своей  
И в поле разбросал.

16

Чу! Мстительный и грозный крик  
До слуха твоего достиг.  
То в прорванном тылу твоём  
Пруссак орудует копьем.  
В снегах Березины  
Не так зловещ был возглас тот,  
Когда от крови таял лед,  
И, средь бегущих сея страх,  
Кричали яростно «ура!»  
Донских степей сыны.  
Иль вспомни вопль, что мрак пронзил  
Под Лейпцигом, когда без сил  
Тобой союзник брошен был  
И трупов полная река



*Не так зловещ был возглас тот,  
Когда от крови таял лед...*

Прияла тело поляка.  
Тебе ж средь этих бед судьбой  
Назначен жребий был другой.  
И ныне роковой исход  
Ждал не сражение, не поход;  
Нет, час решительный настал,  
Ты славу, имя потерял,  
Империю и честь;  
И пал с главы твоей венец,  
Когда излились наконец  
Небесный гнев и месть.

17

Ты хочешь жить? Тогда смирись,  
Витиям дерзким покорись,  
Которых некогда презрел;  
Они среди ничтожных дел  
Решат твой царственный удел.  
Иль жребий менее суров —  
Искать приюта у врагов,  
Против которых свой кинжал  
Ты постоянно обнажал?  
Тому примеры есть  
В анналах древности седой.  
И, будь свободен выбор твой,  
Тебе б он сделал честь.  
Так приходи. Мы не почтем  
Поверженного ниц врагом,  
Хоть горький опыт говорит:  
Дружить с тобой не сможет бритт.  
И все ж мы скажем: приходи,  
Но не скрывай надежд в груди,  
Не помышляй, что впереди  
Тебя ждет власть опять.  
Мы не хотим, чтоб спесь твоя,  
Таящаяся, как змея,  
Могла главу поднять.  
Приди, но ты не сможешь, знай,  
Ни остров, ни единый край  
Теперь своим наречь;  
Тебя покинут все войска:  
Не должно оставлять клинка,  
Чтоб завладела им рука,  
Из коей вырван меч.

Быть может, ты, покинув свет,  
 Славнейшую из всех побед  
     Сумеешь одержать;  
 Триумф без крови, без вреда  
 И без вассалов лишь тогда  
     Дано тебе стяжать,  
 Когда избудешь ты в тиши  
 Неистовство своей души:  
     Оно — твой злобный рок.  
 Внемли мне: я не раз вздыхал,  
 О том помывшись, *чем ты стал*  
     И чем ты *стать бы мог!*

А ты, чьи подвиги страна  
 Бессильна наградить сполна,  
 Ты истинную благодать  
 Лишь в сердце можешь отыскать.  
 Восторг народа твоего,  
 И всей Европы торжество,  
 Привет монарха и палат,  
 Высокий сан, поток наград  
 Не стоят тех благих минут,  
 Когда, окончив бранный труд,  
 Ты скажешь: «Я дерзнул извлечь  
 Лишь для отечества свой меч  
 И не вложил его в ножны,  
 Пока не выиграл войны».

Взгляни с поникшей головой  
 На поле славы боевой.  
 От триумфальных колесниц  
 Всегда несется плач вдовиц.  
 В тот день рука войны в крови  
 Расторгла столько уз любви!  
 Страшнее битв не видел свет,  
 Дороже не знавал побед.  
 И льются слезы у могил

Тех, кто навеки здесь почил.  
Здесь и отец, что не прижмет  
К груди оставленных сирот;  
И сын, что к матери родной  
Уж не воротится домой;  
Жених, кому не обнимать  
Невесту робкую опять;  
Супруг, что не познает вновь  
Подруги верную любовь.  
Родных и близких без числа  
Смерть беспощадно унесла!  
И если черная вуаль  
Скрывает девичью печаль,  
Иль женский плач раздастся вдруг  
В ответ на барабанный стук,  
Иль потаенная тоска  
Терзает сердце старика,—  
Не вопрошай, какое зло  
Причиной,— вспомни Ватерлоо!

21

День нашей доблести и слез,  
Какие жизни ты унес!  
Тобой Британии сыны  
В анналах подвигов страны  
Навеки запечатлены.  
Ты видел, как, рубясь в бою,  
Окончил Пиктон жизнь свою;  
Как Понсонби, лишаясь сил,  
Глаза орлиные смежил.  
Де Ланси вместо брачных уз  
Со смертью заключил союз.  
А Миллер, падая, привет  
Родным знаменам слал вослед.  
Потомок северных племен,  
Сражен могучий Камерон;  
А Гордон, жизни не щадя,  
Погиб бесстрашно за вождя.  
Увы! хоть силой неземной  
Спасен Британии герой,  
Всю мощь перунов роковых  
Изведал он в друзьях своих.

Простите, павшие в бою,  
 Песнь недостойную мою!  
 Высокий стих и лиры глас  
 Бессильны возвеличить вас  
 Всех — от прославленных вождей  
 До скромных и простых людей.  
 Легко в то утро встали вы  
 С сырого ложа из травы,  
 Чтоб раньше, чем померкнет день,  
 В могильную сокрыться сень.  
 Падет слеза на ваш покров,  
 Свят до скончания веков  
     Героев будет сон.  
 Когда ж британец здесь пройдет,  
 Молитву тихо он прочтет  
 За павших, тех, кого в поход  
     Вел славный Веллингтон!

Прощай же, поле, где видны  
 Следы губительной войны.  
 Надолго память сохранит  
 Твоих разбитых хижин вид,  
 Тебя, прекрасный Угумон,  
 Израненный со всех сторон.  
 Пусть сад зеленоглавый твой  
 Стал местом сечи роковой,  
 Пусть на деревья без конца  
 Свирепо падал град свинца  
 И возле почерневших врат  
 Они повержены лежат,  
 Но ты в разгроме и в борьбе  
 Обрел бессмертие себе!  
 Да, можно Азенкур забыть,  
 Кресси в безвестности сокрыть,  
     Но, сколько б лет ни шло,  
 Уста молвы и песни звон  
 Расскажут людям всех времен  
 Про непреклонный Угумон  
     И поле Ватерлоо.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Река времен! покоя нет тебе.  
Стремясь от колыбели до могилы,  
Людские поколения к их судьбе  
Ты неуклонно мчишь чредой унылой.  
Твое течение быстрое вместило  
Ладью веселья, и баркас труда,  
И бриг тюремный, мрачный  
и постылый...

Все вдаль плывут, рабы и господа,  
В один безмолвный порт стремятся  
все суда.

Река времен! какие перемены  
Познала наша брэнная ладья!  
Не ведали доселе во вселенной  
Подобных бед Адама сыновья.  
Столь странных превращений бытия,  
Внезапных смен блаженства и мученья,  
Вершенья судеб острием копья  
Грядущие не узрят поколения,  
Покуда ты свое не прекратишь течение.

Моя отчизна, ты борьбу вела,  
Неколебима в радости и горе.  
За истину и благо, как скала,  
Стояла твердо ты в державном споре  
В дни тяжкие, когда, как псов на своре,  
Полмира на тебя повел злодей,  
И в час, когда пришло тебе подспорье,  
И посылала лучших сыновей  
Европа, чтоб помочь Владычице морей.

Твой подвиг награжден. Но солнце славы  
Не озаряло долго небосвод,  
И, как заря востока, величаво  
Оно взошло сперва над лоном вод;  
Затем Египет зрел его восход,  
И знойной Майды мирты и оливы,  
Где твой отважный воин в свой черед,  
Как до него моряк вольнолюбивый,  
Смыл кровью вражеской упрек  
несправедливый.

Страна моя, прекрасен твой восторг.  
Вздымай хоругви своего патрона!  
Ведь ты, как доблестный святой Георг,  
Обрушилась на страшного дракона  
И, вызволив невинность из полона,  
Низвергла тираническую власть.  
Так пусть же мир дивится на знамена  
Воителя, что отвратил напасть  
И справедливости не дал навеки пасть.

Но, слыша хор всеобщего признанья,  
Добытого столь дорогой ценой,  
Британия, запомни в назиданье  
Потомству, что не тот еще герой,  
Кто храбро ринулся на вражий строй  
Иль не отдал в бою родного стяга,—  
Корысть и спесь ведут таких порой.  
Пусть постоянством в сотворенье блага  
Венчается всегда твоих сынов отвага.



# Джордж Гордон Байрон

## ОСАДА КОРИНФА

*Джону Гобгоузу, эсквайру,  
посвящает эту поэму  
е го друг.*

22 января 1816 г.

### ПРЕДИСЛОВИЕ

«Большая армия турок (1715 г.) под начальством великого визиря, стремясь проложить себе дорогу к сердцу Мореи и организовать осаду Наполи-ди-Романья, самой сильной крепости страны, сочла необходимым сначала атаковать Коринф и много раз штурмовала его. Когда гарнизон ослабел и губернатор убедился в невозможности сопротивляться дольше мощному противнику, был подан сигнал о желании вступить в переговоры. Но пока обсуждались условия сдачи, в турецком лагере случайно взорвался один из пороховых погребов, где находилось шестьсот бочонков пороха; при этом погибло от шестисот до семисот человек. Это событие привело неверных в такую ярость, что они отказались принять капитуляцию, бешено пошли на приступ, ворвались в город и перерезали весь гарнизон во главе с губернатором Минотти. Уцелевшие, в том числе чрезвычайный проведитор Антонио Бельбо, были уведены в плен». (История турок. Лондон, 1719, т. 3, с. 151.)

От Христа, кем людской спасен был род,  
Шел тысяча восемьсот десятый год;  
Мы дружной бандой блуждали зря  
Верхом по земле, на судах чрез моря,  
Судьбу за веселье благодаря.  
На утесы — в лоб, через реки — вброд;  
Наши кони без отдыха шли вперед;  
Порой в сарае иль в гроте сыром  
Мы сладко спали глубоким сном;  
Порой, завернувшись в грубый плащ,  
Мы на жесткий дек, на прибрежный хрящ  
Валились, под голову ткнув седло,  
И как нам спалось легко и светло!

А наавтра мы вставали,  
Речью вольной ширя грудь,  
Свежи, бодры; ждал нас путь,  
Зной и труд, — но не печали.  
Были мы из разных стран:  
Этим — четки, тем — коран,  
Тем — завет; не верят эти  
Ни во что, махнув рукой.  
И где еще найти на свете  
Сброд, столь же пестрый и живой?

Из них — кто умер, кто — далек;  
Кто — в мире бродит, одинок;  
Кто мчит мятеж в теснинах горных,  
Которыми покрыт Эпир,  
Где вольность правит буйный пир  
И кровью мстит за кровь покорных<sup>1</sup>;  
Томятся те в стране чужой;  
Тем — не дал мира дом родной,  
И никогда уж нам опять  
Ни вместе плыть, ни пировать!

Дни были трудны, но светлы!  
Теперь, когда живу средь мглы,  
Мечты, как ласточки, скользят  
Над гладью вод, зовут назад;  
Несут мой дух туда, туда,  
Через моря, через года!  
И песня вновь звучит моя,  
И часто, слишком часто, я —  
Немногих, кто привык терпеть  
Мой стих, — зову со мной лететь.  
Что, странник? Бросим вместе взор,  
Сев на скалу, с Акро-Коринфских гор?

# I

Немало тяжких дней и лет,  
Свирепых бурь, военных бед

---

<sup>1</sup> Недавно полученные сведения о Дервише (один из сопровождавших меня арнаутов) говорят, что он принял участие в повстанческом движении горцев и возглавлял один из отрядов, столь многочисленных в этой стране, в смутное время. (Здесь и далее под строкой даются авторские примечания.— *Примеч. сост.*)

Стерпел Коринф. Но все живет  
Свободой созданный оплот.  
Землетрясенья, буйство гроз  
Не потрясли седой утес,—  
Замок поруганной страны,  
Что так прекрасна с вышины,—  
Границу древних двух морей,  
Что плещут пурпуром зыбей,  
Кидаясь в бой, но, присмирив,  
К подножью скал слагают гнев.  
Но, хлынь из недр земли вся та  
Кровь, что была тут пролита  
С тех пор, когда Тимолеон  
Жизнь брата взял, иль, отражен,  
Пал царь персидский,— был бы он,  
Бессильный перешеек, смыт  
Ударом крови о гранит;  
И если б кости всех, кто пал,  
Собрать в одно у этих скал,—  
То пирамида высотой  
Поспорила б с вершиной той,  
Где Акрополь стоит века,  
Целуя башней облака.

## II

Где Киферон свой хмурит пик,  
Сверкают двадцать тысяч пик;  
Весь перешеек у горы  
Собой заполнили шатры,  
И мусульманская луна  
Над лагерем вознесена.  
Там смуглые спаги летят,  
Ловя паши единый взгляд;  
На тесных пляжах там и тут  
Полки в крутых чалмах идут;  
Верблюды араба встал с колен;  
Стада покинувший туркмен<sup>1</sup>  
Кривою саблею грозит;  
Коня татарин горячит;  
Бьют пушки, громом перекрыв

---

<sup>1</sup> Туркмены ведут патриархальную кочевую жизнь; живут они в палатках.

У скал рокочущий прилив.  
Ров вырыт. Пушек жаркий дых  
Мчит смерть на крыльях ядр литых,  
И там и тут куски стены  
Ударом тяжким сметены.  
Но со стены упорный враг  
Сквозь дымный дол и горный мрак  
Неверным шлет ответ живой  
Своею меткою пальбой.

### III

Но кто громит коринфский вал?  
Кто глубже черное познал  
Искусство гибельной войны,  
Чем все османовы сыны?  
Кто всех других вождей смелей  
Средь окровавленных полей?  
Кто, взмылив скакуна, летит  
На аванпосты, где кипит  
Вдруг вылазка,— и обуян  
Смятением строй магометан;  
Иль, где укрытых пушек ряд  
На турок сыплет жаркий град,—  
Кто их зовет, сойдя с коня,  
В ответ удвоить мощь огня?  
То — первый между всех бойцов,  
Восторг султана, страх врагов,  
Умеющий нацелить ствол,  
Из сабли сделать ореол,  
Метать копье, вести солдат,—  
Алп, веницейский ренегат!

### IV

От благородных предков он  
В самой Венеции рожден;  
Но, изгнан с берегов ее,  
Смел на отечество свое  
Поднять врученный им же меч  
И бритый лоб чалмой облечь...  
Коринф, снеся немало зол,  
Со всей Элладой отошел  
К Венеции; и вот теперь



*От благородных предков он  
В самой Венеции рожден...*

Враг той и той стучится в дверь;  
Алп — тоже враг; и злобный пыл  
Бушует в сердце, полным сил:  
Как всякий новый прозелит,  
Он помнит тысячи обид.  
Свой город Алп «Свободным» чтит;  
Тот — имя древнее забыл;  
Однажды ночью тайный враг  
К дворцу Санкт-Марка, через мрак,  
В «Пасть льва» рукой презренной снес  
На Алпа роковой донос;  
Спасаясь, он бежать успел,  
Чтоб тратить жизнь меж бранных дел;  
Чтоб поняла его страна,  
Кого утратила она,  
Решил он Крест Луной стереть  
И — отомстить иль умереть!

## V

Сам Кумурджи <sup>1</sup>, — чья смерть была  
Венцом имперского орла,  
Евгения, — когда в бою  
Последним пав, не смерть свою  
Он клял, томясь от жарких ран,  
А лишь победу христиан, —  
Чья слава будет жить века,  
Коль христианская рука  
Им отнятую в страшный год  
Свободу грекам не вернет; —  
Сам Кумурджи (назад сто лет  
Исламу давший блеск побед)  
Шел во главе турецких орд  
И Алпу отдал, строг и тверд,

---

<sup>1</sup> Али Кумурджи, фаворит трех султанов и великий визирь Ахмеда III, отвоевавший в течение одной кампании Пелопоннес у венецианцев, вскоре был смертельно ранен в бою при Петервардине (в Карловитцкой равнине) в Венгрии, — в тот момент, когда он стремился сплотить свою гвардию. Перед смертью он приказал обезглавить генерала Брейнера и других пленников; последние слова его были: «О, если б я мог сделать это со всеми христианскими собаками!» — восклицание, достойное Каллигулы. Это был молодой человек с большим самолюбием и беспредельным самомнением; когда ему сказали, что принц Евгений, его противник, «великий полководец», он ответил: «Я превзойду его — за его счет».



Свой авангард: он вспоминал,  
Что Алп не раз твердыни брал,  
Что Алп смертельным схваткам рад,  
Весь новой верою объят.

## VI

Слабеют стены. С батарей  
Громят их ядра. Все быстрее  
Валясь на осажденный град,  
Крошит зубцы горячий град,  
И отдается средь долин  
Гром раскаленных кулеврин;  
И, здесь и там, за домом дом  
От бомб кругом объят огнем;  
И упадают зданья в ад,—  
В вулкан взорвавшихся гранат,  
И пламя рвется на дыбы,  
Свиваясь в алые столбы,  
И метеоры искр метет —  
Земные звезды — в небосвод;  
День стал мрачней иных ночей,  
Непроницаем для лучей,  
И дымы с тучами слились  
В сплошную — цвета серы — высь.

## VII

Но Алп, уча своих солдат  
Прodelать брешь в кольце оград,  
Не мщенья жаждет одного,  
Что столько лет влечет его:  
Взять девушку, что заперта  
За той стеной,— его мечта,  
Назло жестокому отцу,  
Кто не пустил ее к венцу  
С ним, с Алпом, в лучшие года,  
Когда иным он был; когда,  
Нося другое имя, он  
Изменой не был заклемен;  
Когда в гондоле иль средь зал  
Блистал он в пышный карнавал  
Иль нежил песнею живой  
Над Адриатикой ночной  
Слух итальянки молодой.

## VIII

Все думали, что влюблена  
В него Франческа: ведь она,  
Церковных избежав оков,  
Сплюшь отвергала женихов.  
Когда ж адриатический вал  
Ланчотто в Турцию умчал,—  
Грустна, задумчива, бледна  
Внезапно сделалась она;  
Ее манит конфессьонал,  
А не балы; пойдет на бал,—  
Глаза холодный приговор  
Шлют всем, кого пленил их взор;  
И был рассеян этот взгляд;  
Не столь обдуман стал наряд;  
И голос в хоре пел не так;  
И стал тяжеле легкий шаг  
Скользить меж пар, что лишь с зарей  
Решались кончить танец свой.

## IX

Был послан править той страной  
(Что венецианскою рукой  
От Патры до Эвбейских вод  
У турок отнята в тот год,  
Когда Собесский охладил  
Под Будю турецкий пыл) —  
Минотти; и коринфский вал  
С тех пор власть дождей охранял.  
Пока спокойной жизни цвет  
Там цвел взамен привычных бед  
И мирный договор Стамбул  
Еще нарушить не дерзнул,—  
Он вызвал дочь. Красы такой,—  
С тех пор как Менелай женой  
Был брошен и, в расплату, кровь  
Омыла грешную любовь,—  
Столь совершенной красоты  
Не скрыли здешних гор хребты.

## Х

Зияет брешь в крутом валу.  
Едва лучи прорежут мглу,—  
По грудам в прах разбитых плит  
Свирепый приступ загремит.  
Ряды построены; готов  
Отряд отборнейших бойцов;  
«Колонной смерти» их зовут,  
И, смерть презрев, они пройдут  
Везде, разя кинжалом в грудь,  
Иль вымостят телами путь,  
Чтобы идущий вслед герой  
Имел опору под ногой.

## XI

Ночь. Над горами взнесена,  
Сверкает полная луна;  
Синь моря; черный океан  
Такой же синью осиян,  
И, бестелесные, едва  
В нем звезд мерцают острова.  
Кто, упоен таким свеченьем,  
Взглянув на дольний мир с презреньем,  
Себе не жаждал легких крыл,  
Чтоб взвиться в вечный блеск светил?  
Как высь, лазурна и светла  
Вода в заливах залегла,  
Нежней, чем лепеты ключа,  
По галькам пеною плеща;  
И ветер спит, как спит волна;  
С древков поникли знамена,  
И полумесяцы над ними  
Сверкают рожками крутыми;  
И все объято тишиной,  
Порой лишь крикнет часовой,  
Порой лишь дробно конь заржет  
И эхо в скалах всколыхнет;  
Да говор многих голосов,  
Как шум листвы, среди шатров  
Пройдет, когда в глуби долин  
К молитве кличет муэдзин.  
И зов его волнует слух,

Как будто стонет скорбный дух;  
Напевно сладок и уныл,  
Он будто лютню разбудил,  
Но замирающей волной  
Был чужд он музыке земной.  
Как будто смерти вещий стон  
Был осажденным слышен он;  
Он осаждающим внушил  
Боязнь каких-то смутных сил,  
Зловещей дрожью в них проник,—  
И сердце замерло на миг  
И вновь рванулось, устыдясь,  
Что жутью тишь в него влилась;  
Так мы дрожим порой ночной,  
Заслыша звон за упокой.

## XII

Палатка Алпа над водой.  
Уже прошел дозор ночной;  
Все приказания даны;  
Шум стих; молитвы прочтены;  
Еще одна лишь ночь без сна,  
И будет завтра же сполна  
И мщеньем, и любовью он  
За годы мук вознагражден.  
Заря близка; душе покой  
Необходим: кровавый бой  
Наутро ждет; но буря дум  
Ему волнует мрачный ум.  
Он здесь один в толпе чужих;  
Как чужд он фанатизму их,  
Стремленью Крест Луной попать,  
Впустую жизнью рисковать,  
Чтоб дали гурии за кровь  
В раю бессмертную любовь.  
В нем не пылает пламень тот,  
С которым гордый патриот  
Льет кровь и пот в боях, в труде,  
Когда отечество в беде.  
Он здесь один, он — ренегат,  
Чей меч на родину подъят;  
Он одинок: он ни одной  
Здесь не найдет души родной;

Войска идут за ним: он смел,  
Он им добычу дать умел;  
Покорны все: ему ль не знать,  
Как дух толпы смирить и смять,  
Но он — из христиан, и то  
Не в силах позабыть никто;  
Обидно всем, что славой он,  
Как мусульманин, окружен,  
Что вождь, который всех смелей,  
Был прежде — злобный назарей.  
Как знать им, что душа горит,  
Теряя гордость, от обид,  
Что, злобой огненной дыша,  
В сталь закаляется душа,  
Что, стерши ложной верой честь,  
Отступник жадно кличет мсты!  
Он — власть, но низшими владеть  
Нетрудно: стоит — захотеть;  
Так львом шакал поработен;  
Шакал вспугнет, а душит он,  
И кости отдает одни  
Шакалам, чтоб дрались они.

### XIII

Горячечно пылает лоб,  
Неровен пульс, томит озноб;  
Он так и так ложится,— но  
Ему забыться не дано;  
Задремлет, но — движенье, звук,—  
И он в тоске рванется вдруг.  
Чалма жжет лоб, давя, тесня;  
Свинцом легла на грудь броня;  
А он не раз под грузом лат  
Лежал, глубоким сном объят,  
Когда, взамену тюфяка,  
Была земля ему мягка,  
И, вместо полога, храним  
Бывал он небом грозovým.  
Нет, он не в силах ждать в шатре,  
Покуда высь блеснет в заре.  
Идет он к берегу, где спят  
Вповалку тысячи солдат.  
Что им подушкой? Почему

Ему не спится одному,  
А те, кому и смерть, и труд,—  
Во сне добычу стерегут?  
Пока бойцов ласкает сон,—  
Быть может, их последний,— он  
Бредет, бессонницей томим,  
Бойцам завидуя своим.

#### XIV

Ночной прохладою дыша,  
В нем проясняется душа;  
Тишь неба свежего — глазам  
Воздушный пролила бальзам;  
За ним — шатры; пред ним, застыв  
Зубцами бухт, лежит залив  
Лепантский; а вдали — разбег  
Дельфийских гор, где блещет снег,  
У скал и вод сквозь летний зной  
Сверкая вечной белизной.  
Нетленен он — который век!  
Не то что бренный человек!  
Рабы, тираны — им равно  
Под солнцем таять суждено;  
Но складки легкой той фаты,  
Чью белизну приветить ты,—  
Пока дубы гниют и стены,—  
Блестят, в твердыне скал,— нетленны;  
Пик — видом, туча — высотой,  
И плотью — саван гробовой,  
Дар Вольности, когда она  
Бежала, горести полна,  
С родных полей, где мирный звон  
Ее был духом напоен.  
О! Как хотелось медлить ей  
У мертвых нив и алтарей.  
И в мертвых душах — величавый  
Раздуть огонь минувшей славы!  
Напрасно все — до лучших лет,  
Пока былой не вспыхнет свет,—  
Что Перса гнал, что озарил  
Спартанский смех у Фермопил.

## XV

Алп, хоть изменой заклеюмен,  
Великих не забыл времен;  
Он думал, в сумраке ночном,  
О настоящем, о былом,  
И тех, кто пали здесь, в бою  
Пролив достойно кровь свою;  
О том, как тускло торжество  
И слава, ждущие его,—  
Вождя тюрбаноносных орд,  
Кто поднял меч, изменой горд,  
И на священный город тот  
Их святотатственно ведет.  
Не таковы в его мечтах  
Вожди, чей рядом дремлет прах;  
Фаланги их летели в бой  
На рубежи страны родной;  
Принявшим смерть,— им смерти нет:  
О них зефир лепечет; след  
Их имени — в раскате волн;  
Их славой — лес шумящий полн;  
Колонны столп, омшел и тих,  
Сродни святому праху их;  
Фонтанов сладостный кристалл  
Их помнит; между мрачных скал —  
Их тени; ручейки и реки  
С их славой связаны навеки;  
И, хоть ярму обречена,  
Величьем их — жива страна!  
Она как лозунг нам звучит;  
Кто жаждет подвига,— глядит  
На Грецию и, вдохновен,  
Идет топтать металл корон,  
Летит — мечу подставить грудь  
Иль Вольность гордую вернуть!

## XVI

Томимый думой и тоской,  
Алп ищет свежести морской;  
Недвижно море, чья никогда  
Прилива с отливом не знала вода;  
Самый бурный прибой самых ярых вод

Редко, редко клочок берега оторвет;  
Глядит на воды бессильный серп:  
Что им рост его и ущерб?

В море ль, в бухте ль, в тишь, в циклон

Он над ними не волен;

Над ними скал стоит гряда,  
Но они не громят ее никогда,  
И пена клубится, светла и легка,  
У черты, что прорезали в камне века,  
И желтой лентою песок  
Меж зеленью и морем лег.

Так он влачит по пляжу след  
Туда, где с валов грозит мушкет;  
Но не видит его ни один человек,  
Иначе бы пули он не избег.  
Измена ль в ряды христиан вползла,  
Сердца ль остыли, ослабили тела,—  
По правде, не знаю,— но ни один  
Не грянул со стен по нем карабин,—  
Хотя подошел к тем воротам он,  
Что фланкирует береговой бастион;  
Хотя шум он слышал и едва-едва  
Не разобрал глухие слова,  
Что угрюмо там бормотал часовой,  
Маршируя по каменной мостовой.  
Он видел во рву, окружавшем вал,  
Тоших псов отвратительный карнавал;  
Рыча и терзая трупов клоки,  
На него ни один не оскалил клыки:  
Заняты делом; как смокву, одни  
Татарский череп лушили в тени,  
И белые зубы по белой кости  
Скрипели, не в силах его унести;  
Другие, нажравшись, едва могли  
Встать с покрытой телами земли:  
И сыты уже, и уйти невмочь,—  
Столь щедро пост разрешила ночь <sup>1</sup>.  
И Алп узнал по сбитым чалмам  
Своих лучших бойцов, погибших там;  
Зелёны и алы тюбанов клубы,  
Головы бриты, и только чубы

---

<sup>1</sup> Зрелище, подобное описанному, я видел сам под стенами константинопольского Серая... Это были, вероятно, трупы казненных янычар.



Густо ложатся на голые лбы,—  
И космы черные чубов  
У псов остались меж зубов <sup>1</sup>.  
А там у залива коршун махал  
Крылами на волка, что полз между скал,  
Человечину чуя, и снова во мрак  
Жался, боясь одичалых собак,  
Но нашел еду и вонзил свой зуб  
В исклеванный птицами конский труп <sup>2</sup>.

## XVII

Алп с отвращеньем отвел свой взор;  
В боях он холоден был до сих пор  
И предпочел бы видеть вновь  
Бойца, чья горячая хлещет кровь,  
Смертной жаждой палимого, в корче злой,—  
Чем истлевший труп, уже немой.  
Какой бы смерть ни носила лик,  
Таит нечто гордое смертный миг:  
Ведь Слава скажет, кто убит,  
И Честь на подвиг поглядит!  
Когда ж все кончено,— мерзко нам  
Ступать по лишенным гробов телам  
И видеть, как червь, и птица, и зверь  
Собрались на пиршество теперь;  
Человек — их пища, и гибель его —  
Для них торжество.

## XVIII

Там храм разрушенный стоит;  
Кто строил его — давно забыт;  
Две-три колонны над грубой плитой;  
Гранит и мрамор, и мох густой.  
О Время, крушащее бегом своим  
Все, что мы создали и создадим!

---

<sup>1</sup> Чуб или длинный локон оставляется на голове, согласно тому суеверию, что, ухватившись за этот чуб, Магомет втащит правоверного в рай.

<sup>2</sup> Я должен признать здесь близкое, хоть и не преднамеренное сходство этих двенадцати строк с одним отрывком из неизданной поэмы м-ра Кольриджа «Кристабель». Я слышал чтение этой бурной и необыкновенно оригинальной и прекрасной поэмы лишь после того, как мои строки были написаны...

О Время, чья радость — обломки дарить,  
Чтоб нам их теперь слезами облить  
И о будущем плакать возле руин,  
Где будет, как мы, скорбеть наш сын,—  
Обломки бывшего в старых камнях,  
Что дети праха тесали в веках.

## XIX

Присев у мраморного столба,  
Рукою он провел вдоль лба;  
Как тот, кто горем угнетен,  
Сидел, бессильно сгорбясь, он;  
На грудь поник он головой,  
Жаркой, тяжелой, налитой;  
По лбу бежал, неверно-скор,  
Пальцев дробный перебор,—  
Так неумелый пианист  
Касается клавиш, покуда чист  
И верен не прольется звук  
Струн, что пробудились вдруг.  
Он глядел уныло вниз;  
Вдруг — вздохнул полночный бриз;  
Но бриз ли в трещинах колонн  
Этот нежный вызвал стон?  
Он голову поднял, глядит на залив,—  
Недвижна вода, как стекло, застыв;  
На траву он глянул — не шелохнет;  
Откуда ж звук донесся тот?  
Он взглянул на знамена,— там тишь и сон;  
На лес Киферона — спит Киферон;  
Не чувствует ветра на жаркой щеке;  
Кто ж простонал невдалеке?  
Он глянул налево — что он? спит? —  
Там юная дева на камне сидит.

## XX

Вскочил он, глубже потрясен,  
Чем если б враг был меж колонн.  
«О Бог отцов! Что это — сон?  
Кто ты? Зачем ты в час ночной,  
Близ турок, бродишь за стеной?» —  
Перекреститься он хотел,



*Он глянул налево — что он? спит? —  
Там юная дева на камне сидит.*

Но, сдержан совестью, не смел:  
Забыл он Бога своего,  
И — дрогнула рука его.  
Глядит он, смотрит,— узнает  
И стройный стан, и нежный рот;  
Да, то Франческа перед ним,—  
Кого любил, кем был любим.  
Румянец еще горел вдоль щек,  
Но на нем точно легкий пепел лег;  
Где прежние губы с их нежной игрой?  
Где алость улыбки ее живой?

Синь океана в этот час  
Была тусклее синих глаз;  
Но взор, недвижный, как вода,  
Сверкал холодным блеском льда,  
Сжимая стан, корсаж тугой  
Грудь оставлял полунагой.

Черных кос вилась волна,  
И сквозь них была видна  
Плеч высоких белизна.

Она не сразу дала ответ,  
Но руку вздела в лунный свет,  
Столь нежную, что, кажется, насквозь  
Сиянье лунное лилось.

## XXI

«Я покинула дом, чтоб с любимым вдвоем  
Счастье вернуть, что манило в былом.  
Мимо стражи скользнули мои шаги;  
Моим поискам не помешали враги:  
Говорят, что даже свирепый лев  
Не выносит взгляда невинных дев;  
И горняя сила, чей строгий щит  
Людей от лесного тирана хранит,  
Свое милосердие ко мне склоня,  
От неверных оборонила меня.  
Пришла я, но если впустую,— да! —

Нам не видаться никогда!

Страшный грех ты совершил:  
Ты вере предков изменил;  
Скинь же тюбан, крестом святым  
Осени свой лоб, стань навек моим;  
Из сердца выжми каплю тьмы,—

И больше не расстанемся мы». —  
«А где же поставят брачный альков?  
Средь умирающих и мертвецов?  
Ведь в огне и резне, с наступленьем зари,  
Падут христиане и алтари!  
Никто не уйдет, — поклялся я, —  
Только ты и твоя семья.  
А тебя я в прекрасный край увезу  
И — вместе навек — забудем грозу,  
Моей женой там станешь ты,  
Когда Венеция — пяты  
Моей узнает гнет, когда  
Всех тех, чья низкая вражда  
Меня язвила, — уязвит  
Мой бич, что в скорпионы свит!»  
Она рукой его руки  
Коснулась; хоть пальцы были легки, —  
Дрожь проняла его насквозь;  
Он замер, и сердце льдом налилось.  
Как ни слаб холодных пальцев нажим,  
Он совладать не в силах с ним:  
Никогда пожатье милой руки  
В пульс не вливало такой тоски  
И страха, — какими дохнуло от них,  
От пальцев, тонких и неживых.  
Охладел лихорадкой плававший лоб,  
И камень на сердце лег, как на гроб,  
Когда он взглянул и заметил вмиг,  
Что страшно ее изменился лик:  
Прежде — мысли блеск живой  
Играл лицом, как луч волной, —  
Тут скрылся он в тусклости гробовой;  
И губы застыли, как стынет труп,  
И слова без дыханья слетают с губ,  
И дыханье не зыблет груди, и кровь,  
Кажется, в жилах не двинется вновь;  
Хоть сверкают глаза, но ресницы спят;  
Пуст и дик устремленный куда-то взгляд, —  
Так сомнамбула смотрит, когда луна  
Велит ей бродить в оковах сна;  
Так фигуры глядят, когда вдоль стен  
Зимняя буря зыблет гоблен,  
И, при гаснущей лампе, внушая страх,  
Сквозит полужизнь в неживых глазах,

И кажется: грозно глядя, вот-вот  
С призрачных стен кто-нибудь сойдет,—

Когда качает их сквозь мрак,  
По старой ткани летя, сквозняк.  
«Не из любви ко мне, пускай!  
Но хоть из веры в Божий рай —  
Молю — сорви чалму скорей  
И пощадить клянись детей  
Поруганной страны твоей,  
А нет,— тебя не отчий край  
Презрит (что в нем?), а я и рай!  
Пусть, уступив моей мольбе,  
Ты страшной подпадешь судьбе,  
Она твой черный грех смягчит  
И к милосердию путь тебе открыт;  
Молчишь? Тебя немедля *Тот*,  
Кого презрел ты, проклянет;  
Взгляни: там, в небесах, померк  
Взор той любви, что ты отверг.  
Вон тучка близ луны видна,—  
Миг, и рассеется она,—  
Когда же легкий парус тот  
Тень с диска лунного сведет,  
А ты все будешь тем, кто есть,—  
И Бог и люди сыщут мсть:  
Твой страшен рок; страшней стократ  
Твое бессмертье ждущий ад!»

Он поднял голову, глядит:  
Да, в небе облачко скользит;  
Но сердце его отвернулось — оно  
Безмерной гордости полно,  
И этой женской страсти вал  
Все чувства в нем другие смял.  
*Он* кается! *Он* в прах падет  
Пред тем, что девушке взбредет!  
*Он*, смертью мстя за боль обид,  
Венецианцев пощадит!  
Нет, даже молния грози  
Ему в той туче,— что ж! рази!

Ни звука не произнося,  
Следил он: тучка шла; вот вся  
Легко растаяла она,

И засияла вновь луна.  
Сказал он: «Сколь ни тяжек рок,—  
Меняться поздно. Стебелек  
В грозу дрожит и гнется, но  
Сломиться дубу суждено.  
Венеция мои шаги  
Направила; мы с ней враги;  
Навек! Ты ж будь со мной: беги!» —  
Он глянул — никого!  
Одна колонна стоит близ него...  
Ушла она в землю? растаяла вдруг?  
Он не знает — не видел — все пусто вокруг.

## XXII

Ночь проплыла. Блестит рассвет,  
Как бы на праздник разодет.  
Ясным и страстным лучом горя,  
Пронзает серый плащ заря;  
День встанет, зноем одаря.  
Слышишь: барабан с трубой,  
И унылый вопль кочевых рогов  
И подъятых знамен плеск ветровой,  
И ржанье коней, и топот шагов,  
И лязг, и клики: «В бой! В бой!»  
Хвостатые вскинуты бунчуки;  
Сабли — вон! Лишь команды ждут полки.  
Саги, татарин и туркмен,—  
Прочь палатки! Марш вперед!  
Шпорь коней, разлетись вокруг стен,  
Чтоб отступленью отрезать ход,  
Чтоб ни юный, ни старый,— ни один  
Не мог спастись христианин,  
Когда пехоты жаркий вал,  
Кровью платя, прорвется сквозь вал.  
Кони взнузданы, пляшут, храпят;  
Все шеи согнуты; гривы кипят;  
Удила белой пеною затекли;  
Вскинуты лики; горят фитили;  
Заряжены пушки; их гулкая медь  
По разбитой стене готова взречь;  
Фалангу своих янычар собрав,  
Алп на правой руке засучил рукав,  
Нагую саблю туго зажав;

Хан и паши на своих местах;  
Сам визирь встал в первых рядах;  
Даст пушка сигнал; слушать его!  
В бою не щадить никого, ничего,—  
Ни во дворцах, ни в алтарях,  
Ни дома вдоль улиц, ни камня в стенах!  
Дикий клич взвился на страх врагу:  
— Бог и пророк! Алла-Гу!  
«С вами сабли; там брешь, и лестницы есть,—  
Кто ж вам помешает пройти и взлезть?  
Кто первый мне крест их красный сдерет,—  
Чего пожелает, пусть просит тот».  
Так визирь сказал, храбрец Кумурджи;  
В ответ блеснули мечи и ножи,  
Рев радости грянул, отдавшись вдали.  
Молчанье. Ждут сигнала.— Пли!

### XXIII

Точно волки, что теснят  
Буйвола, за рядом ряд,  
Хоть грозен мык и огнен взор,  
И бьют копыта, и в упор  
Пронзают острые рога  
Первого, кто подбежал, врага,—  
Так на стены штурм летит,  
Так храбрейший первым сбит;  
Латников много вдоль стен легло,  
Точно битое стекло  
Под пальбой, чей гром потряс  
Дол, где их смертный пробил час.  
Ряды лежат, на землю упав,  
Как по лугу волны скошенных трав,  
Когда кончен покос на закате дня;  
Так первых бойцов уложила резня.

### XXIV

Как скалы, что стоят, застыв,  
А грохочущий прилив  
Непрерывно их гложет, пока сорвет  
Их белые глыбы в глубь темных вод,  
Точно в Альпах, где с вершин  
Вниз летят пласты лавин,—



Так коринфские сыны  
Наконец потрясены  
Тем, как яр и непрестан  
Напор несметных мусульман.  
Стеной стоят и грудой лежат,  
Плечо к плечу, за рядом ряд,  
Преграждая путь врагам;  
Смерть одна безмолвна там:  
Лязг и грохот, гул и звон,  
Победный крик, предсмертный стон  
Влились в раскаты канонады,  
И дальние гадают грады:  
С кем победа? кто разбит?  
Враг ворвался? враг бежит?  
Им ликовать, дрожать ли — в миг,  
Когда взревет вдруг грозный рык,  
Что в горных недрах со всех сторон  
Страшным эхом повторен?  
В тот день от грома кулеврин  
Дрожал с Мегарой Саламин;  
Говорят, что и Пирей  
Слышал их сквозь гул зыбей.

## XXV

Блеск лезвий от острия по эфес  
У сабель и шпаг в крови исчез;  
Но стена взята; начался грабеж,  
Идет резня, всюду блещет нож.  
Враг — в домах; со всех сторон  
Несутся вопли, скрежет, стон;  
Дробный топот: здесь и там  
Бегут по скользким от крови камням;  
Но лишь найдется, где опять  
Врага возможно отражать,—  
Сейчас десяток смельчаков,  
Остановившись, у домов  
Становятся спиной к стене,  
Чтобы разить иль пасть в резне.

Там старик стоял с головой седой,  
Но рука ветерана была молодой:  
Был меток его отважный клинок,  
И трупов полукруг он мог

Не раз видать у ног,  
Он, от ран обереженный,  
Отступал, неокруженный.  
Он много от былых боев  
Под кирасой скрыл рубцов,  
И каждый из этих шрамов — след  
Когда-то одержанных им побед.  
Старик, — он железное тело имел;  
Кто б из наших юнцов с ним биться посмел?  
Голов — один он больше снес,  
Чем сколько седых у него волос.  
Разил он саблей все быстрее:  
Оплачут много матерей  
Сынов, что родились поздней,  
Чем он впервые, в двадцать лет,  
В турка свой вонзил стилет;  
Он мог отцом быть всем, кого  
В тот день сбил наземь гнев его;  
Он сына потерял в бою,  
Давно, и мстил за боль свою,  
Губя детей врага; с тех пор  
Как сына смертный рок простер, —  
Железная рука отца  
Валила жертвы без конца.  
Но, коль резня сладка теньям, —  
Не столь Патрокл утешен там,  
Как сын Минотти, что погиб,  
Где Геллеспонта лез изгиб.  
Он там зарыт, на тех берегах,  
Где тысячи лет погребался прах  
Тысяч. Где тот прах лежит?  
Кто сражен? И кем зарыт?  
Нет над ними надгробий; нет праха давно, —  
Но в песнях бессмертных им жить суждено.

## XXVI

Вновь слышен дикий крик: Алла!  
Фаланга отборных бойцов подошла;  
Рука вождя обнажена, —  
Так быстрее и жесточе разит она, —  
Он ею бойцов стремится вперед,  
И всякий его по руке узнает.  
Другие, красуясь блеском лат,

Алчность врага в бою томят;  
У иного богато эфес горит,—  
Но чей клинок столь кровью облит?  
Иной красуется пышной чалмой,  
Но Алп — обнаженной отличен рукой,  
И всегда она там, где жарче бой.

Из всех знамен на берегу  
Она всех ближе грозит врагу;  
Нет бунчука, за которым бы шли  
С такой же яростью Дели,—  
Когда кометою вдали  
Она мелькнет! Где та рука,—  
Всегда там лучшие войска!

Там враги пощады молят,—  
Но татарин их заколет;  
Там лежат ряды героев,  
Стоном смерть не удостоив;  
Там поверженный боец,  
Землю роя, под конец  
Заносит на врага кинжал,  
Чтоб хоть один еще упал.

## XXVII

Тверд и прям стоял старик  
И натиск Алпа сбил на миг.  
«Минотти, сдайся! Охрани  
Дни твои, Франчески дни».

«Нет, предатель, никогда!  
Если б даже мне жизнь ты дарил навсегда!»

«Франческа! О невеста моя!  
Ее погубит спесь твоя!»

«Она укрыта». — «Где же?» — «В небе.  
Куда тебе путь закрыл твой жребий —  
Ты далек, она чиста».

И с гримасой злою рта  
Видел он, как зашатался  
Алп — точно гром над ним раздался.  
«Когда ж она... о Боже!..» — «В ночь.  
Я не оплакиваю дочь:



*Тверд и прям стоял старик  
И натиск Алпа сбил на миг.*

Моей ли крови пасть рабой  
Пред Магометом и тобой?  
Рубись!» — Но вызов был напрасен:  
Алп уже лежал, безгласен.  
В миг, пока звучала речь,  
Сердце рая, точно меч,  
Но сильнее, чем взмах меча,  
Занесенного плеча,—  
Из заваленных ворот  
Ближней церкви, где оплот  
Горсть бойцов нашла себе,  
Чтоб в бесплодной пасть борьбе,  
По Алпу выстрел прогремел;  
Едва кто разглядеть успел,  
Куда его ранило,— он, волчком  
Завертевшись, пал ничком;  
Когда он падал, чтоб не встать,  
Успело пламя проблистать  
В глазах, но тотчас вечной тьмой  
В грудь влился холод гробовой;  
Жизни в нем на дрожь хватило,  
Что все тело поводила;  
Его перевернули: бровь  
Ему покрыли грязь и кровь;  
Жизнь — сукровицей с губ лилась,  
Из тесных век освободясь;  
Но пульс — уже не бился он,  
С губ не слетел предсмертный стон:  
Отлетая за предел,  
Не вздохнул он, не всхрипел,  
Умер прежде, чем опять  
Мог молитвой просиять,  
Без надежды на Творца,—  
Ренегатом до конца.

## XXVIII

Вопль взвился до облаков  
Меж своих и меж врагов,—  
Крик восторга, гневный рев.  
И — схватились в рукопашной —  
Сабли, копья в пляске страшной  
Колют, рубят напролом;  
Крик и звон, и пыль столбом.

Старый лев за пядью пядь  
Продолжает защищать  
Город, где хранил он власть,—  
Обреченный ныне пасть.  
С ним той же яростью горят  
Смельчаки,— его отряд.  
Скрыться можно в церкви той,  
Откуда выстрел роковой,  
За город мстя, сразил того,  
Кто был — страшнейший враг его.  
И туда, смыкая ряд,  
Путем кровавым шел отряд;  
И, к врагу лицом, грозя,  
Каждым взмахом в грудь разя,  
Вожь отступил с бойцами в храм  
К тем, кто затаился там:  
Обретя в стенах приют,  
Дух бойцы переведут.

## XXIX

Где там! Взбешенный враг идет,  
За рядом ряд,— вперед, вперед!  
Так много их, так в бой летят,  
Что и дороги нет назад.  
Туда, где нашли христиане оплот,  
Чрезмерно узкий вел проход:  
Авангард, что решил бы, страхом сражен,  
Бежать,— застрял бы в толще колонн;  
Пасть иль ворваться должен он.  
И гибнут; но едва падут,—  
На трупы мстители встают;  
Свежим строем рвутся в бой,  
Сменяя павших наземь строй;  
Слабеют силы христиан,  
А натиск вражий столь же рьян;  
Вот турки у дверей; крепки  
Их железные крюки;  
И смертоносно, все быстрее,  
Бьют выстрелы из всех щелей,  
Из выбитых окон кропят  
Османов серный дождь и град;  
Но дверь шатается меж пазов,  
Железо гнется, сбит засов,

Трещит — осела — сметена...  
Судьба Коринфа решена!

### XXX

Один, угрюмо и строго смотря,  
Стоял Минотти у алтаря;  
Мадонны лик сиял, паря  
Над ним, написан в потоках лучей  
С небесной кротостью очей  
И вознесен над алтарем,—  
Чтоб мыслить нам о неземном,  
Когда, улыбкою светя,  
Покая на руках дитя,  
Она несет пред горний трон  
Молитвы нашей слабый стон;  
Она улыбается и теперь,  
Когда враги штурмуют дверь.  
Минотти, видя близкий срок,  
Взглянул на Нее, спокоен и строг,  
Перекрестился и факел зажег;  
Он твердо стоял,— а с мечом и огнем  
Уже мусульмане гремели кругом.

### XXXI

Там пол из мозаичных плит  
Могилы древние таит,  
Но эпитафий гордых вязь  
Теперь под кровью запеклась;  
Гербы резные, пестрый пол,  
Где мрамор жилками расцвел,  
Облипли кровью, и на ней —  
Осколки шлемов и мечей.  
Мертвецы наверху, мертвецы внизу,  
Где стынут гробы в узком лазу,—  
Где их мрачная пышность едва видна  
Сквозь переплет скупого окна.  
Но и сюда вошла Война,  
Среди гробов нагромоздив  
Сокровища, где зреет взрыв:  
За дни осады, темный кров  
Давно иссохших мертвецов  
Стал погребом пороховым;

Фитиль соединился с ним,—  
Чтоб мог последний грянуть гром  
Над торжествующим врагом.

### XXXII

Враг здесь; немногие ему  
Сопротивляются,— к чему?  
Вот пали все; кого рубить?  
Как жажду мести утолить?  
И трупам дикая толпа  
Раскалывает черепа;  
Сбивает статуи, дерет  
Оклады, раздробив киот;  
Из рук другие руки рвут  
Святой серебряный сосуд;  
Вот к алтарю взбежали; там  
Какой восторг предстал глазам?  
Стоял там, излучая мир,  
Священный золотой потир,  
Литой, глубокий; блеск его  
Во взоры грабителей влил торжество.  
Лишь утром было в нем вино,  
В кровь Христа им самим превращено.  
И христиане кровью святой  
Омыли грехи, отправляясь в бой.  
Глоток остался в чаше той;  
И перед ней еще горят  
Двенадцать золотых лампад  
Червонным отблеском: венец  
Добычи жадной и — конец!

### XXXIII

Кто впереди — уже спешат  
Сорвать любую из лампад,  
Но старый воин вмиг  
Поджег фитиль пороховой;  
Взрыв грянул!  
Все: склеп, алтарь, стен старых строй,  
Тюрбаны, шлемы, древки пик,  
Мечи, гробы, мертвец, живой,—  
Весь храм, сквозь грохот, гром и рык  
Ввысь грузной грудой прынул!



Град — в прах кругом,  
Крушит дом — дом,  
Вал — пал; залив метнулся сплошь;  
Как от землетрясения — дрожь

Прошла, глубь гор подрыв;  
Бесформенных предметов тьму  
Взнес к небесам в огне, в дыму

Тот разъяренный взрыв!  
То знак был, что — конец боям,  
Столь долго буйствовавшим там...  
Как бы ракеты, вверх взвилось

Все, что на земле сошлось;  
Немало рослых молодцов,

Подлетев до облаков,  
Скорчены, обожжены,  
Углем пали с вышины,—

Черным градом вдоль страны.  
Другие упали в глубокий залив,

По воде круги пустив;  
Иных на берег отбросил взрыв,  
Перешеек завалив;

Где турок, где христианин?  
Мать отыщет ли, где сын?

Мать,— когда дитя ее  
В легкой зыбке близ нее  
Тельце нежило свое,—

О! думала ль она,  
Что разнесет его война?

Да, и мать не различит,  
Где дитя ее лежит;  
Столь истерзан в быстрый миг  
Человечий стан и лик.

Сплошь — лохмотья, лоскуты.

Летели наземь с высоты

Камни, врезываясь в ил,  
Куски обугленных стропил;  
Тот прах чернел, тот прах дымил,  
Землетрясения гром и шквал

Все живое распугал:  
Взмыл коршун; одичалый пес  
От трупов голод свой унес;  
Верблюд с прикола убежал;  
Далекий вол ярмо сломал;  
Конь ближний прынул, как стрела,

Сорвав узду и удила;  
В глуби болот лягуший крик  
С двойною силою возник;  
В ущельях гор, где гром не смолк,  
Завыл, в раскатах эхо, волк;  
Вдали — шакалов слитный хор  
Свой визг и вой послал в простор,  
Резкой жалобой летя,  
Как пес побитый, как дитя;  
Раскинув крылья, ввысь ушел  
Со скалы родной орел  
Поближе к солнцу, в небосклон;  
Под ним шла туча,— видел он;  
В испуге, чуя клювом дым,  
Он с криком выше взмыл над ним...

Так Коринф был покорен!



# Томас Мур

## ПЕРИ И АНГЕЛ

Однажды Пери молодая <sup>1</sup>  
У врат потерянного рая  
Стояла в грустной тишине;  
Ей слышалось: в той стороне,  
За неприступными вратами,  
Журчали звонкими струями  
Живые райские ключи,  
И неба райского лучи  
Лились в полуотверсты двери  
На крылья одинокой Пери;  
И тихо плакала она  
О том, что рая лишена.  
«Там духи света обитают;  
Для них цветы благоухают  
В неувядаемых садах.  
Хоть много на земных лугах  
И на лугах светил небесных,  
Есть много и цветов прелестных:  
Но я чужда их красоты —  
Они не райские цветы.  
Обитель роскоши и мира,  
Свежа долина Кашемира <sup>2</sup>;  
Там светлы озера струи,  
Там сладостно журчат ручьи —  
Но что их блеск перед блистаньем,  
Что сладкий глас их пред журчаньем  
Эдемских, жизни полных вод?  
Направь стремительный полет  
К бесчисленным звездám создання,  
Среди их пышного блистанья

---

<sup>1</sup> *Пери* — воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей, не живут на небе, но в цветах радуги и порхают в бальзамических облаках; питаются одними испарениями роз и жасминов и подвержены общей участи смертных. Индейцы и другие восточные народы представляют их себе в виде женщин, коих отличительные свойства составляют красота и благотворительность.

<sup>2</sup> *Кашемир* — озеро, усеянное множеством островов, из коих на одном растут платановые деревья, от которых он и назван *Шах-Шеймур*.

Неизмеримость пролети,  
Все их блаженства изочти,  
И каждое пусть вечность длится...  
И вся их вечность не сравнится  
С одной минутою небес».

И быстрые потоки слез  
Бежали по ланитам Пери.  
Но Ангел, страж эдемской двери,  
Ее прискорбную узрел;  
Он к ней с утехой подлетел;  
Он вслушался в ее стенанья,  
И ангельского состраданья  
Слезой блеснули очеса...  
Так чистой каплею роса  
В сиянье райского востока,  
Так капля райского потока  
Блестит на цвете голубом,  
Который дышит лишь в одном  
Саду небес (гласит преданье).  
И он сказал ей: «Упованье!  
Узнай, что небом решено:  
Той пери будет прощено,  
Которая ко входу рая  
Из дальнего земного края  
С достойным даром прилетит.  
Лети — найди — судьба простит;  
Впускать утешно примиренных».

Быстрее комет воспламененных,  
Быстрее звездных тех мечей <sup>1</sup>,  
Которые во тьме ночей  
В деснице ангела блистают,  
Когда с небес они свергают  
Духов, противных небесам,  
По светло-голубым полям  
Эфирным Пери устремилась;  
И скоро Пери очутилась  
С лучом денницы молодой  
Над пробужденною землей.

---

<sup>1</sup> Магометане думают, что падающие звезды суть огненные палицы, коими добрые ангелы отгоняют злых, дерзающих приближаться к небесной области.

«Но где искать святого дара?  
Я знаю тайны Шильминара <sup>1</sup>:  
Столпы там гордые стоят;  
Под ними, скрытые, горят  
В сосудах гениев рубины.  
Я знаю дно морской пучины:  
Близ Аравийской стороны  
Во глубине погребены  
Там острова благоуханий <sup>2</sup>.  
Знаком мне край очарований:  
Воды исполненной живой,  
Сосуд Ямшидов золотой <sup>3</sup>  
Таится там, храним духами.  
Но с сими ль в рай войти дарами?  
Сии дары не для небес.  
Что камней блеск в виду чудес,  
Престолу Аллы предстоящих?  
Что капля вод животворящих  
Пред вечной бездной бытия?»  
Так думая, она в края  
Святого Инда низлетала.  
Там воздух сладок; цвет коралла,  
Жемчуг и золото янтарей  
Там украшают дно морей;  
Там горы зноем пламенеют,  
И в недре их алмазы рдеют;  
И реки в брачном блеске там,  
С любовью к пышным берегам  
Теснясь, приносят дани злата.  
И доли, полны аромата,  
И древ сандалных фимиама,  
И купы роз могли бы там  
Для Пери быть прекрасным раем...  
Но что же? Кровью обагрим,  
Поток увидела она.  
В лугах прекрасная весна,  
А люди — братья, братий жертвы —  
Обезображены и мертвы,

---

<sup>1</sup> Сорок столпов — так персияне называют развалины Персеполя. Полагают, будто дворец в нем и все здания в Баалбеке построены гением для сохранения многочисленных сокровищ в их подвалах, которые и доныне там находятся.

<sup>2</sup> Острова Панхария.

<sup>3</sup> Чаша Ямшида, найденная, как полагают, в развалинах Персеполя.

Лежа на бархате лугов,  
Дыханье чистое цветов  
Дыханьем смерти заражали.  
О, чьи стопы тебя попрали,  
Благословенный солнцем край?  
Твоих садов тенистый рай,  
Твоих богов святые лики,  
Твои народы и владыки  
Какой рукой истреблены?  
Властитель Газны<sup>1</sup>, вихрь войны,  
Протек по Индии бедою;  
Свой путь усыпал за собою  
Он прахом отнятых корон;  
На псов своих навесил он  
Любимиц царских ожерелья<sup>2</sup>;  
Обитель чистую веселья,  
Зенаны дев он осквернил;  
Жрецов во храмах умертвил  
И золотые их пагоды  
В священные обрушил воды.

И видит Пери с вышины:  
На поле страха и войны  
Боец, в крови, но с бодрым оком,  
Над светлым родины потоком  
Стоит один, и за спиной  
Колчан с последнею стрелой;  
Кругом товарищи сраженны...  
Лицом бесстрашного плененны,  
«Живи!» — тиран ему сказал,  
Но воин молча указал  
На обагренны кровью воды  
И истребителю свободы  
Послал ответ своей стрелой.  
По твердой броне боевой  
Стрела скользнула; жив губитель;  
На трупы братьев пал их мститель;  
И вдаль помчался шумный бой.  
Все тихо; воин молодой

---

<sup>1</sup> Махмуд Газна, или Газни, завоевал Индию в начале XI столетия.

<sup>2</sup> Повествуют, что султан Махмуд содержал 400 серых лягавых собак. На каждой из них был ошейник, украшенный дорогими камнями, и покрывала, обшитые золотою бахромою с жемчугами.



*И видит Пери с вышины:  
На поле страха и войны  
Боец, в крови...*

Уж умирал; и кровь скудела...  
И Пери к юноше слетела  
В сиянье утренних лучей,  
Чтоб вежды гаснувших очей  
Ему смежить рукой любви  
И в смертный миг священной крови  
Оставшую каплю взять.  
Взяла... и на небо опять  
Ее помчало упование.  
«Богам угодное даянье  
(Она сказала) я нашла:  
Пролита кровь сия была  
Во искупление свободы;  
Чистейшие эдемски воды  
С ней не сравнятся чистотой.  
Так, если есть в стране земной  
Достойное небес воззренья:  
То что ж достойней приношенья  
Сей дани сердца, все свое  
Утратившего бытие  
За дело чести и свободу?»  
И к райскому стремится входу  
Она с добычею земной.

«О Пери! дар прекрасен твой  
(Сказал ей страж крылатый рая,  
Приветно очи к ней склоняя),  
Угоден храбрый для небес,  
Который родине принес  
На жертву жизнь... но видишь, Пери,  
Кристалльные спокойны двери,  
Не растворяется Эдем...  
Иной желают дани в нем».

Надежда первая напрасна.  
И Пери, горестно-безгласна,  
Опять с эфирной вышины  
Стремится — и к горам Луны  
На лоно Африки слетает<sup>1</sup>.  
Пред ней, рождаясь, блистает  
В незнаемых истоках Нил,

---

<sup>1</sup> *Горы Лунные* — в древности montes Lunae. При их подошве полагают источник Нила.



Средь тех лесов, где он сокрыл  
От нас младенческие воды  
И где бесплотных хороводы,  
Слетаясь утренней порой  
Над люлькой бога водяной,  
Тревожат сон его священный,  
И великан новорожденный <sup>1</sup>  
Приветствует улыбкой их.  
Средь палм Египта вековых,  
По гротам, холодной тьмы жилищам,  
По сумрачным царей кладбищам  
Летает Пери... то она,  
Унылой думою полна,  
Розетты знойною долиной,  
Вслед за четою голубиной <sup>2</sup>,  
К приюту их любви летит,  
Их стоны внемлет и грустит;  
То, вея тихо, замечает,  
Как яркий свет луны мелькает  
На пеликановых крылах,  
Когда на голубых водах  
Мерида он плывет и плещет <sup>3</sup>  
И вокруг него лазурь трепещет.  
Пред ней волшебная страна.  
Небес далеких глубина  
Сияла яркими звездами;  
Дремали пальмы над водами,  
Вершины томно преклоня,  
Как девы, от веселий дня  
Устав, в подушки пуховые  
Склоняют головы молодые;  
Ночной упившейся росой,  
Лилеи с девственной красой  
В роскошном сне благоухали  
И ночью листья освежали,  
Чтоб встретить милый день пышней;  
Чертоги падшие царей,  
В величии уединенья,  
Великолепного виденья

---

<sup>1</sup> Нил, известный в Абиссинии под названием Абеи и Алави, то есть великан.

<sup>2</sup> Сады Розетты наполнены голубями.

<sup>3</sup> О пеликанах на Меридовом озере упоминает Савари.

Остатками казались там:  
По их обрушенным стенам,  
Ночной их страж, сова порхала  
И ночь безмолвну окликала,  
И временем, когда луна  
Являлась вдруг, обнажена  
От перелетного тумана,  
Печально-тихая султана <sup>1</sup>,  
Как идол на столпе седом,  
Сияла пурпурным крылом.  
И что ж?.. Средь мирных сих явлений  
Губительный пустыни гений  
Приют нежданный свой избрал;  
В Эдем сей он чуму примчал  
С песков степей воспламененных;  
Под жаром крылий зараженных  
Вмиг умирает человек,  
Как былые, когда протек  
Над ним самума вихорь знойный.  
О, сколь для многих день, спокойно  
Угаснувший средь их надежд,  
Угас навек — и мертвых вежд  
Уж не обрадует денницей!  
И стала смрадною больницей  
Благоуханная страна;  
Сияньем дремлющим луна  
Сребрит тела непогребенны;  
Заразы ядом уstraшенный,  
От них летит и ворон прочь;  
Гиена лишь, бродя всю ночь,  
Врывается для страшной пищи  
В опустошенные жилищи <sup>2</sup>;  
И горе страннику, пред кем  
Незапно вспыхнувшим огнем  
Блеснут вблизи во мраке ночи  
Ее огромны, злые очи!..  
И Пери жалости полна,

---

<sup>1</sup> Султана — прекрасная птица, названная так по ее величавости и блестящему синему цвету перьев; нос и ноги у ней также синие. Она служила украшением храмов и дворцов у греков и римлян.

<sup>2</sup> Жаксон упоминает о моровой язве, случившейся в восточной Аравии во время его там пребывания. Птицы в сие время удалялись от человеческих жилищ, гиены, напротив того, приходили на кладбище.

И грустно думает она:  
«О смертный, бедное творенье,  
За древнее грехопаденье  
Ценой ужасной платишь ты;  
Есть в жизни райские цветы —  
Но змей повсюду под цветами».  
И тихими она слезами  
Заплакала — и все пред ней  
Вдруг стало чище и светлей:  
Так сильно слез очарованье,  
Когда прольет их в состраданье  
О человеке добрый дух...  
Но близко вод, и взор и слух  
Манящих свежими струями,  
Под ароматными древами,  
С которых ветвями слегка  
Играли крылья ветерка,  
Как младость с старостью играет,  
Узрела Пери: умирает,  
К земле припавши головой,  
Безмолвно мученик молодой;  
На лоне бесприветной ночи,  
Покинут, неоплакан, очи  
Смыкает он; и с ним уж нет  
Толпы друзей, дотоле вслед  
Счастливица милого летавшей;  
В груди, от смертных мук уставшей,  
Тяжелой язвы жар горит;  
Вотще прохладный ключ блеснит  
Вблизи для жаждущего ока:  
Никто и капли из потока  
Ему не бросит на язык;  
Ничей давно знакомый лик  
В его последнее мгновенье —  
Земли прощальное виденье —  
Прискорбной прелестью своей  
Не усладит его очей;  
И не промолвит глас родного  
Ему того *прости* святого,  
Которое сквозь смертный сон,  
Как удаляющийся звон  
Небесной арфы, нас пленяет  
И с нами вместе умирает.  
О бедный юноша!.. Но он

В последний час свой ободрен  
Еще надеждою земною,  
Что та, которая прямою  
Ему здесь жизнь была  
И с ним одной душой жила,  
От яда ночи той ужасной  
Защищена под безопасной,  
Под царской кровлею отца:  
Там зной от милого лица  
Рука невольниц отвечает;  
Там легкий холод разливает  
Игриво брызжащий фонтан,  
И от курильниц, как туман,  
Восходит амвры пар душистый,  
Чтоб воздух зараженный в чистый  
Благоуханьем превратить.  
Но, ах! конец свой усладить  
Он тщетной силится надеждой!  
Под легкою ночной одеждой,  
С горячеею младостью ланит,  
Уж дева прелести спешит,  
Как чистый ангел исцеленья,  
К нему, в приют его мученья.  
И час его уж наступал,  
Но близость друга угадал  
Страдальца взор полужакрый;  
Он чувствует: ему ланиты  
Лобзают огненны уста,  
Рука горячая слита  
С его хладеющей рукою,  
И освежительной струею  
Язык засохший напоен...  
Но что ж?.. Несчастный!.. то сквозь сон  
Одолевающей кончины  
(Чтоб страшная своей судьбины  
С возлюбленной не разделить)  
Ее от груди отдалить  
Он томной силится рукою;  
То, увлекаемый душою,  
Невольно к ней он грудь прижмет;  
То вдруг уста он оторвет  
От жадных уст, едва украдкой  
На поцелуй стыдливо-сладкий  
Дотоле смевавших отвечать.

И говорит она: «Принять  
Дай в сердце мне твое дыханье;  
Мне уступи свое страданье,  
Мне жребий свой отдай вполне.  
Ах! очи обрати ко мне,  
Пока их смерть не погасила;  
Пока еще не позабыла  
Душа любви своей земной,  
Любовью поделись со мной;  
И в смертный час свою мне руку  
Подай на смерть, не на разлуку...»  
Но, обессилена, томна,  
Вотще в глазах его она  
Тяжелым оком ищет взгляда:  
Она уж гаснет, как лампада  
Под душным сводом гробовым.  
Уж быстрым трепетом своим  
Скончала смерть его страданье,  
И дева, другу дав лобзанье  
С последним всей любви огнем,  
Сама за ним в лобзанье том  
Желанной смертью умирает.  
И Пери тихо принимает  
Прощальный вздох ее души.  
«Покойтесь, верные, в тиши;  
Здесь, посреди благоуханья,  
Пускай эдемские мечтанья  
Лелеют ваш прекрасный сон;  
Да будет улаждаем он  
Игрою музыки небесной  
Иль пеньем птицы той чудесной,  
Которая в последний час,  
Торжественный подъемля глас,  
Сама поет свое сожженье  
И умирает в сладкопенье...»<sup>1</sup>  
И Пери, к ним склоняя взгляд,  
Дыханьем райским аромат  
Окрест их ложа разливает  
И быстро, быстро потрясает  
Звездами яркого венца:

---

<sup>1</sup> *Феникс* — баснословная птица, которая, прожив тысячу лет, приготавливает себе костер и, пропев трогательную песню, машет крыльями и сгорает на нем от лучей солнечных.

Исчезла бледность их лица;  
Их существо преобразилось;  
Два чистых праведника, мнилось,  
Тут ясным почивали сном,  
Уж озаренные лучом  
Святой денницы воскресенья;  
И ангелом, для пробужденья  
Их душ слетевшим с вышины,  
Среди окрестной тишины  
Сияла Пери над четою.  
Но уж восток зажжен зарею,  
И Пери, к небу свой полет  
Направив, в дар ему несет  
Свой вздох любви, себя забывшей  
И до конца не изменившей.  
Надежду все рождало в ней:  
С улыбкой Ангел у дверей  
Приемлет дар ее прекрасный;  
Звенят в Эдеме сладкогласно  
Дерев кристальные звонки;  
В лицо ей дышат ветерки  
Амброзией от трона Аллы;  
Ей видны звездные фиалы,  
В которых, жизнь забыв свою,  
Бессмертья первую струю  
В Эдеме души пьют святые...<sup>1</sup>  
Но все напрасно! роковые  
Пред ней врата не отперлись.  
Опять уныло: «Удались!  
(Сказал ей страж крылатый рая.)  
Сей верной девы смерть святая  
Записана на небесах;  
И будут ангелы в слезах  
Ее читать... но видишь, Пери,  
Кристальные спокойны двери,  
И светлый рай не отворен;  
Не унывай, доступен он;  
Лети на землю с упованьем».

---

<sup>1</sup> На берегу квадратного озера находится тысяча чаш, составленных из звезд. Души, predeterminedенные наслаждаться вечным блаженством, пьют из них кристальные воды.

Сияла вечера сияньем  
Отчизна розы Суристан<sup>1</sup>,  
И солнце, неба великан,  
Сходя на запад, как корона,  
Главу венчало Ливанона,  
В великолепии снегов  
Смотрящего из облаков,  
Тогда как рдеющее лето  
В долине, зноем разогретой,  
У ног его роскошно спит.  
О, сколь разнообразный вид  
Красы, движенья и блистанья  
Являл сей край очарованья,  
С эфирной зримый высоты!  
Леса, кудрявые кусты;  
Потоков воды голубые;  
Над ними дыни золотые,  
В закатных рдеющих лучах  
На изумрудных берегах;  
Старинны храмы и гробницы;  
Веселые веретёныцы,  
На яркой стен их белизне  
В багряном вечера огне  
Сияющие чешуями;  
Густыми голуби стадами  
Слетающие с вышины  
На озаренны крутизны;  
Их веянье, их трепетанье,  
Их переливное сиянье,  
Как бы сотканное для них  
Из радуг пламенно-живых  
Безоблачного Персистерана;  
Святые воды Иордана;  
Слиянный шум волны, листов  
С далеким пеньем пастухов,  
И пчелы дикой Палестины,  
Жужжащие среди долины,  
Блестя звездами на цветах,—  
Вид усладительный... но, ах!  
Для бедной Пери нет услады.

---

<sup>1</sup> Ричардсон полагает, что Сирия получила свое название от Сюри (Suri), прекрасного и нежного рода розанов, которыми страна сия всегда славилась.

Рассеянны склонила взгляды,  
Тоской души утомлена,  
На падший солнцев храм она <sup>1</sup>,  
Вечерним солнцем озаренный;  
Его столпы уединенны  
В величии стояли там,  
По окружающим полям  
Огромной простираясь тенью.  
Как будто время разрушенью  
Коснуться запретило к ним,  
Чтоб поколениям земным  
Оставить о себе преданье.  
И Пери в тайном упованье  
К святым развалинам летит:  
«Быть может, талисман сокрыт,  
Из золота вылитый духами,  
Под сими древними столпами,  
Иль Соломонова печать,  
Могущая нам отверзать  
И бездны океана темны,  
И все сокровища подземны,  
И сверженным с небес духам  
Опять к желанным небесам  
Являть желанную дорогу».  
И с трепетом она к порогу  
Жилища солнцева идет.  
Еще багряный вечер льет  
Свое сиянье с небосклона,  
И ярко пальмы Ливанона  
В роскошных светятся лучах...  
Но что же вдруг в ее очах?  
Долиной Баалбека ясной,  
Как роза, свежий и прекрасный,  
Бежит младенец; озарен  
Огнем заката, гнался он  
За легкокрылой стрекозою,  
Напрасно жадною рукою  
Стараясь дотянуться к ней;  
Среди ясминов и лилей  
Она кружится непослушно  
И блещет, как цветок воздушный  
Иль как порхающий рубин.

---

<sup>1</sup> Храм Солнца в Баалбеке.



Устав, младенец под ясмин  
Прилег и в листьях угнездился.  
Тогда вблизи остановился  
На жарко дышащем коне  
Ездок, с лицом, как на огне,  
От зноя днёвного горевшим:  
Над мелким ручейком, шумевшим  
Близ имарета, он с коня  
Спрыгнул и, на воды склоня  
Лицо, студеных струй напился.  
Тут взор его оборотился,  
Из-под густых бровей блестя,  
На безмятежное дитя,  
Которое в цветах сидело,  
И улыбалось, и глядело  
Без робости на пришлеца,  
Хотя столь страшного лица  
Дотоле солнце не палило.  
Свирепо-сумрачное, было  
Подобно туче громовой  
Оно своей ужасной мглой,  
И яркими чертами совесть  
На нем изобразила повесть  
Страстей жестоких и злодейств:  
Разбой, насилие, плач семейств,  
Грабеж, святыни осквернение,  
Предательство, богохуление —  
Все написала жизнь на нем,  
Как обвинительным пером  
Неумолимый ангел мщенья  
Записывает преступленья  
Земные в книге роковой,  
Чтоб после Милость их слезой  
С погибельной страницы смыла.  
Краса ли вечера смирила  
В нем душу — но злодей стоял  
Задумчив, и пред ним играл  
Малютка тихо меж цветами;  
И с яркими его очами,  
Глубоко впавшими, порой  
Встречались полные душой  
Младенца голубые очи:  
Так дымный факел, в мраке ночи  
Разврата освещавший дом,



Тогда вблизи остановился  
На жарко дышащем коне  
Ездок...

Порой встречается с лучом  
Всевоскрешающей денницы.  
Но солнце тихо за границы  
Земли зашло... и в этот час  
Вечерний минаретов глас,  
К мольбе скликающий, раздался...  
Младенец набожно поднялся  
С цветов, колена преклонил,  
На юг лицо оборотил  
И с тихостью пред небесами  
Самой невинности устами  
Промолвил имя Божества.  
Его лицо, его слова,  
Его смиренно сжаты руки...  
Казалось, о конце разлуки  
С Эдемом радостным своим  
Молился чистый херувим,  
Земли на время поселенец.  
О, вид прелестный! Сей младенец,  
Сии святые небеса...  
И гордый Эвлис очеса  
(Таким растроганным явленьем)  
Склонил бы, вспомнив с умиленьем  
О светлой рая красоте  
И о погибшей чистоте.  
А он?.. Отверженный, несчастный!  
Перед невинностью прекрасной  
Как осужденный он стоял...  
Увы! он памятью летал  
Над темной прошлого пучиной:  
Там не встречался ни единый  
Веселый берег, где б пристать  
И где б отрадную сорвать  
Надежде ветку примиренья;  
Одни лишь грозные виденья  
Носились в темной бездне той...  
И грудь смягчилась тоской;  
И он подумал: «Время было,  
И я, как ты, младенец милый,  
Был чист, на небеса смотрел,  
Как ты, молиться не умел  
И к мирной алтаря святыне  
Спокойно подходил... а ныне?»  
И голову потупил он;

И все, что с давних тех времен  
В душе ожесточенной спало,  
Чем сердце юное живало  
Во дни минувшей чистоты,  
Надежды, радости, мечты —  
Все вдруг пред ним возобновилось  
И в душу, свежее, втеснилось;  
И он заплакал... он во прах  
Пред Богом пал в своих слезах.  
О слезы покаянья! вами  
Душа дружится с небесами;  
И в тайный угрызенья час  
Виновный знает только в вас  
Невинности святое счастье.  
И Пери в жалости, в участие,  
Забыв себя и жребий свой,  
С покорною о нем мольбой  
Глаза на небо — светом ровным  
Над непорочным и виновным  
Сияющее — возвела;  
Ее душа полна была  
Неизъяснимым ожиданьем...  
Над холодным прахом с покаяньем  
Пред Богом плачущий злодей  
Лежал недвижим перед ней,  
К земле приникнув головою;  
И сострадательной рукою,  
К несчастному преклонена,  
Как нежная сестра, она  
Поддерживала с умилением  
Главу, нагбенную смиреньем;  
И быстро из его очей  
В мирительную руку ей  
Струя горячих слез бежала;  
И на небе она искала  
Ответа милости слезам...  
И все прекрасно было там!  
И были вечера светила,  
Как яркие паникадилы,  
В небесном храме зажжены;  
И мнилось ей: из глубины  
Того незримого чертога,  
Где чистым покаяньем Бога  
Умеет сердце обретать,

К земле сходила благодать;  
И там, казалось, ликovali:  
Как будто ангелы летали  
С веселой вестью по звездам;  
Как будто праздновали там  
Святую радость примиренья,—  
И вдруг, незапного стремленья  
Могуществом увлечена,  
Уже на высоте она;  
Уже пред ней почти пропала  
Земля; и Пери... угадала!  
С потоком благодарных слез  
В последний раз с полунебес  
На мир земной она воззрела...  
«Прости, земля!..» — и улетела.



# Джон Китс

---

## ГИПЕРИОН

(Фрагмент)

### Книга первая

В угрюмой тьме затерянной долины,  
Вдали от влажной свежести зари,  
И полдня жгучего, и одинокой  
Звезды вечерней,— в мрачной тишине  
Сидел Сатурн, как тишина, безмолвный,  
Недвижный, как недвижная скала.  
Над ним леса, чернея, громоздились,  
Подобно тучам. Воздух так застыл,  
Что в нем дыханья б даже не хватило  
Пушинку унести; и мертвый лист,  
Упав, не шевелился; и беззвучно  
Поток струился под налегшей тенью  
Низвергнутого божества; Наяда,  
Таившаяся в темных тростниках,  
К губам холодный палец прижимала.

Вдоль полосы песчаной протянулись  
Глубокие, неровные следы  
К стопам Сатурна. На холодном дерне  
Покоилась тяжелая рука  
Титана — равнодушная, немая,  
Безвластная. Не открывая глаз,  
Он словно к матери своей Земле  
Клонился, ожидая утешенья.

Казалось, чтобы пробудить его,  
Нет силы соразмерной. Но пришла  
Та, что коснулась родственной рукою  
Его широких плеч, склонясь над ним  
В почтительности скорбной и глубокой.  
Она была богиней на заре  
Рожденья мира; даже Амазонка  
Предстала б карлицею рядом с ней;  
Она могла бы гордого Ахилла,

За волосы схватив, пригнуть к земле  
Иль Иксиона колесо — мизинцем  
Остановить. Ее прекрасный лик  
Был больше, чем у Сфинкса из Мемфиса,  
Которому дивились мудрецы,—  
Но как не походил на мертвый мрамор,  
Как он светился красотой Печали,  
Печали, что превыше Красоты!  
Она прислушивалась к тишине  
С тревогой — словно тучи первых бедствий  
Растратили уже свои грома  
И новые отряды тьмы зловещей  
От горизонта двигались... Прижав  
Одну ладонь к груди, как будто ей,  
Богине, что-то причиняло боль  
В том месте, где у смертных бьется сердце,  
Другой рукою тронув за плечо  
Сатурна и к виску его приблизив  
Полуоткрытые уста, она  
Заговорила звучным, как орган,  
Певчим голосом... Вот слабый отзвук  
Тех слов (О, как ничтожна наша речь  
В сравнение с древним языком богов!):  
«Сатурн, очнись!.. Но для чего зову  
Тебя очнуться, свергнутый владыка!  
Могу ль утешить чем-нибудь? Ничем.  
Увы, ты небом предан, и земля  
Тебя, бессильного, не признает  
Монархом; океан вечношумящий  
Отпал от скиптра твоего; и мир  
Лишился первозданного величья.  
Твой гром, под власть чужую перейдя,  
Грохочет, необузданный, в эфире,  
Доселе ясном; молния твоя  
Беснуется в неопытных руках,  
Бичуя все вокруг и опалая.  
Мучительные, злые времена!  
Мгновенья, бесконечные, как годы!  
Так беспощадно давит эта боль,  
Что не передохнуть и не забыться.  
Так спи, Сатурн, без пробужденья спи!  
Жестоко нарушать твою дремоту,  
Она блаженней яви. Спи, Сатурн! —  
Пока у ног твоих я плачу горько».

Как в летнюю магическую ночь  
Под пристальным сиянием созвездий  
Беззвучно грезит усыпленный лес,  
И вдруг проходит одинокий шорох,  
Как в море одинокая волна,—  
И снова тишина,— так отзвучали  
Ее слова. В слезах она застыла,  
К земле припав своим широким лбом  
И, словно шелковистое руно,  
Рассыпав волосы у ног Сатурна.  
Так минул месяц, совершив в ночи  
Свои серебряные превращения,  
И целый месяц оставались оба  
Недвижны, словно изваянья в нише:  
Оцепенелый бог, к земле склоненный,  
И скорбная сестра,— пока Сатурн  
Не поднял от земли померкший взор  
И, оглянувшись, не увидел гибель  
Своей державы, весь угрюмый мрак  
Долины той — и возле ног своих  
Коленопреклоненную богиню.  
И вот он начал говорить, с усилием  
Ворочая застывшим языком,  
И мелкою осиновою дрожью  
Дрожала борода его: «О Тейя,  
Супруга светлого Гипериона!  
Дай мне взглянуть в твое лицо, чтоб в нем  
Прочесть свою судьбу; скажи, сестра,  
Ужель ты узнаешь Сатурна в этом  
Бессильном образе? ужель ты слышишь  
Сатурна голос? или этот лоб,  
Изрезанный морщинами невзгод,  
Лишенный драгоценной диадемы,—  
Чело Сатурна? Кто исхитил силу  
Из рук моих? Как вызрел этот бунт,  
Когда, казалось, я железной хваткой  
Держал Судьбу в могучем кулаке?  
Но так случилось. Я разбит, раздавлен  
И потерял божественное право  
Влияния на ход светил ночных,  
Увещевания ветров и волн,  
Благословения людских посевов —  
Всего, в чем может Высшее Начало  
Излить свою любовь. Я сам себя





*И целый месяц оставались оба  
Недвижны, словно изваянья в нише...*

Не обретаю в собственной груди;  
Не только трон — я суть свою утратил  
И впал в ничтожество. Взгляни, о Тейя!  
Открой свои бессмертные глаза  
И взглядом обведи простор вселенной:  
Пространства мглы — и сгустки ярких звезд,  
Края, где дышит жизнь,— и царства хлада,  
Круги огня — и адское жерло.  
Вглядись, о Тейя, может быть, увидишь  
Крылатую какую-нибудь тень  
Иль буйно мчащуюся колесницу,  
Спешащую отвоевать обратно  
Утраченные небеса; пора!  
Сатурн обязан снова стать царем,  
Блистательной победой увенчаться!  
Мятежников я свергну — и услышу,  
Как трубы золотые возвестят  
О торжестве, как праздничные гимны  
С сияющих прольются облаков,  
Призывы к миру и великодушью,  
И переливчатые звуки лир...  
И много небывалой красоты  
Тогда родится в мир — на удивленье  
Всем детям неба. Я отдам приказ!  
О Тейя, Тейя! Что с Сатурном стало?»

Одушевленный, он уже стоял,  
Сжимая длани; пот с чела струился;  
Его седая грива разметалась,  
Пресекся голос. Он уже не слышал  
Стенаний Тейи; лишь глаза сверкнули,  
И с уст сорвались грозные слова:  
«Что ж! разве разучился я творить?  
Не в силах новый мир создать, разрушив  
И уничтожив этот? Дайте новый  
Мне Хаос, дайте!» Этот грозный крик  
Достиг Олимпа и повергнул в дрожь  
Бунтовщиков. Рыдающая Тейя  
Воспряла и с надеждою в глазах  
Заговорила страстно-торопливо:

«О, это — речь Сатурна! Так скорее  
Идем к собратьям нашим, чтоб вселить  
В них мужество. Я поведу тебя».  
И, умоляюще взглянув на бога.

Она пошла вперед, за нею вслед —  
Сатурн; пред ними расступалась чаша,  
Как облака пред горными орлами,  
Взлетающими над своим гнездом.

Повсюду в этот час царила скорбь,  
Стоял такой великий плач и ропот,  
Что смертным языком не передать.  
В укрытьях тайных или в заточенье  
Титаны в ярости судьбу клянут,  
К Сатурну, своему вождю, зывают.  
Во всем роду их древнем лишь один  
Еще хранит и силу и величье:  
Один блистающий Гиперион.  
На огненной орбите восседая,  
Еще вдыхает благовонный дым,  
Курящийся на алтарях земных  
Для бога Солнца,— но и он в тревоге.  
Зловещих предзнаменований ряд  
Его смущает — не собачий вой,  
Не уханье совы, не темный призрак  
Полуночи, не трепетанье свеч,  
Не эти все людские суеверья —  
Но признаки иные поселяют  
В Гиперионе страх. Его дворец —  
От треугольных башен золотых  
И обелисков бронзовых у входа  
До всех бессчетных стен и галерей,  
Лучистых куполов, колонн и арок —  
Кроваво-красным светится огнем,  
И занавеси облаков рассветных  
Пылают багрянницей; то внезапно  
Затмятся окна исполинской тенью  
Орлиных крыл, то ржаньем скакунов  
Покои огласятся. В кольцах дыма,  
Которые восходят к небесам  
С холмов священных, ощущает бог  
Не аромат, но ядовитый привкус  
Горелого металла. Оттого-то,  
До гавани вечерней доведя  
Усталое светило и укрывшись  
На сонном западе, дабы вкусить  
Блаженный отдых на высоком ложе  
И мелодическое забытье,  
Не может он отдаться безмятежно

Дремоте, но угрюмо переходит  
Шагами грузными из зала в зал,  
Пока его крылатые любимцы  
По дальним нишам и углам дворца  
Прислушиваются, теснясь в испуге,  
Как беженцы за городской стеной,  
Когда землетрясенье разрушает  
Их бастионы, храмы и дома.  
Как раз теперь, когда Сатурн, очнувшись  
От ледяного сна, за Тейей вслед  
Ступал сквозь дебри сумрачного бора,  
Гиперион, потемкам оставляя  
Владеть землей, спустился на порог  
Заката. Двери солнечных чертогов  
Бесшумно отворились,— только трубы  
Торжественных Зефиров прозвучали  
Чуть слышным, мелодичным дуновеньем,—  
И вот, как роза в пурпурном цвету,  
Во всем благоуханье и прохладе,  
Великолепный, пышный этот вход  
Раскрылся, как бутон, пред богом солнца.

Гиперион вошел. Он весь пылал  
Негодованьем; огненные ризы  
За ним струились с ревом и гуденьем,  
Как при лесном пожаре,— уstraшая  
Крылатых Ор. Пылая, он прошел  
Под сводами из радуг и лучей,  
По анфиладам светозарных залов  
И по алмазным лестницам аркад  
Сияющих,— пока не очутился  
Под главным куполом. Остановясь  
И более не сдерживая гнева,  
Он топнул в бешенстве,— и весь дворец  
От основанья до высоких башен  
Сотрясся, и тогда, перекрывая  
Протяжный гром могучего удара,  
Воскликнул так: «О сны ночей и дней!  
О тени зла! О барельефы боли!  
О страшные фантомы хладной тьмы!  
О призраки болот и черных дебрей!  
Зачем я вас увидел и познал?  
Зачем смутил бессмертный разум свой  
Чудовищами небывалых страхов?

Сатурн утратил власть; ужель настал  
И мой черед? Ужели должен я  
Утратить гавань мирного покоя,  
Край моей славы, колыбель отрад,  
Обитель утешающего света,  
Хрустальный сад колонн и куполов  
И всю мою лучистую державу?  
Она уже померкла без меня;  
Великолепье, красота и стройность  
Исчезли. Всюду — холод, смерть и мрак.  
Они проникли даже и сюда,  
В мое гнездо, исчадья темноты,  
Чтоб мой покой отнять, затмить мой блеск,  
Похитить власти! — О нет, клянусь Землей  
И складками ее одежд соленых!  
Мне стоит мощной дланью погрозить —  
И затрепещет громовержец юный,  
Мятежный Зевс, и я верну назад  
Трон и корону — старому Сатурну!»  
Он смолк; поток других угроз, готовых  
Извергнуться, застрял в гортани. Ибо,  
Как в переполненном театре шум  
Лишь возрастает от призывов: «Тише!» —  
Так после этих слов Гипериона  
Фантомы вокруг него зашевелились  
Озлобленной. Подул сквозняк. От плит  
Зеркальных, на которых он стоял,  
Поднялся пар, как от болотной топи.  
И судорога страшная прошла  
По мускулам гиганта, — как змея,  
Обвившаяся медленно вокруг тела  
От ног до шеи. На пределе сил  
Он вырвался из давящих колец  
И поспешил к восточному portalу,  
Где шесть часов росистых пред зарей  
Провел, дыханьем жарким согревая  
Порог Восхода, очищая землю  
От мрачных испарений — и дождем  
Их низвергая в струи океана.  
Горящий шар светила, на котором  
Он совершал с востока на закат  
Свой путь по небу, был закутан в ворох  
Туч соболиных, но не вовсе скрыт  
Глухою темнотой, — а прорывался

Светящимися линиями дуг,  
Зигзагов и лучей по всей широкой  
Окружности эклиптики — старинным  
Священным алфавитом мудрецов  
И звездочетов, живших на земле  
Впоследствии и овладевших им  
Трудами вековых пытливых бдений:  
Те знаки сохранились и теперь  
На мраморе расколотом, на черных  
Обломках камня, — но забыта суть  
И смысл утрачен... Этот шар огня  
Стал расправлять при появлении бога  
Сияющие крылья. Из потемок  
Являлись, друг за другом восходя,  
Их перья серебристые — и вот  
Простерлись, озаря поднебесье.  
Лишь самый диск светила пребывал  
В затмение, ожидая приказанья  
Гипериона. Но напрасно он  
Повелевал, чтоб вспыхнул новый день.  
Не подчинялись больше божеству  
Природные стихии. И рассвет  
Застыл в начальных знаменьях своих.  
Серебряные крылья напряглись,  
Как паруса, готовые нести  
Светило дня; раскрылись широко  
Ворота сумрачных ночных пространств.  
И, угнетенный новою бедой,  
Склонился некогда неукротимый  
Титан — и по гряде унылых туч,  
По кромке дня и ночи он простерся  
В свечение бледном, в горести немой.  
Склонясь над ним, глядели небеса  
Сочувствующими очами звезд,  
И вдруг донесся из ночных глубин  
Проникновенный и негромкий шепот:  
«О самый светлый из моих детей,  
Сын Неба и Земли, потомок тайн,  
Непостижимых даже мощным силам,  
Тебя зачавшим, — отчего и как  
Находит это тихое блаженство  
И сладость содроганий, я не знаю.  
Но все, что рождено от этих таинств, —  
Все образы, все видимые формы —

Лишь символы, лишь проявления скрытой,  
Прекрасной жизни, всюду разлитой  
В божественной вселенной. Ты возник  
От них, о светлое дитя! От них —  
Твои титаны-братья и богини.  
Жестока ваша новая вражда;  
Сын на отца поднялся. Видел я,  
Как первенец мой сброшен был с престола;  
Ко мне он руки простирал, ко мне  
Взывал сквозь гром. А я лишь побледнел  
И тучами укрыл лицо от горя.  
Ужель и ты падешь, как он? Мне страшно,  
Что стали непохожи на бессмертных  
Мои сыны. Вы были рождены  
Богами, и богами оставались  
И в торжестве, и в горести — царями  
Стихий, владыками своих страстей.  
А ныне я вас вижу в страхе, в гневе,  
Объятыми сомнением и надеждой,  
Подобно смертным людям на земле.  
Вот горький признак слабости, смятенья  
И гибели. О сын мой, ты ведь бог!  
Ты полон сил стремительных, ты можешь  
Ударам Рока противопоставить  
И мужество, и волю. Я — лишь голос,  
Живу, как волны и ветра живут,  
Могу не больше, чем ветра и волны.  
Но ты борись! Ты можешь упредить  
События и схватить стрелу за жало,  
Пока не прозвенела тетива.  
Спешь на землю, чтоб помочь Сатурну!  
А уж за солнцем и за сменой суток  
Я пригляжу пока». Ошеломленный,  
Восстав и широко раскрыв глаза,  
Внимал Гиперион словам, идущим  
С мерцающих высот. Умолкнул голос,  
А он все вглядывался в небеса,  
В спокойное сияние созвездий;  
Потом подался медленно вперед  
Могучей грудью, как ловец жемчужин  
Над глубиной, — и с края облаков  
Бесшумно ринулся в пучину ночи.

## Книга вторая

В то самое мгновение, когда  
Гиперион скользнул в шуршащий воздух,  
Сатурн с сестрой достигли скорбных мест,  
Где братья побежденные томились.  
То было логово, куда не смел  
Проникнуть свет кошунственным лучом,  
Чтоб в их слезах блеснуть; где не могли  
Они расслышать собственных стенаний  
За слитным гулом струй и водопадов,  
Ревущих в темноте. Нагроможденье  
Камней рогатых и лобастых скал,  
Как бы едва очнувшихся от сна,  
Чудовищной и фантастичной крышей  
Вздымалось над угрюмым их гнездом.  
Не троны, а большие валуны,  
Кремнистые и сланцевые глыбы  
Служили им седалищами. Многих  
Недоставало здесь: они скитались,  
Рассеянные по земле. В цепях  
Страдали Кей, Тифон и Бриарей,  
Порфирион, Долор и Гий сторукий,  
И множество других непримиримых,  
Из опасенья ввергнутых в затвор,  
В тот душный мрак, где их тела в оковах  
Так были сжаты, сдавлены, распяты,  
Как жилы серебра в породе горной,  
И только судорожно содрогались  
Огромные сердца, гоня вперед  
Круговорот бурлящей, рдяной крови.  
Раскинувшись кто вдоль, кто поперек,  
Они лежали, мало походя  
На образы живых,— как средь болот  
Окружье древних идолов друидских  
В дождливый, стылый вечер ноября,  
Когда под небом — их алтарным сводом —  
Кромешная густеет темнота.  
Молчали побежденные, ни словом  
Отчаянных не выдавая мук.  
Один из них был Крий; ребро скалы,  
Отколотой железной булавою,  
Напоминало, как ярился он  
Пред тем, как обессилеть и свалиться.





*Сатурн с сестрой достигли скорбных мест,  
Где братья побежденные томились.*

Другой был Иапет, сжимавший горло  
Придушенной змеи; ее язык  
Из глотки вывалился, и развились  
Цветные кольца: смерть ее настигла  
За то, что не посмела эта тварь  
Слюною ядовитой брызнуть в Зевса.  
Котт, распростертый подбородком вверх,  
С раскрытым ртом, затылком на холодном  
Кремнистом камне, как от дикой боли,  
Вращал зрачками. Дальше, рядом с ним  
Лежала Азия, огромным Кафом  
Зачатая; никто из сыновей  
Не стоил при рожденье столько боли  
Земле, как эта дочь. В ее лице  
Задумчивость, а не печаль сквозила;  
Она свое провидела величье  
В грядущем: пальмы, храмы и дворцы  
Близ Окса иль у вод священных Ганга;  
И как Надежда на железный якорь,  
Так опиралась она на бивень  
Громаднейшего из своих слонов.  
За ней, на жестком выступе гранитном  
Простерся мрачной тенью Энкелад;  
Он, прежде незлобивый и смиренный,  
Как вол, пасущийся среди цветов,  
Был ныне полон ярости тигриной  
И львиной злобы; в мстительных мечтах  
Уже он горы громоздил на горы,  
Лелея мысль о той второй войне,  
Что вскоре разразилась, самых робких  
Заставив спрятаться в зверей и птиц.  
Атлант лежал ничком; с ним рядом Форкий,  
Отец Горгон. За ними — Океан  
И Тефия, в коленях у которой  
Растрепанная плакала Климена.  
Посередине всех Фемида жалась  
К ногам царицы Опс, почти во мраке  
Неразличимой, как вершины сосен,  
Когда их с тучами смешает ночь;  
И многие иные, чьих имен  
Не назову. Ведь если крылья Музы  
Простерты для полета, что ей медлить?  
Ей нужно петь, как сумрачный Сатурн  
Со спутницей, скользя и оступаясь,

Взобрался к этой пропасти скорбей  
Еще из худших бездн. Из-за уступа  
Сначала головы богов явились,  
И вот уже ступили две фигуры  
На ровное подножье. Трепеща,  
Воздела Тейя руки к мрачным сводам  
Пещеры — и внезапно взор ее  
Упал на лик Сатурна. В нем читалась  
Ужасная борьба: страх, жажда мести,  
Надежда, сожаленье, боль и гнев,  
Но главное — тоска и безнадежность.  
Вотще он их стремился одолеть,  
Судьба уже отметила его  
Елеем смертных — ядом отречения;  
И сникла Тейя, пропустив вперед  
Вождя — к его поверженному войску.

Как смертного скорбящая душа  
Терзается сильнее, вступая в дом,  
Который омрачило то же горе,  
Так и Сатурн, войдя в печальный круг,  
Почувствовал растерянность и слабость.  
Но Энкелада мужественный взор,  
С надеждой устремленный на него,  
Придал Сатурну сил, и он воскликнул:  
«Я здесь, титаны!» Услыхав вождя,  
Кто застонал, кто попытался встать,  
Кто возопил — и все пред ним склонились  
С благоговением. Царица Опс,  
Откинув траурное покрывало,  
Явила бледный изможденный лик  
И черные запавшие глаза.  
Как гул проходит между горных сосен  
В ответ на дуновение Зимы,  
Так прокатился шум среди бессмертных,  
Когда Сатурн им подал знак, что хочет  
Словами полновесными облечь,  
Исполненными музыки и мощи,  
Смятение свое и бурю чувств.  
Но сосен шум сменяется затишьем,  
А здесь едва нестройный ропот смолк,  
Глас божества возрос, как гром органа,  
Когда стихают хора голоса,  
Серебряное эхо оставляя

В звенящем воздухе. Так начал он:  
«Ни в собственной груди, где я веду  
Сам над собой дознание и суд,  
Не отыскал я ваших бед причину,  
Ни в тех легендах первобытных дней,  
Которые Уран звездочитый  
Нашел на отмели начальной мглы,  
Когда ее прибой бурлящий схлынул,—  
В той книге, что служила мне всегда  
Подставкою для ног — увы, неверной! —  
Ни в символах ее, ни в чудесах  
Стихий — земли, огня, воды и ветра —  
В их поединках, в яростной борьбе  
Одной из них с двумя, с тремя другими,  
Как при грозе, когда идет сраженье  
Огня и воздуха, а струи ливня,  
Хлеща, стремятся их прибить к земле,  
В соитье четверном рождая серу,—  
Ни в этих схватках, в таинствах стихий,  
Которые мне до глубин открыты,  
Я не нашел причины ваших бед;  
Напрасно вчитывался в дивный свиток  
Природы,— я не мог сыскать разгадки,  
Как вы, перворожденные из всех  
Богов, что осязаемы и зримы,  
Слабейшим поддались. Но это так!  
Вы сломлены, унижены, разбиты.  
Что мне теперь сказать вам, о титаны?  
«Восстаньте»? — вы молчите.

«Пресмыкайтесь»? —

Вы стонете. Что я могу сказать?  
О небеса! О мой отец незримый!  
Что я могу? Поведайте мне, братья!  
Мой слух взыскует вашего совета.  
О ты, глубокоумудрый Океан!  
Я вижу на твоем челе суровом  
Печать раздумья. Помоги же нам!»

Сатурн умолк, а вещий бог морей —  
Хотя не ученик Афинских рощ,  
Но сумрака подводного философ,—  
Встал, разметав невлажные власы,  
И молвил дивно-звучным языком,  
Мерно-шумящим голосом прибоя:

«О вы, кто дышит только жаждой мести,  
Кто корчится, лелея боль свою,  
Замкните слух: мой голос не раздует  
Кузнечными мехами вашу ярость.  
Но вы, кто хочет правду услышать,  
Внимайте мне: я докажу, что ныне  
Смириться поневоле вы должны,  
И в правде обретете утешенье.  
Вы сломлены законом мировым,  
А не громами и не силой Зевса.  
Ты в суть вещей проник, Сатурн великий,  
До атома; и все же ты — монарх  
И, ослепленный гордым превосходством,  
Ты упустил из виду этот путь,  
Которым я прошел к извечной правде.  
Во-первых, как царили до тебя,  
Так будут царствовать и за тобой:  
Ты — не начало, не конец вселенной.  
Праматерь Ночь и Хаос породили  
Свет — первый плод самокипящих сил,  
Тех медленных брожений, что подспудно  
Происходили в мире. Плод созрел,  
Явился Свет, и Свет зачал от Ночи,  
Своей родительницы, весь огромный  
Круг мировых вещей. В тот самый час  
Возникли Небо и Земля; от них  
Произошел наш исполинский род,  
Который сразу получил в наследство  
Прекрасные и новые края.  
Стерпите ж правду, если даже в ней  
Есть боль. О неразумные! — принять  
И стойко выдержать нагую правду —  
Вот верх могущества. Я говорю:  
Как Небо и Земля светлей и краше,  
Чем Ночь и Хаос, что царили встарь,  
Как мы Земли и Неба превосходней  
И соразмерностью прекрасных форм,  
И волей, и поступками, и дружбой,  
И жизнью, что в нас выражена чище,—  
Так нас теснит иное совершенство,  
Оно сильней своею красотой  
И нас должно затмить, как мы когда-то  
Затмили славой Ночь. Его триумф —  
Сродни победе нашей над начальным

Господством Хаоса. Ответьте мне,  
Враждует ли питательная почва  
С зеленым лесом, выросшим на ней,  
Оспаривает ли его главенство?  
А дерево завидует ли птице,  
Умеющей порхать и щебетать  
И всюду находить себе отраду?  
Мы — этот светлый лес, и наши ветви  
Взлелеяли не мелкокрылых птах —  
Орлов могучих, златооперенных,  
Которые нас выше красотой  
И потому должны царить по праву.  
Таков закон Природы: красота  
Дарует власть. По этому закону  
И победители познают скорбь,  
Когда придет другое поколение.  
Видали ль вы, как юный бог морей,  
Преемник мой, по голубой пучине  
Средь брызг и пены в колеснице мчит,  
Крылатыми конями запряженной?  
Я видел это, — и в его глазах  
Такая красота мне просверкала,  
Что я сказал печальное «прощай»  
Своей державе, я простился с властью  
И к вам пришел сюда, чтоб разделить  
Груз ваших бед — и утешенье дать:  
Да будет истина вам утешеньем».

Смущенные ли мудрой правотою  
Иль из презрения к его словам,  
Но все хранили тишину, когда  
Смолк рокот Океана. Лишь Климена,  
Пренебрегаемая до сих пор,  
Заговорила вдруг — не возражая,  
А только кротко изливая грусть,  
Тишайшая среди неукротимых:  
«Отец, я здесь неискушенной всех,  
Я знаю только, что исчезла радость  
И скорбь-змея свила себе гнездо  
В сердцах у нас, боюсь, уже навеки.  
Я бы не стала предрекать беду,  
Когда б сама могла ее смирить,  
Но здесь нужна могущественней сила.  
Позвольте же поведать мне о том,

Что так заставило меня рыдать  
И отняло последние надежды.  
Стояла я на берегу морском;  
Бриз, веявший от леса, доносил  
Благоуханье листьев и цветов,  
Такой исполненное чудной неги,  
Такой отрады, что в тоске моей  
Мне захотелось эту тишь нарушить,  
Смутить самодовлеющий покой  
Печальной песнею о наших бедах.  
Я села, раковину подняла  
С песка — и тихо в губы ей подула,  
Чтобы извлечь мелодию; но вдруг,  
Покуда я пыталась разбудить  
Глухое эхо в сводах перламутра,—  
С косы напротив, с острова морского  
Донесся столь чарующий напев,  
Что сразу захватил мое вниманье.  
Я раковину бросила, и волны  
Наполнили ее, как уши мне  
Наполнила отрада золотая;  
Погибельные, колдовские звуки  
Каскадом ниспадали друг за другом —  
Стремительно, как цепь жемчужин с нити,  
А вслед иные ноты воспаряли,  
Подобно горлицам с ветвей оливы,  
И реяли над головой моей,  
Изнемогавшей от отрады дивной  
И скорбной муки. Победила скорбь,  
И я безумные заткнула уши,  
Но сквозь дрожащую преграду пальцев  
Прорвался нежный и певучий голос,  
С восторгом восклицавший: «Аполлон!  
О юный Аполлон золотокудрый!»  
В смятенье я бежала, а за мной  
Летело и звенело это имя!..  
Отец мой! братья! если бы вы знали,  
Как было больно мне! Когда б ты слышал,  
Сатурн, как я рыдала,— ты б не стал  
Меня корить за дерзость этой речи».

Как боязливый ручеек, петляя  
По гальке побережья, медлит впасть  
В безбрежность волн, так этот робкий голос

Струился вдаль,— но устья он достиг,  
Когда был, словно морем, поглощен  
Взбешенным, гневным басом Энкелада.  
Он говорил, на локоть опершись,  
Но не вставая, словно от избытка  
Презрения,— и тяжкие слова  
Гремели, как удары волн о рифы.  
«Кого должны мы слушать — слишком мудрых  
Иль слишком глупых, братья-великаны?  
Обрушьте на меня хоть все грома  
Бунтовщиков с Олимпа, взгромоздите  
Всю землю с небесами мне на плечи —  
Страшнее я не испытал бы мук,  
Чем ныне, слыша этот детский лепет.  
Шумите же, кричите и бушуйте,  
Вопите громче, сонные титаны!  
Неужто вы проглотите обиды  
И униженья от юнцов снесете?  
Неужто ты забыл, Владыка вод,  
Как ты ошпарен был в своей стихии?  
Что — наконец в тебе проснулся гнев?  
О радость! значит, ты не безнадежен!  
О радость! наконец-то сотни глаз  
Сверкнули жаждой мести!» — Он поднялся  
Во весь огромный рост и продолжал:  
«Теперь вы — пламя, так пылайте жарче,  
Пройдитесь очистительным огнем  
По небесам, калеными стрелами  
Спалите дом тщедушного врага,  
За облака занесшегося Зевса!  
Пусть он пожнет содеянное зло!  
Я презираю мудрость Океана;  
И все же не одна потеря царств  
Меня гнетет: дни мира улетели,  
Те безмятежные, благие дни,  
Когда все существа в эфире светлом  
Внимали нам с раскрытыми глазами  
И наши лбы не ведали морщин,  
А губы — горьких стонов, и Победа —  
Крылатое, неверное создание —  
Была еще не рождена на свет.  
Но вспомните: Гиперион могучий,  
Наш самый светлый брат, еще царит...  
Он здесь! Взгляните — вот его сиянье!»



Все взоры были скрещены в тот миг  
На Энкеладе, и пока звучали  
Его слова под сводами ущелья,  
Внезапный отблеск озарил черты  
Сурового гиганта, что сумел  
Вдохнуть в богов свой гнев. И тот же отблеск  
Коснулся остальных, но ярче всех —  
Сатурна, чьи белеющие пряди  
Светились, словно вспененные волны  
Под сумрачным бушпритом корабля,  
Когда всплывает он в ночную бухту.  
И вдруг из бледно-серебристой мглы  
Слепящий, яркий блеск, подобно утру,  
Возник и залил все уступы скал,  
Весь этот горестный приют забвенья,  
И кручи, и расщелины земли,  
Глухие пропасти и водопады  
Ревущие — и весь пещерный мир,  
Одетый прежде в мантию теней,  
Явил в его чудовищном обличье.  
То был Гиперион. В венце лучей  
Стоял он, с высоты гранитной глядя  
На бездну скорби, что при свете дня  
Самой себе казалась ненавистной.  
Сверкали золотом его власы  
В курчавых нумидийских завитках,  
И вся фигура в ореоле блеска  
Являла царственный и страшный вид,  
Как на закате Мемнона колосс  
Для пришлеца с туманного Востока.  
И, словно арфа Мемнона, стенанья  
Он выпускал, ладонью сжав ладонь,  
И так стоял недвижно. Эта скорбь  
Владыки солнца тягостным уныньем  
Отозвалась в поверженных богах,  
И многие свои прикрыли лица,  
Чтоб не смотреть. Лишь пылкий Энкелад  
Свой взор горящий устремил на братьев,  
И, повинуясь этому сигналу,  
Поднялся Иапет, и мощный Крий,  
И Форкий, великан морской,— и стали  
С ним рядом, вчетвером, плечом к плечу.  
«Сатурн!» — раздался их призыв, и сверху  
Гиперион ответил громким криком:



*То был Гиперион. В венце лучей  
Стоял он, с высоты гранитной глядя...*

«Сатурн!» Но старый вождь сидел угрюмо  
С Кибелой рядом, и в лице богини  
Не отразилось радости, когда  
Из сотен глоток грянул клич: «Сатурн!»

### Книга третья

Вот так между покорностью и буйством  
Метались побежденные титаны.  
Теперь оставь их, Муза! Не по силам  
Тебе воспеть такие бури бедствий.  
Твоим губам скорей печаль пристала  
И меланхолия уединенья.  
Оставь их, Муза! Ибо скоро встретишь  
Ты множество божеств первоначальных,  
Скитающихся в мире без приюта.  
Но с трепетом коснись дельфийской арфы,  
И пусть повеет ветерком небесным  
Мелодия дорийской нежной лютни;  
Ведь эта песнь твоя — Отцу всех песен!  
Все розовое сделай ярко-алым,  
Пускай румянец розы вспыхнет ярче,  
Пусть облака восхода и заката  
Плывут руном роскошным над холмами,  
Пусть красное вино вскипит в бокале  
Ключом студеным, пусть на дне морском  
Ракушек розовеющие губы  
В кармин окрасятся, пусть щеки девы  
Зардеют жарко, как от поцелуя.  
Возрадуйтесь, тенистые Киклады  
И главный остров их, священный Делос!  
Возрадуйтесь, зеленые оливы,  
И тополя, и пальмы на лужайках,  
И ветер, что поет на побережье,  
И гнущийся орешник темноствольный:  
Об Аполлоне будет эта песня!  
Где был он в час, когда в приют скорбей  
Спустились мы за солнечным титаном?  
Он спящими оставил пред зарею  
Мать и свою ровесницу-сестру  
И в полумраке утреннем спустился  
К ручью, чтоб там бродить под сенью ив,  
По щиколотку в лилиях росистых.  
Смолк соловей, и начал песню дрозд,

И несколько последних звезд дрожали  
В лазури. Не было ни уголка  
На острове — ни грота, ни пещеры, —  
Куда не достигал бы ропот волн,  
Лишь густотою леса приглушенный.  
Он слушал, и мерцала пелена  
Перед глазами, и стекали слезы  
По золотому луку. Так стоял,  
Когда из чащи выступила вдруг  
Богиня с грозно-величавым ликом.  
Она глядела, как бы испытывая,  
На юношу, и он, спеша постичь  
Загадку взора этого, воскликнул:  
«Как ты прошла по зыбкой глади моря?  
Или незримая в незримых ризах  
Доселе ты блуждала в этих долах?  
Мне кажется, я слышал шелест платья  
По опали сухой, когда один  
Мечтал я в глубине прохладной чащи,  
Мне чудилось волнение и шуршанье  
В густой нехоженной траве, я видел,  
Как поднимали головы цветы  
Вослед таинственным шагам. Богиня!  
Я узнаю и твой бессмертный лик,  
И взор бесстрастный, — или это только  
Приснилось мне...» «Да, — прозвучал ответ, —  
Тебе приснилась я, и, пробудясь,  
Нашел ты рядом золотую лиру,  
Коснулся певчих струн, — и целый мир  
С неведомою болью и отрадой  
Внимал рожденью музыки чудесной.  
Не странно ль, что, владея этим даром,  
Ты плачешь? В чем причина этой грусти?  
Меня печалит каждая слеза,  
Пролитая тобой. Открой мне душу;  
Ведь я на этом острове пустынном  
Была твоим хранителем и стражем —  
От детских лет, от первого цветка,  
Который сорвала рука младенца,  
До дня, когда ты сам сумел согнуть  
Свой лук меткоразящий. Все поведай  
Той древней силе, что пренебрегла  
Своим престолом и своим покоем  
Ради тебя и новой красоты,

Родившейся на свет». С мольбой в глазах,  
Внезапно засиявших, Аполлон  
Проговорил, из горла изливая  
Певучие созвучья: «Мнемозина!  
Тебя узнал я, сам не знаю как.  
Зачем, всеведущая, ты пытаешь  
Меня вопросами? Зачем я должен  
Стараться выразить то, что сама  
Ты можешь мне открыть? Тяжелый мрак  
Неведенья мне застилает зренье.  
Мне непонятна собственная грусть;  
Я мучусь, думаю — и, обессилев,  
В стенаньях опускаюсь на траву,  
Как потерявший крылья. О, зачем  
Мне эта тяжесть, если вольный воздух  
Податливо струится под моей  
Стопой стремительной? Зачем, зачем  
С такою злостью дерн я попираю?  
Богиня милостивая, ответь:  
Один ли этот остров есть на свете?  
А звезды для чего? А солнце? Солнце!  
А кроткое сияние луны?  
А тысячи созвездий? Укажи  
Мне путь к какой-нибудь звезде прекрасной,  
И я взлечу туда с моею лирой  
И серебристые ее лучи  
Заставлю трепетать от наслажденья!  
Я слышал гром из туч. Какая сила,  
Чья длань властительная производит  
Шум этот и смятение стихий,  
Которым я внимаю — без боязни,  
Но в горестном неведенье? Скажи,  
Печальная богиня, — заклинаю  
Тебя твоей рыдающею лирой:  
Зачем в бреду и самоисступленье  
Брожу я в этих рощах? — Ты молчишь.  
Молчишь! — но я уже читаю сам  
Урок чудесный на лице безмолвном  
И чувствую, как в бога превращает  
Меня громада знаний! Имена,  
Деянья, подвиги, седые мифы,  
Триумфы, муки, голоса вождей,  
И жизнь, и гибель — это все потоком  
Вливается в огромные пустоты

Сознания и меня обожествляет,  
Как будто я испил вина блаженных  
И приобщен к бессмертью!» Задохнувшись,  
Он смолк, не в силах взора оторвать  
От Мнемозины, и мерцали чудно  
Воспламененные глаза,— как вдруг  
Все тело охватило страшной дрожью,  
И залил лихорадочный румянец  
Божественную бледность,— как бывает  
Пред смертью — иль, верней, как у того,  
Кто вырвался из лап холодной смерти  
И в жгучей муке, сходной с умираньем,  
Жизнь обретает вновь. Такая боль  
Терзала Аполлона. Даже кудри —  
Его златые кудри трепетали  
Вокруг сведенной шеи. Мнемозина  
Воздела руки, словно прорицая...  
И вскрикнул Аполлон — и вдруг он весь  
Небесно...



# Альфонс де Ламартин

## ЧЕЛОВЕК

*Лорду Байрону*

Господь ли дал тебе два ангельских крыла,  
Иль мрачный демон ты, кого исторгла мгла,  
Иль смертный, чей глагол пока невнятен миру, —  
Но я люблю твою неистовую лиру,  
В чьих звуках бури стон и шторма грозный вал  
Сливаются в один бушующий хорал.  
Твоя стихия — ночь и ужас сокровенный;  
Так царь пустынь орел, покинув дол презренный,  
Летит к вершинам гор в их ризе снеговой,  
К суровым гребням скал, иссеченных грозой,  
К брегам, усеянным обломками крушенья,  
К полям, что выжжены дотла огнем сраженья.  
Певец печальных грез, невинный соловей  
Совьет свое гнездо в прибрежной тьме ветвей —  
Орел взмывает ввысь, в холодный край подзвездный,  
Гнездо его висит над леденящей бездной,  
Плоть трепетную жертв он рвет там на куски,  
Их сладостен ему предсмертный крик тоски.  
Кровавый справив пир, потом он гордо дремлет  
И колыбельной гроз в своей дремоте внемлет.

Ты сходен, Байрон, с ним, с корсаром облаков.  
Отчаяньем людским упиться ты готов.  
Что человек твоей гордыне исполинской?  
Лишь жертва, лишь паяц на сцене сатанинской.  
Как падший дух, сойдя с небесного пути,  
Надежде ты сказал последнее прости,  
И мраком правит твой неукротимый гений,  
И погребален звон могучих песнопений,  
И глас торжественный, как адских сил оплот,  
Осанну богу зла над бездною поет.  
Но что твой бунт в борьбе, заране обреченной?  
Пред роком вековым что разум возмущенный?  
Очерчен узкий круг и зренью и уму;  
Его не преступить рассудку твоему.  
За кругом — все мираж, все тает, все минует.

Лишь в той черте Господь нам место указывает.  
Кто знает — почему? Кто знает — отчего  
Сей дольний выпал мир из длани у него?  
Зачем рассеял он в долинах прах и пепел,  
Послал нам ночи мрак и дня великслестье?  
Нам лишь довольно знать, что так он захотел.  
Ему — бескрайний мир, нам — беглый миг удел.  
Мы люди — в том наш грех; мы слишком алчем знанья;  
Не ведать, а служить — вот смертного призванье.  
О Байрон, мне ль не знать, сколь тяжек сей закон?  
Я долго сам роптал — но истиной сражен.  
Господь — создатель твой; отринь самоуправство.  
Ты тварь его, ты раб — но то святое рабство.  
Не обвиняй Творца, сомнением томим,—  
Восславь его за то, что ты замыслен им.  
В кружении миров лишь атом ты, не боле;  
Сумей же вплесть узор твоей свободной воли  
В божественный чертеж, в порядка торжество;  
Не тщишься разбить ярмо, а лобызай его.  
В гордыне не дерзай встать вровень с горним тронном:  
Всяк мудр и всяк велик в кругу, ему сужденном;  
В глазах создателя бесчисленных миров  
Равны и мир и червь — плоды его трудов.

«Но тот закон не прав! — ты скажешь в возмущенье.—  
Он деспота каприз, он правды извращенье,  
Ловушка для ума, чтоб нас верней сломить!»  
Что ж, даже если так — не нам его судить.  
Мой разум, как и твой, глухим окутан мраком.  
Не мне тебя учить вселенской воли знакам.  
Пусть тот, кто создал мир, тебя и вразумит.  
Земных мучений смысл и для меня сокрыт.  
Здесь дней тоскливых цепь зовут существованьем,  
Здесь терпит человек страданье за страданьем.  
Да, плотью скован он — но духом полн чудес!  
Он бог, что пал во прах, но не забыл небес.  
О днях ли помнит он минувшей гордой славы,  
Иль глубина страстей, сей кладезь величавый,  
Дает ему прозреть грядущей славы лик,—  
Хоть он и слаб и сир — он тайною велик.  
В плену у чувств слепых — в земной своей темнице,  
Несчастья сосуд — он к счастью стремится.  
Пусть здесь он жалкий раб — он все же убежден,  
Что сердцем и душой для вольности рожден.



Он жаждет мир постичь — но полон взор тумана;  
Он вечной ждет любви — она непостоянна.  
Всяк смертный — пасынок, как праотец Адам:  
Лишившись доступа к божественным садам,  
Убогий свой предел с тоскою озирая,  
Сидит и плачет он у врат недвижных рая.  
Из тех запретных куш порой ему слышны  
Аккорды дивные утраченной весны,  
И ангельский хорал он жадным слухом ловит,  
Что высей неземных блаженство славословит,  
И рвется к небу взор в усилье роковом —  
Чтобы очнуться вновь в узилище земном.

О, сколь несчастен тот, кто в сей юдоли тесной  
Хоть раз единый внял гармонии небесной!  
Один испив глоток волшебного питья,  
Он отвращает дух от праха бытия,  
За грань возможного летит мечтою тайной;  
Реальность так скудна — возможность так бескрайна!  
Возводит там себе убежище душа,  
К источнику любви и мудрости спеша;  
Там света и добра простерлись океаны;  
Там человек в своем томленье непрестанном  
Пьянящие мечты, как влагу жизни, пьет  
И, пробудясь от них, себя не узнает.

Вот твой удел — и мне не избежать такого.  
Я тоже выпил яд из кубка рокового.  
Как ты, вперял я взгляд невидящих очес  
И в бездну черную, и в яркий свет небес;  
Ища вселенной смысл, пытал я все живое,  
Нить путеводную следил в сокрытом строе,  
Пылинку и звезду ответить я молил —  
Но тайн своих наш мир мне так и не открыл.  
Я время обгонял, спускался в глубь столетий —  
Никто из мудрецов земли мне не ответил;  
Кто суетен и горд, тому вовек не снять  
С загадки мировой последнюю печать.  
Пытал природу я в дерзаннях неумных,  
Чтоб смысл уразуметь ее речений темных;  
Кружения светил хотел постичь закон —  
Средь тех пустынь мне был поводырем Ньютон;  
Историй падших царств потом листал страницы  
И в Риме нисходил в священные гробницы;

Смушая предков сон, я в трепетных перстах  
Держал и взвешивал героев хладный прах,  
И все следы искал в сих скудных горстках пыли  
Того бессмертия, что смертные вкусили.  
Да что там прах гробниц! Склонялся я не раз  
Над изголовьем тех, чей пробил смертный час,  
И в меркнувших очах, в слабеющем дыханье  
Бессмертия хотел прочесть обетованье.  
Вздымался ль вал морской, гремел ли ураган —  
Я вызов им бросал, гордыней обуян,  
И в иступленье ждал, как вещая Сивилла,  
Чтоб мне оракул свой природа возвестила  
Хоть в этом мятеже стихии роковой;  
Но гнев ее был нем, как и ее покой.  
Так я стоял пред ней, неведеньем томимый;  
Всегда был рядом Бог — всегда непостижимый;  
Всегда добро и зло вокруг он рассыпал  
Без цели, наугад — и тут я возроптал.  
Увидев, что сильней повсюду воля злая,  
Я богохульствовал, творенье проклиная,—  
Но даже жалкой тем отрады не достиг:  
Железный лик небес хоть дрогнул бы на миг!

Но в день один, когда, печальник злополучный,  
Вновь небо осаждал я жалобой докучной,  
Свет в душу мне сошел, и свыше голос был,  
И рек: «Благослови все то, что ты хулил!» —  
И я пред гласом тем без ропота склонился,  
И из оживших струн гимн разуму излился:

«Да славится в веках устав священный твой,  
О воля высшая, о разум мировой!  
Твое присутствие в любом мгновенье длится;  
О нем нам, воссияв, вещает луч зарницы.  
Я был ничто, когда ты над водой витал;  
Ты на менядохнул — я пред тобой восстал,  
И вот небытие, твоей рождаясь волей,  
Приветствует тебя у врат земной юдоли!  
Ты звал меня? Я здесь. Я услышал твой глас,  
Еще не испытал самосознания час.  
Но что я пред тобой, зиждителем вселенной?  
Лишь атом мыслящий, тобой же вдохновенный!  
Как мог я мнить, что ты должник в моей судьбе?  
Кто все творит, тот всем обязан лишь себе.

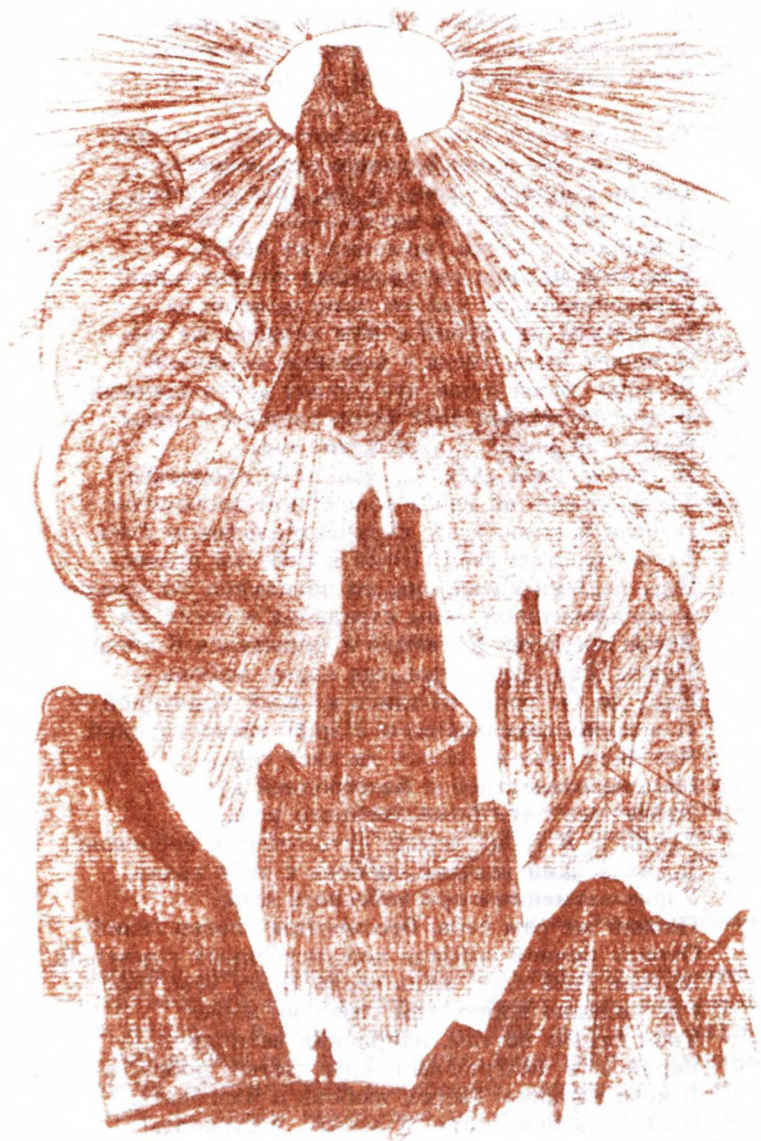
Ты вылепил сосуд; любым твоим желаньям  
Покорен он теперь — играй своим созданием,  
Искуснейший гончар, по прихоти своей;  
Распоряжайся им, повелевай, владей,  
Наметь ему в путях его недолгих странствий  
Предел во времени и жесткий круг в пространстве —  
И в тот же самый миг его увидишь ты  
Склоненным у тобой указанной черты.  
Как золотых светил на небесах движенье  
За волею твоей, сей путеводной тенью,  
Покорно следует равно сквозь свет и мрак,  
Так непреложен мне твоей десницы знак.  
И буду ль призван я, твоим огнем сожженный,  
Собою озарить вселенский мрак бездонный  
И, свет заемный тот даря другим мирам,  
Свободно воспарю в твой необъятный храм, —  
Иль, от очей своих услав меня далеко,  
В безвестье мне велишь скитаться одиноко,  
И буду брошен там песчинкой жалкой я,  
Забытым атомом за гранью бытия, —  
Судьбою этой горд, как волею твоею,  
Все так же истово пред ней благоговей,  
Я буду счастлив там исполнить твой закон,  
Чтоб и в небытии был мной прославлен он.

Не бог я и не прах! — дитя земли простое;  
Мой жребий — и вопрос, и таинство святое.  
Как на кругах небес вершит свой путь луна,  
Ночей скиталица, чья сторона одна  
Извечного огня сиянье отражает,  
Другая же во мгле бездонной пребывает, —  
Таким и человек замыслен был тобой;  
Таков его удел: быть точкой роковой,  
В которой высшая всеведущая сила  
Две бесконечности в одно соединила.  
Пусть силу ту постичь мне так и не дано —  
Пою хвалу тому, что ею суждено!  
Вериги скорбные мой путь отяготили  
И от небытия влекут меня к могиле;  
Оставленный в ночи, и сир и одинок,  
Как беглая волна, чей замутился исток,  
Откуда и куда бреду я — сам не знаю  
И юность светлую вотще воспоминаю.  
Но все ж не усомнюсь — хвала тебе, хвала!

Со мной сроднилась боль, лишь только в мир пришла;  
Ты дал мне хлеб скорбей в протянутой деснице  
И гнева твоего из чаши дал напиться,—  
И славил я тебя, начало всех начал!  
Я пел тебе хвалу — но ты не отвечал;  
И звал я день суда, как истины поруку,  
И он пришел, Господь,— и мне пришел на муку.  
Невинность пред тобой виновна все равно!  
Ты сам же мне послал создание одно,  
Что было для меня последнею отрадой,  
Чей вздох мне жизнью был, чей взгляд мне был  
усладой,—

И вот, как ветвь в цвету, до времени она  
Жестоким вихрем прочь уже унесена.  
Он был назначен мне, весь гнев того удара,—  
И поразил ее; страшней возможна ль кара?  
Когда я в лик ее тускнеющий глядел,  
Я в нем свою судьбу читал — и холодел:  
Я зрел воочию, как, встав у изголовья,  
Косу заносит смерть над верой и любовью,—  
И тщился отогнать безжалостную тень,  
И каждый день молил: «Пошли еще хоть день!»  
Так, замурованный в угрюмом подземелье,  
Преступник гонит мысль о тягостном уделе,  
С убогого огня не сводит жадных глаз  
И видит вдруг, что он уж гаснет... уж угас...  
Так и ее душа, я видел, отлетала,  
И удержать ее мне силы не хватало.  
И возроптал тогда мой дерзостный язык...  
Прости отчаянью кощунства краткий миг!  
Я каюсь, о Творец! Да длится без предела,  
Отныне и вовек та власть, что повелела,  
Чтобы текла вода, чтоб ветер лист срывал,  
Чтоб солнце свет лило, чтоб человек страдал!

Природе так легко принять закон творенья:  
Она покорствуется ему без разума.  
Лишь я один тебе в сознании служу;  
В необходимости твой лик я нахожу  
И, жертвуя тебе своей свободной волей,  
Не только не ропщу, но счастлив этой долей,—  
И полнюсь радостью, и славлю без конца  
Чертеж моей судьбы, перст моего творца.  
О воля высшая! Твои предначертанья



*Я каюсь, о Творец! Да длится без предела,  
Отныне и вовек та власть, что повелела...*

Мне святы и мудры в самом моем страданье.  
Захочешь — порази, захочешь — уничтожь:  
Лишь новую хвалу и славу ты пожнешь!»

Так небу голос мой в торжественном настрое  
Хвалу вознес; оно свершило остальное.  
Теперь умолкни, песнь! А ты, другой певец,  
Властитель и пророк истерзанных сердец,  
О Байрон, извлеки гармонию из пеней;  
Для этой истины творцом был создан гений.  
Страданью голос дай на зависть небесам —  
Но прежде из глубин к ним воззови ты сам.  
И может быть, тогда с вершины осиянной  
Во мрак твоей души луч снидет долгожданный,  
И просветленный звук божественной струны  
Навеет ей покой и ангельские сны,  
И этот вечный свет, что дал тебе прозренье,  
Ты изольешь на нас в волшебном песнопенье.  
О, если б голос твой, смягчен бальзамом слез,  
Всем горестям твоим гимн к небесам вознес,—  
Иль, падший ангел, сам ты распахнул бы крылья  
И из крошечной тьмы страданья и бессилья  
Вновь воспарил бы ввысь и попытался б вновь  
Найти себе приют там, где царит любовь,—  
Едва ли бы тогда нашлись во всей подлунной —  
И в хорах ангельских, и в арфе златострунной,  
Что Богу самому порой ласкает слух,—  
Напевы сладостней и благородней дух!  
Заблудшее дитя божественного рода,  
Крепись! В твоих чертах есть отблеск небосвода;  
В них всякий человек, любовь к тебе храня,  
Узрит затменный луч небесного огня.  
Познай же сам себя, бессмертных песен гений!  
Отринь ночной соблазн кошунственных сомнений;  
Замкни свой слух, коль чернь хвалу тебе поет,—  
Где попрано добро, там слава не живет.  
Твоя судьба не там, избранник величавый,—  
Вернись в безгрешный круг детей добра и славы,  
В кого вдохнул Творец любовь и благодать,  
Чтоб петь они могли, и верить, и страдать!



# Перси Биши Шелли

## АДОНАИС

Элегия на смерть Джона Китса,  
автора «Эндимиона», «Гипериона» и др.

Ἀστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζωοισίν  
“Εἶως.  
Νῦν δὲ θανὼν λάμπεις Ἑσπερος ἐν  
φθιμένοις.  
Plato

Ты блистал сперва среди живых, как  
утренняя звезда; теперь, когда ты умер,  
ты горишь, как Веспер, среди тех,  
которые жили.

Платон

## Предисловие

Φάρμακον ἦλθε, Βίων, ποτὶ σὸν στόμα,  
φάρμακον εἶδες,  
Πῶς τεν τοῖς χεῖλεσσι ποτέδραμε,  
κοῦκ ἐγλυκάνθη;  
Τίς δὲ βροτὸς τοσσοῦτον ἀνάμερος,  
ἢ κερᾶσαι τοι,  
ἢ δοῦναι λαλέοντι τὸ φάρμακον;  
ἐκφυγεν ὠδάν.

Какой яд, о Бийон, осквернил твои уста,  
какой роковой яд мог коснуться твоих  
уст и не смягчиться? Какой смертный  
мог быть настолько диким, чтоб налить  
и дать тебе яду, когда ты говорил, или  
чтобы бежать от твоей песни?

Мосх. Эпитафия Биону

Я намерен присоединить к Лондонскому изданию этой поэмы критическое рассуждение о правах того, кто здесь оплакан, на место в ряду гениальнейших писателей, украсивших собою наш век. Моя хорошо известная неприязнь к тем узким эстетическим принципам, сообразно с которыми были написаны некоторые из его ранних произведений, доказывает, по меньшей мере, что я беспристрастный судья. Я нахожу, что отрывок «Гипериона» не был превзойден ни одним из произведений какого бы то ни было писателя в таком возрасте.

Джон Китс умер в Риме от чахотки, 23 февраля 1821-го года, на двадцать четвертом году своей жизни. Он похоронен на Протестантском кладбище, романтическом и уединенном, под пирамидальной гробницей Цестия и под массивными стенами и башнями, которые служили когда-то окружной чертой древнего Рима, а теперь, разрушаясь, находятся в безутешном небрежении. Кладбище представляет из себя открытое пространство между руинами, усеянное зимою фиалками и маргаритками. Можно было бы полюбить смерть при мысли, что будешь похоронен в таком очаровательном месте.

Гений оплаканного поэта, памяти которого я посвятил эти недостойные стихи, был столько же деликатен и хрупок, сколько прекрасен; и удивительно ли, что молодой его цветок увял, не раскрывшись, если он вырос там, где изобилуют черви? Дикий критический разбор «Эндимиона», появившийся в «Куотерли ревью», произвел самое болезненное впечатление на его впечатлительную натуру; волнение, вызванное этим, причинило разрыв кровеносного сосуда и легких, последовала скоротечная чахотка, — и выражение симпатий со стороны более справедливых критиков, видевших истинные размеры его творческих сил, было бессильно залечить рану, нанесенную так неосмотрительно.

Поистине эти несчастные не знают, что творят. Они распространяют свои оскорбления и клеветы, не заботясь о том, коснется ли ядовитая стрела сердца, сделавшегося зачерствелым от множества ударов, или такого, как сердце Джона Китса, созданное из более пронизываемого вещества. Один из этих, лично мне известный, представляет из себя самого низкого и бесчестного клеветника. Что касается «Эндимиона», каковы бы ни были недостатки этой поэмы, может ли она быть обсуждаема презрительно теми, кто прославил в панегириках «Париса», и «Женщин», и «Сирийскую повесть», и мистрис Лефаню, и м-ра Барретта, и м-ра Говарда Пайна, и целый ряд знаменитых неизвестностей? Не эти ли господа, в своей продажной угодливости, возымели мысль провести параллель между почтенным м-ром Мильманом и лордом Байроном? На какую мошку они здесь напали, пожравши всех верблюдов? В какую женщину, застигнутую на прелюбодеянии, дерзнет бросить камень осуждения первый из этих литературных прелюбодеев? Несчастный! будучи самым низким из низких, вы посмели безрассудно исказить одно из лучших созданий



Бога. Плохое оправдание для вас, что, убивая, вы убивали словами, а не кинжалом.

Обстоятельства, сопровождавшие последние дни Китса, сделались мне известными лишь после того, как данная элегия уже вся была написана. Мне рассказывали, что рана, нанесенная этой впечатлительной душе отзывами об «Эндимионе», была усилена горькой мыслью о неотплаченных благодеяниях; как кажется, бедный поэт был удален с жизненной сцены не только теми, для которых он истратил свой многообещающий гений, но и теми, кому он отдал все свое достояние и все свои заботы. За ним последовал в Рим бывший около него в последние дни мистер Северн, молодой художник, подающий большие надежды; как мне сообщили, «он почти рисковал своею жизнью и отказался от всяких забот о себе, всецело посвятив себя уходу за умирающим другом». Если бы я знал об этих обстоятельствах прежде, чем моя поэма была окончена, у меня было бы истинное искушение прибавить мою слабую дань одобрения той, более прочной, награде, которую человек достойный находит в воспоминаниях о своих собственных побудительных мотивах. М-р Северн может обойтись без награды, сотканной «из того вещества, из которого созданы сны». Его поведение есть счастливое предзнаменование успешности его будущей деятельности,— и пусть неугасимый Дух его знаменитого друга оживит создания его кисти и будет предстательствовать за него перед лицом Забвения.

1

Он умер, Адонаис — умер он!  
Я плачу! Плачьте все о нем, в печали,  
Хоть он не будет ею воскрешен!  
Ты, грустный Час, кого Года избрали,  
Чтоб то оплакать, что мы потеряли,  
Скажи другим Часам: — его уж нет,  
Скрыт Адонаис в безвозвратной дали;  
Пока в Грядущем память Прошлых Лет  
Живет,— его судьба прольет сквозь Вечность свет!

2

Где ты была, о Мать, в какой стихии,  
Когда твой сын пронизан был стрелой?

К кому лицо склонялось Ураньи,  
В тот час как Адонаис взят был мглой?  
Закрыв покровом взор блестящий свой,  
Она в Раю впивала упоенья,  
Средь Откликов,— один, своей душой,  
Воссоздал все созвучья песнопенья,  
Чем, как цветами, скрыл он призрак Разрушенья.

3

Он умер, Адонаис — умер он!  
О, плачьте! Мать его, скорби с тоскою!  
Но нет... Как он, храни безмолвный сон,  
Не жги лица горячею слезою;  
Туда ушел он, тайною стезею,  
Куда уходит пламя мыслей всех: —  
Нет, Бездна сбережет его с собою,  
Она в нем ищет радостных утех;  
Смерть слушает его, ей наши слезы — смех.

4

Певучая меж плакальщиц, плачь снова!  
Печалься, Урания, без конца! —  
Он умер, тот, кто был Властитель слова,  
Кто был велик в призвании певца;  
Рабы, святоши не дали венца  
Тому, чья мысль огнем была одета,  
Но он, слепой, был твердым до конца;  
И, светлый Дух, все полон он привета,  
Как третий меж сынов властительного света.

5

Певучая меж плакальщиц, рыдай!  
Не все дойти посмели до вершины;  
Счастливы те, что в жизни знали Рай,  
Чей свет струит свои лучи в долины,  
Сквозь ночь времен, где солнца-исполины  
Погибли; есть иные, гневный Рок  
Им помешал дойти до половины  
Подъема; и еще, что выждут срок  
И в Храме завершат свой жизненный урок.



*Он умер, Адонаис — умер он!  
О, плачьте! Мать его, скорби с тоскою!*

Но самого живого, молодого  
 Лишилась ты, погиб питомец твой;  
 Певучая меж плакальщиц, плачь снова!  
 Он был цветком, что вскормлен был росой,  
 Влюбленной девой, нежно-молодой;  
 Увы, последний цвет твоей надежды  
 Увял, не вспыхнув всею красотой,  
 Не развернув роскошные одежды;  
 Гроза прошла — цветок лежит, склонивши вежды.

Он прибыл в отдаленнейший предел,  
 Достиг он той возвышенной Столицы,  
 Где Смерть — как царь, что пышный блеск одел,  
 И вокруг нее — виденья, бледнолицы  
 И стройны, свита странной чаровницы.  
 В Италии свод неба голубой  
 Ему — как надлежащий свод гробницы.  
 Он тихо спит, обрызганный росой;  
 О, не буди его — глубок его покой!

Он отошел в пределы Разрушенья  
 И не проснется больше никогда! —  
 Тень белой Смерти жаждет расширения,  
 Растет в чертоге сумрачном всегда;  
 И Тленье отведет его туда,  
 В последний путь, в туманное жилище;  
 И Голода настанет череда,  
 Добычу видя, он дрожит, как нищий,  
 Изменчивость и тьма его наполнят пищей.

О, плачьте, Адонаис умер! — Сны,  
 Прислужники крылатых Помышлений,  
 Стада его пленительной весны,  
 Которые питал воздушный Гений  
 Близ родников мечты и вдохновений,  
 Не устремятся от ума к уму,

Приняв любовь, как звуки песнопений;  
Нет, к сердцу, что навек оделось в тьму,  
Они, скорбя, сошлись и, плача, льнут к нему.

10

Один из Снов, дрожащими руками  
Коснувшись до холодного чела,  
Воскликнул, вея лунными крылами:  
«Нет, наша боль, любовь не умерла,  
На бахrome ресниц — слеза, светла,  
Как в чашечке цветка — роса ночная».  
Не знал он, что его она была,  
Прекрасный Дух потерянного Рая!  
Сказал и вдруг исчез, как тучка в утро Мая.

11

Другой из урны с звездною росой  
Как будто бальзамировать стал тело;  
Тот прядью, что обрезал он, густой,  
Где жемчугом слеза его блестела,  
Чело украсил мертвое несмело;  
Другой, как бы желая умертвить  
Утратой малой горе без предела,  
Старался лук упорный свой сломить,  
О щеку мертвую огонь свой остудить.

12

Еще витало нежное Сиянье  
Вкруг уст его, откуда каждый час  
Оно привыкло извлекать дыханье,  
Чтоб проникать в тот ум, где свет угас,  
В сердцах же загоралось как алмаз,  
Но Смерть, лишив его того убора,  
Оледенила свет на этот раз;  
Оно блеснуло вспышкой метеора  
Сквозь члены бледные — и скрылось ото взора.

13

Сошлись туда воздушною толпой  
Желанья, Убежденья, Поклоненья,

Решения Судьбы, туманный рой,  
Сиянья, Мраки; в блесках, Воплощенья  
Надежд и страхов, сны Воображенья,  
Восторг, от слез ослепший,— вместо глаз  
Его вела улыбка; Огорченье  
С семьею Вздохов; свет их жил и гас,  
Как осенью туман речной в вечерний час.

14

Все, что любил он, все, что он в ваянье  
Мечты включал,— созвучья нежных слов,  
Благоуханья, краски, очертанья,—  
Все говорило: — Нет певца певцов!  
Заря, среди восточных облаков,  
Взошла на башню, кудри распустила,  
Под стоны опечаленных Громов  
Глаза, что зажигают день, затмила,  
И Океан гудел, под вой ветров, уныло.

15

Тоскует Эхо меж безгласных гор,  
Его припоминает песнопенья,  
И отклика не шлет ветрам в простор,  
Без отзвука — ручьи и птичек пенье,  
Пастуший рог, и гулкое гуденье  
От колокола в час передночной;  
Нежней тех уст, из-за чьего презренья  
Оно возникло тенью звуковой,  
Любя его уста, оно молчит с тоской.

16

Весна безумной сделалась в печали  
И сбросила на землю все листы,  
Как будто ветры Осень к ней примчали,  
Иль стали почки красные желты;  
К чему будить ей год, рождать мечты?  
Был Гиацинт для Феба — упоенье,  
И для себя — Нарцисс,— не так, как ты  
Для них обоих; в них изнеможенье,  
И весь их аромат — как вздохи сожаленья.

О, Адонаис, брат твой, соловей,  
 Не так скорбит, подругу воспевая,  
 Не так орел, средь солнечных зыбей,  
 Дух юный светом утренним питая,  
 Кричит, когда орлица молодая  
 Погибла, как тоскует Альбион,  
 Навеки Адонаиса теряя;  
 Да будет проклят Каин, кем, пронзен,  
 Певец невинный был с душою разлучен!

О, горе мне! Зима пришла и скрылась,  
 Но скорбь вернулась в новом бытии;  
 Поют ручьи, и зелень распустилась,  
 И ласточки кружатся в забыти,  
 И живы пчелы, живы муравьи,  
 Могила Года вся блестит цветами,  
 И птицы строят домики свои,  
 И золотыми светится огнями  
 Рой ящериц и змей, разбуженных лучами.

Через поля, потоки и леса,  
 От бездн Земли до глуби Океана,  
 Порыв могучей жизни разлился;  
 Все движется, как в зыби каравана,  
 Как было в утро мира,— в мире, рано,  
 Над Хаосом впервые вспыхнул свет;  
 И все живет, все рвется из тумана;  
 Во мгле нежней сияния планет,  
 Мельчайший из живых в восторг любви одет.

И чумный труп, согрет прикосновеньем  
 Той ласки, превращается в цветы,  
 Горящие лучистым упоеньем,  
 Как звезды, что ниспали с высоты;  
 У смерти озаряются черты;  
 Нет смерти. Неужели же в богатом

Расцвете гибнут наши лишь мечты?  
Лишь то, что знает,— напряженный атом,—  
Горит, чрез миг погас, и мертвым скрыт закатом!

21

Увы, все то, что в нем любили мы,  
Сокрылося, подобно легкой пене,  
И наша скорбь — в объятьях смертной тьмы.  
Кто мы? Откуда? На какой мы сцене  
Актеры или зрители,— о плене  
Скорбящие? В один водоворот  
Всех Смерть ввергает, в вечной перемене;  
Пока лазурен синий небосвод,  
Ночь дню печаль несет, год омрачает год.

22

Он больше не проснется, не проснется!  
«Восстань, о Мать бездетная, от сна,—  
Вскричало Горе,— сердце ужаснется,  
Но радость слез тебе еще дана».  
Близ Урании все, кого она  
Любила,— Сны, и Эхо, и Сверканья  
Вскричали: «Пробудись!» И, как волна  
Отравленного Памятью Мечтанья,  
Прочь из своей тиши ушло, дрожа, Сиянье.

23

Осенняя так возникает Ночь,  
Вставая из туманного Востока,  
И День лучистый убегает прочь,  
Земля, как труп, тоскует одиноко,  
Но вольный свет дневной уже далеко.  
Так Уранию темный страх сразил,  
Как бы туман кругом налег широко,  
И бурный вихрь ее, совсем без сил,  
Помчал туда, где скорбь, где Адонаис был.

24

Из тайного она умчалась Рая  
Сквозь лагеря и глыбы городов,



Где, сталь и камень вечно созерцая,  
Сердца грубеют; тяжки от оков,  
Не открываясь для ее шагов,  
Они ступни воздушные терзали,  
И острия отравных языков,  
И жесткость дум ту Форму разрывали,  
И там цвели цветы, где капли крови пали.

25

Смерть в склепе, на мгновенье пристыдясь  
Присутствием живым Очарованья,  
Вся вспыхнула, и жизнь на миг зажглась  
Неясно в теле, на устах дыханье  
Мелькнуло, как минутность обаянья.  
«Не брось меня, как тьму бросает в ночь  
Миг молнии! — возникло восклицанье,  
Вопль Урании! — Смерть, ты мчишься прочь?»  
Смерть обняла ее, но не могла помочь.

26

«Постой еще! поговори со мною;  
Целуй меня — твой поцелуй во мне  
Останется, его в себе я скрою,  
Твои слова мой мозг, горя в огне,  
В себя вберет, в непреходящем сне,  
И грустная мечта не прекратится.  
О Адонаис, я в одной стране  
С тобой хотела б жить и тесно слиться,  
Но с Временем, увы, нельзя мне разлучиться!

27

О нежное дитя, зачем уйти  
Ты поспешило быстрыми шагами  
От торного пробитого пути,  
И с мужеством, но с слабыми руками,  
Вступило в бой с драконом? Он с когтями,  
Ты беззащитен, он в берлоге скрыт.  
Когда б ты подождал, — возвращенный днями, —  
С копьем-презреньем, взял бы мудрость-щит,  
Чудовищам пустынь твой был бы страшен вид.

Шакалы-трусы, храбрые лишь в стае,  
 И вороны, что ищут мертвеца,  
 Обьедки Разрушенья доедая,  
 Роняя с крыл заразу без конца,—  
 Как все они бежали от Певца,  
 Когда стрелой из лука золотого  
 Он каждого коснулся наглеца!  
 Быть наглými они не смели снова,  
 Лежат у гордых ног, что топчут их сурово.

Восходит солнце — гадов рой кишит,  
 Зайдет — и в непроглядной смерти тает,  
 Во мраке стынет рой эфемерид,  
 И вновь узор бессмертных звезд блистает;  
 Так меж людей: вот полубог витает,  
 Окутал небо, землю обнажил,  
 Исчез — и рой, что блески разделяет  
 Или собою свет его темнил,  
 Оставил ночь души сияньям сродных сил!»

Она умолкла; пастухи толпою  
 От гор пришли, и каждый был томим,  
 В венке увядшем, скорбною мечтою;  
 И Вечности явился Пилигрим,  
 Чья слава как лазурь была над ним,  
 В которой были молнии и тучи;  
 Эрин, в уладу горестям своим,  
 Послал певца воздушнейших созвучий,  
 И сделала любовь его печаль певучей.

Среди других явился хрупкий Лик,  
 Тень меж людей; он тучкой утомленной  
 Той бури, что уж кончилась, возник;  
 Я думаю, что грезю бессонной  
 На красоту Природы обнаженной  
 Глядел он слишком долго, и за ним,

За Актеоном, стаей разъяренной  
Те мысли, чьим огнем он был томим,  
За жертвою гнались и за отцом своим.

32

Подобный леопарду, Дух прекрасный; —  
Любовь, что сквозь отчаянье видна; —  
Дух Силы, что в борьбе живет напрасной  
Со слабостью; — едва несет она  
Ту тяжесть, что в минуте нам дана;  
Свет гаснущий, волна, что вдруг дробится; —  
Вот речь о ней, но где теперь волна?  
Цветок увял, хоть луч к нему стремится.  
И сердце порвано, хотя румянец длится.

33

Он был в венке увядшем, из цветов,  
Зовущихся веселыми глазами,  
И из фиалок, чей расцвет лилов;  
Он легкое копье держал руками,  
В плюще, и все оббитое огнями  
Лесной росы, а на конце его  
Плод кипариса был; он меж тенями  
Один был, хоть глядели на него,  
На лань, отставшую от стада своего.

34

Сквозь слез все улыбнулись на пристрастье  
Его тоски; скорбя, чужое зло  
Он слил со скорбью своего несчастья,  
Оно в созвучья новые вошло;  
И Урания, на него светло  
Взглянув, шепнула: «Кто ты?» Он, смущенный,  
Вдруг обнажил кровавое чело  
С клеймом, и так стоял, окровавленный,  
Как Каин, иль Христос. — О лик тоски бессонной!

35

Чей голос над умершим прозвучал  
Нежней? Он смолк. Кто, лик свой закрывая,

Над белой смертью скорбной тенью встал,  
Надгробным изваяньем возникая?  
В чьем сердце глухо бьется скорбь немая?  
Коль это Он, нежнейший меж умов,  
Кто мертвого всегда ценил, встречая  
Сочувствием,— умолкнуть я готов,  
Чтоб не смущать его, скорбящего без слов.

36

Наш Адонаис выпил чашу с ядом!  
Какой глухой, с змеиною душой,  
Принес конец чуть начатым уладам?  
Хотел бы червь быть больше не собой,  
Он понял сладость песни неземной,  
Той песни, чье чудесное начало  
Будило зависть, мыслей смутный рой,  
И лишь в единой груди зарычало,  
Что песен ждет того, чья лютня отзывала.

37

Живи, змея, ничтожная средь змей,  
И от меня не бойся воздаянья!  
Но будь собой, и быть собой умей,  
Ты, жалкое пятно воспоминанья!  
Копи свой яд, злосчастное созданье,  
Излив его, тем низкий дух измерь,  
Тебе — в Самопрезренье наказанье,  
Ты жгучий стыд узнаешь, подлый зверь,  
И виноватым псом ты вздрогнешь — как теперь!

38

Зачем скорбеть, что наш восторг далеко  
От коршунов, чьим криком мир смущен?  
Он бодрствует иль спит в тиши глубоко,  
Не воспаришь туда, где ныне он.—  
Прах в прах! Но должен дух быть возвращен  
К источнику, желанному для взора,—  
Часть Вечного, что в зыбкости времен  
Незыблемо горит в огнях узора,  
Меж тем как пепел твой грязнит очаг позора.

Молчанье! Он не умер, он не спит —  
 От жизненного встал он сновиденья,—  
 Нас буря лживых грез, взметая, мчит,  
 Вступаем мы в бесплодное боренье,  
 Нож духа мы вонзаем в привиденья,  
 Ничто, неуязвимые, разим —  
 Мы, точно трупы, в склепах, в царстве тленья,  
 Ветшаем, пыткам преданы своим,  
 И рой надежд в себе, как рой червей, храним.

## 40

Он выше нашей ночи заблужденья;  
 Терзанье, зависть, клевета, вражда,  
 Тревога, что зовется — наслажденье,  
 К нему не прикоснутся никогда,  
 Мирской заразы в вольном нет следа,  
 Не будет он скорбеть иль плакать бурно,  
 Что голова безвременно седа,  
 Что сердце стынет, что мечта мишурна,  
 Что дух устал гореть, полна лишь прахом урна.

## 41

Он жив, он есть,— Смерть умерла, не он;  
 Жив Адонаис! — Вся в росе блистая,  
 Зажгись, Заря,— с тобой не разлучен  
 Тот дух, о ком тоскуешь ты, рыдая;  
 Леса, не трепещите так, вздыхая!  
 Цветы, цветите, смолкни, глубь пещер,  
 Развейся, Воздух, Землю обнажая,  
 Чтоб лик ее цветист был, а не сер,  
 Улыбку сонмы звезд ей шлют из вышних сфер.

## 42

С Природою он слился воедино:  
 Во всех ее напевах — звук его,  
 От громких гулов грома-властелина  
 До пенья соловья; среди всего,  
 В лучах, во тьме, влияние своего  
 Присутствия сознанию он являет,



*Молчанье! Он не умер, он не спит —  
От жизненного встал он сновиденья...*

В цветах, в камнях — путь жизни для него;  
Та Власть любви его с собой сливает,  
Что держит мир внизу, и сверху зажигает.

43

Он часть той красоты, что делал он  
Еще, когда-то, более прекрасной:  
Когда сквозь мир, сквозь этот тусклый сон  
Лениво-плотный, Дух проходит властный,  
Он новым сонмам ликов,— с ним согласный,—  
Дает черты законченных вещей,—  
Всем выгаркам, с их тупостью напрасной,  
Дает свое подобье, блеск лучей,—  
Горит сквозь мир зверей, деревьев и людей.

44

На небосводе времени — сиянье  
Возможно затемнить, убить нельзя;  
Смерть — лишь туман с непрочностью влиянья,  
У них, как у созвездий, есть стезя,  
И с высоты они горят, сквозь  
Сквозь мрак. Когда возвышенные думы  
Вздымают сердце юное, скользя  
С ним в воздухе, там слышны споры, шумы,—  
Что будет суждено, свет или мрак угрюмый?

45

Толпою, каждый покидая трон,  
Наследники мечты недовершенной,  
Восстали, там, в Незримом. Чаттертон,  
Еще предсмертной мукою смущенный;  
Сидней, каким он жил, как пал, сраженный,  
Как, кроткий, он возвышенно любил;  
Лукан, своею смертью вознесенный;  
Забвение при виде светлых сил  
Отпрянуло, и мрак далеко отступил.

46

И многие, чьи имена негромки,  
Но сущность чья излитая живет,—

Как пламя, бороздящее потемки,  
Мать-искру пережив, сиянье льет,—  
Наполнили лучами небосвод.  
«Гори, теперь ты наш! — они вскричали.—  
На Небе Песен вон светильник тот  
Молчал так долго, ждал тебя в печали.  
Займи крылатый трон, о Вesper нашей дали!»

47

Кто стонет «Адонаис»? О, пойми  
Себя, его,— взгляни, узнай воочью,  
Душой дрожащей Землю обними  
И, к этому прильнувши средоточью,  
Лучистому отдавшись полномочью,  
Струи свой свет за грани всех миров;  
Потом туда, где день наш с нашей ночью,  
Уйди — не то, низвергшись с облаков,  
Ты в бездну упадешь, заманен лаской снов.

48

Иль в Рим иди, что сделался гробницей,—  
О, не его, а наших снов мечты;  
И пусть века и царства, вереницей,  
В обломках там лежат средь пустоты,  
Что создали они же; красоты  
Такой, как он, у тех не занимает,  
Кто грабит мир; о нет, его черты  
Средь тех, кто мыслью всем завладевает,  
Из прошлого лишь мысль одна не умирает.

49

Да, в Рим ступай, он сразу — склеп, Эдем,  
И город, и пустыня вековая;  
И там, где сонм руин старинных — нем,  
Обломками разбитых гор вставая  
И остов Разрушенья одевая,—  
Иди, пока в том царстве мертвецов  
Тебя Дух места к склону, где живая  
Улыбка трав, не приведет в мир снов,  
Средь детской радости смеющихся цветов.



Тупое время кормится камнями,  
 Как скрытый блеск — седою головней,  
 И, ветхими окружена стенами,  
 Вздывает пирамида облик свой,  
 Приют того, кто создал здесь мечтой  
 Заветный тихий мир воспоминанья;  
 Внизу могил позднейших виден строй,  
 Они под Небом, льющим к ним сиянье,  
 Тому, кто дорог нам, шлют тайное дыханье.

Помедли здесь: могилы все кругом  
 Так молоды, что возле каждой, тая,  
 Скорбь не вполне еще забылась сном;  
 И, если здесь печать лежит немая  
 На роднике души, в ней боль скрывая,  
 Не тронь ее. О, возвратись домой,  
 В свой дух взгляни, там желчь найдешь, рыдая.  
 От бурь укройся в сени гробовой!  
 Где Адонаис, там бояться ль быть душой?

Единое нетленно остается,  
 Различности меняются, их нет;  
 Над шаткой тенью луч от века льется;  
 Жизнь, чьи цвета столь многи в смене лет,  
 Свет Вечности пятнает, белый свет,  
 Пока не глянет Смерть.— Коль ты слиянья  
 С тем хочешь, что ты ищешь,— вот завет:  
 Умри! — Цветы, руины, изваянья,  
 Все — лишь намек на то, в чем без границ сиянье.

О Сердце, что ж ты медлишь? Погляди,  
 Ушли твои надежды без возврата.  
 Куда умчалось все, и ты иди.  
 Во всех вещах поблеклость и утрата,  
 Год круг свершил, нет больше аромата,  
 Ни в ком, ни в чем; и, если что пьянит,

Так лишь затем, чтоб сердце было сжато.  
Чу! Адонаис! Ветер шелестит!  
Пусть Жизнь не делит то, что Смерть соединит.

54

Тот Свет, что нежно дышит во Вселенной,  
Та Красота, в которой все живет  
И движется, та Благодать, что с пленной  
Зловещей тьмой рожденья бой ведет,  
Любовь, что свет сквозь ткани жизни льет,—  
Сплетаемые воздухом, землею,  
Людьми, зверьми,— и блеск различный шлет,  
Как явит каждый зеркало собою,—  
Все светит на меня, и смертность тает мглою.

55

Дыхание, чью власть я в песнь призвал,  
Нисходит на меня; ладью мечтанья  
От берегов далеко вихрь умчал,  
Прочь от толпы, чей парус чужд дыханья  
Могучих бурь; в разрывах мирозданья  
Разъединен с землею небосвод.  
Так страшно в тьму я мчусь, меж тем сиянье,  
Маяк-звезда, мне Адонаис шлет  
Из сокровенных сфер, где Вечное живет.



# Альфред де Виньи

## ТЮРЬМА

### *Поэма на мотивы XVII века*

«Не смейтесь зря над тем, кто стар и служит Богу!  
Могу ли, здесь чужой, запомнить я дорогу?  
А вы повязку снять, по меньшей мере, час  
Не позволяете мне с наболевших глаз.  
Напрасный труд! Я их не устремлял доныне  
На вашу мрачную и тайную твердыню.  
Солдаты, оскорблять в моем лице грешно  
Того, Чье тело мной сюда принесено».  
Увещевает он, но бесполезно это:  
Слова его звучат и молкнут без ответа.  
Ведут священника запутанным путем.  
То заскрипит под ним подъемный мост над рвом,  
То жалобы его едва слышны в подвале,  
То эхо разнесет их по просторной зале,  
То он по лестнице восходит винтовой.  
Вот так и следует слуга Творца седой,  
Хватаясь за стены промозглых коридоров,  
В тюрьму, лишь для его невидимую взоров.  
Пришли. Стоят. Вдали стихает стук сапог.  
Зазвякали ключи, и щелкает замок.  
На три ступеньки вниз сошел служитель божий.  
Незрячий, он тепло вдруг ощущает кожей,  
А стало быть, гореть здесь должен хоть светец...  
И снять ему спешат повязку наконец.  
Его налутствия ждет в камере секретной,  
Где с мраком факелы соперничают тщетно,  
Старик, чья смерть близка, как понял из речей  
Своих проводников смиренный иерей,  
И должен он свершить обряд над заключенным.  
Тут кто-то доложил с почтительным поклоном:  
«Священник прибыл, принц». — «Что делать здесь  
ему?» —  
С незримого одра больной сказал во тьму,  
Но к ветхим пологам, что узника скрывали  
И представление одни еще давали

О том, сколь знатен был он на заре годов,  
Приблизился пришлец, исполнить долг готов.

С в я щ е н н и к

Внемли, мой сын...

У м и р а ю щ и й

Людей я ненавижу смлада,  
И все же им душа внимать доныне рада.  
Я слышать их рожден, хоть и не уяснил,  
Зачем меня влечет к тем, кто мне зло чинил.  
Не знал я дружества, а если верить страже,  
Заменой счастья стать оно способно даже;  
Не довелось вовек в темнице мне слышать,  
Как колыбельную поет младенцу мать;  
Я сердцем одинок и все же речь людскую  
Впиваю с жадностью, чуть нежность в ней почую.  
Меня назвали вы «мой сын». Так отчего  
Пораньше было вам не навестить его?

С в я щ е н н и к

О, кем бы ни был ты, кто от людей до срока  
Отрезан тайною опасной и глубокой,  
Знай: цепи сбросишь ты, покинув мир живых.  
Коль на тебе грехи — сознайся честно в них.  
Всеслышащий Господь признанья не отринет  
И рай перед тобой отверзнуть не преминет:  
Ты вход туда купил ценой скорбей и слез.  
Тебе свободу я, слуга Творца, принес.  
Святое таинство свершая покаянья,  
Творю я вышний суд в зловещем этом зданье.  
Ответствуй. Я уже тебе надежду дал.  
Господь...

У м и р а ю щ и й

Коль впрямь Он есть, за что я так страдал?

С в я щ е н н и к

Но сам-то Он страдал стократ страшней, наверно.  
Зачем перед концом ты изрыгаешь скверну,  
Дерзая сетовать, когда и кровь Христа —  
Благая кровь! — лилась из ран Его с креста?  
Для нас, кому чужда признательность от века,  
Благоволит познать Он участь человека.  
Умри ж без ропота, как Он, коль час пробил.

Умиравший  
Я королем быть мог.

### Священник

Спаситель Богом был.  
Пусть мне и поминать себя грешно с Ним рядом,  
Я все ж тебе скажу, что, в бой вступая с адом,  
Грудь панцирем стальным был вынужден облечь —  
Ни разу не снимал я власяницу с плеч,  
Хоть пытку каждый шаг сулит из-за нее мне.  
У нас в обители есть место в церкви скромной,  
Где каюсь я в грехах с тех пор, как дал обет,—  
Там пол коленями истерт за сорок лет.  
Но недостаточно и этого мученья,  
Чтобы надеяться на вечное спасенье.  
В горниле горести очиститься должна  
Душа, коль чаёт в рай быть впущена она.  
Торопит время нас. В своих откройся винах,  
Чтоб право возымел я отпустить, мой сын, их,  
И пред крестом, где Бог за нас окончил дни,  
Со мною мысленно колени преклони.

Монах так воспылал, обрел такую смелость,  
Что не по возрасту лицо его зарделось,  
И слез не удержал он на короткий миг,  
И к смертному одру в волнении приник,  
И перед узником воздвиг распятие Божье,  
С трудом его держа и сотрясаем дрожью.  
Над умирающим сочувственно склонен,  
Читать отходную стал еле слышно он,  
Подметить признаки раскаянья стараясь  
И с нетерпением в несчастного вперяясь.  
При этом пологи раздвинулись чуть-чуть,  
И отблеск факела успел меж них скользнуть,  
И увидал старик, что пламя упадает  
Не на черты того, кто в муках ожидает  
Конца, желанного ему давным-давно,—  
Железной маскою оно отражено.

Священник вспомнил тут, что как-то раз монахи  
Из их обители шептались в явном страхе  
О государственном преступнике большом,  
Назвать которого не смел никто кругом.

Кому-то будучи опасен чрезвычайно,  
Похищен, дескать, он из колыбели тайно  
И в заключение дни с младенчества влачит,  
Железной маскою от глаз людских сокрыт.  
Прибыв во Францию, бежать он попытался  
И хоть уже едва ль не через час попался,  
Мгновений нескольких хватило для того,  
Чтоб разглядеть кой-кто успел лицо его.  
В Провансе женщина одна, как утверждали,  
Вступала в монастырь Сен-Франсуа де Салья  
И, Матерь Божию в свидетели беря,  
С рыданиями клялась, что заточили зря  
Того, кто прозвище снискал Железной Маски;  
Что слухи о делах его преступных — сказки;  
Что он в речах учтив, юн и собой хорош,  
И внешностью весьма на Короля похож;  
Что голос у него свежей, чем ключ студеный;  
Что он иль некий принц, иль ангел воплощенный.  
Был случай и другой: близ замка брел монах,  
И золотой сосуд приметил на камнях,  
И коменданту снес свою находку честно,  
И сгинул навсегда, и что с ним — неизвестно.  
Вести об узнике под маской разговор  
Строжайше запретил в аббатстве том приор.  
«А где наш брат — про то я узнавать не буду.  
Он согрешил, прочтя на золоте сосуда  
Гвоздем начертанный губительный секрет».  
Забылось это все затем за далью лет.

Возобновить хотел монах свои усилия,  
Но в этой камере, прижизненной могиле,  
Где этот мученик с седою головой  
Существованье длил с пелен, как труп живой,  
Святой отец прервать молчание боялся.  
Тут узник, увидав, что он заколебался,  
На ложе чуть привстал и вымолвил: «Старик,  
Так что ж ты, онемев, в растерянности сник?  
Ужель картиной мной испытанных мучений  
Остужен жар твоих бездумных поучений?  
Вновь на меня взгляни и повторяй потом,  
Что служит длань Творца невинному щитом.  
В грехи, в которых ты велишь мне повиниться,  
Ни разу я не впал с рожденья до гробницы:  
Всегда один влачил я долгие года



*Всегда один влачил я долгие года  
И стариком умру, хоть не жил никогда.*

И стариком умру, хоть не жил никогда.  
Коль повесть бед моих прочесть тебе угодно,  
Знай: к памяти моей взываешь ты бесплодно.  
Я без следа прошел дорогой бытия:  
Нет у меня «вчера» — не ведал «завтра» я.  
Я тоже прошлое желал себе примыслить  
И стену, чтоб года протекшие исчислить,  
Зарубкой новою вседневно испещрял.  
Все больше было их, я все не умирал.  
Мне начал белый свет казаться тьмой густою.  
Мир — что он для меня, коль для него ничто я?  
Что время мне считать, коль в счет я не иду,  
Коль смертный час — вот все, чего еще я жду?  
Поверь, что если бы я от того родился,  
По чьей вине в плену сыздетства находился,  
То и его обречь едва ли б захотел  
На свой чудовищный, неслыханный удел.  
Как часто счастье звал я долгими часами,  
Когда себя пьянил, впад в забытье, мечтами  
О милых, дружественных, нежных существах,  
Порой являвшихся мне в юношеских снах!  
Покрыли слезы ржой мне маску из железа.  
Хлеб черный орошал я ими в час трапезы.  
Ночами сердце боль мне опаляла вдруг,  
Ввергал тюремщиков мой дикий вой в испуг,  
А мысли у меня на волю пробивались,  
Как совы, что во мрак с зубцов тюрьмы срывались,  
И я, прильнув лицом к решетке, жил вне стен,  
Где обрekli меня на безысходный плен».

Несчастный смолк. Но как раскат грозы прощальный,  
Что страх в душе селит своей тоскою дальною  
И долго путнику покинуть не дает,  
Ему, иззябшему, приютом ставший грот,  
Во мраке все еще рыдания звучали;  
То арестант свой путь через юдоль печали  
Пред смертью мысленно проделывал опять.  
Священник продолжал отходную читать,  
Но приказал один из стражей в тоге черной:  
«Спешите, иль сейчас он в бред впадет бесспорно», —  
И божий человек обрел весь прежний пыл.  
«Ваш срок свершается, мой сын, — он возгласил. —  
Счастливы, кто небом был наказан в мире здешнем.  
На божий промысел не след роптать нам, грешным.





*Ночами сердце боль мне опаляла вдруг,  
Ввергал тюремщиков мой дикий вой в испуг...*

Страдания ваши днесь пойдут во благо вам:  
К спасенью вас Творец приуготовил сам.  
Лишь преходящего и плотского мы ищем,  
А ведь Господь речет: «Печальми пресыщен  
И краткодневен тот, кто женщиной рожден».  
Пуст этот мир, и слез отнюдь не стоит он.  
Забойтесь о душе, не думайте про тело.  
В сей жизни временной и я достиг предела,  
И память у меня — как гроб, куда легла  
Чреда унылых дней, которым нет числа,  
Но вашим бедам я завидую сегодня:  
Они порука в том, что будет рай господний  
Вам сонмом ангельским заслуженно открыт.  
Лишь слово молвите — и удовлетворит  
Оно Творца». Вот так страдальца ободряя,  
И в речь свою глагол евангельский вставляя,  
Священник узника покаяться склонял,  
Но безуспешно: тот его мольбам не внял  
И неожиданно с горячностью бредовой,  
Весь в прошлое уйдя, вскричал: — Дышу я снова!  
Тюрьма открылась. Я на берегу морском.  
О, как шумит прибой! Какой простор кругом!  
Как солнечен Прованс! Как море необъятно!  
Как плыть на корабле, наверное, приятно!  
Ужель достигну я на нем чужих краев,  
Гоним живительным дыханием ветров?  
Вот прибываем мы. Бросает якорь судно,  
И я с него схожу, и мне шагать не трудно.  
Свободен я! Теперь погоня не страшна —  
Я от солдат ушел, и маска сорвана,  
И волосы мои взметает бриз прохладный,  
И золотит лицо мне солнца луч отраднй...  
Куда вы, девушки? Зачем меня робеть?  
Останьтесь на лугу и продолжайте петь.  
Постойте же, иль вся деревня всполошится!  
Ужель не только я — любой оков страшится?  
Но, кажется, одна в испуге не бежит.  
Как! Не ужасен ей Железной Маски вид?  
Нет. Кроткие глаза ей увлажняет жалость,  
И ободрительно она заулыбалась...  
За что, солдаты, в плен меня вы взяли вновь?  
Имею право я на солнце и любовь.  
Прочь! Дайте девушке и мне уйти отсюда.  
Она меня зовет, и я ей другом буду.

Я зла не делаю. Скажите Королю,  
Что никого я ввек ничем не оскорблю,  
Что ни родни искать, ни мстителей не стану —  
Пусть только разрешит нам с той, что мне желанна,  
В горах себе найти скитальческий приют,  
А если мне вопрос случайно зададут,  
Какого все-таки я племени и роду,  
Я умолчу, кто я и как обрел свободу,  
И преступленье вам, хоть велико оно, —  
Лишь отпустите нас! — мной будет прощено.  
Нет... Вновь тюрьма... Я к ней приговорен с рожденья  
И смерти радуюсь: она — освобожденье.  
Вот щелкнет, палачи, замок в последний раз  
За вечным узником — и он спасен от вас.  
А что вон там еще за человек в сутане?  
Не призрак ли того, кто здесь томился ране?  
Он плачет... Знать, в плену и после смерти он?

С в я щ е н н и к

Нет, вижу я, что вход вам в вечность отворен.

У м и р а ю щ и й

На помощь! Не хочу! Там ждут меня оковы.

С в я щ е н н и к

Нет, неисчерпные щедроты Всеблагого.  
Лишь молвите, что вы раскаялись в грехах,  
И вас Господь простит.

У м и р а ю щ и й

Оставь меня, монах!

С в я щ е н н и к

Скажите: «Верую» — и смерти избежите.

У м и р а ю щ и й

Дай мне хоть умереть, коль не успел пожить я.

И по стене тюрьмы, собрав остаток сил,  
Ударил арестант так, что кулак разбил.  
«О Боже, помоги душе его несчастной!» —  
Воззвал к Всевышнему монах с надеждой страстной  
И плоть Господнюю, что в хлеб претворена,  
Взяв дароносицу, рукой достал со дна.

Храня молчание, все на колени встали;  
Над ложем факелы, качнувшись, заблестали;  
На изголовье вновь был узник водворен,  
Но тщетно: наконец обрел свободу он.

В зловещей камере, где дни окончил пленник,  
Всю ночь, один, псалмы читал седой священник.  
Сидел, не шевелясь, он возле мертвеца,  
И слезы, капая из глаз у чернеца,  
На книгу Божию неспешно упали;  
Когда ж не мог старик творить молитву дале,  
Он скорбно начинал святой водой кропить  
Того, кто к нам с небес был изгнан, может быть.  
Затем, уняв тоску, монах сбирался с силой,  
И эхо гулкое по зданью разносило  
Заупокойный гимн: «О Боже, не круши  
Негодованием Твоим моей души;  
Не погуби меня с неправедником вместе».  
Потом: «Следит за мной тот, кто погряз в нечестье;  
Его добычей стать меня не попусти;  
Им, Господи, сведен я с Твоего пути.  
Мой грех — на нем. Его и покарай за это.  
Из бездны я воззвал, которой глубже нету:  
От недругов меня, о Господи, укрой!»  
Когда же дочитал псалтырь монах с зарей,  
Он понял, что придет за трупом стража вскоре,—  
Шаги и голоса раздались в коридоре,  
И без свидетелей увидеть хоть на миг  
Лицо покойника вдруг захотел старик.  
На тело мертвое он бросил взор печальный,  
Но разглядеть сумел лишь саван погребальный,  
Железной маскою приподнятый на лбу:  
Страдалец узником остался и в гробу.



# К. Ф. Рылеев

---

## НАЛИВАЙКО

### <Отрывки из поэмы>

#### < 1 > КИЕВ

Едва возникнувший из праха,  
С полуразвенчанным челом,  
Добычей дерзостного ляха  
Дряхлеет Киев над Днепром.

Как все изменчиво, непрочное!  
Когда-то роскошью восточной  
В стране богатой он сиял;  
Смотрелся в Днепр с берегов высоких  
И красотой из стран далеких  
Пришельцев чуждых привлекал.  
На шумных торжищах звенели  
Царьградским золотом купцы,  
В садах по улицам блестели  
Великолепные дворцы.  
Среди хазар и печенегов  
Дружиной витязей храним,  
Он посмеялся, невредим,  
Грозе их буйственных набегов.  
Народам диво и краса:  
Воздвигнуты рукою дерзкой,  
Легко вносились в небеса  
Главы обители Печерской,  
Как души иноков святых  
В своих молитвах неземных.  
Но уж давно, давно не видно  
Богатств и славы прежних дней —  
Все Русь утратила постыдно  
Междоусобием князей:  
Дворцы, серебро, врата златые,  
Толпы граждан, толпы детей —  
Все стало жертвою Батыя;  
Но Гедимин нанес удар:  
Прошло владычество татар!



*Добычей дерзостного ляха  
Дряхлеет Киев над Днепром.*

На миг раздался глас свободы,  
На миг воскреснули народы...  
Но Киев на степи глухой,  
Дивить уж боле неспособный,  
Под властью ляха роковой  
Стоит, как памятник надгробный  
Над угнетенною страной!

< 2 > ВЕСНА

Блестит весна; ее дыханьем,  
Как бы волшебным врачеваньем,  
Край утесненный оживлен;  
Все отрясает зимний сон:  
Пестреет степь, цветет долина,  
Оделся лес, стада бегут,  
Тяжелый плуг поселянина  
Волы послушные влекут;  
Кружится жаворонок звонкий,  
Лазурней тихий небосклон,  
И воздух чистый, воздух тонкий  
Благоуханьем напоен.

Все веселятся, все ликуют,  
Весне цветущей каждый рад;  
Поляк, еврей и униат  
Беспечно, буйственно пируют.  
Все радостью оживлены;  
Одни украинцы тоскуют,  
И им не в праздник пир весны.  
Что за веселье без свободы,  
Что за весна — весна рабов;  
Им чужды все красы природы,  
В душах их вечный мрак гробов.  
Печали облако не сходит  
С их истомленного лица;  
На души их, на их сердца  
Все новую тоску наводит.  
Лазурь небес, цветы полей  
Для угнетенных не отрадны,  
Рабы и сумрачны и хладны.  
Питая грусть в душе своей,  
Глядят уныло на детей,  
Все радости для них противны,

И песни дев их заунывны,  
Как заунывен звук цепей.

<3>

Но Наливайко всех сильнее  
Томится думою и страждет;  
Его душа чего-то жаждет,  
Он что-то на сердце таит;  
Родных, друзей, семьи бежит,  
Один в степи пустынной бродит  
Нередко он по целым дням:  
Ему отрадно, сладко там,  
Он грусть душевную отводит  
В беседе там с самим собой  
И из глуши в Чигирин свой  
Назад спокойнее приходит.

<4>

Забыв вражду великодушно,  
Движенью тайному послушный,  
Быть может, я еще могу  
Дать руку личному врагу;  
Но вековые оскорбленья  
Тиранам родины прощать  
И стыд обиды оставлять  
Без справедливого отмщенья —  
Не в силах я: один лишь раб  
Так может быть и подл и слаб.  
Могу ли равнодушно видеть  
Порабощенных земляков?..  
Нет, нет! Мой жребий: ненавидеть  
Равно тиранов и рабов.

<5> СМЕРТЬ

ЧИГИРИНСКОГО СТАРОСТЫ

С пищалью меткой и копьем,  
С булатом острым и с нагайкой  
На аргамаче вороном  
По степи мчится Наливайко.  
Как вихорь бурный конь летит.  
По ветру хвост и грива вьется,





*Но Наливайко всех сильней  
Томится душою и страждет...*

Густая пыль из-под копыт  
Как облако вослед несется...  
Летит... привстал на стременах,  
В туман далекий взоры топит,  
Узрел — и с яростью в очах  
Коня и нудит и торопит...

Как точка, перед ним вдали  
Чернеет что-то в дымном поле;  
Вот отделилась от земли,  
Вот с каждым мигом боле, боле,  
И, наконец, на вышине,  
Средь мглы седой, в степи пустынной,  
Вдруг показался на коне  
Красивый всадник с пикой длинной...

Козак коня быстрее погнал;  
В его очах веселье злое...  
И вот — почти уж доскакал...  
Копье направил роковое,  
Настиг, ударил — всадник пал,  
За стремя зацепясь ногою,  
И конь испуганный помчал  
Младого ляха под собою.

Летит, как ястреб, витязь вслед;  
Коня измученного колет  
Или в ребро, или в хребет  
И в дальний бег его неволит.  
Напрасно ногу бедный лях  
Освободить из стремя рвется —  
Летит, глотая черный прах,  
И след кровавый остается...

<6>

«Ты друг давно мне, Лобода,  
Давно твои я чувства знаю,  
Твою любовь к родному краю  
Я уважал, я чтил всегда;  
Ты ненавидишь, как злодеев,  
И дерзких ляхов и евреев:  
Но ты отец, но ты супруг,  
А уж давно пора, мой друг,

Быть не мужьями, а мужами.  
Всех оковал какой-то страх,  
Все пресмыкаются рабами,  
И дерзостно надменный лях  
Ругается над козаками».

«Ты прав, мой друг, люблю родных;  
Мне тяжело видеть их в неволе,  
Всем жертвовать готов для них,  
Но родину люблю я боле.  
Нет, не одна к жене любовь  
Мой ум быть осторожней учит,  
Нередко дума сердце мучит,  
Не тщетно ли прольется кровь?  
Что, если снова неудача?  
Вот я чего, мой друг, боюсь:  
Тогда, тогда святая Русь  
Навек странною будет плача».

<7>

Протяжный звон колоколов  
В Печерской лавре раздавался;  
С рассветом из своих домов  
Народ к заутрени стекался.  
Один, поодаль от других,  
Шел Наливайко. Благовенье  
К жилищу мертвецов святых  
И непритворное смирение  
В очах яснили голубых.  
Как чтитель ревностный закона,  
К вратам ограды подойдя,  
Крестом он осенил себя  
И сделал три земных поклона.  
Вот в церкви он. Идет служенье,  
С кадильниц вьется фимиам,  
Сребром и золотом блещет храм,  
И кротко-сладостное пенье  
Возносит души к небесам.  
В углу, от всех уединенно,  
Колени преклоня смиренно,  
Он стал. В богатых жемчугах  
Пред ним Марии лик сияет;  
Об угнетенных земляках

Он к ней молитвы воссылает;  
Лицо горит, и, как алмаз,  
Как драгоценный перл, из глаз  
Слеза порою упадает.  
Так для него прошло семь дней;  
[Часов молитв не пропуская,  
Постился он. И вот страстная.]

<8> ИСПОВЕДЬ НАЛИВАЙКИ

«Не говори, отец святой,  
Что это грех! Слова напрасны:  
Пусть грех жестокий, грех ужасный...

Чтоб Малороссии родной,  
Чтоб только русскому народу  
Вновь возвратить его свободу,—  
Грехи татар, грехи жидов,  
Отступничество униатов,  
Все преступления сарматов  
Я на душу принять готов.  
Итак, уж не старайся боле  
Меня страшить. Не убеждай!  
Мне ад — Украину зреть в неволе,  
Ее свободной видеть — рай!..

Еще от самой колыбели  
К свободе страсть зажглась во мне;  
Мне мать и сестры песни пели  
О незабвенной старине.  
Тогда, объятый низким страхом,  
Никто не рабствовал пред ляхом;  
Никто дней жалких не влачил  
Под игом тяжким и бесславным:  
Козак в союзе с ляхом был  
Как вольный с вольным, равный с равным.  
Но все исчезло, как призрак.  
Уже давно узнал козак  
В своих союзниках тиранов.  
Жид, униат, литвин, поляк —  
Как стаи кровожадных вранов,  
Терзают беспощадно нас.  
Давно закон в Варшаве дремлет,  
Вотще народный слышен глас:

Ему никто, никто не внемлет.  
К полякам ненависть с тех пор  
Во мне кипит и кровь бунтует.  
Угрюм, суров и дик мой взор,  
Душа без вольности тоскует.  
Одна мечта и ночь и день  
Меня преследует, как тень;  
Она мне не дает покоя  
Ни в тишине степей родных,  
Ни в таборе, ни в вихре боя,  
Ни в час мольбы в церквах святых.  
«Пора! — мне шепчет голос тайный,—  
Пора губить врагов Украйны!»  
Известно мне: погибель ждет  
Того, кто первый восстает  
На утеснителей народа,—  
Судьба меня уж обрекла.  
Но где, скажи, когда была  
Без жертв искуплена свобода?  
Погибну я за край родной —  
Я это чувствую, я знаю...  
И радостно, отец святой,  
Свой жребий я благословляю!»

< 9 >

Веет, веет, поведает  
Тихий ветер с днепровских вод,  
Войско храбрых выступает  
С шумной радостью в поход.  
Полк за полком безбрежной степью  
Иль тянутся лесистой цепью,  
Или несутся на рысях.  
По сторонам на скакунах  
Гарцуют удалыцы лихие;  
То быстро, как орлы степные,  
Из глаз умчатся, то порой,  
Дразня друг друга, едут тихо,  
То вскачь опять, опять стрелой —  
И вдоль полков несутся лихо.

Вослед за войском идут вьюки.  
Свирелей, труб, суремок звуки,  
И гарк летящих удалцов,

И шум и пенье козаков,—  
Все Наливайку веселило,  
Все добрым предвещаньем было.

«Смотри,— он Лобode сказал,—  
Как изменилось все. Давно ли  
Козак с печали увядал,  
Стонал и под ярмом неволи  
В себе все чувства подавлял?  
Возьмут свое права природы;  
Бессмертна к родине любовь,  
Раздастся глас святой свободы,  
И раб проснется к жизни вновь».

<10> МОЛИТВА НАЛИВАЙКИ

Ты зришь, о Боже всемогущий!  
Злодействам ляхов нет числа;  
Как дуб, на теме гор растущий,  
Тиранов дерзость возросла.  
Я невиновен, Боже правый,  
Когда здесь хлынет кровь рекой;  
Войну воздвиг я не для славы,  
Я поднял меч за край родной;  
Ты лицемеров ненавидишь,  
Ты грозно обличаешь их;  
Ты с высоты небес святых  
На дне морском песчинку видишь;  
[Ты проникаешь, мой Творец,  
В изгибы тайные сердец.]

<11>

Глухая ночь. Молчит река,  
Луна сокрылась в облака.  
И Чигирин и оба стана  
Обвиты саваном тумана.

Вокруг костров шумят и пьют  
Толпами буйные поляки;  
Их души яростные ждут,  
Как праздника, кровавой драки.  
Одни врагов своих кланут,  
Другие спорят, те поют,

Тот, богохульствуя, хохочет,  
Тот хвалится лихим конем,  
[Тот] саблю дедовскую точит  
И дерзостно над козаком  
Победу землякам пророчит.  
В кунтуше пышном на ковре  
Жолкевский спит в своем шатре.

#### <12> СОН ЖОЛКЕВСКОГО

Над ним летает чудный сон:  
В Варшаве площадь видит он;  
На ней костер стоит, чернея;  
В середине столб; палач, бледнея,  
Кого-то в саване влечет;  
Вослед ему народ толпами  
Из улиц медленно идет  
И головы свои несет,  
Окровавленными руками  
Подняв их страшно над плечами.

Вот неизвестный с палачом  
К костру подходит без боязни;  
Взошли... безмолвие кругом...  
Вот хладный исполнитель казни  
Его к столбу уж привязал,  
Зажег костер, костер вспылал,  
И над высокими домами  
Понесся черный дым клубами.  
Вдруг в небесах раздался глас:  
Свершилось все... на вас, на вас  
Страдальца кровь и вопль проклятий.  
Погиб, но он погиб за братий.  
Народ ужасно застонал,  
Кругом костра толпиться стал  
И, головы бросая в пламень,  
Назад в стенании бежал  
И упал на хладный камень.  
Все тихо... Только кровь шумит...  
Во сне Жолкевский страшно стонет,  
Трепещет, молится... вдруг зрит,  
Что он в волнах кровавых тонет.  
Душа невольно обмерла;  
Сон отлетел; в шатре лишь мгла,

Но он, но он еще не знает,  
Что в крупных каплях упадет,  
Иль кровь, иль пот с его чела...

<13>

Меж тем, потопленный в туманах,  
Козацкий табор на курганах  
Спокойно дремлет вдоль реки;  
Как звезды в небесах пустынных,  
Кой-где чуть светят огоньки;  
Вкруг них у коновязей длинных  
Лежат рядами козаки.  
Напрасно Тясмин быстры воды,  
Шумя, в очеретах струит,  
Напрасно, вестник непогоды,  
Ветр буйный по степи шумит:  
Спят сладко ратники свободы,  
Их сна ничто не возмутит...





# И. И. Козлов

---

## ЧЕРНЕЦ

### *Киевская повесть*

Прекрасный друг минувших светлых дней,  
Надежный друг дней мрачных и тяжелых,  
Вина всех дум, и грустных и веселых,  
Моя жена и мать моих детей!  
Вот песнь моя, которой звук унылый,  
Бывало, в час бессонницы ночной,  
Какою-то невидимою силой  
Меня пленял и дух тревожил мой!  
О, сколько раз я плакал над струнами,  
Когда я пел страданье Чернеца,  
И скорбь души, обманутой мечтами,  
И пыл страстей, волнующих сердца!  
Моя душа сжилась с его душою:  
Я с ним бродил во тме чужих лесов;  
С его родных днепровских берегов  
Мне веяло знакомою тоскою.  
Быть может, мне так сладко не мечтать;  
Быть может, мне так стройно не певать! —  
Как мой Чернец, все страсти молодые  
В груди моей давно я схоронил;  
И я, как он, все радости земные  
Небесною надеждой заменил.  
Не зреть мне дня с зарями золотыми,  
Ни роз весны, ни сердцу милых лиц!  
И в цвете лет уж я между живыми  
Тень хладная бесчувственных гробниц.  
Но я стремлю, встревожен тяжелой мглою,  
Мятежный рой сердечных дум моих  
На двух детей, взлелеянных тобою,  
И на тебя, почти милей мне их.  
Я в вас живу, — и сладко мне мечтанье!  
Всегда со мной мое очарованье.  
Так в темну ночь цветок, краса полей,  
Свой запах льет, незримый для очей.

17 сентября 1824  
Санкт-Петербург

## 1

За Киевом, где Днепр широкой  
 В крутых берегах кипит, шумит,  
 У рощи на горе высокой  
 Обитель иноков стоит;  
 Вокруг нее стена с зубцами,  
 Четыре башни по углам  
 И посредине Божий храм  
 С позолоченными главами;  
 Ряд келий, темный переход,  
 Часовня у святых ворот  
 С чудотворящею иконой,  
 И подле ключ воды студеной  
 Журчит целительной струей  
 Под тенью липы вековой.

## 2

Вечерний мрак в туманном поле;  
 Заря уж гаснет в небесах;  
 Не слышно песен на лугах;  
 В долинах стад не видно боле;  
 Ни рог в лесу не затрубит,  
 Никто не прѣйдет,— лишь порою  
 Чуть колокольчик прозвенит  
 Вдали дорогой столбовою;  
 И на Днепре у рыбаков  
 Уж нет на лодках огоньков;  
 Взошел и месяц полуночный,  
 И звезды яркие горят;  
 Поляны, рощи, воды спят;  
 Пробил на башне час урочный;  
 Обитель в сон погружена;  
 Повсюду мир и тишина.  
 В далекой келье луч лампадный  
 Едва блеснит; и в келье той  
 Кончает век свой безотрадный  
 Чернец, страдалец молодой.  
 Утраты, страсти и печали  
 Свой знак ужасный начертали  
 На пасмурном его челе;  
 Гроза в сердечной глубине,  
 Судьба его покрыта тмою:



У роуи на горе высокой  
Обитель иноков стоит...

Откуда он, и кто такой? —  
Не знают. Но, в вражде с собой,  
Он мучим тайной роковою.  
Раз ночью, в бурю, он пришел;  
С тех пор в обители остался,  
Жизнь иноков печально вел,  
Дичился всех, от всех скрывался;  
Его вид чудный всех страшил,  
Чернец ни с кем не говорил,  
Но в глубине души унылой  
Ужасное заметно было.  
В торжественный молитвы час  
И он певал хвалебный глас...  
Но часто вопли тяжкой муки  
Святые прерывали звуки!  
Бывало, он, во тме ночей,  
Покоя в келье не находит,  
И в длинной мантии своей  
Между могил, как призрак, бродит;  
Теперь недвижим, ждет конца:  
Недуг терзает Чернеца.

3

Пред ним, со взором умиленья,  
Держал игумен крест спасенья,—  
И тяжело страждущий вздыхал:  
Он пламенел, он трепетал,  
Он дважды тихо приподнялся,  
Он дважды речь начать старался;  
Казалось, некий грозный сон  
Вспоминать страшился он,  
И робко, дико озирался.  
Чернец, Чернец, ужели ты  
Всё помнишь прежние мечты!..  
Но превозмог он страх могилы,  
Зажглися гаснувшие силы:  
Он старца за руку схватил,  
И так страдалец говорил:

4

«Отец! меж вас пришлец угрюмый,  
Быть может, я моей тоской

Смушал спасительные думы  
И мир обители святой.  
Вот тайна: дней моих весною  
Уж я все горе жизни знал;  
Я взрос бездомным сиротою,  
Родимой ласки не видал;  
Веселья детства пролетали,  
Едва касаясь до меня:  
Когда ровесники играли,  
Уже задумывался я;  
Огонь и чистый и прекрасный  
В груди молодой пылал напрасно:  
Мне было некого любить!  
Увы! я должен был таить,  
Страшась холодного презренья,  
От неприветливых людей  
И сердца пылкого волненья,  
И первый жар души моей;  
Уныло расцветала младость,  
Смотрел я с дикостью на свет,  
Не знал я, что такое радость;  
От самых отроческих лет  
Ни с кем любви не разделяя,  
Жил нелюдимо в тишине,—  
И жизнь суровая, простая  
Отрадною казалась мне.  
Любил я по лесам скитаться,  
День целый за зверьми гоняться,  
Широкий Днепр переплывать,  
Любил опасностью играть,  
Над жизнью дерзостно смеяться,—  
Мне было нечего терять,  
Мне было не с кем расставаться.

## 5

Но вскоре с невских берегов  
Покрытый воин сединами  
Приехал век дожить меж нами,  
Под тенью отческих дубров.  
Он жил в селе своем с женою,  
И с ними дочь в семнадцать лет...  
О старец! гроб передо мною...  
Во взорах тмится Божий свет!..

Ее давно уж в мире нет...  
Но ею все живу одною...  
Она одна в моих мечтах,  
И на земле и в небесах!..  
Отец святой, теперь напрасно  
О ней тебе подробно знать,  
Я не хочу ее назвать!..  
Молился только о несчастной!  
Случайно нас судьба свела;  
Ее красы меня пленили;  
Она мне сердце отдала,—  
И мать с отцом нас обручили.  
Уже налой с венцами ждал;  
Все горе прежнее в забвенье,—  
И я в сердечном упоенье,  
Дивясь, Творца благословлял.  
Давно ль, печально увядая,  
Была мне в тягость жизнь младая?  
Давно ли дух томился мой,  
Убитый хладною тоской?  
И вдруг дано мне небесами  
И жить, и чувствовать вполне,  
И плакать сладкими слезами,  
И видеть радость не во сне!  
С какой невинностью святою  
Она пылающей душою  
Лила блаженство на меня!  
И кто из смертных под луною  
Так мог любить ее, как я?  
Сбылося в ней мое мечтанье,  
Весь тайный мир души моей,—  
И я, любви ее созданье,  
И я воскрес любовью к ней!

6

Но снова рок ожесточился;  
Я снова обречен бедам.  
Какой-то вдруг, на гибель нам,  
Далекий родственник явился;  
Он польских войск хорунжий был;  
Злодей, он чести изменил!  
Он прежде сам коварно льстил  
С ней в брак насильственно вступить.

Хотел ограбить, притеснить,—  
И презрен был, и только мщенья  
Искал с улыбкой примиренья.  
О мой отец! сердечный жар,  
Благих небес высокий дар,  
Нет, не горит огонь священный  
В душе, пороком омраченной.  
Не видно звезд в туманной мгле:  
Любовь — святое на земле.  
Ему ль любить!.. Но, ах, судьбою  
Нам с нашей матерью родною  
Была разлука суждена!  
Она внезапно сражена  
Недугом тяжким... мы рыдали,  
Мы одр с молитвой окружали;  
Настал неизбежный час:  
Родная скрылася от нас.  
Еще теперь перед очами,  
Как в страшную разлуки ночь  
Теплейшей веры со слезами  
Свою рыдающую дочь  
Земная мать благословляла  
И, взяв дрожащею рукой  
Пречистой Девы лик святой,  
Ее Небесной поручала.  
С кончиной матери смелей  
Стал мстить неистовый злодей;  
Он клеветал; уловкой злою  
Он слабой овладел душою,—  
И старец слову изменил:  
Желанный брак разрушен был.  
Обманут низкой клеветою,  
Он мнил, безжалостный отец,  
Что узы пламенных сердец  
Мог разорвать; и дочь младая,  
Его колена обнимая,  
Вотще лила потоки слез;  
Но я ни гнева, ни угроз,  
Ни мщенья их не убоялся,  
Презрел злодея, дочь увез  
И с нею тайно обвенчался.

Быть может, ты, отец святой,  
 Меня за дерзость обвиняешь;  
 Но, старец праведный, не знаешь,  
 Не знал ты страсти роковой.  
 Ты видишь сердца трепетанья,  
 И смертный хлад, и жар дыханья,  
 И бледный лик, и мутный взор,  
 Мое безумье, мой позор,  
 И грех, и кровь — вот пламень страстный!  
 Моей любви вот след ужасный!  
 Но будь мой рок еще страшней:  
 Она была... была моей!  
 О, как мы с нею жизнь делили!  
 Как, утесненные судьбой,  
 Найдя в себе весь мир земной,  
 Друг друга пламенно любили!  
 Живою нежностью мила,  
 В тоске задумчивой милее,  
 На радость мне она цвела;  
 При ней душа была светлее.  
 Промчался год прелестным сном.  
 Уж мнил я скоро быть отцом;  
 Мы сладко в будущем мечтали,  
 И оба вместе уповали:  
 Родитель гневный нам простит.  
 Но злоба алчная не спит:  
 В опасный час к нам весть несется,  
 Что вся надежда отнята,  
 Что дочь отцом уж проклята...  
 Обман ужасный удается —  
 Злодей несчастную убил:  
 Я мать с младенцем схоронил.  
 И я... Творец!.. над той могилой,  
 Где лег мой сын с подругой милой,  
 Стоял — и жив!..

Отец святой!

Как было, что потом со мною,  
 Не знаю: вдруг какой-то тмою  
 Был омрачен рассудок мой;  
 Лишь помню, что, большой дорогой  
 И день и ночь скитаясь, я  
 Упал; когда ж вошел в себя,



Лежал я в хижине убогой.  
Без чувства бед моих, без сил;  
Я жизнь страданием пережил,  
И в сердце замсрло волнение;  
Не скорбь, но страх и удивление  
Являло томное лицо;  
В душе все прежнее уснуло;  
Но невзначай в глаза мелькнуло  
Мое венчальное кольцо...

---

8

Я бросил край наш опустелый;  
Один, в отчаянье, в слезах,  
Блуждал, с душой осиротелой,  
В далеких дебрях и лесах.  
Мой стон, мой вопль, мои укоры  
Ущелья мрачные и горы  
Внимали с ужасом семь лет.  
Угрюмый, скорбный, одичалый,  
Терзался я мечтой бывалой;  
Рыдал о том, чего уж нет.  
Ночная тень, поток нагорный,  
И бури свист, и ветров вой  
Сливались втайне с думой черной,  
С неутолимою тоской;  
И горе было наслажденьем,  
Святым остатком прежних дней;  
Казалось мне, моим мученьем  
Я не совсем расстался с ней.

9

Где сердце любит, где страдает,  
И милосердный Бог наш там:  
Он крест дает, и Он же нам  
В кресте надежду посылает.  
Чрез семь тяжелых, грозных лет  
Блеснул и мне отрадный свет.  
Однажды я, ночной порою,  
Сидел уныло над рекою,  
И неба огнезвездный свод,  
И тихое луны мерцанье,

И говор листьев, и плесканье  
Луной осеребренных вод —  
Невольно душу все пленяло,  
Все в мир блаженства увлекало  
Своей таинственной красой.  
Проснулся дух мой сокрушенный:  
«Творец всего! младенец мой  
С моей подругой незабвенной  
Живут в стране Твоей святой;  
И, может быть, я буду с ними,  
И там они навек моими!..»  
Любви понятны чудеса:  
С каким-то тайным ожиданьем  
Дрожало сердце упованьем;  
Я поднял взор на небеса,  
Дерзал их вопрошать слезами...  
И, мнилось, мне в ответ был дан  
Сей безмятежный океан  
С его нетленными звездами.  
С тех пор я в бедствии самом  
Нашел, отец мой, утешенье,  
И тяжким уповал крестом  
С ней выстрадать соединенье.  
Еще, бывало, слезы лью,  
Но их надежда улаждала,  
И горесть тихая сменяла  
Печаль суровую мою.  
Забыл я, верой пламенея,  
Мое несчастье и злодея:  
Она с младенцем в небесах  
Мечталась сердцу в райских снах.  
Я к ней душою возносился, —  
И мысль одним была полна:  
Желал быть чистым, как она,  
И с жизнью радостно простился;  
Но умереть хотелось мне  
В моей родимой стороне.  
Я стал скучать в горах чужбины:  
На рощи наши, на долины  
Хотел последний бросить взгляд,  
Увидеть край, весь ею полный,  
И сельский домик наш, и сад,  
И синие днепровски волны,  
И церковь на холме, где спит

В тени берез их пепел милый,  
И как над тихою могилой  
Заря вечерняя горит.

10

Ах, что сбылось с моей душою,  
Когда в святой красе своей  
Вдруг вид открылся предо мною  
Родимых киевских полей!  
Они, как прежде, зеленели,  
Волнами так же Днепр шумел,  
Все тот же лес вдали темнел,  
На жнивях те же песни пели,  
И так же всё в стране родной,  
А нет лишь там ее одной!  
Везде знакомые долины.  
Ручьи, пригорки и равнины  
В прелестной, милой тишине,  
Со всех сторон являлись мне  
С моими светлыми годами;  
Но с отравлённою душой,  
На родине пришлец чужой,  
Я их приветствовал слезами  
И безотрадную тоской.  
Я шел; день к вечеру склонялся;  
И скоро сельский Божий храм  
Предстал испуганным очам;  
И вне себя я приближался  
К могиле той, где сын, жена...  
Вся жизнь моя погребена.  
Я чуть ступал, как бы страшился  
Прервать их непробудный сон;  
В груди стеснял мой тяжкий стон,  
Чтоб их покой не возмутился;  
Страстям встревоженным своим  
Не смел вдаваться дух унылый;  
Казалось мне, над их могилой  
Дышал я воздухом святым.  
Творилось дивное со мною,  
И я с надеждой неземною  
Колена тихо преклонил,  
Молился, плакал и любил...  
Вдруг слышу шорох за кустами;



*Казалось мне, над их могилой  
Дышал я воздухом святым.*

Гляжу, что ж взор встречает мой?  
Жнеца с подругой молодой,  
И воз, накладенный снопами;  
И вижу я, между снопов  
Сидит в венке из васильков  
Младенец с алыми щеками.  
Невольню я затрепетал:  
«Я все имел, все потерял,  
Нам не дали жить друг для друга:  
В сырой земле моя подруга,  
И не в цветах младенец мой —  
Его червь точит гробовой». —  
В слезах тогда к ним на могилу  
Без памяти бросаюсь я;  
Горело сердце у меня;  
Тоска души убила силу.  
Целую дерн, я разрывал  
Руками жадными моими  
Ту землю, где я лег бы с ними;  
В безумстве диком я роптал;  
Мне что-то страшное мечталось;  
Едва дышал я, в мутной тме  
Сливалось все, как в тяжком сне;  
Уж чувство жизни пресекалось,  
И я лежал между гробов  
Мертвей холодных мертвецов.  
Но свежий воздух, влажность ночи  
Страдальца вновь животворят;  
Вздохнула грудь, открылись очи,  
Кругом бродил мой томный взгляд:  
Все было тихо, скрыто мглою,  
В тумане месяц чуть светил,  
И лишь могильною травой  
Полночный ветер шевелил.

11

Я встал и скорыми шагами  
Пошел с потупленной главой  
Через поляну; за кустами  
Вилась дорога под горой;  
Почти без памяти, без цели  
Я шел куда глаза глядели;  
Из-за кустов навстречу мне

Несется кто-то на коне.  
Не знаю сам, какой судьбою,  
Но вдруг... я вижу пред собою,  
При блеске трепетной луны,  
Убийцу сына и жены.  
Отец, то встреча роковая!  
Я шел, весь мир позабывая;  
Не думал я его искать,  
Я не хотел ему отмщать;  
Но он, виновник разлученья,  
Он там, где милые в гробах,  
Когда еще в моих очах  
Дрожали слезы иступленья...  
То знает совесть, видит Бог,  
Хотел простить — простить не мог.  
Я изменил святой надежде,  
Я вспомнил все, что было прежде,—  
И за узду схватил коня:  
«Злодей, узнал ли ты меня?»  
Он робко смотрит, он дивится,  
Он саблю обнажить стремится;  
Увы! со мною был кинжал...  
И он в крови с коня упал.

Тогда еще не рассветало;  
Я вне себя иду назад;  
И рощи и поля молчат,  
Перед зарею все дремало,  
Лишь неся гул издалека,  
Как конь скакал без седока;  
Бесчувственно я удалялся.  
Все, что сбылось, казалось мне  
Как что-то страшное во сне.  
Вдруг звон к заутрене раздался...  
Огнями светлый храм сиял,  
А небо — вечными звездами,  
И лунный свет осеребрял  
Могилы тихие с крестами;  
Призывный колокол звенел;  
А я стоял, а я смотрел,  
Я в светлый храм идти не смел...  
«О чем теперь и как молиться?  
Чего мне ждать у алтарей?  
Мне ль уповать навеки с ней

В святой любви соединиться?  
Как непорочность сочетать  
Убийцы с буйными страстями?  
Как в небе ангела обнять  
Окровавленными руками?»

12

В обитель вашу я вступил,  
Искал я слез и покаянья;  
Увы, я, грешный, погубил  
Святые сердца упования!  
Бывало, бедствие мое  
Я верой услаждал всечасно;  
Теперь — до гроба жить ужасно!  
За гробом — вечность без нее!  
Я мнил, отец мой, между вами  
Небесный гнев смягчать слезами;  
Я мнил, что пост, молитва, труд  
Вине прощенье обретут;  
Но и в обители спасенья  
Я слышу бурь знакомый шум;  
Проснулись прежние волненья,  
И сердце полно прежних дум.  
Везде, отчаяньем томимый,  
Я вижу лик неотразимый;  
Она в уме, она в речах,  
Она в моление на устах;  
К ней сердце пылкое стремится,  
Но тень священную боится  
На лоне мира возмутить.  
О, верь, не обогранный кровью,  
Дышал я чистою любовью,  
Умел земное позабыть:  
Я в небесах с ней думал жить!  
Теперь, как гибельным ударом,  
И там я с нею разлучен,  
Опять горю безумным жаром,  
Тоскою дикой омрачен.  
Здесь, на соломе, в келье холодной,  
Не пред крестом я слезы лью;  
Я вяну, мучуся, люблю,  
В печали сохну безотрадной;  
Весь яд, все бешенство страстей

Кипят опять в груди моей,  
И, жертва буйного страдания,  
Мои преступные рыдания  
Тревожат таинство ночей.

13

Вчера — бьет полночь — страх могилы  
Последние разрушил силы,  
И пред иконою святой  
С непостижимою тоской  
Я изливал мои страдания;  
Я Милосердного молил,  
Чтоб грех кровавый мне простил,  
Чтоб принял слезы покаянья.  
Вдруг что-то, свыше осеня,  
Как будто душу озарило  
И тайной святостью страшило,  
Отец мой, грешного, меня.  
Лампада луч дрожащий, бледный  
Бросала томно в келье бедной.  
Покрыта белой пеленой,  
Она предстала предо мной.  
И черные горели очи  
Ярче звезд осенней ночи.  
О нет, то был не призрак сна  
И не обман воображенья!  
Святой отец, к чему сомненья!  
С нее слетела пелена,  
И то была, поверь... она!  
Она, прелестная, молодая!  
Ее улыбка неземная!  
И кудри темные с чела  
На грудь лилейную бежали,  
И, мнилось мне, ее уста  
Былое, милое шептали;  
Все та ж любовь в ее очах.  
И наш младенец на руках.  
«Она!.. прощен я небесами!»  
И слезы хлынули ручьями.  
И вне себя бросаюсь к ней,  
Схватил, прижал к груди моей...  
Но сердце у нее не бьется,  
Молчит пленительная тень;



Неумолимая несется  
Опять в таинственную сень;  
И руки жадные дрожали;  
И только воздух обнимали;  
Мечтой обмануты, они  
К груди прижались одни.  
«Ужель отринуты моления?  
Ужель ты вестник отверженья?  
Или в ужасный, смертный час,  
Моя все верная подруга,  
Хотела ты в последний раз  
Вглянуть на гибнущего друга?..»  
И с ложа на колена пал  
Чернец, и замер голос муки;  
Взор оживился, засверкал;  
К чему-то вдруг простер он руки,  
Как исступленный закричал:  
«Ты здесь опять!.. конец разлуки!  
Зовешь!.. моя!.. всегда!.. везде!..  
О, как светла!.. к нему!.. к тебе!..»

14

Два дня, две ночи он томился,  
И горько плакал, и молился;  
На третью ночь отец святой  
Обитель мирную сзывает;  
Последний час уже летает  
Над юной грешною главой.  
И в келью брата со свечами  
Собором иноки вошли,  
И белый саван принесли...  
И гроб дощатый за дверями.  
Печален был их томный глас,  
За упокой души молящих;  
Печален вид их черных ряс  
При тусклом блеске свеч горящих.  
Прочитана святым отцом  
Отходная над Чернецом.  
Когда ж минута роковая  
Пресекла горестный удел,  
Он, тленный прах благословляя,  
Ударить в колокол велел...  
И звон трикратно раздается

Над полуночною волной.  
И об усопшем весть несется  
Далеко зыбкою рекой.  
В пещеру вещей звон домчался,  
Где схимник праведный спасался:  
«Покойник!» — старец прошептал,  
Открыл налож и четки взял;  
У рыбаков сон безмятежный  
Им прерван в хижине прибрежной.  
Грудной младенец стал кричать;  
Его крестит спросонья мать,  
Творить молитву начинает  
И тихо колыбель качает,—  
И перед тлеющим огнем  
Опять уснула крепким сном.  
И через поле той порою  
Шел путник с милою женою;  
Они свой ужас в темну ночь  
Веселой песнью гнали прочь;  
Они, лишь звоны раздалися,—  
Перекрестились, обнялись,  
Пошли грустней рука с рукой...  
И звук утих во тме ночной.



# А. С. Пушкин

## *ЦЫГАНЫ*

Цыганы шумною толпой  
По Бессарабии кочуют.  
Они сегодня над рекой  
В шатрах изодранных ночуют.  
Как вольность, весел их ночлег  
И мирный сон под небесами;  
Между колесами телег,  
Полузавешанных коврами,  
Горит огонь; семья кругом  
Готовит ужин; в чистом поле  
Пасутся кони; за шатром  
Ручной медведь лежит на воле.  
Все живо посреди степей:  
Заботы мирные семей,  
Готовых с утром в путь недалкий,  
И песни жен, и крик детей,  
И звон походной наковальни.  
И вот на табор кочевой  
Нисходит сонное молчанье,  
И слышно в тишине степной  
Лишь лай собак да коней ржанье.  
Огни везде погашены,  
Спокойно все, луна сияет  
Одна с небесной вышины  
И тихий табор озаряет.  
В шатре одном старик не спит;  
Он перед углями сидит,  
Согретый их последним жаром,  
И в поле дальнее глядит,  
Ночным подернутое паром.  
Его молоденькая дочь  
Пошла гулять в пустынном поле.  
Она привыкла к резвой воле,  
Она придет; но вот уж ночь,  
И скоро месяц уж покинет  
Небес далеких облака,—  
Земфиры нет как нет; и стынет  
Убогий ужин старика.



*Цыганы шумною толпой  
По Бессарабии кочуют.*

Но вот она. За нею следом  
По степи юноша спешит;  
Цыгану вовсе он неведом.  
«Отец мой,— дева говорит,—  
Веду я гостя; за курганом  
Его в пустыне я нашла  
И в табор на ночь зазвала.  
Он хочет быть как мы цыганом;  
Его преследует закон,  
Но я ему подругой буду.  
Его зовут Алеко — он  
Готов идти за мною всюду».

### С т а р и к

Я рад. Останься до утра  
Под сенью нашего шатра  
Или пробудь у нас и доле,  
Как ты захочешь. Я готов  
С тобой делить и хлеб и кров.  
Будь наш — привыкни к нашей доле,  
Бродящей бедности и воле —  
А завтра с утренней зарей  
В одной телеге мы поедем;  
Примись за промысел любой:  
Железо куй иль песни пой  
И селы обходи с медведем.

### А л е к о

Я остаюсь.

### З е м ф и р а

Он будет мой:  
Кто ж от меня его отгонит?  
Но поздно... месяц молодой  
Зашел; поля покрыты мглой,  
И сон меня невольно клонит...

Светло. Старик тихонько бродит  
Вокруг безмолвного шатра.  
«Вставай, Земфира: солнце всходит,  
Проснись, мой гость! пора, пора!..  
Оставьте, дети, ложе неги!..  
И с шумом высыпал народ;  
Шатры разобраны; телеги

Готовы двинуться в поход.  
Все вместе тронулось — и вот  
Толпа валит в пустых равнинах.  
Ослы в перекидных корзинах  
Детей играющих несут;  
Мужья и братья, жены, девы,  
И стар и млад вослед идут;  
Крик, шум, цыганские припевы,  
Медведя рев, его цепей  
Нетерпеливое бряцанье,  
Лохмотьев ярких пестрота,  
Детей и старцев нагота,  
Собак и лай и завыванье,  
Волюнки говор, скрип телег,  
Все скудно, дико, все нестройно,  
Но все так живо-неспокойно,  
Так чуждо мертвых наших нег,  
Так чуждо этой жизни праздной,  
Как песнь рабов однообразной!

---

Уныло юноша глядел  
На опустелую равнину  
И грусти тайную причину  
Истолковать себе не смел.  
С ним черноокая Земфира,  
Теперь он вольный житель мира,  
И солнце весело над ним  
Полуденной красою блещет;  
Что ж сердце юноши трепещет?  
Какой заботой он томим?

Птичка Божия не знает  
Ни заботы, ни труда;  
Хлопотливо не свивает  
Долговечного гнезда;  
В долгу ночь на ветке дремлет;  
Солнце красное взойдет,  
Птичка гласу Бога внемлет,  
Встрепенется и поет.  
За весной, красой природы,  
Лето знойное пройдет —  
И туман и непогоды  
Осень поздняя несет:

Людам скучно, людам горе;  
Птичка в дальные страны,  
В теплый край, за сине море  
Улетает до весны.

Подобно птичке беззаботной  
И он, изгнанник перелетный,  
Гнезда надежного не знал  
И ни к чему не привыкал.  
Ему везде была дорога,  
Везде была ночлега сень;  
Проснувшись поутру, свой день  
Он отдавал на волю Бога,  
И жизни не могла тревога  
Смутить его сердечну лень.  
Его порой волшебной славы  
Манила дальняя звезда;  
Нежданно роскошь и забавы  
К нему являлись иногда;  
Над одинокой головою  
И гром нередко грохотал;  
Но он беспечно под грозою  
И в ведро ясное дремал.  
И жил, не признавая власти  
Судьбы коварной и слепой;  
Но Боже! как играли страсти  
Его послушною душой!  
С каким волнением кипели  
В его измученной груди!  
Давно ль, надолго ль усмирили?  
Они проснутся: погоди!

---

З е м ф и р а

Скажи, мой друг: ты не жалеешь  
О том, что бросил навсегда?

А л е к о

Что ж бросил я?

З е м ф и р а

Ты разумеешь:  
Людей отчизны, города.

### А л е к о

О чем жалеть? Когда б ты знала,  
Когда бы ты воображала  
Неволю душных городов!  
Там люди, в кучах за оградой,  
Не дышат утренней прохладой,  
Ни вешним запахом лугов;  
Любви стыдятся, мысли гонят,  
Торгуют волею своей,  
Главы пред идолами клонят  
И просят денег да цепей.  
Что бросил я? Измен волнение,  
Предрассуждений приговор,  
Толпы безумное гоненье  
Или блистательный позор.

### З е м ф и р а

Но там огромные палаты,  
Там разноцветные ковры,  
Там игры, шумные пиры,  
Уборы дев там так богаты!..

### А л е к о

Что шум веселий городских?  
Где нет любви, там нет веселий.  
А девы... Как ты лучше их  
И без нарядов дорогих,  
Без жемчугов, без ожерелий!  
Не изменись, мой нежный друг!  
А я... одно мое желанье  
С тобой делить любовь, досуг  
И добровольное изгнанье!

### С т а р и к

Ты любишь нас, хоть и рожден  
Среди богатого народа.  
Но не всегда мила свобода  
Тому, кто к неге приучен.  
Меж нами есть одно преданье:  
Царем когда-то сослан был  
Полудня житель к нам в изгнанье.  
(Я прежде знал, но позабыл  
Ему мудреное прозвание.)  
Он был уже летами стар,



Но млад и жив душой незлобной —  
Имел он песен дивный дар  
И голос, шуму вод подобный,—  
И полюбили все его,  
И жил он на берегах Дуная,  
Не обижая никого,  
Людей рассказами пленяя;  
Не разумел он ничего,  
И слаб и робок был, как дети;  
Чужие люди за него  
Зверей и рыб ловили в сети;  
Как мерзла быстрая река  
И зимни вихри бушевали,  
Пушистой кожей покрывали  
Они святого старика;  
Но он к заботам жизни бедной  
Привыкнуть никогда не мог;  
Скитался он иссохший, бледный,  
Он говорил, что гневный Бог  
Его карал за преступленье...  
Он ждал: придет ли избавленье.  
И все несчастный тосковал,  
Бродя по берегам Дуная,  
Да горьки слезы проливал,  
Свой дальний град вспоминая,  
И завещал он, умирая,  
Чтобы на юг перенесли  
Его тоскующие кости,  
И смертью — чуждой сей земли  
Не успокоенные гости!

#### А л е к о

Так вот судьба твоих сынов,  
О Рим, о громкая держава!..  
Певец любви, певец богов,  
Скажи мне, что такое слава?  
Могильный гул, хвалебный глас,  
Из рода в роды звук бегущий?  
Или под сенью дымной кущи  
Цыгана дикого рассказ?

---

Прошло два лета. Так же бродят  
Цыганы мирною толпой;  
Везде по-прежнему находят

Гостеприимство и покой.  
Презрев оковы просвещения,  
Алеко волен, как они;  
Он без забот и сожаленья  
Ведет кочующие дни.  
Все тот же он; семья все та же;  
Он, прежних лет не помня даже,  
К бытью цыганскому привык.  
Он любит их ночлегов сени,  
И упоенье вечной лени,  
И бедный, звучный их язык.  
Медведь, беглец родной берлоги,  
Косматый гость его шатра,  
В селеньях, вдоль степной дороги,  
Близ молдаванского двора  
Перед толпою осторожной  
И тяжело пляшет, и ревет,  
И цепь докучную грызет;  
На посох опершись дорожный,  
Старик лениво в бубны бьет,  
Алеко с пеньем зверя водит,  
Земфира поселян обходит  
И дань их вольную берет.  
Настанет ночь; они все трое  
Варят нежатое пшено;  
Старик уснул — и всё в покое...  
В шатре и тихо и темно.

---

Старик на вешнем солнце греет  
Уж остывающую кровь;  
У люльки дочь поет любовь.  
Алеко внемлет и бледнеет.

### З е м ф и р а

Старый муж, грозный муж,  
Режь меня, жги меня:  
Я тверда; не боюсь  
Ни ножа, ни огня.  
Ненавижу тебя,  
Презираю тебя;  
Я другого люблю,  
Умираю любя.

А л е к о

Молчи. Мне пенье надоело,  
Я диких песен не люблю.

З е м ф и р а

Не любишь? мне какое дело!  
Я песню для себя пою.

Режь меня, жги меня;  
Не скажу ничего;  
Старый муж, грозный муж,  
Не узнаешь его.

Он свежее весны,  
Жарче летнего дня;  
Как он молод и смел!  
Как он любит меня!

Как ласкала его  
Я в ночной тишине!  
Как смеялись тогда  
Мы твоей седине!

А л е к о

Молчи, Земфира! я доволен...

З е м ф и р а

Так понял песню ты мою?

А л е к о

Земфира!

З е м ф и р а

Ты сердиться волен,  
Я песню про тебя пою.  
*Уходит и поет: Старый муж и проч.*

С т а р и к

Так, помню, помню — песня эта  
Во время наше сложена,  
Уже давно в забаву света  
Поется меж людей она.  
Кочуя по степям Кагула,  
Ее, бывало, в зимнюю ночь  
Моя певала Мариула,

Перед огнем качая дочь.  
В уме моем минувши лета  
Час от часу темней, темней;  
Но заронила песня эта  
Глубоко в памяти моей.

Все тихо; ночь. Луной украшен  
Лазурный юга небосклон,  
Старик Земфирой пробужден:  
«О мой отец! Алеко страшен.  
Послушай: сквозь тяжелый сон  
И стонет и рыдает он».

С т а р и к

Не тронь его. Храни молчанье.  
Слышал я русское преданье:  
Теперь полунощной порой  
У спящего теснит дыханье  
Домашний дух; перед зарей  
Уходит он. Сиди со мной.

З е м ф и р а

Отец мой! шепчет он: Земфира!

С т а р и к

Тебя он ищет и во сне:  
Ты для него дороже мира.

З е м ф и р а

Его любовь постыла мне,  
Мне скучно! сердце воли просит —  
Уж я... Но тише! слышишь? он  
Другое имя произносит.

С т а р и к

Чье имя?

З е м ф и р а

Слышишь? хриплый стон  
И скрежет ярый!.. Как ужасно!..  
Я разбужу его...

С т а р и к

Напрасно,

Ночного духа не гони —  
Уйдет и сам...

З е м ф и р а

Он повернулся,  
Привстал, зовет меня... проснулся —  
Иду к нему — прощай, усни.

А л е к о

Где ты была?

З е м ф и р а

С отцом сидела.  
Какой-то дух тебя томил;  
Во сне душа твоя терпела  
Мученья; ты меня страшил:  
Ты, сонный, скрежетал зубами  
И звал меня.

А л е к о

Мне снилась ты.  
Я видел, будто между нами...  
Я видел страшные мечты!

З е м ф и р а

Не верь лукавым сновиденьям.

А л е к о

Ах, я не верю ничему:  
Ни снам, ни сладким увереньям,  
Ни даже сердцу твоему.

---

С т а р и к

О чем, безумец молодой,  
О чем вздыхаешь ты всечасно?  
Здесь люди вольны, небо ясно,  
И жены славятся красой.  
Не плачь: тоска тебя погубит.

А л е к о

Отец, она меня не любит.

## Старик

Утешься, друг: она дитя.  
Твое унынье безрассудно:  
Ты любишь горестно и трудно,  
А сердце женское — шутя.  
Взгляни: под отдаленным сводом  
Гуляет вольная луна;  
На всю природу мимоходом  
Равно сиянье льет она.  
Заглянет в облако любое,  
Его так пышно озарит —  
И вот — уж перешла в другое;  
И то недолго посетит.  
Кто место в небе ей укажет,  
Примолвя: там остановись!  
Кто сердцу юной девы скажет:  
Люби одно, не изменись?  
Утешься.

## Алеко

Как она любила!  
Как нежно преклонясь ко мне,  
Она в пустынной тишине  
Часы ночные проводила!  
Веселья детского полна,  
Как часто милым лепетаньем  
Иль упоительным лобзаньем  
Мою задумчивость она  
В минуту разогнать умела!..  
И что ж? Земфира неверна!  
Моя Земфира охладела!..

## Старик

Послушай: расскажу тебе  
Я повесть о самом себе.  
Давно, давно, когда Дунаю  
Не угрожал еще москаль, —  
(Вот видишь, я припоминаю,  
Алеко, старую печаль), —  
Тогда боялись мы султана;  
А правил Буджаком паша  
С высоких башен Аккермана —  
Я молод был: моя душа

В то время радостно кипела;  
И ни одна в кудрях моих  
Еще сединка не белела,—  
Между красавиц молодых  
Одна была... и долго ею,  
Как солнцем, любовался я,  
И наконец назвал моею...

Ах, быстро молодость моя  
Звездой падучею мелькнула!  
Но ты, пора любви, минула  
Еще быстрее: только год  
Меня любила Мариула.

Однажды близ Кагульских вод  
Мы чуждый табор повстречали;  
Цыганы те, свои шатры  
Разбив близ наших у горы,  
Две ночи вместе ночевали.  
Они ушли на третью ночь,—  
И, броса маленькую дочь,  
Ушла за ними Мариула.  
Я мирно спал; заря блеснула;  
Проснулся я, подруги нет!  
Ищу, зову — пропал и след.  
Тоскуя, плакала Земфира,  
И я заплакал — с этих пор  
Постыли мне все девы мира;  
Меж ими никогда мой взор  
Не выбирал себе подруги,  
И одинокие досуги  
Уже ни с кем я не делил.

#### А л е к о

Да как же ты не поспешил  
Тотчас вослед неблагодарной  
И хищникам и ей, коварной,  
Кинжала в сердце не вонзил?

#### С т а р и к

К чему? вольнее птицы младость;  
Кто в силах удержать любовь?  
Чредою всем дается радость;  
Что было, то не будет вновь.



*Ах, быстро молодость моя  
Звездой падучею мелькнула!*



## А л е к о

Я не таков. Нет, я не споря  
От прав моих не откажусь!  
Или хоть мщеньем наслажусь.  
О нет! когда б над бездной моря  
Нашел я спящего врага,  
Клянусь, и тут моя нога  
Не пощадила бы злодея;  
Я в волны моря, не бледнея,  
И беззащитного б толкнул;  
Внезапный ужас пробужденья  
Свирепым смехом упрекнул,  
И долго мне его паденья  
Смешон и сладок был бы гул.

---

М о л о д о й   ц ы г а н  
Еще одно... одно лобзанье...

З е м ф и р а  
Пора: мой муж ревнив и зол.

Ц ы г а н  
Одно... но доле!.. на прощанье.

З е м ф и р а  
Прощай, покамест не пришел.

Ц ы г а н  
Скажи — когда ж опять свиданье?

З е м ф и р а  
Сегодня, как зайдет луна,  
Там, за курганом над могилой...

Ц ы г а н  
Обманет! не придет она!

З е м ф и р а  
Вот он! беги!.. Приду, мой милый.

---

Алеко спит. В его уме  
Виденье смутное играет;

Он, с криком пробудясь во тьме,  
Ревниво руку простирает;  
Но обробелая рука  
Покровы холодные хватает —  
Его подруга далека...  
Он с трепетом привстал и внемлет...  
Все тихо — страх его объемлет,  
По нем текут и жар и холод;  
Встает он, из шатра выходит,  
Вокруг телег, ужасен, бродит;  
Спокойно все; поля молчат;  
Темно; луна зашла в туманы,  
Чуть брезжит звезд неверный свет,  
Чуть по росе приметный след  
Ведет за дальние курганы:  
Нетерпеливо он идет,  
Куда зловещий след ведет.

Могила на краю дороги  
Вдали белеет перед ним...  
Туда слабеющие ноги  
Влачит, предчувствием томим,  
Дрожат уста, дрожат колени,  
Идет... и вдруг... иль это сон?  
Вдруг видит близкие две тени  
И близкий шепот слышит он —  
Над обесславленной могилой.

1-й г о л о с

Пора...

2-й г о л о с

Постой...

1-й г о л о с

Пора, мой милый.

2-й г о л о с

Нет, нет, постой,ждемся дня.

1-й г о л о с

Уж поздно.

2-й г о л о с

Как ты робко любишь.  
Минуту!

1-й г о л о с

Ты меня погубишь.

2-й г о л о с

Минуту!

1-й г о л о с

Если без меня  
Проснется муж?

А л е к о

Проснулся я.  
Куда вы! не спешите оба;  
Вам хорошо и здесь у гроба.

З е м ф и р а

Мой друг, беги, беги...

А л е к о

Постой!  
Куда, красавец молодой?  
Лежи!

*Вонзает в него нож.*

З е м ф и р а

Алеко!

Ц ы г а н

Умираю...

З е м ф и р а

Алеко, ты убьешь его!  
Взгляни: ты весь обрызган кровью!  
О, что ты сделал?

А л е к о

Ничего.  
Теперь дыши его любовью.

## Земфира

Нет, полно, не боюсь тебя! —  
Твои угрозы презираю,  
Твое убийство проклиная...

Алеко

Умри ж и ты!

*Поражает ее.*

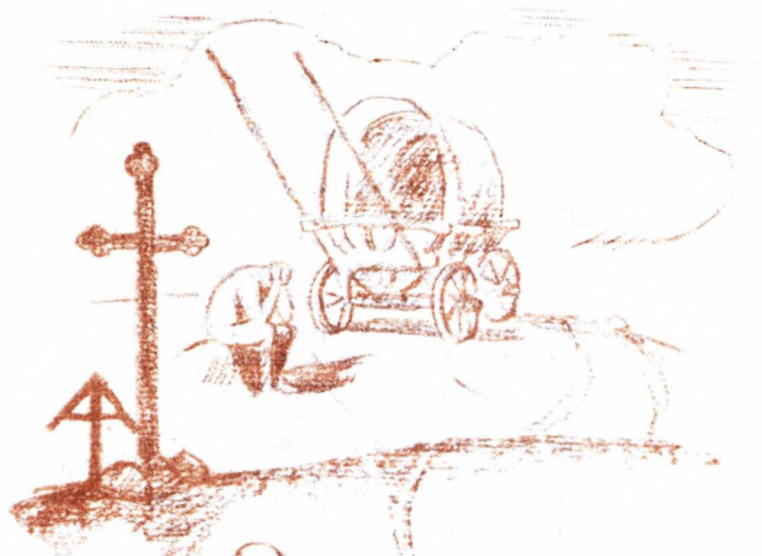
Земфира

Умру любя...

---

Восток, денницей озаренный,  
Сиял. Алеко за холмом,  
С ножом в руках, окровавленный,  
Сидел на камне гробовом.  
Два трупа перед ним лежали;  
Убийца страшен был лицом.  
Цыганы робко окружали  
Его встревоженной толпой.  
Могилу в стороне копали.  
Шли жены скорбной чередой  
И в очи мертвых целовали.  
Старик-отец один сидел  
И на погибшую глядел  
В немом бездействии печали;  
Подняли трупы, понесли  
И в лоно холодное земли  
Чету младую положили.  
Алеко издали смотрел  
На все... когда же их закрыли  
Последней горстью земной,  
Он молча, медленно склонился  
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась, рек:  
«Оставь нас, гордый человек!  
Мы дики; нет у нас законов,  
Мы не терзаем, не казним —  
Не нужно крови нам и стонов —  
Но жить с убийцей не хотим...  
Ты не рожден для дикой доли,



*И скоро все в дали степной  
Сокрылось...*

Ты для себя лишь хочешь воли;  
Ужасен нам твой будет глас:  
Мы робки и добры душою,  
Ты зол и смел — оставь же нас,  
Прости, да будет мир с тобою».

Сказал — и шумною толпою  
Поднялся табор кочевой  
С долины страшного ночлега.  
И скоро все в дали степной  
Сокрылось; лишь одна телега,  
Убогим крытая ковром,  
Стояла в поле роковом.  
Так иногда перед зимою,  
Туманной, утренней порою,  
Когда подьезмется с полей  
Станица поздних журавлей  
И с криком вдаль на юг несется,  
Пронзенный гибельным свинцом  
Один печально остается,  
Повиснув раненым крылом.  
Настала ночь; в телеге темной  
Огня никто не разложил,  
Никто под крышею подъемной  
До утра сном не опочил.

#### ЭПИЛОГ

Волшебной силой песнопенья  
В туманной памяти моей  
Так оживляются виденья  
То светлых, то печальных дней.

В стране, где долго, долго брани  
Ужасный гул не умолкал,  
Где повелительные грани  
Стамбулу русский указал,  
Где старый наш орел двуглавый  
Еще шумит минувшей славой,  
Встречал я посреди степей  
Над рубежами древних станов  
Телеги мирные цыганов,  
Смиренной вольности детей.  
За их ленивыми толпами

В пустынях часто я бродил,  
Простую пищу их делил  
И засыпал пред их огнями.  
В походах медленных любил  
Их песен радостные гулы —  
И долго милой Мариулы  
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,  
Природы бедные сыны!..  
И под изданными шатрами  
Живут мучительные сны,  
И ваши сени кочевые  
В пустынях не спаслись от бед,  
И всюду страсти роковые  
И от судеб защиты нет.



# Адам Мицкевич

## КОНРАД ВАЛЛЕНРОД

### Историческая повесть

Dovete adunque sapere come sono due generazioni da combattere... bisogna essere volpe e leone.

*Machiavelli*<sup>1</sup>

*Бонавентуре и Иоанне Залесским на память  
о тысяча восьмьсот двадцать седьмом годе  
посвящает автор*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Литовский народ, являющий собой совокупность племен: литовцев, пруссов и леттов, немногочисленный, населяющий необширные и малоплодородные земли, — был долго неизвестен Европе, и только около тринадцатого века набеги соседей заставили его перейти к более активной деятельности. В то время как пруссы подчинялись оружию тевтонов, Литва, выйдя из своих лесов и болот, начала уничтожать огнем и мечом соседние государства и сама стала грозой для всего севера. История еще не выяснила с достаточной полнотой, каким образом народ, столь слабый и так долго покорствовавший чужеземцам, вдруг нашел в себе силы, чтобы не только оказать сопротивление всем своим врагам, но и угрожать им, — с одной стороны, ведя непрерывную кровавую войну с орденом крестоносцев, а с другой стороны, опустошая Польшу, взимая дань с Великого Новгорода, распространяя свои набеги до берегов Волги и до Крымского полуострова. Самая блестящая эпоха в истории Литвы — это времена Ольгерда и Витольда, владычество которых простиралось от Балтийского до Черного моря. Но это огромное государство, расширяясь с чрезмерной быстротой, не успевало выработать в себе ту внутреннюю мощь, которая спаяла бы воедино все разнородные части и сделала их жизнеспособными. Литовская народность,

---

<sup>1</sup> Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы... надо поэтому быть лисицей и львом.

*Макиавелли*



растворившись на непомерно обширных землях, утратила свое национальное своеобразие. Литовцы подчинили много русских родов и вступили в политические взаимоотношения с Польшей. Славяне, давно уже принявшие христианство, стояли на более высокой ступени цивилизации, и, даже будучи покоренными Литвой или находясь под угрозой ее, они благодаря своему медленному, но неуклонному влиянию приобрели нравственный перевес над сильным, но варварским угнетателем и поглотили его, как китайцы татарских завоевателей. Ягеллоны и наиболее могущественные их вассалы стали поляками; многие литовские князья на Руси приняли религию, язык и народность русскую. Таким образом, Великое княжество Литовское перестало быть литовским; подлинный литовский народ снова сосредоточился в своих прежних границах: язык его перестал быть языком двора и знати и сохранился только в простом народе. Литва представляет собой любопытный пример народа, который исчез, поглощенный своими огромными завоеваниями, как ручеек спадает после бурного половодья и течет по еще более узкому руслу, чем прежде.

Несколько веков отделяет от нас упомянутые здесь события, сошла со сцены политической жизни и Литва, и самый грозный враг ее — орден крестоносцев, совершенно изменились взаимоотношения соседних народов, расчеты и страсти, из-за которых загорались тогдашние войны, давно угасли, и память о них не сохранилась даже в народных песнях. Литва уже вся в прошлом; ее история представляет поэтому благородный материал для поэзии, ибо поэт, воспевающий события того времени, должен сосредоточить свое внимание на исторических фактах, их углубленном изучении и художественном воплощении их, не руководствуясь никакими расчетами, страстями и вкусами читателей. Именно такие темы учил искать Шиллер:

Was unsterblich im Gesang soll leben,  
Muß im Leben untergehn.

Что бессмертно в мире песнопений,  
В смертном мире не живет.

#### ВСТУПЛЕНИЕ

Сто лет прошло, как нечестивцев кровью  
Крест рыцарского ордена умылся;  
Уже пруссак познал цепей оковы

Иль, бросив дом, от плена в чашу крылся;  
За ним гонясь вплоть до Литвы границы,  
Его вязал и гнал в неволю рыцарь.

Стал Неман рубежом Литвы с врагами:  
С литовской стороны леса шумели,  
Где алтари курились пред богами;  
С другой, своей вершиной в небо целя,  
Крест, символ немцев, плечи грозно ширил,  
Как бы стремясь все земли Палемона  
Пригнуть под власть немецкого закона,  
Все подчинив себе в литовском мире.

Здесь толпы юношей литовцев храбрых  
В плащах из шкур медвежьих, в рысьих шапках,  
Лук у плеча и наготове стрелы,  
Снуют, следя немецкие пределы.  
Там — конный немец в панцире из стали  
Стоит недвижим, как на пьедестале,  
Уставя взор на укрепленья вражьи  
И четки и пицаль держа на страже.  
И тут и там закрыты переправы.  
Так Неман, чьи гостеприимны воды,  
Соединявший братских две державы,  
Стал вечности порогом двух народов.

Никто без риска жизнью и свободой  
Не мог переступить запретны воды.  
Лишь тонкая литовская хмелинка,  
С любимым прусским тополем в разлуке,  
По камышам, по ряске и кувшинкам  
К нему стремилась, простирая руки,  
Венком свивалась, вплавь перебиралась  
И, наконец, с любимым обнималась.  
Да соловьи из Ковенской дубровы  
С братьями от взгорий Запущанских  
Все по-литовски рокотать готовы  
И о делах любовно совещаться,  
На остров общий прилетая снова.

А люди? — Разделясь свирепством боя,  
Литвы и пруссов родственность забыли!  
И лишь любовь в своей извечной силе  
Людей сближала. Вспомнились мне двое.

О Неман! Уж стоят на переправах  
Огонь и смерть несущие дружины,  
И берегов покой ненарушимый  
Сталь оголит от зарослей зеленых,  
Гул пушек соловьев спугнет в дубравах.  
А то, что связано родства оплотом,  
Разъединится злобою кровавой;  
Все распадется,— лишь сердца влюбленных  
Забьются снова в песнях вайделотов.

## I

### ИЗБРАНЬЕ

С Мариенбургской башни звон раздался <sup>1</sup>,  
Гром пушек в барабанный бой вмешался;  
Великий день для Ордена святого;  
В столицу рыцари спешат от дому.  
Здесь для собрания все уже готово,  
Чтоб по внушению от Духа Свята  
Решать — на чьей груди кресту большому  
Возлечь и меч большой <sup>2</sup> кому — на латы.  
День и другой проходят в обсужденьях,  
Немало славных рыцарей предстало,  
Чье имя остальным не уступало  
Ни в подвигах, ни в знатности рожденья;  
Но чаще прочих братьями святыми  
Произносилось Валленрода имя.

Он — чужеземец, в Пруссии безвестный,  
Прославил Орден славой повсеместной:  
Он мавров разгромил в горах Кастильи,  
Он оттоманов одолел на море,  
Язычники пред ним в испуге стыли,  
Он первым был всегда в военном споре

---

<sup>1</sup> *Мариенбург* — по-польски Мальборг, укрепленный город, некогда бывший столицей крестоносцев, при Казимире Ягеллоне был присоединен к Речи Посполитой, позднее отдан в залог маркграфам Бранденбургским и, наконец, перешел во владение прусских королей. В склепах Мариенбургского замка находились гробницы великих магистров, некоторые из них сохранились донныне. Фойгт, крулевецкий профессор, опубликовал несколько лет назад историю Мариенбурга, труд, представляющий большое значение для истории Пруссии и Литвы.

<sup>2</sup> Большой крест и большой меч — знаки великих магистров.



*Все распадется,— лишь сердца влюбленных  
Забьются снова в песнях вайделотов.*

И первым на турнирах был, готовый  
Перед соперником открыть забрало,  
И рыцарская доблесть отступала  
Пред ним, ему отдав венок лавровый.  
Не только грозной воинской отвагой  
Он возвеличил званье крестоносца:  
Но, презирая жизненные блага,  
Он в христианской доблести вознесся.

Был Конрад чужд придворной светской лести,  
Не прибегал к уловкам и поклонам,—  
Он своего оружия и чести  
Не продавал враждующим баронам.  
В монастыре, соблазнов не касаясь,  
Чуждаясь света, он проводит юность;  
Ему чужды и звонкий смех красавиц  
И песен менестрелей сладкострунность,  
Ничто его не возмущает духа,  
Он к похвалам не приклоняет слуха,  
На красоту не устремляет взоров,  
Чарующих не ищет разговоров.

Он был ли равнодушен от рожденья,  
Или с годами стал,— хоть годы были  
Не стары, но главу посеребрили  
И бледность щек печатью охлажденья  
Отметили,— решить про это трудно.  
Но выпадали редкие минутки,  
Когда среди придворной молодежи  
Он шутками парировал их шутки  
И дамам комплименты сыпал тоже,  
Как детям сласти, явно развлекаясь,  
С любезностью холодной улыбаясь.  
Однако это было исключением;  
И вдруг случайно брошенное слово,  
Для прочих не имевшее значенья,  
Привлечь его внимание готово.  
Слова: отчизна, долг, любовь, сраженье —  
Тревожили его воображенье,  
Веселость Валленрода угасала;  
Заслышав их, он предавался думам,  
Как будто вдруг ему все чуждым стало,  
Он становился мрачным и угрюмым.  
Быть может, вспомнив святость посвященья,

Он прерывал улады развлеченья?  
Душе его в одном была улада,  
Один был друг всегда ему желанным —  
Святой монах, назвавшийся Хальбаном.  
Он отчужденность разделял Конрада,  
Он был его всегдашний исповедник,  
И чувств его, и дум его посредник.  
Блажен, кто близок в жизни со святыми  
Был чувствами и мыслями своими.

В собрание Орден обсуждает рьяно  
Достоинства и качества Конрада.  
Есть в нем изъян — но кто же без изъяна? —  
Конрад не любит светского обряда,  
Конрад не терпит и беседы пьяной;  
Однако, запершись в своем покое,  
Когда брала тоска или досада,  
Искал он забытья в хмельном настое:  
Весь вид его, печальный и суровый,  
Приобретал тогда оттенок новый.  
Болезненным румянцем вдруг окрашен  
Он был; глаза, что в юности блистали,  
Которых свет с годами был погашен,  
Опять бывшие молнии метали,  
И горький вздох из сердца вырывался,  
И взор слезой жемчужной одевался.  
Где лютия? Песня с губ уже слетает!  
На языке чужом те переливы,  
Но слушатели сердцем понимают  
Торжественно-печальные мотивы.  
Лишь на певца взглянуть, и все понятно:  
Он память напрягает до предела,  
Его душа куда-то улетела,  
Он время хочет повернуть обратно!  
О чем тех песен горькие стенанья?  
Должно быть, мыслью он следит незримо  
За юностью, промчавшеюся мимо...  
Где дух его? В краю воспоминанья.

Но никогда из лютии многострунной  
Не извлекал он звук веселья юный,  
И уст его улыбка не затронет,—  
Ее с лица, как смертный грех, он гонит.  
Вся лютия под его рукой стенает,  
И лишь одна молчит струна — веселья,

Все чувства жарко слушатель с ним делит,  
И лишь одной надежды не хватает.

Не раз, к нему в покой войдя неожиданно,  
Дивились братья перемене странной:  
Конрад, очнувшись, вздрагивал от гнева  
И, бросив лютню, прерывал напевы:  
Безбожные слова он сыпал градом,  
Шептал Хальбану что-то в страсти ярой,  
Потом, как бы командуя отрядом,  
Грозил кому-то беспощадной карой.  
В смятенье братья вокруг него толпятся,  
Хальбан же, глядя на него, садится,  
И взор его безмолвным напряженьем,  
Таинственным наполнен выраженьем.  
В чем этих взоров тайное значение?  
Грозят они или предупреждают?  
Но с Конрада спадает иступленье,  
Светлеет взор, чела морщины тают.

Так укротитель львов на представленье  
Решетку клетки в сторону откинет,  
У зрителей спросив соизволения,  
Подает сигнал — и мощный царь пустыни  
Взревет,— мороз по коже подирает;  
Один лишь укротитель неустанным  
И неуклонным взором озирает  
Его — одними глаз своих лучами.  
Души своей бессмертным талисманом,  
Сильнее, чем замками и плетями,  
Он ярость зверя страшную смирят <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Взор человека, утверждает Купер, если он горит огнем отваги и ума, производит сильное впечатление даже на диких зверей. Мы можем привести в доказательство этого истинное происшествие, случившееся с американским охотником, который, подкрадываясь к уткам, услышал шорох, поднялся и к ужасу своему увидел лежавшего рядом огромного льва. Зверь, казалось, также был поражен, увидев пред собой человека атлетического сложения. Охотник не решился выстрелить, так как ружье его было заряжено дробью. Он стоял поэтому неподвижно, угрожая врагу одним только взглядом. Лев, со своей стороны, продолжал лежать спокойно, не спуская глаз с охотника; через несколько мгновений он отвернул голову и стал медленно удаляться, но, сделав десяток-другой шагов, остановился и вернулся снова. Он застал охотника на том же месте, неподвижным, как раньше, опять встретился с ним взглядом и, наконец, словно признавая превосходство человека, опустил глаза и ушел.

Bibliothèque Universelle, 1827 février: «Voyage du capitaine Head».

## II

С Мариенбургской башни звон пронесся,  
И зала совещанья опустела;  
Цвет орденского братства крестоносцев  
Вслед за магистром двинулся в капеллу,  
Чтобы молитвой насладиться слуху  
И вознести хвалы Святому Духу.

### Гимн

Святой Душе Божий!  
Голубе Сиона!  
Днесь весь христианский мир — подножье  
Твоего трона.  
Освети нас светом новым  
И покрой нас крыл своих покровом.  
Да блеснут из-под них стрелы света  
Блеском благодати  
На достойнейшего из всей братьи.  
Осени его Господне лето,  
Перед ним же ниц преклоним главы,  
Ибо в нем провидим светоч славы.  
Сыне-избавитель!  
Мановением пресветлой длани  
Просвети обитель —  
Кто достоин первым  
Охранять Твои святые раны,  
Меч Петра поднять на нечестивых,  
Свет Христов явить очам неверным  
В золотых хоругвей переливах.  
Да склонятся все сыны земные  
Под знамена Ордена святые!

Молитву кончив, вышли. Был предложен  
Совет магистром: по отдохновенье,  
Об указании всевышней воли Божьей  
Вновь продолжать усердные моления.

Все разошлись дышать ночной прохладой.  
Одни уселись на ступенях входа,  
Другие устремились за ограду  
Садов и рощ, благоуханью рады, —  
Был май в цвету и тихая погода.



Уж свет зари боролся с синевою,  
Бледнел в лице обтекший небо месяц,  
То сумраком, то серебром завесясь.  
Любовник так печалится порою,  
Когда гнетет его любви забота:  
Измерив думой круг существования,  
Все радости, надежды, подозренья,  
То вспыхнет он от страстного пыланья,  
То, вновь познав тщету очарованья,  
Склоняется в угрюмом размышленьи.

В прогулках рыцарство у замка бродит,  
Магистр же, даром времени не тратя,  
С Хальбаном и мудрейшими из братьи  
Объединившись, в сторону уходят,  
Чтоб вдалеке от шумного собранья  
Совет услышать, внять предупрежденью.  
Идут, не намечая путь заране,  
Уже равниной: замок в отдаленье.  
Уж несколько часов прогулка длится...  
Вот озеро раскинулось привольно;  
Близка заря; пора назад в столицу.  
Вдруг голос. Чей? Из башни наугольной.  
Прислушались — затворница младая  
Тому с десятков лет здесь появилась,  
Пришелица неведомого края,  
И в башню добровольно заключилась<sup>1</sup>.  
Мариенбурга жителям чужая,  
Она пришла искать Господню милость:  
Высоким ли небес произволеньем  
Она рассталась с жизненным волненьем,  
Раскаянья ль таинственная сила  
Ее при жизни здесь похоронила.

Монахов, что глядели так сурово,  
Усердных просьб ее смягчило слово;  
И вот она уж за святым порогом.  
Но лишь она его переступила,  
Осталась здесь с душой своей и Богом:  
Забии склеп, и никакая сила

---

<sup>1</sup> Хроника тех времен рассказывает о крестьянской девушке, которая, прибыв в Мариенбург, потребовала, чтобы ее замуровали в отдельной келье, и там закончила свою жизнь. Могила ее славилась чудесами.

Вновь не смогла бы отвалить камня,—  
Лишь ангелы в день светопреставленья.

Вверху окно решетки узкой щелью,  
Куда приносит пищу люд окрестный,  
А небо — ветерок и блеск чудесный.  
О грешница, бедняжка! Неужели  
Так грубый мир твои встревожил годы,  
Что ты боишься света и свободы?  
С тех самых пор, как заключилась в склепе,  
Никто ее не видел у оконца  
Встречающей божественное солнце,  
Грустящей о далеком чистом небе,  
Стоящей, о земных цветах жалея,  
О лицах близких, что цветов милее.

Лишь знали, что жива: неоднократно  
Задерживал движенье пилигрима,  
Бредущего угрюмой башни мимо,  
Какой-то звук, печальный и приятный,—  
То, верно, звук святого песнопенья.  
И прусских деревень окрестных дети,  
Играющие в роще близлежащей,  
Давно уже запомнили, приметя,  
Мелькающее за окном виденье.  
То был ли зорьки отблеск уходящей  
Иль белизна руки в вечернем свете,  
Издали их головы крестьящей?..

Магистр туда невольно обратился —  
Стал этот голос слух его тревожить:  
«О Боже, Конрад! Приговор свершился.  
Магистром став, твой долг — их уничтожить,  
Но не дознаются ль? Притворство тщетно,  
Хотя б, как уж, свою сменил ты кожу,  
Твоей души прошедшее приметно,  
Как и в моей оно осталось тоже!  
Приди ты тенью из загробной дали —  
Тебя бы крестоносцы опознали».  
До рыцарей доходит голос странный  
Отшельницы, но слов невнятны звуки;  
Ее простерты сквозь решетку руки.  
К кому? Нет никого в дали туманной,  
Лишь издали какой-то свет мерцает,

Как бы от блеска рыцарского шлема,  
Да тень плаща широкого мелькает.  
Исчезла... Вновь вокруг все пусто, немо,  
Должно быть, это обмануло зренье,  
Зари внезапной встретив пробужденье.

«О братья! — рек Хальбан. — То воля Божья:  
Дано нам ныне неба указанье;  
Недаром шли сюда по бездорожью —  
Отшельницы нам было прорицанье.  
Вы слышали, она вещала: «Конрад»<sup>1</sup>,  
А Конрад — это Валленрода имя.  
Решим же, братья, дружно и без спора  
Его избрать решеньями своими  
В великие магистры, как обычно». —  
И все вскричали: «Правильно, отлично!»

И шумным огласились долы кличем,  
И долго ликованья длились крики:  
«Да здравствует Конрад, магистр великий!  
Да сгинет враг пред Ордена величьем!»  
Хальбан один остался, всю монашью  
Толпу презрительным окинув взглядом,  
И, устремив прощальный взгляд на башню,  
Запел такую песню тихим ладом:

### Песня

Вилия — мать родников наших чистых,  
Вид ее светел и дно золотисто,  
Но у литвинки, склоненной над нею,  
Сердце бездонней и очи синее.

Вилия в Ковенской дивной долине,  
Мчащаяся меж тюльпанов и лилий,  
У ног литвинки — юноши наши,  
Роз и тюльпанов стройнее и краше.

---

<sup>1</sup> Если при избрании великого магистра не было единодушного и твердого мнения, то случаи, подобные описанному, воспринимались как знамение свыше и имели влияние на решение капитула. Так, Винрих фон Книпрде был избран единогласно благодаря тому, что несколько братьев будто бы слышали донесшийся из могил магистров трехкратный призыв: «Винрих! Орден в опасности!»

Вилия пренебрегает цветами,  
К Неману не уставая бросаться;  
Так и литвинка спешит меж парнями,  
Предпочитая чужого красавца.

Неман в объятья ее принимает,  
Мчит с нею к скалам и диким просторам,  
Крепко к холодной груди прижимает —  
И исчезают, охвачены морем.

Так и тебя, литвинка, скиталец  
Вдаль оторвал от родного порога!  
В море житейском, грустя и печалясь,  
Тонешь ты горестно и одиноко.

Сердцу и струям указывать тщетно!  
Девушка любит, Вилия мчится,  
Вилия к Неману льнет беззаветно,  
Девушка в башне угрюмой томится.

### III

Магистр поцеловал устав священный,  
Великий крест и меч ему вручили.  
Он гордо поднял голову, хоть тени  
Забот высокий лоб его мрачили.  
Его огнем пронзающее око,  
Гнев с радостью смешав, вокруг взглянуло,  
И слабая улыбка промелькнула,  
Как будто гость внезапный и случайный.  
Так туча, утром вставшая с востока,  
Полна зари и молнии лучами.

Его, грозе подобное, обличье  
Сердцам деянья славные пророчит.  
Мечтают все о битвах и добыче  
И в мыслях — кровь языческую точат.  
Не устоять пред ним ничьим преградам,—  
Перед его оружием и взглядом.  
Дрожи Литва! Уже близка минута,—  
На стенах Вильно крест взовьется круто.

Надежды тщетны. Дни летят, недели,  
Проходит целый долгий год в покое,

Литва грозит, а Валленрод безделен,  
Не шлет он войск и сам не ищет боя.  
А если что-то делать начинает,—  
Обычай предков дерзко нарушает,  
Всем заявляя, что повинно братство,  
Что Орден выбрал путь себе неправый:  
«Откажемся от славы и богатства,  
Да будет добродетель нашей славой!»  
Он бдением, покаянием и постами  
Лишает братью радостей невинных,  
Он поднял меч над малыми грехами,  
Грозит судом в узилищах старинных.

А между тем литвин, который близко  
Не смел к столицы подходить воротам,  
Теперь деревни жжет вокруг без риска  
И над окрестным тешится народом.  
У замка стен он начинает рыскать,  
Хвалясь явиться под капеллы сводом.  
И дети в страхе у порогов жмутся  
От боевых сигналов дудки жмудской.

Когда ж и мстить соседке непокорной?  
Литва разъята внутренним раздором:  
Отважный русич там, здесь лях задорный,  
Татары — с третьей стороны напором.  
Витольд, низвергнутый Ягеллой с трона,  
Пришел у Ордена просить заслона.  
В уплату он сулит свои владенья,  
Но все не получает подкрепленья.

В волненье братья, все мрачнее лица.  
Хальбан спешит отыскивать Конрада.  
Магистра нет ни в замке, ни в каплице,—  
Должно быть, он у башни за оградой.  
Следила братья за его шагами,  
И было всем известно: каждый вечер  
Блуждает он над озером лугами  
Иль, прислонив к подножью башни плечи,  
Как мраморное смутное виденье,  
Покрыт плащом, он видим издалека,  
До раннего предутреннего срока,  
Всю ночь в бессонном пребывая бденье.  
И тихому из башни пенью следом

Звучат его негромкие ответы,  
И никому их тайный смысл неведом.  
Но на забрале переливы света  
И кверху простираемые руки —  
Все говорит о важности беседы.

### Песня из башни

Кто моих вздохов, моих страданий  
Счет поведет, моих слез без предела?  
Разве такая горечь в рыданиях,  
Что и решетка перержавела?  
Падают слезы на камень холодный,  
Словно взывая к душе благородной.

Неугасимы огни Свенторога<sup>1</sup>;  
Оберегаемый вечно жрецами,  
Светел источник вершины Мендога,  
Чистыми вечно питаем снегами;  
Вздохов и слез моих нету начала,—  
Сердце мне горечь тоски истерзала.

Отчие ласки, матери руки,  
Замок богатый, край беспечальный,  
Дни без заботы, ночи без муки —  
Радостность жизни первоначальной;  
Утром и ночью, в поле и дома —  
Все было близко мне, все мне знакомо.

Трое у матери было красивых,  
Первой в замужестве быть бы должна я,  
Трое нас было, долей счастливых,  
Кто ж мне открыл, что есть доля другая?  
Юноша статный! Твоим рассказом  
Был очарован мой девичий разум.

Светлого Бога, духов веселых  
Ты мне явил своими речами,  
Ты рассказал мне, как служат в костелах,  
Как девы властвуют над князьями,  
Теми, кто рыцарской храбростью славен,  
Нежностью — нравам пастушеским равен.

---

<sup>1</sup> Виленский замок, в котором некогда хранился «знич», то есть вечный огонь.

Ты мне поведал про край тот чудесный,  
Где человек приближается к небу...  
Ах, я уж верила жизни небесной,—  
Только внимать бесконечно тебе бы!  
Ах, пред судьбою доброй и злою  
Небо я видела только с тобою.

Крест на груди твоей радовал взор мой,  
Был он мне вечного счастья залогом.  
Горе! Тот крест стал судьбой моей черной,  
Свет погасил за родимым порогом!  
Но не до дна я исплакала вежды,—  
Все потеряв, сохранила надежды.

«Надежды!» — тихим отзывчивым эхом  
Лес и долины вокруг отвечали.  
Диким Конрад раздражается смехом:  
«Надежды! Зачем они здесь прозвучали?  
Что мне в той песне? Трое счастливых  
Было вас, дочери молодые,  
Первой ты замуж пошла из красивых;  
Горе вам, горе, цветы полевые!  
Гад притаился у вашего сада,—  
Где он прополз, извиваясь и жая,  
Травы засохли, розы увяли,  
Желты, как брюхо проползшего гада!  
Мчись же мечтою туда, вспоминая,—  
Все это было бы явью и ныне,  
Если б... Молчишь ты? О, плачь, проклиная:  
Пусть твои слезы пробьются сквозь камни;  
Шлем свой сорву с головы моей прочь я:  
Слезы расплавленным оловом хлынут  
Пусть мне на голову! Встречу воочью  
Страшную казнь, что в аду суждена мне!»

#### Г о л о с   и з   б а ш н и

Прости, любимый мой, прости, мой милый!  
Пришел ты поздно. Я ли виновата  
В том, что мой голос стал таким унылым,—  
Не весела любви моей утрата.  
С тобой, любимый, были мы как будто  
Одно мгновение, одну минуту.  
Но это промелькнувшее мгновенье  
Мне не заменят все иные люди;

Ты сам сказал мне, что они в запруде  
Живут, как раковины, без движенья;  
Лишь раз в году дыханьем непогоды  
Их сдвинут с места взвихренные воды,  
Раскроют створки их, привыкших к илу,  
И вновь на дно опустятся в могилу.  
Нет, не такой я жизни желала,  
Нет, не такой мне был люб обычай!  
Еще на родине, в толпе девичьей,  
О чем-то тайно я тосковала,  
О чем-то сердце мне напоминало.  
Не раз, покинув родные доли,  
Я на крутые холмы взбегала  
И, слыша жаворонков веселых,  
Взять по перу у них из крыл мечтала,  
Чтоб с ними взвиться с зеленой кручи,  
Сорвав в долине цветов на память,  
Лететь далеко, лететь за тучи  
И скрыться в небе за облаками.  
Ты дал мне крылья — и вот уж кружим  
Мы по небесным с тобой дорогам.  
Что мне до жаворонков вешних пенья?  
Тот позавидует ли их паренью,  
Кто сердцем в небе — с великим Богом,  
Кто на земле был с великим мужем?

### К о н р а д

Величье, вновь величье, ангел милый!  
Лишь для него мы в муках надрывались.  
Но — беды прочь! Мгновенья им остались,  
Пусть сердце соберет остаток силы.  
Свершилось! Слезы о минувшем — скупы.  
Мы плакали — пусть вражьи дрогнут жилы.  
Конрад рыдал — пусть вражьи стынут трупы!  
Но ты, зачем же ты, о дорогая,  
Сюда пришла от мирного покоя?  
Тебя я сохранить, оберегая,  
Мечтал в монастыря надежных стенах.  
Не лучше ль было там смириться кротко,  
Чем здесь, в краю обмана и разбоя,  
В могильной башне, в безнадежных пенях,  
Глядеть из-за безжалостной решетки,  
Ко мне печально простирая руки?  
А мне, твои переживая муки,



Беспомощность их чувствовать и слушать,  
Стократ кляня судьбу свою и душу  
За то, что в ней звучат былого звуки!

#### Г о л о с   и з   б а ш н и

О, если ты принес одни упреки,  
Не приходи сюда, мой друг жестокий;  
Навек решетка крепкая, литая  
Меня укроет непроглядной тенью,—  
Я молча слезы затаю, глотая...  
О, будь же счастлив без меня, любимый,  
Пусть в вечность канет миг невозвратимый,  
Когда ко мне забыл ты сожаленье.

#### К о н р а д

О нет, мой ангел, нет, мой друг бесценный!  
Когда твою я утеряю милость,—  
Я лоб свой раскрою об эти стены,  
Чтоб Каина ты казни устрашилась.

#### Г о л о с   и з   б а ш н и

О, пожалеем же друг друга сами!  
Подумай: в этом мире нас лишь двое,  
Бескрайние пространства перед нами,  
Мы — две росинки на песке с тобою;  
И если нас жестокий вихрь иссушит,—  
Пусть воспарят, сливаясь, наши души!  
В тебя вселить не смею я тревогу,  
Но сердца небу я не посвятила:  
Я не могла душой предаться Богу,  
Когда твоя в ней властвовала сила.  
В монастыре остаться я пыталась,  
Уставу посвятив себя и службам,  
Но без тебя там,— как я ни старалась,—  
Все было диким мне, все было чуждым.  
Мне вспоминался замысел твой дерзкий  
В немецком замке тайно появиться  
И, мстью поразив их стан немецкий,  
За горести народа расплатиться.  
Годов надежда сокращает сроки.  
Я думала: быть может, недалеко,  
Быть может, там он; разве грех — мечтанья  
Тому, кто заживо сошел в могилу,  
Чтобы с тобой осуществить свиданье,



*О, пожалеем же друг друга сами!  
Подумай: в этом мире нас лишь двое...*

Чтоб перед смертью видеть облик милый?  
Пойду, решила я, в затворе строгом  
Замкнусь одна над каменным отрогом,  
Где путь пролег. Быть может, ветром свежим  
Возлюбленное имя донесется  
В устах какого-нибудь крестоносца,  
Помянуто дорогой мимоезжим.  
А может, сам он здесь проедет мимо,  
В ином обличье и в чужом наряде,—  
Узнает сердце, это мой любимый,  
Его при первом угадает взгляде.  
И если друга тяжкий долг принудит  
Все уничтожить вокруг и окровавить,—  
Все ж близкая душа незримо будет  
Его дела благословлять и славить!  
Здесь я нашла свой склеп, свое изгнание,  
Откуда слух ничей не мог жестоко  
Разгадывать тоски моей стенанья.  
Я помнила: ты любишь одиноко  
Бродить, и ожидала я упорно,  
Что ты своих товарищей оставишь,  
Придешь сюда, на луг, к волне озерной;  
Меня припомнив, голос мой узнаешь.  
Вознаградило небо за терпенье —  
Тебя сюда мое призвало пенье!  
Мечтала я, чтоб облик твой приснился,  
Хотя б не твой, хотя б по виду схожий.  
И вот — ты здесь. Мой сон желанный сбылся:  
Мы вместе плачем...

### К о н р а д

В чем же плач поможет?  
Я плакал горько — помнишь, — вырываясь  
Навеки из твоих объятий нежных,  
Со счастьем добровольно расставаясь  
Для замыслов кровавых и мятежных.  
Теперь, когда пришли к концу мученья,  
Близка уж долгожданная расплата,  
Когда могу отмстить врагам заклятым,—  
Приход твой подорвал мои стремленья.  
С тех пор как ты из башни вновь взглянула,  
Весь мир мне видим сделался нечетко,  
Все дымкой безразличья затянуло;  
В глазах моих — лишь башня да решетка.

Вокруг меня война рокошет глухо,  
Тревога труб, оружия перезвоны,—  
Меж тем взволнованное слышит ухо  
Лишь с уст твоих слетающие стоны,  
И целый день мой полон ожиданьем,  
Чтоб мрак полночный сжалился над нами:  
Я вечер длю средь дня воспоминаньем,  
Я жизни счет веду лишь вечерами...  
А Орден шлет меж тем ко мне упреки,  
Зовет к войне, беды своей не чуя,  
И мстительный Хальбан торопит сроки,  
Давнишних клятв упреками волнуя.  
Когда ж его я не желаю слушать,—  
Тяжелым вздохом, гневных глаз укором  
Он пламя мести вновь вдыхает в душу.  
Уж близок приговор неотвратимый,  
Ничто не помешает грозным сборам:  
Вчера сюда приспел гонец из Рима,  
Сошлись отсюда крестоносцев тучи,  
Все требуют, чтоб кровь текла обильно,  
Чтоб крест и меч взнести на стены Вильно  
Грозой войны, бедою неминучей.  
А я, о стыд! В грознейший час из прочих,  
Народов управляющий судьбою,—  
Весь в мыслях о тебе, ищу отсрочек,  
Чтоб день один еще побыть с тобою!  
О молодость! Готов, бывало, с жаром  
Все — жизнь, любовь, и счастье, и свободу —  
Отдать на службу своему народу,  
Всем жертвуя. А ныне стал я старым.  
Отчаяние, долг, веленье Божье  
Зовут в поход, а я, седоголовый,  
Не ухожу от этих стен подножья,  
Чтоб от тебя еще услышать слово.  
Умолк. Из башни слышны только стоны.  
Так ночь прошла. Час засветился ранний  
В воде, луча румянцем озаренной.  
Кусты вокруг от ветра зашумели,  
И птичье пробудилось щебетанье,  
Но снова смолкли ранние их трели,  
Как будто дали знать, что из тумана  
Их голоса возникли слишком рано.  
Конрад с колен поднялся. Долгим взором  
Глядит на башню, точно не очнулся,

Как бы прощаясь с сумрачным затвором.  
Защелкал соловей. Он оглянулся,—  
Вокруг уж день. Он опустил забрало  
И плащ широкий на лицо накинул,  
Взмахнул рукой, и вот — его не стало.  
Он в роще скрылся.

Так адский дух бежит, томим изгнанием,  
От паперти при колоколе раннем.

#### IV

##### ПИР

Был день Патрона, день торжества священных.  
Заполнен замок крестоносцев клиром,  
Везде знамена плещутся на стенах,  
Конрад всех чествует богатым пиром.

Вокруг стола сто белых веет мантий,  
На каждой — черный крест в размеры роста,  
За каждым креслом для достойных братьий  
Почтительно стоят оруженосцы.

Конрад воссел за стол на первом месте,  
Витольд с ним рядом со своей дружиной.  
Враг Ордена — он ныне с ними вместе:  
Против Литвы вступил в союз единый.

Магистр привстал и кубок поднимает:  
«Прославим Бога!» — кубки ярко блещут.  
«Прославим Бога!» — стол весь повторяет,  
И край о край вино кипит и плещет.

Сам Валленрод, о стол оперши локоть,  
С презреньем за разгулом наблюдает;  
Шум молкнет, и беседы тихий рокот  
Да кубков звон молчанье нарушает.

«К веселью, братья! Что ж так тихо стало?  
Как будто вы в раздумье или в страхе.  
Так пировать ли рыцарям пристало?  
Разбойники мы, что ли, иль монахи?  
В мои года пиры иными были,—  
Когда, врагов разбив и опрокинув,

При лагерных кострах мы шумно пили  
В горах Кастильи или в землях финнов.

Там пелись песни!.. Нынче средь собранья  
Здесь нет ли барда или менестреля?  
Вино — сердце вздымает ликование,  
Но песня мысль живет сильнее хмеля».

Тотчас певцы различные явились:  
То итальянец соловьиным тоном  
Конрада славит мужество и милость,  
То трубадур от берегов Гаронны  
Поет влюбленных пастушков прелестных,  
Красоты дам и рыцарей безвестных.

Конрад задумался. Умолкло пенье...  
Он к итальянцу взоры подымает  
И с золотом кошель ему бросает:  
«Вот за хвалы твои — вознагражденье.  
Мне одному твои неслись хваленья:  
Одним лишь этим награжу я струны.  
Возьми и скройся с глаз. Певец же юный,  
Который пел о том, что сердцу мило,  
Пусть нас простит,— мы сердцем слишком  
грубы,  
И нет здесь той, которая ему бы  
В награду хоть бы розу подарила.

Здесь розы не увяли. Нет! Иного  
Певца здесь рыцари-монахи ждали,  
Чья песнь звучала б дико и сурово,  
Как рев рогов и грозный скрежет стали,  
Чтоб сумрачней была молитвы в келье  
И яростней пустытника похмелья.

Для нас, кто убивает и спасает,  
Пусть песня смерти возвестит спасенье,  
Пусть возбуждает гнев и изнуряет,  
Неся для угнетенных устрашенье;  
Жизнь такова — будь тем же песнопенье.  
Кто так споеет? Кто?»

«Я», — ответ донесся.

Встает старик седой, послушный кличу,  
Сидевший посреди оруженосцев,

Пруссак или литовец по обличью;  
Он, временем и горем иссушенный,  
Лоб и глаза прикрыты капюшоном,  
Но на лице его рубцы страданий.  
И, левую поднявши кверху руку,  
Пирующих он попросил вниманья;  
И, старой прусской лютни внявши звуку,  
Насторожилось шумное собрание.  
«Давно я пел для пруссов и литвинов;  
Одни, родной земли не сдавши с бою,  
Слегли; а те — покончили с собою,  
Труп родины погибшей не покинув,  
Как верная и добрая дружина  
Себя сжигает с трупом господина.  
Иные в чаще скрылись за лесами,  
Иные, как Витольд, живут меж вами.

Но после смерти... Немцы, вам известно,  
Что будет с тем за гробовой доскою,  
Кто предал родину свою бесчестно?  
И если предков призовет с тоскою,  
Пыланьем преисподней пожирал,  
То зов его не долетит до рая;  
Да разве в речи варварской немецкой  
Признают предки прежний голос детский?

О дети! Как Литвы кровавы раны!  
Ничьей души не тронула забота,  
Когда в немецких кандалах, бесправно  
От алтаря влачили вайделота...  
Так одинокие года промчались.

Певец несчастный — не для кого петь мне,  
Ослеп от плача, о Литве печалюсь,  
Как край родной, не знаю, рассмотреть мне:  
Хочу увидеть дом мой, где он, дом мой,—  
Кругом враждебный край и незнакомый.  
И только здесь вот, в сердце, сохранилось  
Все лучшее, чем родина гордилась,  
Сокровищ прах, жемчужных песен нити,—  
На память, немцы, их себе возьмите!

Так рыцарь, побежденный на турнире,  
Жизнь сохранивший, но лишенный чести,

Осмеянный и отчужденный в мире,  
Опять являсь на поражениях месте,  
Остаток сил последних напрягает  
И, меч сломав, к ногам врага бросает,—  
Так и меня взяла теперь охота  
Еще раз опустить на лютню руку.  
Внимайте же напеву вайделота,  
Последнему литовской песни звуку».

Окончив, ждет магистра он сужденья,  
Затихли все в молчании глубоком;  
Витольдово лицо и поведение  
Конрад пытливым наблюдает оком.

Все видели: Витольд в лице менялся  
От звуков вайделотова напева,  
При слове об измене покрывался  
Он пятнами стыда, румянцем гнева.  
И, наконец, рукой сжимая саблю,  
Идет, локтями растолкав собрание,  
Взглянул на старца, стал, как бы расслаблен,  
И туча гнева в бурные рыданья  
Вдруг разлилась, слез исторгнув капли.  
Он повернулся, сел, плащом закрылся  
И в черное раздумье погрузился.

Меж немцев ропот: «Разве среди пира  
Нужна нам старца плачущая лира?  
Кто, эту песню слыша, понимает?» —  
Так за столом надменно рассуждают.  
Над песнею глумясь при общем смехе,  
Пажи свистят пронзительно в орехи,  
Крича: «Вот звук литовского напева!»

Встает Конрад: «Отважные бароны!  
Сегодня Орден наш, блюдя обычай,  
От городов и княжеств покоренных  
Приемлет в дар различную добычу.  
Дар старика — один из самых скромных:  
Он песню нам принес, пропеть готовый,—  
Возьмем ее, подобно лепте вдовьей.

Сегодня среди нас Литвы властитель,  
Его военачальники меж нами;



Вы гордости и славе их польстите,  
Прослушав песнь с родными им словами.  
Кто не поймет, тот может удалиться,  
А я люблю напев такого рода:  
Литовская в нем буря бьет и злится,  
Как на море бунтует непогода  
Иль тихий дождь весенний вдруг заплешет,  
Сон нагоняя. Пой же, старче вещей!»

#### Песнь вайделота

«Когда чума грозит Литвы границам —  
Ее приход провидят вайделоты,  
И, если верить вещим их зеницам,  
То по кладбищам, по местам пустынным,  
Зловещим Дева-Смерть идет походом<sup>1</sup>.  
В одеждах белых и в венке рубинном,  
Превыше Беловежския дубравы,  
Рукою развевая плат кровавый.

И стражи замков шлемы надвигают,  
Псы деревень, взрывая прах носами,  
Дрожат и, смерть почуяв, завывают.  
Она идет зловещими шагами:

---

<sup>1</sup> Простой народ в Литве представляет себе моровое поветрие в образе деви, появление которой, описанное здесь на основании народных сказаний, предшествует страшной болезни. Привожу содержание слышанной мною когда-то в Литве баллады: «В деревне появилась моровая дева и, по своему обыкновению, стала просовывать в окно или в дверь руку и, размахивая красным платком, сеять по домам смерть. Жители заперлись в своих домах, как в крепости, но голод и иные потребности вскоре заставили их пренебречь мерами предосторожности; все, таким образом, ждали смерти. Один шляхтич, хотя он и был обеспечен в достаточном количестве провизией и имел возможность дольше других выдержать эту необычайную осаду, решил, однако, принести себя в жертву для блага ближних, взял саблю-зыгмунтовку, на которой были начертаны имя Иисуса и имя Марии, и, вооруженный ею, открыл окно своего дома. Шляхтич одним взмахом сабли отрубил чудовищу руку и завладел платком. Правда, он умер, умерла его жена, но с той поры в деревне никогда уже не знали морового поветрия». Платок этот как будто потом хранился в костеле, не помню какого местечка. На Востоке перед нашествием чумы, говорят, появляется привидение с крыльями летучей мыши и пальцами указывает, кто обречен на смерть. Мне представляется, что народное воображение выражало в подобных образах то тайное предчувствие и ту необычайную тревогу, которые предшествуют большим несчастьям или смерти и которые испытывают не только отдельные лица, но и целые народы. Так, в Греции будто бы предчувствовали длительность и страшные последствия пелопоннесской войны, в Риме — падение монархии, в Америке — появление испанцев и т. д.



*Зловещим Дева-Смерть идет походом  
В одеждах белых и в венке рубинном...*

Где города, где села, замки были —  
Там остаются мертвые пустыни;  
Где плат она кровавый кверху вскинет —  
Встают рядами свежие могилы.

Ужасный вид! Но бóльшие потери  
Несут Литве немецкие набеги,  
Шишак блестящий в страусовых перьях  
И черный крест, украсивший доспехи.

Где этому виденью появиться —  
Что сел отдельных, городов разруха! —  
Там всей стране в могилу превратиться.  
Ко мне, ко мне, к отечества кладбищу,  
Все, кто литовского исполнен духа,—  
Мечтать, рыдать и петь на пепелище.

О песнь народа! Ты — ковчег Завета  
Над прошлым и грядущим поколеньем!  
Ты — меч народа из огня и света,  
Ковер, расшитый дум его цветеньем.

Ковчег Завета, не подвластный самым  
Безудержным ударам силы вражьей;  
О песнь народа, ты стоишь на страже  
Перед его воспоминаний храмом,  
Архангельские крылья простирая  
И меч его подчас в руке вздымая...

Огонь пожрет истории прикрасы,  
Злодеями похитятся алмазы,  
Но песня — души всех людей пронижет;  
Когда ж глупцы поймут ее не сразу,  
Не впустят в сердце, не впитают в разум,—  
Ввысь над развалинами, к небу ближе  
Она взлетит, бывшее воспевая,—  
Так соловей, горящий дом оставя,  
На крыше сев на миг, глядит на пламя;  
Когда же кровля рушится — взлетает  
И мчится в лес над грудой развалин;  
И песенки напев его печален.

Я помню песнь. Не раз старик крестьянин,  
Прервав свой труд на дедовском наделе,

Склонясь над плугом взрытыми костями,  
На ивовой наигрывал свирели,  
Великих предков славя со слезами,  
Чьих нет потомков. Дол был полон тою  
Мелодией бесхитростно простою,  
Те звуки — прямо в сердце мне летели.

Как в Судный день архангельской трубою  
Все мертвые поднимутся толпою,  
Так звуком песни кости оживлялись,  
Из-под стопы моей вставали зримы  
И в образы огромные срастались;  
Колонны, своды виделись за ними,  
Озера в лодках, настесь замков двери,  
Властителей короны, шлемов перья,  
Бряцанье лютен, хороводов пенье...  
Мечтанье дивно — дико пробужденье!

Исчезли родины леса и горы,  
Поникла мысль крылами без опоры,  
Привыкшая к бездумному затишью,  
Умолкла лютия под усталой дланью;  
Меж горького сородичей стенанья  
Я больше голос прошлого не слышу,  
Но, юности далекая отрада,  
На дне души — былой огонь трепещет  
И, память озаря, вспыхнув, блещет.  
Ты, память,— как хрустальная лампада,  
Украшенная росписью обильной,  
И хоть покрыта пеленою пыльной,  
Но, если свет в лампаде той зажжется,—  
Еще не раз людские встретят взоры  
Невиданные, пышные узоры  
И по стенам сиянье разольется.

О, если б я сумел их переплавить  
Тем огненным пыланьем — ваши души!  
О, если б смог в тех образах прославить  
Сердцам собратьев этот день минувший!  
О, хоть бы на единое мгновенье  
Прислушались к родимой песни кличу —  
Услышали б они сердцебиенье,  
Представивши бывалое величье!  
И этот миг единственный, столь редкий,  
Прожили б жизнью той, что жили предки.



Крики слышались: «В городе немцы! К оружию! К оружию!..»  
Меч схвативши, ушел мой отец и назад не вернулся.  
Немцы в дом ворвались. Ихний всадник погнался за мною,  
Подхватил на коня — и не знаю, что дальше случилось.  
Только крик моей матери долго в ушах раздавался,  
Громче лязга оружия и треска пылающих зданий.  
Этот крик, не смолкая, несется за мною повсюду,—  
Лишь увижу пожар, он опять вспоминается мною,  
Отдаваясь в душе, как громовое эхо в пещере.  
Вот и все, что от милых родных, от Литвы мне осталось.  
Лишь во сне я почтенных родителей вижу и братьев,  
Но чем дальше, тем больше обличье их кроется мглою,—  
Время в памяти их заволакивает очертанья.  
Так текло мое детство. Я рос среди немцев как немец;  
Дали имя мне Вальтер, прибавили прозвище Альфа<sup>1</sup>,  
Но под кличкой немецкою — сердце литовское билось:  
В нем скрывалась тоска по отечеству, ненависть к немцам.  
Во дворец меня взял к себе Винрих, магистр крестоносцев.  
Сам крестил меня, словно родного любя и лаская;  
Но бродил по дворцу я, его избегая объятий,  
Привлечен стариком вайделотом. В те дни среди немцев  
Жил в плену вайделот из Литвы: переводчиком был он.  
И когда он проведаль, что я сирота и литовец,  
Стал к себе приближать, о Литве говорил он со мною,  
Звуком речи родимой и песни волнуя мне душу,  
Согревая ее сиротливостью приветливой лаской.  
Часто он уводил меня к синего Немана водам:  
Были видны нам отчие горы и доли оттуда;  
А когда возвращались, старик отирал мои слезы,  
Чтобы не возбуждать подозрений; но, слезы утерши,  
Он вражду разжигал во мне к немцам. И, в замок  
вернувшись,  
Я оттачивал тайно кинжал, упиваясь отмщеньем,  
И магистра ковры разрезал, зеркала я царапал,  
И на щит его светлый плевал, и кидал в него пылью.  
Позже, в юные годы, из гавани немцев, Клайпеды,  
Мы со старцем на лодке к литовскому берегу плыли;  
Рвал цветы я родимой земли, и волшебный их запах

---

<sup>1</sup> Вальтер фон Стадион — немецкий рыцарь, взятый в плен литовцами, женился на дочери Кейстута и тайно уехал с нею из Литвы. Случалось нередко, что пруссы и литовцы, детьми похищенные и воспитанные среди немцев, возвращались на родину и становились самыми ожесточенными врагами немцев. Таков был прославившийся в истории Ордена прусс Геркус Монте.

Пробуждал в моем сердце неясные воспоминанья—  
Аромат их впивая, я вновь становился ребенком,—  
Мнилось, с братьями снова в отцовском саду я играю.  
Это чувство старик оживлял во мне речью цветистой,  
Ярче трав и цветов позабытое детство рисуя:  
Что за счастье на родине юному жить среди близких,  
И как много литовских детей того счастья не знают  
И рабами у Ордена детство проводят, тоскуя!  
Эти речи он вел на лугах; а на взморье Паланги,  
Где бушующей грудью без устали море вздыхает  
И потоки песка извергает из пенистой пасты,  
Мне иное говаривал старец, внушая: «Ты видишь,  
Как лугов наших свежесть заносит песками? Ты видишь,  
Как растения тшятся пробиться сквозь саван смертельный?  
Но напрасно! Все новые толпы песчаных чудовищ  
Наползают на них своим брюхом белесым, душа их,  
Затемняя им жизнь, превращая их зелень в пустыни...  
Сын мой! вешние всходы, что заживо взяты в могилу,—  
Это братья родные, литвины, народ угнетенный!  
А песок, изрыгаемый морем,— то Орден тевтонский!»  
О, как сердце мое истреблять крестоносцев ярилось,  
Как стремилось в Литву! Но удерживал старец порывы,  
Говоря: «Лишь свободные рыцари, выбрав оружие,  
Могут в честном бою состязаться открыто с врагами.  
Ты же — раб; у рабов лишь одно есть оружие — измена.  
Оставайся у немцев, учись у них ратному делу  
И входи к ним в доверье. А дальше что делать — увидим...»  
Я послушался старца и следовал с войском тевтонов.  
Но при первой же стычке, лишь наши знамена увидел,  
Лишь слышал военную песню родного народа,—  
Я рванулся к своим, старика за собой увлекая.  
Так и сокол, что взят из гнезда и в неволе воспитан,  
Как бы долгой неволей его не темнили рассудок,  
Приучали его против соколов-родичей биться,  
Только в небо поднимется, только окинет очами  
Голубые просторы своей безграничной отчизны,  
Лишь вздохнет он свободно и шум своих крыльев  
услышит,—  
Возвращайся до дому, ловец! Не вернется твой сокол!»

Так свой юноша кончил рассказ; и внимал с любопытством  
Кейстут с дочкой своею, божественно юной Альдоной.  
Вот и осень пришла, вечера потянув за собою;  
Дочка Кейстута, как повелось, меж сестер и подружек

Вечерами садится за ткацкий станок или прялку;  
Иглы быстро мелькают в руках, веретена кружатся,  
Вальтер речь начинает про немцев, про разные дива;  
Вспоминает он юность свою. И что Вальтер ни скажет —  
Ловит ухом Альдона и в памяти вмиг отмечает:  
Все ей в мысли ложится и в снах предстает, как живое.  
Там, за Неманом, сказывал Вальтер, огромные замки,  
Там блестящи наряды и великолепны забавы,  
Копья рыцари там в многолюдных турнирах ломают,  
А девицы глядят с галерей, им венки присуждая.  
Он рассказывал дальше о власти единого Бога  
И о милости Матери-Девы его непорочной;  
Он показывал образ Ее на иконе заветной,  
Что носил до сих пор на груди он своей постоянно,—  
Ныне ж отдал Альдоне, уча ее истинной вере.  
Он молитвы твердил с ней; хотел просветить он Альдону  
Всем, что сам он от немцев узнал; но, ее просвещая,  
Научил и тому, в чем и сам был неопытен: страсти!  
Вместе с нею учился, внимая со сладким волнением  
Звукам речи литовской, их в памяти вновь воскрешая!  
С каждым словом воскресшим в нем новое чувство  
рождалось,—

Словно искры под пеплом, мерцали родные названия:  
Дружба, родственность и — любовь — драгоценное слово,  
В свете равных которому нет ничего, кроме слова Отчизна...  
Кейстут-князь размышляет: «Что с дочкою за перемена?  
Ни веселости детской, ни девичьих нет развлечений!  
Все ровесницы в праздник идут позабавиться пляской,  
А Альдоне утеха — лишь с Вальтером разговоры.  
Все девицы по будням сидят за иглой да за пряжей,  
У Альдоны ж игла выпадает и спутаны нитки;  
Как сама не в себе она, все это замечают.  
Видел сам я вчера: она вышила розу зеленым,  
А листочки и стебель из красного вышила шелка.  
Как цвета отличить ей, когда ее взоры и мысли  
Только Вальтера заняты образом и разговором?  
Каждый раз, как спрошу, где она,— отвечают: в долине.  
А откуда пришла? — Из долины. Ну, что за долина?  
Садик Вальтер разбил там. Да разве он может сравниться  
С моим садом у замка? (Роскошны сады у Кейстута,  
Полны яблок и груш — для всех девушек Ковно приманка.)  
Нет, не сад ее манит. Зимой у окна ее видел:  
Стекла в этом окне, обращенные к Неману, чисты,  
Словно в мае, хрусталь их прозрачный не тронут морозом.



Вальтер там на прогулке; его у окна поджидая,  
Лед горячим дыханьем она на стекле растопила!  
Полагал я, что он ее чтенью, письму обучает,—  
Слыша: всюду князья детей обучать начинают.  
Вальтер — юноша храбрый, письму, словно ксендз,  
обученный...

Не прогнать же из дому его? Для Литвы он полезен!  
Он военного строя искусник, возводит хитро укрепления,  
Сведущ в пушечном деле, один стоит целого войска...  
Будь же зятем мне, Вальтер, Литву защищая со мною!»

Вальтер мужем Альдоны стал. Немцы, вы, верно, решили,  
Что на этом рассказ мой окончен? Ведь в ваших романсах,  
Если рыцарь женился — конец трубадуровой песни;  
Разве только добавить, что долго и счастливо жили...  
Вальтер любящим мужем был, но благородной душою  
Не был счастлив в семье, так как не было счастья в отчизне.  
Только снег растопился — вновь жаворонки запели,  
Радость этою песнью народам иным возвещая,  
Лишь несчастной Литве возвещая резню и пожары.  
К ней идут крестоносцев бесчисленные дружины,  
Гул движения их из-за Немана ветер доносит,  
Лязг оружия, военные клики и конское ржанье.  
Словно тучи, плывут их полки, над полями сгущаясь,  
Там и здесь их передних отрядов мелькают знамена,  
Как пред бурей молнии. Стали над Неманом немцы,  
Переправы наладили, Ковно кругом обложили.  
День за днем разбивают таранами башни и стены;  
Ночь за ночью ведут разрушительные подкопы;  
Бомба в небе проносится, вспышкой его озаряя,  
Словно коршун на пташек, свергается с неба на крыши.  
Все в развалинах Ковно: литовцы отходят в Кейданы;  
Немцы взяли Кейданы: литовцы в леса отступили,  
Бьются храбро, упорно. Но враг продвигается дальше.

Кейстут с Вальтером об руку — первыми всюду в сраженье,  
В отступление — последними. Кейстут, как прежде,  
спокоен:

С детских лет он привык к перемене военного счастья;  
Знал он, как его предки с тевтонами злобными бились,—  
По примеру их дрался и он, о грядущем не мысля.  
Но у Вальтера думы иные. Воспитан у немцев,  
Понимал он, как Орден могуч, как по кличу магистра  
Вся Европа оружие, и войско, и деньги доставит.

Бились с немцами пруссы, и стерли тевтоны пруссаков:  
Раньше, позже ли — участь такая ж, к несчастью,  
постигнет литвинов.

«Сын мой! — Кейстут воскликнул. — Ты страшную гибель  
пророчишь,  
Ты сорвал мне повязку с очей, чтобы пропасть явить мне.  
Я слова твои честные выслушал — руки мои опустились;  
Ныне вслед за надеждой отвага покинула душу.  
Как же с немцами сладить?» — «Отец, — отвечал ему  
Вальтер, —

Мне известно единственно верное, страшное средство!  
Позже, может быть, я и откроюсь». Такие беседы  
Часто вели они между сражений, покуда тревога  
Боевою трубой не звала их на новые битвы.

Все печальнее Кейстут, и Вальтер переменялся!  
Хоть и встарь никогда не бывал он безоблачно весел, —  
Даже в счастье чело его тайные думы темнили, —  
Все же облик его прояснялся в объятьях Альдоны,  
Он улыбкой встречал ее и провожал ее лаской;  
Ныне ж горе, казалось, все чувства его иссушило:  
Перед домом вседневно, со скрещенными руками,  
Наблюдает он дымы палящих селенья пожаров.  
Взор его одичал, и ночами, срываясь с постели,  
В окна он на кровавое зарево сумрачно, яростно смотрит.

«Что с тобою, мой муж дорогой?» — вопрошает Альдона.  
«Что со мной?.. Ничего. Не проспать бы прихода нам  
немцев,

Чтобы, связанным, в руки их палачей не попасться!»  
«Бог храни нас от этого! Войско ведь всюду на страже!»  
«Да, действительно войско на страже, и я при оружьи;  
Ну, а если рассеется войско и сабля погнется —  
Ты подумай, какая нас старость с тобою тогда ожидает!»  
«Бог нам в детях даст радость!..» — «А если придут  
крестоносцы,

И тебя умертвят, и детей уведут на чужбину,  
И научат пускать в отца родимого стрелы!  
Я и сам бы — не встретить вайделота — с отцом бы  
сражался

И с родимыми братьями!» — «Вальтер, любимый, уедем,  
Мы в Литве далеко среди гор и лесов затаимся!»  
«Мы уедем, а прочих детей с матерями покинем?  
Так бежали пруссаки, а немцы в Литве их настигли.

Так и с нами случится!..» — «А мы еще дальше уедем». «Дальше? Кроме Литвы, ты куда же, бедняжка, уедешь? В руки русичей или татар?» — И Альдона, смутясь, замолчала,

Не найдясь, что ответить; до этой поры ей казалось, Что отчизны родимой ее беспредельны границы; Услыхала впервые, что негде укрыться в Литве ей... «Что ж нам делать?» — в отчаянье руки ломает Альдона. «Для литвинов одно только средство, Альдона, осталось: Черный Орден разрушить; и мне это средство известно, Ты о нем не расспрашивай! Час тот — да будет он проклят, Когда я применю его, вынужденный врагами!» Разговор прекратил он, молений Альдоны не слыша. Слышал только и видел он беды Литвы пред собою. Пламя жгучее мести питал с той поры он в молчанье, Видом бед и пожаров всечасно его разжигая; Все он вытравил чувства из сердца, и даже то чувство — Чувство нежной любви, что в несчастьях его утешало. Так, костром подоженный охотничьим, дуб беловежский Тлеет, медленным жаром свою иссушив сердцевину, — Скоро леса властитель утратит шумящие листья, Сникнут, сломаны ветром, его почерневшие ветви, И вершина с короной омелы зеленой засохнет.

Долго по замкам, лесам и горам литвины блуждали, То нападая на немцев, то храбро от них отбиваясь. Наконец, разразилась Рудавская страшная битва, Много тысяч в которой литовской легло молодежи Среди стольких же тысяч солдат и вождей крестоносцев. К немцам свежее войско на помощь пришло из-за моря; Кейстут с Вальтером, с горсточкой воинов, в горы пробились.

Сабли их притупились, щиты их изрублены были; Пылью, кровью покрытые, сумрачно в дом они входят. Вальтер взгляда не кинул жене, не сказал ей ни слова, С вайделотом и Кейстутот стал говорить по-немецки; Непонятна Альдоне их речь, только сердце вещает Об ужасных событиях. И вот они, кончив беседу, Все втроем устремили к Альдоне печальные взоры. Вальтер дольше других скорбный взгляд удержал на Альдоне;

Из очей его крупными каплями брызнули слезы. Он к ногам ее пал, к сердцу руки ее прижимает И простить ее просит за все, что она претерпела.

«Горе,— молвит он,— женам, которые любят безумцев,  
Тех, чьи взоры стремятся за грани родимого края,  
Тех, чьи мысли, как дым в высоту, улетают бессменно,  
Чьи сердца не привержены только к семейным утехам!  
Эти души, Альдона, подобны огромнейшим ульям;  
Мед по край их не полнит — в них ящерицы гнездятся.  
Не печалься, Альдона! сегодня я дома останусь.  
Все забыв, этот день посвятим мы друг другу.  
Как бывало давно. Завтра ж...» — и не посмел он

докончить.

Что за радость Альдоне! Так хочется верить бедняжке,  
Что изменится Вальтер, став снова спокоен и весел;  
Вот уж менее хмур он, глаза его вновь оживились,  
Зарумянились щеки. Весь вечер у ног он Альдоны;  
Позабыв о Литве, о сраженьях, о крестоносцах,  
Говорит, вспоминая счастливое прежнее время  
Своего возвращенья в Литву, их начальные встречи,  
Их прогулки в долине, вникая во всякую мелочь,  
Столь значительную для любовных воспоминаний.  
Только что ж это речь обрывает, промолвивши «завтра»,  
И, задумавшись, снова он долго глядит на Альдону  
Со слезами в глазах,— говорить бы и рад, да не в силах?  
Неужели он вызвал далекого счастья виденья  
Для того лишь, чтоб с ними сейчас же навеки проститься?  
И последнего вечера эта сердечная нежность  
Станет вспышкой прощальной любовного чистого света?..  
Что подумать об этом Альдоне? С душою смятенной  
Из покоя выходит она и сквозь щель наблюдает:  
Вальтер цедит вино, за бокалом бокал осушая,  
Старика вайделота с собою он на ночь оставил.

Солнце чуть показалось — стучат по дороге копыта;  
Двое рыцарей в горы спешат, растворяясь в тумане,  
Обманули б любых часовых они, только не стражу  
Чутких, любящих взоров: Альдона их бегство открыла,  
На пути им предстала. Печальна была эта встреча!  
«О, вернись, дорогая домой; там ты счастлива будешь...  
Может быть, ты счастливее станешь в объятьях отчизны!  
Ты юна и прекрасна, ты сердце утетишь, забудешь.  
Помнишь — много руки твоей знатных князей добивалось:  
Ты свободна, отныне — вдова ты великого мужа;  
Он для счастья родимой страны от всего отказался —  
От любви, от тебя отказался для блага любимой отчизны!  
Так прощай же! Поплачь иногда, обо мне вспоминая!

Вальтер все потерял, одиноким остался на свете,  
Словно ветер в пустыне; он должен по свету скитаться,  
Предавать, убивать и погибнуть позорною смертью;  
Но промчатся года, и забытое Альфово имя  
Вновь, гремя по Литве, на устах вайделотов возникнет;  
Ты услышишь о нем, и тогда, дорогая, подумай,  
Что ужасный тот рыцарь, окутанный темною тайной,  
Был тебе лишь известен,— твоим был когда-то супругом;  
Пусть та гордая дума тебя утешает в сиротстве!»  
Молча слушает речь ту Альдона, но слов ее не постигает  
«Едешь, едешь!» — вскричала и крика того испугалась.  
Слово «едешь» — одно это слово заполнило слух ей,  
Ее мысли смешались, и все вокруг нее помутилось.  
Только сердце ее говорило: нельзя возвращаться  
И нельзя позабыть. И, очами блуждая в тревоге  
И встречая в отчаянье Вальтера горькие взоры,  
В них утехи себе, как бывало, не находила;  
И, опоры ища, снова взоры она устремляет  
На равнины, как будто чего-то от них ожидая.  
Там, за Неманом, блещет в лесу одинокая башня —  
Крестоносцев святыня, унылое мрачное зданье.  
Взор и мысли Альдона на башне той остановила,—  
Так же голубь, над морем захваченный бурей неожиданной,  
свирепой,  
Изнемогши, без сил к корабельным снастям припадает.  
Вальтер понял Альдону, последовал молча за нею  
И свой замысел тайный открыл ей, супругу молчать  
заклиная.

У ворот монастырских печальна была их разлука!..  
Альф исчез с вайделотом — и больше о нем не слышали.  
Горе, горе ему, если он не сдержал обещанья,  
Если, сам лишась счастья, и счастье Альдоны разрушил,  
Если все, что он отдал, окажется жертвой напрасной!  
Время это откроет.— Вот, немцы, и кончена песня!»

«Конец, уже конец?..— шумели в зале.—  
Что с Вальтером? Что сделал он такого?  
Кому же мечь?» — Все слушавшие встали;  
Один среди возбужденного народа  
Магистр сидит, не проронив ни слова,  
Склонив лицо, спокойное как будто.  
Но он взволнован: каждую минуту  
Он пьет и наполняет кубок снова.  
В его чертах, как молния, мгновенно

Различных чувств мелькает перемена,  
Все сумрачнее вид его и хмурей,  
Бледнеют щеки, напряглися жилы,  
И взоры — точно ласточки пред бурей.  
Вот, плащ сорвавши, наконец вскочил он:  
«Где песни продолженье? Пой не медля!  
Иль лютню дай; чего, дрожа, таишься?  
Подай мне лютню; кубок мой напенье,  
Я допою конец, коль ты боишься!

Я знаю: все, все песни вайделотов  
Сулят беду, как псов вытье ночное;  
Вам любо петь пожары и убийства,  
Нам предоставив славу и мученья.  
Еще к нам в люльки ваша песнь вползает,  
Предательски нам душу обвиняет  
И острым ядом сердце наше сбрызнет:  
Любовью к славе, верностью отчизне.

Она идет с младенчества за нами,  
Как тень врага убитого крадется,  
И на пиру садится за столами,  
Чтоб в хмель вина примешиваться кровью.  
Я слышал этих песен очень много,  
Предатель старый, сбывшихся воочью;  
Поэту клад — военная тревога,  
И сбудется все так, как ты пророчишь!

Конец тех песен вedom. Есть другие.  
Когда сражался я в горах Кастильи,  
Меня балладам мавры обучили.  
Старик, напомни звуки дорогие,  
Что там в долине... О, блаженства время —  
Под звуки те мне петь привычно было.  
Вернись, старик, или, богами всеми,  
Немецкими и прусскими, клянуся...»

Вернулся тот, и лютни звук плачевный  
Чуть слышно вторил выкрикам Конрада,  
Как раб влачась за господином гневным.  
Тем часом за столом уж гаснут свечи,  
Утомлена вся рыцарей громада,  
Но голос Конрада их будит снова,—  
Встают в кружок и, распрямляя плечи,  
Стараются не проронить ни слова.

Альпухарская  
баллада

Бегут разбитые мавров отряды,  
Народ их — скован и связан;  
Еще стоит твердыня Гренады,  
Но косит Гренаду зараза.

Еще в Альпухаре последние силы  
Сплотились вокруг Альманзора;  
Испанцы город кругом обложили  
И штурмом ударят скоро.

Рев пушечный прокатился с рассветом,  
И — стены в провалах и ямах,  
Уж крест утверждается над минаретом,  
Вломились испанцы в замок.

Один Альманзор, в разгаре сраженья,  
Узнав об огромном уроне,  
Из вражьего выскользнув окруженья,  
Спасается от погони.

Испанцы на свежих замка руинах,  
Средь трупов, застывших на стенах,  
Устроили пир, купаются в винах,  
Добычу делят и пленных.

Как вдруг часовые испанцев доносят,  
Явясь пред своими вождями,  
Что рыцарь из дальнего края просит  
Принять его с новостями.

То был Альманзор, король мусульманский,—  
Он больше свой сан не скрывает,  
Он сдался, он просит испанской ласки,  
Он жизнь сохранить желает.

«Испанцы,— молвил он, став у порога,  
Склоняясь в смирение глубоком,—  
Пришел признать я вашего Бога,  
Поверить вашим пророкам.

Пускай молва прогремит перекатом  
О том, что арабов владыка

Своих победителей младшим братом  
Становится с этого мига».

Испанцы умеют ценить отвагу;  
Пленясь Альманзора речью,  
В ответ его смиренному шагу  
Объятья открыли навстречу.

По очереди Альманзор обнимает  
Испанцев, старших местами,  
А главного их к груди прижимает,  
В уста впиваясь устами.

И вдруг, ослабев, упал на колена,  
И руки забились дрожью,  
Тюрбан с головы он снимает мгновенно,  
Обвив им трона подножье.

Вокруг он глянул, и все поразились:  
Бледны помертвелые щеки,  
И страшной усмешкой уста исказились,  
И взгляд западает глубокий...

«Смотрите, гяуры, на вид мой ужасный,—  
Он вам не доставит улады!  
В ряды к вам проникнул посланец опасный,  
Чуму вам принес из Гренады.

Я вам запятнал поцелуями губы,  
И яд был в речей позолоте...  
Глядите, вам стоны предсмертные любви:  
Вы в муках таких же умрете!»

Он мечется, зубы, крича, обнажает,  
Смеясь торжествующим смехом,  
Объятьем смертельным испанцев желает  
К груди приковать своей всех он.

Вот так он и умер смеясь. Уже веки  
И губы его не дрожали,  
А смех этот адский, застывший навеки,  
Черты его выражали.

Испанцы покинули город в тревоге,  
Но всюду, вернее кинжала,



Покуда все не слегли по дороге,  
Чума их ряды поражала.

«Так мавры мстили в годы те сурово.  
Хотите ль знать про замысел литвина?  
Что, если он сдержать захочет слово,  
Отраву подмешавши в наши вина?

А впрочем — нет! Теперь иной обычай:  
Князь Витольд здесь, с литовскими вождями,  
Родные земли нам несут добычей  
И кличут месть над родиною сами.

Но нет! Не все! Не все — клянусь Перуном!  
Есть люди на Литве, я это знаю!  
Прочь эту лютню — оборвались струны.  
Пусть песня смолкнет — все ж я ожидаю,  
Что будет что-то... Будет час расплаты.  
А впрочем — пьян я... Чаши снова сдвиньте.  
А ты, Альманзор, — прочь, старик проклятый!  
Прочь от меня, Хальбан... Меня покиньте!»

Сказал, поворотясь неверным шагом  
К своему месту, в кресло рухнул тяжко;  
Грозил кому-то, в стол ноги размахом  
Ударил, опрокинув кубки, фляжки,  
И, наконец, слабея постепенно,  
Как будто тяжкую свершив работу,  
Погаснул взглядом, рот покрыла пена,  
И впал в дремоту.

И рыцари застыли в изумленье,  
Хоть знали все, что их магистр великий,  
Когда впадал чрезмерно в опьяненье,  
Подвержен был запальчивости дикой.  
Но на пиру! Не соблюдая чина!  
Так при гостях безумствовать постыдно!  
Не вайделот ли этому причина?  
Куда исчез? Нигде его не видно.

Средь рыцарства пошли предположенья,  
Что звуками литовского напева  
Переодетый Хальбан на сраженье  
Звал христиан, вздувая пламя гнева

У Конрада. Но чем обижен Витольд?  
Что значит альпухарская баллада?  
Так каждый свой хотел особый видеть  
Событий смысл, теряясь средь догадок.

## V

### ВОЙНА <sup>1</sup>

Война — уж Конрад удержать не властен  
Настойчивые требованья братства;  
Весь край волнуют мстительные страсти:  
Литве воздать за Витольда коварство.

Князь Витольд, что просил себе защиты,  
Чтоб сообща отвоевать столицу, —  
Вдруг, после пира, со своею свитой  
Решил, союз нарушив, возвратиться:  
Разведав тайну воинского плана,  
Ушел тайком из Орденского стана.

В тевтонских замках, встречных по дороге,  
Приказ магистра ложный предъявляя,  
Он внутрь входил, не возбудив тревоги,  
И все палил, круша и истребляя.  
Стыдом и гневом Орден был охвачен,  
Поход на нечестивцев им назначен.  
Воззвала булла — и неудержимо,  
Крестом украсясь, морем и по суше  
Князей, вассалов ринулись дружины,  
Чтоб на Литву святой удар обрушить,  
Язычество сияньем славы Божьей  
То ль озарить, то ль вовсе изничтожить.  
Вошли в Литву; и что ж там совершили?  
Когда ты хочешь правду знать об этом,  
Взойди на холм, взгляни с его вершины,  
Лишь день померкнет с предзакатным светом:  
Ты зарева увидишь вокруг сиянье —  
Войны несправедливой одеянья;  
Зловещ их блеск, их переливы стары,  
Картины их — резня, грабеж, пожары,  
Что в глупых возбуждает восхищенье,

---

<sup>1</sup> Картина этой войны изображена в соответствии с историей.

А мудрецам внушает отвращенье  
И ожиданье грозной Божьей кары.

Все шире ветром пламя раздувало,—  
В Литву войска все дальше уходили.

Шел слух, что Ковно, Вильно обложили;  
Затем ни слухов, ни вестей не стало.  
Огонь спалил всю ближнюю окрестность,  
Для немцев наступила неизвестность.  
Напрасно из разграбленного края  
Добычи ждут и пленных, многократно  
Гонцов к войскам поспешных посылая:  
Гонцы не возвращаются обратно;  
Узнать бы, что там,— нет вестей оттуда,  
И каждый ожидает — нет ли худа?

Минула осень, все снега покрыли,  
В сугробах тонут все дороги, зданья.  
Вновь по небу сполохи заходили —  
Полярный свет? Или войны пыланье?  
Все ярче в небе отблеск алый веет,  
Все ближе небо мглисто багровеет.

Глядят Мариенбурга горожане:  
Не Конрад ли с вождями на дороге?..  
Победа? Или бегство с поля брани?  
Чем их встречать? Восторгами? Тревогой?  
Где все их войско? Конрад поднял руку  
И указал разбитые колонны;  
Их вид один уже тому порука,  
Что нет победы: по сугробам тонут,  
Идут толпой, теснятся без порядка,  
Как саранча ползет, побита градом,  
Чуть движутся, покачиваясь шатко,  
Топча подошвой павших тут же рядом.  
Одни едва влачат бессильно ноги,  
Другие обмерзают на дороге,  
К сугробам привалившись, руки вскинув,  
Столбами придорожными застынув.

Народ потек из города, взволнован.  
Не задавая никаких вопросов,  
Угадывал историю без слов он

Злосчастливого похода крестоносцев.  
В зрачках их смерть морозная застыла,  
Им голоданье лица иссушило,  
Вкруг них снегов пустынное мерцанье,  
Их провожает песнь завыванье,  
За спинами — литовская погоня,  
Над головами — карканье воронье.

Все кончено! Привел Конрад их к бедам;  
Он,— с кем никто в сраженьях не был равным,  
Привыкший к многочисленным победам,—  
Поход на Вильно проиграл бесславно.  
На Витольдовы хитрости не глядя,  
Он осторожность всякую откинул:  
Завел войска в литовскую равнину,  
Их истомив при виленской осаде.

Когда у немцев кончились запасы  
И голод их терзал без сожаленья —  
Враги, осмелясь, к стану стали красться,  
Уничтожать подвоз и подкрепленья.  
И стали немцы тысячами падать;  
Пора бы штурмом злой поход закончить  
Или домой вернуться, сняв осаду,—  
Но Валленрод, спокоен и уклончив,  
В охоте находил себе отраду.  
И тайный план душа его скрывала,  
Вождей не посвятив в него нимало.

Угасло в нем бывшее вдохновенье,  
Он войск своих не тронется мольбами,  
Он не ведет их больше на сраженье;  
Со сложенными на груди руками  
Все медлит и с Хальбаном длит беседы.  
Зима кружит густые снегопады,  
А Витольд, новые собрав отряды,  
Одерживает без конца победы.  
О том не знают Ордена преданья:  
Магистр великий, поле битвы кинув,  
Наместо лавров и богатой дани  
Приносит весть о торжестве литвинов!

Вы видели, как — преданный разгрому —  
Рой призраков он возвращает к дому?

Чело его покрыто скорби тучей  
И судорогой исказились щеки;  
Конрад страдает. Но взгляните лучше  
Во взор его потупленный глубокий,—  
Там отблески таящегося света  
То вспыхнут, то померкнут на мгновенье,  
Как путнику ночное наважденье,  
То радостью, то бешенством сияя,  
Какой-то адский пламень излучая.

Народ роптал. Но Конраду — нет дела;  
Он рыцарей собрал совет недружный,  
Кричал, грозил позором без предела,  
Являя вид отчаянья наружный.  
Опять Конрадово всесильно слово,  
Все Божьим гневом объяснить готово.

Стой, гордый вождь! Близка с тобой расплата:  
В глубоком подземелье до рассвета  
Горит неугасимая лампада,—  
Идет собранье тайного совета <sup>1</sup>.

Двенадцать кресел стало окруженьем  
У трона, где устав Креста хранится,  
Двенадцать судей в черном облаченье  
Под масками свои укрыли лица,  
Таясь от любопытных в подземелье,  
Друг другу даже не вольны открыться.

Все в клятвенном согласные решенье  
Карать своих старейшин прегрешенья,

---

<sup>1</sup> В средние века, когда могущественные герцоги и бароны неоднократно совершали всякие преступления, когда авторитет обыкновенных трибуналов не был достаточен для их обуздания, создано было тайное братство, члены которого, не зная друг друга, обязались под присягой карать виновных, не щадя ни собственных друзей, ни родных. Лишь только тайные судьи выносили смертный приговор, ставили об этом в известность осужденного, крича под окнами его дома или где-либо в другом месте в его присутствии: «Горе!» Трижды повторенное слово это было предостережением; услышавший его готовился к смерти, которая неминуемо и неожиданно должна была его постигнуть от неведомой руки. Тайный суд назывался еще «вестфальским». Трудно определить, когда он возник; по мнению некоторых, он был учрежден Карлом Великим. Сперва себя оправдавший, и он в дальнейшем дал повод к различным злоупотреблениям, и власти неоднократно вынуждены были возбуждать преследования против самих судей, а затем и совершенно упразднить это судилище.

За преступления здесь их ждет расплата;  
Здесь каждый — пусть предательством, пусть  
силой —

Хотя б над головой родного брата  
Исполнит приговор произносимый,  
Виновному — возмездие жестоко:  
В руках у них кинжалы, шпаги — сбоку.

И вот один, приблизясь важным шагом,  
У трона став, воздев к уставу шпагу,  
Воскликнул: «Грозное собрание,  
Недаром повод к подозрениям подан:  
Тот, кто считался Валленродом ране,—  
Совсем не Валленрод он.  
Кто он — не знаю. К нам давно приехал,—  
Должно быть, год двенадцатый уж минул.  
Когда граф Валленрод шел в Палестину,  
Он в свите был, его нося доспехи.  
Граф Валленрод пропал без вести вскоре;  
Подозреваемый в его убийстве,  
Сей человек из Палестины скрылся.  
В Испанию приплывши через море,  
Там с маврами он в битвах отличился,  
И на турнирах он с успехом бился,  
Назвавшись Валленрод,— в его уборе.  
И вот — теперь магистр он в нашем стане,  
На гибель нашу и на поруганье  
Как правил он — известно. В эту зиму,  
Когда Литва и голод нам грозили,  
Он все в леса, в дубравы удалялся  
И с Витольдом сокрыто совещался.  
Мои шпионы вслед за ним ходили,  
С отшельницею наблюдали встречи.  
О чем у них велись — не знают — речи,  
На языке литовском говорили.  
Все это ныне сопоставив вместе:  
И тайные доносчиков известья,  
И то, о чем уже все судьи знают  
И чуть ли не в народе обсуждают,—  
Магистру я вменяю обвиненье  
В притворстве, и убийстве, и измене».

Перед уставом пал он на колени,  
И, на распятье возложивши руку,

Он клятву дал, что правы обвиненья,  
В свидетельство призвав Христову муку.  
Умолк. И совершился суд бесстрастный:  
Ни возгласа, ни шепота, ни шума,  
Голов движенье лишь да взгляд утрюмый —  
Все говорит о мысли грозной, властной.  
И каждый, приближаясь к возвышенью,  
Святых законов предается чтенью,  
Страницы отвернув концом стилета,  
У совести своей прося ответа.  
И все, объединясь в согласном хоре,  
Единодушно восклицают: «Горе!»  
И трижды эхом отвечают стены  
Их кличу: «Горе». В кратком этом слове  
Весь приговор. И вот уж наготове  
В двенадцати руках клинки блистают,  
Конраду в грудь они вонзятся вскоре.  
Выходят молча. Эхо повторяет  
Вослед шагам их грозный отгул: «Горе!»

## VI ПРОЩАНЬЕ

Снег зимним утром искрится и вьется,  
Конь мчится, грудью разрезая выюгу,—  
То Конрад скачет к озеру по лугу,  
И зов его пред башней раздастся:  
«Альдона! Жизнь вернулась к нам, Альдона!  
Я клятву выполнил, добился цели.  
Они разбиты! Смяты их знамена».

### О т ш е л ь н и ц а

То голос Альфа! Альф мой драгоценный!  
Неужто ты ко мне вернулся снова?  
И не уедешь? Кончилась тревога?

### К о н р а д

Не спрашивай об этом ради Бога,  
Внимательно мое обдумай слово.  
Конец тевтонам; страшны их утраты:  
Гляди, как в небе зарево зардело,—  
Литва опустошает их пределы.  
Столетия не залечат ран закона,  
Пронзил я грудь стоголового дракона.

В развалинах их замки и палаты,  
Я их лишил могущества и чести.  
Сам ад страшней не выдумал бы мести.  
Довольно! Я ведь — человек из плоти:  
Вся молодость в бесславье и разбоях,  
Теперь в трудах согбенный и в заботе,  
Я обессилел. Не гожусь для боя.  
Довольно мщенья — немцы тоже люди.  
Я был в Литве, и бог открыл глаза мне;  
Чернеют замка ковенского груды —  
В твоём дому и камня нет на камне.  
Покинувши унылые руины,  
Коня остановил я у долины.  
А там — все той же рощи лепетанье,  
Трава ковер все так же расстелила,  
Как в давний вечер нашего прощанья, —  
Как будто бы вчера все это было!  
Ты помнишь камень тот? Высокий камень,  
Который был прогулок наших целью?  
Он так покрылся мохом и вьюнками,  
Что я его чуть разглядел сквозь зелень.  
Я счистил мох. Облил скамью слезами,  
Где ты сидела в жаркую погоду  
Под явора шумящими ветвями;  
Ручей, откуда брал тебе я воду, —  
Все, все глазами видел я своими,  
Тот сад, что насадил тебе у склона,  
Огородивши вербами сухими, —  
С ним чудо приключилось, Альдона!  
Сухие прутья укрепились прочно,  
Они теперь шумят ветвями глухо,  
Они полны сияющего пуха,  
Цветут, корнями углубившись в почву!  
При виде их надежда обновленья  
Былого счастья сердце мне пронзила;  
Целуя вербы, пал я на колени:  
«О боже, — вскрикнул, — если б это было, —  
Чтоб в край родной вернулись мы с тобою,  
Зажили бы опять в Литве, как прежде,  
Чтобы, как эти ветви, наше счастье  
Зазеленело листиком надежды».

Вернемся же! По моему приказу  
Ворота эти распахнутся сразу...



Хотя б они раз в тысячу прочнее,  
Ворота эти я открыть сумею.  
Любимейшая! На ладонях ждущих  
Я унесу тебя в твою долину.  
Есть много уголков в литовских пущах,  
Средь беловежских чащ укрытий много,  
Куда волнений гребни не дохлынут,  
Не долетит военная тревога,  
Ни вражеское злобное глумленье,  
Ни горький звук мучительного стоны...  
Там, средь пастушьего уединенья,  
В объятиях твоих, моя Альдона,  
Весь мир забыв, начну я жизнь сначала.  
Ответь, решишь!

Она не отвечала.

Конрад умолк и тщетно ждет ответа.  
Уж свет зари румянцем небо ранит:  
«О, отвечай же! Близок час рассвета,  
Проснутся люди, стража нас застанет,  
Альдона!» Голос рвется от волненья,  
Прерывисто дыханье, хриплы звуки,  
Он молча простирает кверху руки,  
Пал на колени, молит сожаленья.

«Нет, поздно,— голос грустный, но спокойный  
Ему в ответ.— Бог ниспошлет мне силу,  
От слабости удержит недостойной.  
Я поклялась у этого порога  
Отсюда выйти — только лишь в могилу.  
Боролась я с собой, о друг мой милый,  
А ты зовешь меня перечить Богу.  
Кого ты кличешь к жизни? Привиденье.  
Подумай: если б я ума лишилась,  
Покинувши мое уединенье,  
Опять в твоих объятиях очутилась,  
А ты, любимый, не узнав подруги,  
Вскричал бы скорбно в горестном испуге:  
«Альдона! Как ты страшно изменилась?..»  
Где взор, что полон был огня и света?  
Стан, долгим заточеньем изможденный!  
Нет, пусть не исказит виденье это  
Прекрасный лик былой твоей Альдоны.

Прости, любимый мой,— сама признаюсь:  
Когда луна нам слишком ярко светит,

Я очи отвращаю, опасаясь  
След времени в лице твоём приметить.  
Ты, может, стал совсем иным по виду,  
Не тем, каким запомнился мне прежде,  
Когда ты прибыл в замок с нашей свитой,  
Но сердце память о тебе хранило —  
В том виде, в том обличье, в той одежде.  
Так бабочка, что в янтаре застыла,  
Хранит узорных крыльев очертанья.  
Альф! Пусть же память первого свиданья  
Останется залогом новой встречи,  
Но уж не здесь, не на земле — далече!..

Прекрасные долины — для счастливых,  
А я сроднилась с каменным затишьем.  
Довольна тем, что жив ты, что призывы —  
Твой голос милый — вечерами слышу.  
Любимый мой! И в этих тесных стенах  
Для мук найдем источник мы целящий:  
Брось мыслить об убийствах и изменах,  
Старайся приходить сюда почаще.

Послушай: если бы на луг пред башней  
Ты смог перенести родные ивы,  
Здесь повторивши садик наш тогдашний,  
И те цветы, и камень наш счастливый,  
Чтоб дети из соседнего селенья  
Играли меж деревьями густыми,  
Венки плели под мирной этой сенью  
И песнями бы тешили родными...  
Родные песни гонят прочь кручину,  
Сны о Литве, об Альфе навевают,  
А после, позже, по моей кончине,  
Пусть над твоей могилой распевают...»

Но Альф уже не слушал. Быстрым шагом  
Он уходил, без мысли и без цели,  
На берег, побелевший от метели,  
Сквозь заросли, по скатам и оврагам.  
Хотел он в этом яростном движенье  
По сумрачным пригоркам и равнине  
Найти себе от муки облегченье,  
С плеч плащ сорвав, но горя не отринув.  
На городском валу, уж на рассвете,

Остановился он на самом взгорье,  
Тень за собой какую-то приметив:  
Мелькнула и в овраге скрылась вскоре,  
Лишь возглас слышен: «Горе, горе, горе!»

Услышав этот голос, Альф очнулся  
И понял все мгновенно. Повернулся,  
Окинув взором даль над берегами,—  
Повсюду пусто, только ветра стоны,  
Да выюжил снег, да лес под ветром гнулся;  
Взволнованный, он покидает склоны  
И медленно, неверными шагами  
Идет назад к убежищу Альдоны.

Он видит тень ее в лучах рассвета,  
Кричит: «День добрый! Сколько лет с тобою  
Встречались мы лишь сумрачной порою,  
Теперь — день добрый! Добрая примета!  
Днем, в первый раз за годы испытанья,  
Узнай — зачем пришел я на рассвете?»

А л ь д о н а

Я не хочу загадок. До свиданья,  
Любимый! Уходи: тебя заметят;  
Не убеждай меня, прошу я слезно  
Уйти отсюда...

А л ь ф

О, теперь уж поздно!  
Ты знаешь, что теперь могу желать я?  
Брось мне хоть ветку, стебелек увядший.  
Цветок не можешь? Лоскуток от платья,  
Обрывок ленты, камешек от башни:  
Хочу сегодня — жизни день не прочен —  
Хранить залог любви твоей всегдашней,  
Который бы груди твоей касался,  
Чтоб он со мной в предсмертный час остался,  
Чтоб стал он мне последней жизни вестью.  
Мне гибель предстоит. Погибнем вместе.  
Ты видишь там вон, на валу, бойницу —  
Там я останусь. Каждый день с рассветом  
Возьется черный флаг над парпетом,  
А вечером там лампа загорится.  
Гляди туда и знай по той примете,

Что если утром там платок не взвился,  
А ночью лампы луч не засветился,—  
То, значит, больше нет меня на свете.  
Прощай!

И — скрылся: звук его походки  
Затих вдали. Альдона онемела,  
Вся кровь ее от ужаса застыла.  
Уж день прошел, а все заметно было,  
Как ветер шевелил одежды белой  
Фигуры, распростертой у решетки.

«Уж закатилось,— молвил Альф Хальбану,  
На солнце указав в окно бойницы,  
Откуда наблюдал он непрерывно  
За башнею Альдоновой темницы.—  
Дай плащ и саблю, верный мой наставник,  
Иду я к башне. Будь здоров и славных  
Дождись времен. Я ж ожидаю худа.  
Послушай, если мне не удалось бы  
Назад вернуться,— уходи отсюда.  
И — вот еще одна осталась просьба...  
О Боже, как я одинок на свете,  
Ни с кем не связан, только двое эти!  
Ни на земле, ни в тверди поднебесной...  
Так вот, Хальбан: чтоб стало ей известно,  
Сорви платок, свисающий со свода...  
Постой! Ты слышишь?.. Ломятся в ворота».  
«Кто там?» — привратник трижды окликает.  
И снизу: «Горе!» — отвечают хором;  
Замолкнул страж, в борьбе изнемогает,  
Уж поддались ворота под напором.  
Уж в бастион врываются у входа,  
Уж винтовую лестницей несутся,  
Ведущею в укрытье Валленрода.  
Шаги все ближе, ближе раздаются.  
Альф двери закрывает на засовы,  
Меч выхватил, зажал в руке, другою  
Взял кубок, выпил; наливает снова.  
«Свершилось! Старец, дело за тобою!»

Хальбан, бледнея, на него взирает.  
Из рук хотел он выбить кубок с ядом,  
Но за дверьми оружие бряцает,—  
Они пришли — совсем уж близко — рядом.



Уж день прошел, а все заметно было,  
Как ветер шевелил одежды белой  
Фигуры...

«Старик! Тебе понятны эти звуки?  
Чего же медлить? Кубок полн до края,  
Мой — выпит. Принимай же этот в руки».  
Хальбан молчит, в отчаянье внимая.

«Нет... И тебя я пережить обязан,  
Мой сын, я и тебе глаза закрою.  
Чтоб подвиг твой был людям всем рассказан,  
Чтобы в веках прославиться герою.  
Я по Литве промчу рассказ чудесный,  
По хижинам убогим и палатам,  
Пусть о тебе поют вот эту песню —  
Бард — рыцарям, а матери — ребятам.  
И пусть напев ее поднимет в росте  
В грядущем — мстителя за наши кости!»

К бойнице Альф приник, слезу роняя,  
И долго-долго он глядит на башню,  
Как будто хочет день вернуть вчерашний,  
Который меркнет, в даях пропадая.  
Обнял Хальбана. Пристальные взоры  
В последний раз друг друга ободряют.  
Не выдержали натиска запоры,  
Вошли враги — и Альфа окликают:  
«Изменник! Близко казни совершение,  
Меч на тебя сейчас удар обрушит,  
Вот капеллан, пред ним очисти душу,  
Покайся в совершенном прегрешенье».  
Альф, меч поднявши, встречи ожидает,  
Но вдруг бледнеет, голову склоняет,  
О подоконник оперся, шатаясь,  
Но — знак магистра — плащ срывает пышный,  
Ногами топчет, гордо усмехаясь:

«Вот грех мой, да простит его Всевышний!  
Готов я к смерти, что ж еще услышать  
Хотите? Счет правленья мной представлен:  
Считайте — сколько сгибло ваших тысяч  
И сколько тлеет выжженных развалин.  
Слышна вам вьюга? Снежной мглой покрыты,  
Останки стынут ваших войск разбитых,  
Над ними псов голодных рыщет стая,  
Они окоченели, умирая.  
Я это сделал. И одним ударом



*И в тот же миг, пронзивши стены башни,  
Пронесся крик, протяжный, скорбный, страшный...*

Стоглавую я уничтожил гидру.  
Колонны расшатав, Самсоном ярым  
Разрушив здание, сам под ним погибнул!»

Сказав, он пал, и жизни в нем не стало,  
Но лампу сбил, в паденье изогнувшись,  
Что, трижды колесом перевернувшись,  
У самой головы его упала.

В разлитом масле чуть огонь мерцает,  
Мигает, меркнет, вот его не стало,  
И вдруг, как знак последнего привета,  
Прощальной вспышкой Альфа освещает,  
И — кончено: погас источник света.

И в тот же миг, пронзивши стены башни,  
Пронесся крик, протяжный, скорбный,  
страшный...

Чье сердце застонало — вам понятно,  
А тот, кто издали б его услышал,  
Решил бы: та, из чьей груди он вышел,  
Звучанья не вернет себе обратно,  
И с криком тем — навек сомкнулись губы.  
Так струны лютни, под ударом грубым  
Прорвавшись, отдадут всю силу звука,—  
Началу песни добрая порука,  
Конца ж ее вовеки не узнают.

Так об Альдоне не кончайся, песня!  
Пусть ангелы в гармонии небесной,  
А слушатели — в сердце допевают.





# Е. А. Баратынский

---

## ЦЫГАНКА

### ГЛАВА I

— Прощай, Елецкой: ты невесел,  
И рассветает уж давно;  
Пошло мне впрок твое вино:  
Ух! я встаю насилу с кресел!  
Не правда ль, братцы, по домам?  
— Нет! пусть попляшет прежде нам  
Его цыганка. Ангел Сара,  
Ну что? потешить нас нельзя ль?  
Ступай, я сяду за рояль.  
— Могу сказать, вас будет пара:  
Ты охмелен, и в сон она  
Уже давно погружена.  
Прощайте, господа!..

Гуляки  
Встают, шатаясь на ногах;  
Берут на стульях, на столах  
Свои разбросанные фраки,  
Свои мундиры, сюртуки;  
Но, доброй воле вопреки,  
Неспоры сборы. Шляпу на лоб  
Надвинув, держит пред собой  
Стакан недопитый иной  
И рассуждает: «Надлежало б...»  
Умом и телом недвижим,  
Он долго простоит над ним.  
Другой пред зеркалом на шею  
Свой галстук вяжет, но рука  
Его тяжка и неловка:  
Все как-то врозь идут под нею  
Концы проклятого платка.  
К свече приставя трубку задом,  
Ждет третий пасмурный чудака,  
Когда закурится табак.  
Лихие шутки сыплют градом.  
Но полно: вон валит кабак.

— Прощай, Елецкой, до свиданья!  
— Прощайте, братцы, добрый путь! —  
И, сокращая провожанья,  
Дверь поспешает он замкнуть.  
Один оставшись, Елецкой  
Брюзгливым оком обозрел  
Покой, где праздник молодецкой  
Порой недавнею гремел.  
Он чувство возбуждал двойное:  
Великолепье отжилое,  
Штоф полинялый на стенах;  
Меж окон зеркала большие,  
Но все и в пятнах и в лучах;  
В пыли завесы дорогие,  
Давно не чищенный паркет;  
К тому же буйного разгуля  
Всегдашний безобразный след:  
Тут опрокинутые стулья,  
Везде табачная зола,  
Стаканы среди стола  
С остатками задорной влаги;  
Тарелки жирные кругом;  
И вот, на выпуске печном,  
Строй догоревших до бумаги  
И в блеске утренних лучей  
Уже бледнеющих свечей.  
Открыв рассеянной рукою  
Окно, Елецкой взор тупой,  
Взор, отуманенный мечтой,  
Уставил прямо пред собою.  
Пред ним, светло озарена  
Наставшим утром, ото сна  
Москва торжественно вставала.  
Под раннею лазурной мглой  
Блестящей влагой блеск дневной  
Река местами отражала;  
Аркада длинного моста  
Белела ярко. Чуден, пышен,  
Московских зданий красота,  
Над всеми зданьями возвышен,  
Огнем востока Кремль алел.  
Зажгли лучи его живые  
Соборов главы золотые;  
Меж ними царственно горел



...светло озарена  
Наставшим утром, ото сна  
Москва торжественно вставала.

Иван Великий. Сад красивой,  
Кругом твердыни горделивой  
Вияся, живо зеленел.  
Но он на пышную столицу  
Глядел с душевною враждой.  
За что? О том в главе другой  
Найдут особую страницу.  
Он был вскормлен сей Москвой.  
Минувших дней воспоминанья  
И дней грядущих упования —  
Все заключал он в ней одной;  
Но странной доли нес он бремя,  
И был ей чуждым в то же время,  
И чуждым больше, чем другой.

## ГЛАВА II

Отца и матери Елецкой  
Лишился в годы те, когда  
Обыкновенно жизни светской  
Нам наступает череда.  
И свет узнал он, и сначала  
Являлся в вечер на три бала;  
С визитной карточкой порой  
Летел на выезд городской.  
Согласно с общим заведеньем,  
Он в праздник Пасхи, в Новый год  
К дядьям и теткам с поздравленьем  
Скакал с прихода на приход...  
Живее жизнью насладиться  
Алкал безумец молодой  
И начал с первых дней томиться  
Пределов светских теснотой.  
Ему в гостиных стало душно:  
То было глупо, это скучно.  
Из них Елецкой мой исчез,  
И на желанном им просторе  
Житьем он новым зажил вскоре  
Между буянов и повес.  
Развратных, своевольных правил  
Несчастный кодекс он составил;  
Всегда ссылалось на него  
Его блажное болтовство.  
Им проповедуемых мнений

Иль половины их большой,  
Наверно, чужд он был душой,  
Причастной лучших вдохновений;  
Но, мысли буйством увлечен,  
Вдвойне молву озлобил он.

С Москвой и Русью он расстался,  
Края чужие посетил;  
Там промотался, проигрался  
И в путь обратный поспешил.  
Своим пенатам возвращенный,  
Всему решительным венцом,  
Цыганку взял к себе он в дом;  
И, общим мнением пораженный,  
Сам рушил он, над ним смеясь,  
Со светом остальную связь.

Тут нашей повести начало.  
Неделя Светлая была  
И под Новинское звала  
Граждан московских. Все бежало,  
Все торопилось: стар и млад,  
Жильцы лачуг, жильцы палат,  
Живою, смешанной толпою,  
Туда, где, словно сам собою,  
На краткий срок, в единый миг,  
Блистая пестрыми дворцами,  
Шумя цветными флюгерами,  
Средь града новый град возник:  
Столица легкая безделья  
И бесчиновного веселья,  
Досуга русского кумир!  
Там целый день разгульный пир;  
Там раздаются звуки трубны,  
Звонят, гремят литавры, бубны;  
Паясы с зыбких галерей  
Зовут, манят к себе гостей.  
Там клепер знает чёт и нёчет;  
Ножи проворные венцом  
Кругом себя индеец мечет  
И бисер нижет языком.  
Гордясь лихими седоками,  
Там одноколки, застучав,  
С потешных гор летят стремглав.

Своими длинными шестами  
Качели крашенные там  
Людей уносят к небесам.  
Волшебный праздник довершая,  
Меж тем с веселым торжеством  
Карет блестящих цепь тройная  
Катится медленно кругом.

Меж балаганов оживленных,  
Ежеминутно осажденных  
Нетерпеливою толпой,  
Давно бродил Елецкой мой.  
Окинул взорами собрание,  
В одном остановил внимание  
Он на девице молодой.  
Своими чистыми очами,  
Своими детскими устами,  
Своей спокойной красотой,  
Одушевленной выраженьем  
Сей драгоценной тишины,  
Она сходна была с виденьем  
Его разборчивой весны.  
Давно он знал ее заочно.  
С его глазами ненарочно  
Глазами встретилась она;  
Их выраженьем смущена,  
Покрылась краскою живою  
И отвела тихонько взор.  
Охвачен бедственной межою,  
Не зрел Елецкой с давних пор  
Румянца этого святого!  
Упадший дух подымая в нем,  
Он был для путника ночного  
Денницы розовым лучом.  
Он к милой думой умиленной  
Летит. Меж тем она встает;  
Девице руку подает  
Ее сосед, старик почтенной;  
Из балагана идут вон —  
И их в толпе теряет он.

Узнать, душою не в покое,  
Он жаждет имя дорогое!  
И незнакомка названа.

Гражданка сферы той она,  
Того злопамятного света,  
С кем в опрометчивые лета,  
В избытке гордом юных сил,  
Сам в бой неровный он вступил.  
Смягчит ли идол оскорбленный  
Он жертвой позднею своей?  
Против него предубежденной,  
Предстать осмелится ли ей?  
И всех преград он сам виною!  
Меж тем в борьбе его с молвою  
Прошло, промчалось много дней.  
Елецкой мыслил промежутком;  
Полней других созрел рассудком  
Он в самом опыте страстей,  
И наконец, среди пороков,  
Кипевших роем вокруг него,  
И ядовитых их уроков,  
И омраченья своего  
В душе сберег он чувства пламя.  
Елецкой битву проиграл,  
Но, побежденный, спас он знамя  
И пред самим собой не пал.

### ГЛАВА III

Незамечаем и неведом,  
За милою бродил он следом;  
В тени задумчивых дубров  
Прекрасных Пресненских прудов,  
В аллеях стриженных бульвара,  
Между красавиц городских  
Искал он девы дум своих.  
Не для блистательного дара  
Актеров наших посещал  
Он душный театральный зал —  
Елецкой, сцену забывая,  
С той ложи не сводил очей,  
В которой Вера молодая  
Сидела, изредка встречая  
Взор, остановленный на ней.  
Вкусив неполное свиданье,  
Елецкой приходил домой  
Исполнен мукою двойной;

Но, полюбив свое страдание,  
Такой же встречи с новым днем  
Искал в безумии своем.

Однажды... погасал, свежая,  
Июльский день. Бульвар Тверской  
Дремал над нисходящей мглой;  
Пустела длинная аллея;  
Царица тишины и сна,  
Высоко поднялась луна.  
Но со знакомыми своими  
Еще, в болтливом забытье,  
Сидела Вера на скамье.  
В соседстве, не замечен ими,  
За липой темной и густой,  
Стоял влюбленный наш герой.  
Перчатку Вера уронила.  
Поспешно поднял он ее  
И подал ей. Лицо свое  
К нему с испугом обратила  
Младая дева. Разговор  
Прервав, на нем остановила  
Встревоженный, но долгий взор.  
Судьбу, душой своей довольной,  
Он и за то благодарил.  
Елецкой Веру поразил  
Своей услугой своевольной,  
И, хоть на час, ее мечта  
Им, верно, будет занята.

Что ж! и сомнительное счастье  
Мгновенных, бедных этих встреч  
Ему осеннее ненастье  
Не позамедлило пресечь.  
Покрылось небо облаками;  
Дождь бесконечный ливня лил;  
И вот мороз его сменил.  
Застыли воды, снег клоками  
На мостовую повалил,—  
Пришла зима. Свистя, крутится  
Метель на Пресненских прудах,  
На обнаженных деревьях  
Бульвара иней серебрится.  
Там, где недавно порой



Гуляли грации толпой,  
Какой-нибудь жандарм усатый,  
Шагая, шпорами стучит;  
С метлой стоит мужик брадатый  
Иль школьник с сумкою бежит.  
Для балов, вечеров при этом  
Театр оставлен модным светом.  
Елецкой мрачен и сердит...  
Но вот в известном маскараде  
Должна быть Вера. Ожил он  
И в полнадежде, в полдосаде  
Лелеет деятельный сон.

Живая музыка играет;  
Кадрили вьются ей под лад,  
Кипит, пестреет маскарад.  
В его затею не вступает,  
И кстати, большинство гостей;  
В тени их он еще видней.  
Призраки всех веков и наций,  
Гуляют феи, визири,  
Полишинели, дикари,  
Их мучит бес мистификаций;  
Но не выходит хитрых фраз:  
«Я знаю вас! я знаю вас!...»  
Ни у кого для продолженья  
Недостает воображенья.  
Признаться надобно: не нам,  
Сугробов северных сынам,  
Приноровляться к детям юга!  
Метелей дух не создал нас  
Для их блистательных проказ.  
К чему неловкая натуга?  
Мы сохраняем холод свой  
В приемах живости чужой.

Елецкой из ряду выходит  
И Веру чуть с ума не сводит.  
Успел разведать он о ней  
Довольно этих мелочей,  
В которых тайны роковые  
Девы видят молодые.  
В словах запутанных своих  
Он намекает ей о них;

И, удивленья и смущенья  
Полна, горит она лицом  
И вот выходит из терпенья.  
«Я как обманутая сном!  
Скажите, ради Бога, кто вы?»

Е л е ц к о й

Вы любопытны, как дитя.  
Итак, со мною не шутя  
Вы познакомиться готовы?  
Нежданным именем моим  
Я испугаю вас.

В е р а

Как скучно!  
Все шутки.

Е л е ц к о й

Я не склонен к ним  
И остерег вас добродушно.  
Я дух... и нет глуши, жилья,  
Где б я, незримый, не был с вами.  
Все чутким ухом слышу я,  
Все вижу зоркими очами.  
Не бойтесь! слушаю, гляжу  
Я с полной преданностью дружбы;  
Неожидаемые службы  
Я вам догадливо служу;  
Однажды перед ваши очи  
Я в виде смертного предстал;  
В ту пору сумрак летней ночи  
Мне образ видимый давал...  
Вы узнаете?

В е р а

Ваши сказки  
Вы продолжите до утра.  
Смотрите: все снимают маски,  
Снимите же свою, пора!

Е л е ц к о й

Не мне. Оставьте убежденья,  
Я не исполню ваш приказ.  
Лицо открыл бы я для вас

Без выраженья, без значенья.  
Нет, нет: я вспомню веселей  
Сей разговор непринужденный,  
Почти нежданно уловленный  
Счастливой маскою моей,  
Чем взор холодного смущенья,  
Который на лицо мое  
Вперите вы, когда ее  
Сниму я вам из угожденья.  
Нет, я б не мог его снести!  
Прощайте; я не здешний житель,  
В мою безвестную обитель  
Я должен вовремя сойти.

Елецкой тихо удалился;  
Уж был у выхода и зал  
Совсем, казалось, покидал,  
Но у дверей остановился:  
Взглянуть он раз еще желал  
На Веру... Тихий взор он встретил,  
Мольбу немую в нем заметил,  
Укор в нем дружеский постиг  
И скинул маску. В этот миг  
Пред ним лицо другое стало,  
Очами гневными сверкало  
И дико поднятой рукой  
Грозило Вере и пропало  
С Елецким вместе за толпой.

#### ГЛАВА IV

Едва веселыми лучами  
День новый окна озлатил,  
Елецкой скорыми шагами  
Уже по комнате ходил.  
Порой, в забвении глубоком  
Остановясь, прилежным оком  
Во что-то всматривался он.

Во взорах счастье выражалось;  
Перед душой его, казалось,  
Летал веселый, светлый сон.  
Через мгновенье пробужденный,  
Он, тем же чувством озаренный,

Свою прогулку продолжал  
И скоро снова прерывал.  
В покое том же, занимая  
Диван, цыганка молодая  
Сидела, бледная лицом.  
Усталость выражали очи:  
Казалось, в продолжение ночи  
Их Сара не смыкала сном.  
Она порывисто чесала  
Густые, черные власы  
И их на темные красы  
Нагих плечей своих метала.  
Она склонялась головой,  
Но на Елецкого порой  
Взор исподлобья подымала.  
Какою злобой он дышал!  
Другой мечты душою полон,  
Подруги он не замечал;  
К ней напоследок подошел он.  
«Что это смотришь ты совой? —  
Сказал он. — Сара, что с тобой?  
Да молви слово!»

С а р а

Ах, Боже мой!  
Ты ждешь ответа моего?  
Вот он: я знаю, отчего  
Ты так доволен!

Е л е ц к о й

Отчего же?

С а р а

Меня ты думал обмануть,  
Когда вчера, кривя душою,  
Ты мне с заботою такую  
Скорей советовал заснуть!  
«Устала, Сара? Дремлешь, Сара?  
Ляг, Сара, спать!» И я легла,  
Да уж нарочно не спала!  
Давно грозит мне эта кара!  
Давно я брошена тобой!  
Ты сутки целые порой  
Двух слов со мной не произносишь,

Любимых песен петь не просишь!  
Да и по ком твоя душа  
Уж так смертельно заболела?  
Ее вчера я разглядела:  
Совсем, совсем не хороша!

Е л е ц к о й

Так вот в чем дело!

С а р а

Сара знает,  
Какая ждет ее судьба  
За то, что служит, угождает  
Тебе по воле, как раба:  
Со знатной барышней своею  
Ты обвенчаешься, а с нею  
Простишься, и ее на двор  
Метлою выметут, как сор.

Е л е ц к о й

Ты совершенно сумасбродишь!  
Какие странные мечты!  
По пустякам горюешь ты  
И на меня тоску наводишь.

С а р а

А кто, бывало, говорил,  
Ко мне ласкаясь то и дело:  
«Тебя я, Сара, полюбил.  
Жить одному мне надоело,  
Будь мне подругою! со мной  
Живи под кровлею одной!  
Я нравом весел; живо, шумно,  
В пирах и песнях завсегда  
Мы будем проводить года».  
Я согласилась безумно.  
Что ж вышло?

Е л е ц к о й

Из моих речей  
Тобой забыта половина.  
Я говорил: твоя судьбина  
Не будет скована с моей!  
Покуда любо жить со мною,

Живи! наскучило — прощай,  
Былую радость поминай!  
С твоей свободой той порою  
Я выговаривал мою.  
Но я тебя не узнаю!  
И, сердце будущим тревожа,  
Ты на цыганку не похожа.  
Ваш род беспечен.

### С а р а

Проклят он!  
Он человечества лишен!  
Нам чужды все края мирские!  
Мы на обиды рождены!  
Забавить прихоти чужие  
Для пропитанья мы должны.  
Я о себе молчу: цыганка  
Вам не подруга, а служанка!  
Она пляши и распевай,  
А сердцу воли не давай.

### Е л е ц к о й

Оставь пустые опасенья,  
Не разлучимся мы с тобой.  
Хотя другого поколенья,  
Родня я вашему судьбой.  
И я, как вы, отвержен светом,  
И мне враждебен сердца глас...  
Не распадется, верь мне в этом,  
Цепь, сопрягающая нас.

Когда с цыганкой молодою  
Судьба Елецкого свела,  
Своей разгульною душою  
Она мила ему была.  
«Я горя знать не буду с нею.  
Каких тяжелых, черных дум,  
Мне иногда гнетущих ум,  
Свободной резвостью своею  
Не удалит она сейчас?  
Кому при блеске этих глаз  
Приснятся черные печали?»

Так думал он; но дни мелькали;  
К ее душе своей душой  
На продолжительное время  
Не мог пристать Елецкой мой.  
Ему потом уж стали в бремя  
Затеи девы удалой.  
Не принимая в них участия,  
Уж он желал другого счастья:  
Души, с которой мог бы он  
Делиться всей своей душою.  
Надеждой томной увлечен,  
Он Саре пробовал порою  
Передавать свои мечты;  
Но образованного чувства  
Язык для дикой красоты  
Был полон странной темноты.  
Она, не ведая искусства,  
Под речи друга своего  
Без всякой совести зевала  
Иль в скором времени его  
Сторонней шуткой прерывала;  
Но смутно трогалась, и ей  
Невразумительных речей  
Цыганка голос понимала.  
Подруге ветреной своей  
Он ежедневно был милей,  
Но к ней хладел по той же мере.  
Когда, любовью вспыхнув к Вере,  
Он нравом стал еще мрачней,  
Она развлечь его хотела,  
Она родные песни пела,  
Она по стульям, по столам  
С живыми кликами скакала;  
Она при нем по пустякам  
Как можно громче хохотала;  
Но завсегда ее смущал  
В то время взор его брюзгливый,  
Пред ним порыв ее игривый  
В одно мгновенье упал.  
Она сердилась и роптала,  
И грусть давила сердце ей,  
И тщетно Сара призывала  
Покой и радость прежних дней.



*И тщетно Сара призывала  
Покой и радость прежних дней.*



. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Как часто в середине бала,  
 Когда уж музыка играла  
 Иль попури, иль котильон  
 И Вера, со своим танцором  
 Наскуча пошлым разговором,  
 Погружена в сторонний сон,  
 Глазами молча провожала  
 Среди блистательного зала  
 Пред нею вьющиеся четы,—  
 Елецкой речию своею,  
 Нежданно слышимой за нею,  
 Вдруг прерывал ее мечты.  
 Довольно холодно сначала  
 С ним в разговор она вступала,  
 Но оживлялася потом,  
 И, ободрен ее вниманьем,  
 Он был заманчивым свиданьем  
 К свиданью новому влеком.  
 Однажды он за стулом Веры  
 Средь вихря бального сидел.  
 В своих речах уж не умел  
 Он соблюдать холодной меры;  
 Она исчезнула. Лишен  
 Над пылким сердцем всякой власти,  
 Уж говорил открыто он  
 С ней языком мятежной страсти.  
 Кончая, «Дайте мне ответ! —  
 Он молвил.— Многие во вред  
 Мне городская злоба трубит;  
 Сжился я со враждой молвы;  
 Но вы? что думаете вы  
 О том, который вас так любит?»

### В е р а

Что все другие; даже мне  
Еще известнее, как права  
О вас рассеянная слава,  
Как должно верить ей вполне.

### Е л е ц к о й

Вам всех известней? Вы всех строже?  
Но почему же, отчего же?

### В е р а

Когда глаза мои в тот раз  
Меня в обман не приводили,  
Словами вашими сейчас  
Двух, не одну вы оскорбили.

### Е л е ц к о й

Я вашей искренности рад.  
Уже в судьбе моей стократ  
Я с вами жаждал объясненья!  
Примите исповедь мою,  
Весьма во многом, нет сомненья,  
Останусь я без извиненья,  
Но ничего не утаю.

Елецкой в тягостную повесть  
Минувших дней своих вступил,  
Свою запутанную совесть  
Он перед Верой обнажил;  
Поверил ей без украшенья  
Свои былые заблужденья,  
К которым, впрочем, был влеком  
Он меньше сердцем, чем умом.  
С ее случайною знакомкой,  
Своею смуглой однодомкой,  
Свое сближение передал,  
Как сам его он понимал;  
Одним внушением унылым  
Души, томимой пустотой,  
Союзом, столько же постылым  
Теперь ему, как ей самой.  
«К ней обратиться,— он прибавил,—  
Безумный миг меня заставил;  
Ошибся я в себе и в ней.

Нет, нет! я не был с нею дружен!  
А для души ее не нужен,—  
Нужна другая для моей». —  
И тихо речь его журчала  
За Верой, ей одной слышна.  
Но что? вникала ли она  
В слова его? Она молчала;  
Была чуть-чуть обращена  
К нему щека ее одна;  
Но это легкое движенье  
Заметить было мудрено,  
Злословье самое оно  
Не привело бы в искушенье.  
Ей изменяло лишь одно:  
Вниманье к балу притупело,  
И краснощекий офицер,  
Тогдашний Верин кавалер,  
Ее в то время то и дело  
К порядку танца пробуждал  
И ей фигуры толковал.  
Природа Веру сотворила  
С живою, нежною душой;  
Она ей чувствовать судила  
С опасной в жизни полнотою.  
Недавно дева молодая,  
Красою свежее блистая,  
Вступила в вихрь городской.  
Она еще не рассудила,  
Не поняла души своей;  
Но темною мечтою в ней  
Она уже проговорила.  
Странна ей суетность была;  
Она плениться не могла  
Ее несвязною судьбиной;  
Хотело б сердце у нее  
Себе избрать кумир единый  
И тем осмыслить бытие.  
Тут романтические встречи  
С героем повести моей,  
Его задумчивые речи  
Тревожить стали душу ей.  
Одно, быть может, впечатленье  
Ей берегло воображенье...  
Его рассеял он. С какой

Благополучною душой  
С тех пор она ему внимала!  
С какою сладостью о нем  
В невольном забытье своем,  
Уединенная, мечтала!  
Как, новой жизнью дыша,  
Легко ей было! Как блистала,  
Как ликовала в ней душа!  
Девушка юная не знала,  
Живого счастья полна,  
Что так доверчиво она  
Одной отравой в нем дышала;  
Что сей приветный ветерок,  
Ее ласкающий так нежно,—  
Грозы погибельной пророк;  
Что вдругдохнет она мятелью,  
И мир в глазах ее затмит,  
И все красы его разрушит,  
И все цветы его иссушит,  
И жизни путь опустошит.

#### ГЛАВА VI

Летели дни. Свои свиданья  
Елецкой с Верой продолжал,  
И с каждым больше упованья  
Любви своей он обретал.  
Увы! старательно скрывая  
Заботу сердца, между тем  
Наверно дева молодая  
С ним не обмолвилась ничем;  
Но не владела выраженьем  
Лица невинного она,  
На нем со всем ее смятеньем  
Была душа ее видна.  
«Любим я!» — с ропотом и мукой  
Елецкой сам себе твердил.  
Великий пост уж подходил  
И с Верой скорою разлукой,  
Разлукой долгою грозил!

. . . . .  
. . . . .  
«Нет! — мыслит он. — До расставанья  
Во что бы ни было должна

Решить судьбу мою она!»  
Он ждет удобного мгновенья;  
И Вера, время разлученья  
Предвидя, днями дорожит  
И их считает и грустит.  
Уехал дядя. В тихой зале,  
При свете двух свечей, одна,  
Твердила на своем рояле  
Урок докучливый она;  
Полна душой другой заботы,  
Насильно всматривалась в ноты...  
Вдруг... протянувшись перед ней,  
Закрыла их рука чужая.  
Ветр пошатнул огонь свечей;  
Вздрогнула дева молодая,  
Оборотилась, глядит —  
Елецкой перед ней стоит.  
«Не беспокойтесь, ради Бога!  
Какая странная тревога  
У вас написана в глазах!  
Я вас прошу, не уходите!  
Чего боитесь вы? сидите,  
Я все скажу вам в двух словах».

#### В е р а

Я не могу остаться с вами!  
Подите. Разговор такой  
Мне неприличен. Боже мой!  
Одна я, видите вы сами!  
Подите.

#### Е л е ц к о й

Наперед я знал,  
Что я застану вас одною,  
Одну я видеть вас желал.  
Остаться должно вам со мною,  
Вам должно выслушать меня.

#### В е р а

Оставьте до другого дня,  
Я умоляю вас, подите!  
Мой дядя будет сей же час.

#### Е л е ц к о й

Один вопрос: люблю я вас,

Вы это знаете. Скажите:  
Я равнодушен вам иль нет?

В е р а

На все, на все один ответ:  
Подите!..

Е л е ц к о й

Вы ли говорили?  
Я ль слышал вас? и не во сне!  
Я нелюбим... Зачем же мне  
Давно вы это не внушили?

Своей холодности зачем  
Вы мне тотчас не показали?  
Зачем, скажите, мне внимали  
Вы так приветно между тем?  
Зачем, глаза мои встречая,  
Не отводили ваших глаз?  
Зачем дышала всякий раз  
В них дума нежная такая?  
Дитя! кокетки записной  
Постигнув опытную ролю,  
Признайтесь: вы играли вволю  
Моей безумною душой!  
Кто б мог подумать! в ваши лета!  
Мою любовь мне не забыть;  
Желал бы я ее предмета  
Не презирать. Но так и быть!  
Прощайте!

В е р а

Нет! такого мнения  
Я не оставлю ни за что!  
Не правы ваши заключенья.  
Я прямодушна. Я не то  
Сказать хотела... Нет... Просите  
Руки моей, и если...

Е л е ц к о й

Вы?

Вы мне об этом говорите?  
А восклицанья всей Москвы!  
На наш союз ваш дядя строгий

Не согласится никогда;  
Молитвы будут без плода.  
Нет, Вера, нет! другой дорогой  
Идти нам должно. Для венца  
Сегодня ночью у крыльца  
Я ждать вас буду. Все готово.  
Бежать со мною дайте слово!  
Любовь слепая мне нужна.  
Решитесь.

В е р а

Я изумлена

Таким неожиданным предложеньем.  
Нет, это будет преступленьем!  
Нет, я и думать не хочу!  
Я так ужасно огорчу  
Того, который...

Е л е ц к о й

Все забудет

Он, нашим счастьем счастлив,  
И напоследок справедлив  
Он и ко мне, наверно, будет.  
Ему (вам нужно ль обещать?)  
Я буду сыном самым нежным.  
Страдал я долго безнадежным —  
Ах, Вера! снова ли страдать!  
Меня вы любите; судьбиной  
Оставлен нам исход единый.  
Ах, Вера, Вера! сердце в вас  
Сей миг решительный измерит,  
Меня печально разуверит  
В нем малодушный ваш отказ.  
Все, все он кончит между нас!  
Бегите, Вера! дайте руку...  
Не на ужасную разлуку,  
С которой не сживуся я,  
Но на союз святой и вечный.  
Мой милый друг, мой друг сердечный!  
Скажи: не правда ль? ты моя?

В е р а

Люблю, люблю я вас... Но что же?  
Что предлагаете вы мне?

На что решиться? Боже, Боже!  
Подумать дайте в тишине!

Е л е ц к о й

Я знаю, горестная мера;  
Но — ты ль не видишь? — нет иной!  
Решись!

В е р а

Не нынче!

Е л е ц к о й

Нынче, Вера;  
Сегодня, друг бесценный мой!

Недолго дева молодая  
Еще противилась ему.  
Он нежно к сердцу своему  
Прижал ее. Лицом пылая,  
Потупя взор, склонив главу,  
Она умом изнемогала  
И, ни во сне, ни наяву,  
Свое согласие прошептала.

Елецкой ликовал душой;  
По темной улице домой  
Он шел походкою веселой.  
Но у порога своего  
Остановился: ум его  
Смутился думою тяжелой:  
Там Сара! — В голове своей  
Уже Елецкой принял меры,  
Чтоб неприличной встрече с ней  
Вновь не подвергнуть милой Веры.  
Москву с невестой в эту ночь  
Покинет он; обряд венчальный  
Он совершит в деревне дальней;  
Он все предвидел, все точь-в-точь  
Обдумал. Сары он не знает;  
Любовью в ней не почитает  
По нем расчетливой любви;  
Не верит в ней ревнивой муке.  
«Из них любую призови —  
Все тверды в нужной им науке!» —



Так мыслил он. Но в этот миг...  
Иль Сару лучше он постиг  
При наступающей разлуке?  
Упрек в душе его возник.  
Его докучное внушенье  
Он опроверг в уме своем  
И, отряхнув недоуменье,  
Вошел в свой дом, где в то мгновенье  
И Сара думала о нем.

## ГЛАВА VII

Грустила брошенная Сара;  
Но в этот вечер было ей  
Еще грустней, еще тошней.  
Почти болезненного жара  
Была тоска ее полна.  
В своем волнении она  
Платком в лицо себе махала —  
Прохлады воздух не давал,  
Но кровь ей пуще волновал!  
Иглу к работе принуждала —  
Колола пальцы ей игла,  
Гадать цыганка начала —  
Еще тошнее: карты ввали,  
Когда ей счастье предрекали,  
И наводили страх, когда  
В них выходила ей беда.  
Их со стола она столкнула,  
Шитье отбросила, вздохнула,  
На стол локтями опершись,  
Цыганка стиснула руками  
Чело... и смятыми кольцами  
Вкруг пальцев кудри обвились.  
Закрыв глаза, она сидела...  
Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» — к ней  
В покой из боковых дверей  
Цыганка старая глядела.

### С а р а

Ненила, ты? войди скорей;  
Я жаждалась тебя, Ненила;  
Совсем я брошена, совсем!  
Не ужогу ему ничем.

Хотя бы ты мне услужила!  
Что, принесла ли?

Старуха

Принесла.  
Да уж насили добраела,  
Метель такая закутила!  
Гляди-ка — вот твое вино!  
Уж удружит тебе оно,  
Спасибо скажешь.

Сара

Ах, Ненила!  
Верь, ты мне душу воротила!  
Я полюблюсь ему опять?  
Да полно, правда ль?

Старуха

Что мне лгаты!  
Лишь дай испить, сама увидишь!  
Он обвенчается с тобой,  
И заживешь ты госпожой,  
А там старухи не обидишь.  
Ты мне поверь, моя красotka,  
Придут благие времена!

Сара

Как я тобой одолжена!  
Но там идут... его походка.  
Поставь подарок свой на стол.  
Да и прощай, уйди отселе,  
Уйди скорее!

В самом деле,  
Елецкой в комнату вошел.  
В глазах его была суровость,  
Пред Сарой молча он ходил,  
Речь наконец к ней обратил:  
«Тебе сказать я должен новость:  
С тобой я скоро расстанюсь.  
Послушай, Сара! я женюсь».  
Лицо у Сары побледнело  
И загорелось в тот же миг.  
Нож острый в сердце ей проник,  
Оно то стыло, то кипело:

Хотела б смертная тоска  
Излиться воплем и слезами...  
Рвались бурными волнами  
У ней попреки с языка...  
Но эти первые движенья  
Она в себе перемогла  
И голос мирный обрела,  
Хотя дрожащий от волненья.  
«Давно я этого ждала!  
Не удивишь меня разлукой,—  
Сказала Сара.— Долгой мукой  
Я приготовлена была.  
А скоро ль свадьба?»

Е л е ц к о й

В доме этом  
Я не ночую; не жалею  
О старине. В судьбе твоей  
Я обязуюсь ответом,  
И уж подумал я о ней;  
Довольна будешь.

С а р а

Мне не нужно  
Постылых милостынь твоих.  
Не беспокойся, и без них  
С тобой расстануся я дружно.  
Пенять не буду я тебе.  
Жила я весело, счастливо;  
Теперь не то,— какое диво?  
Не все стоять одной судьбе!  
У нас верна одна могила;  
А кто на свете долго мил?  
Как ты сегодня разлюбил,  
Так я бы завтра разлюбила;  
За что сердиться?

Е л е ц к о й

Очень рад.  
Дай руку, Сара! Пред тобою  
Я совершенно виноват..  
Я вижу, выше ты душою,  
Чем полагал доселе я:  
Ты не притворщица пустая.  
Обыкновенье ваше зная,

Я ждал упреков, слез, вытья...  
Спасибо, нет их; без сомненья,  
Простимся дружно мы с тобой,  
Мила ты, Сара!

С а р а

Плач и вой  
В душе... Но что до сокрушенья!  
В слезах и воплях толку нет.  
Мы расстаемся? Власть Господня!  
Простимся весело. Сегодня  
Я именинница, мой свет!  
В последний раз мое здоровье  
Ты должен выпить... но до дна!  
Как в старину; смотри ж: условие!  
Не то сейчас заплачу... На!

Е л е ц к о й

Твое здоровье? Рад душою...  
И вот — ни капли нет на дне.  
Надеюсь, ты довольна мною?

С а р а

Спасибо! Сядь теперь ко мне,  
Поговорим по старине.

И с равнодушным послушаньем  
К ней на диван Елецкой сел,  
Но, далеко уже мечтаньем,  
Он на часы свои глядел.  
«Скажи мне, — Сара продолжала, —  
Судьбою новою своей  
Доволен ты?»

Е л е ц к о й

А что?

С а р а

Ей-ей!

Я коротко твой нрав узнала:  
Не переменишься ты в нем...  
Привык ты к беззаботной доле,  
Разгульной жизни, вольной воле,  
Стошнишь порядочным житьем.  
Наскучит, твердо предрекаю,

Тебе и милая твоя,—  
Тебе наскучила же я!  
Жаль бедной! По себе я знаю,  
И слишком знаю, каково!  
Как я бы выла да рыдала,  
Когда бы втайне не питала  
Еще у сердца моего  
Одной надежды!

Е л е ц к о й

Полно, что ты?  
Все были кончены расчеты,—  
Что за надежда?

С а р а

Брежу я.  
И как равняться я посмею  
С невестой счастливой твоею!  
О ней единой мысль твоя;  
Ты ею дышишь. Ах, царица,  
Царица светлая она!  
Я перед нею пыль одна.  
Но... в ум придет же небылица!  
Забудь любовь свою на час:  
Какая разница меж нас?  
Что я цыганкой уродилась?  
Что нет за мною сел, хором?  
Что говорить не научилась  
Я иностранным языком?  
Вот все. Не шутка, очень знаю!  
Но сердцем я не уступаю  
Твоей невесте. Чем она  
Любовь поныне доказала?  
Какие слезы проливала?  
Что перенести была должна?  
А я... что слез я источила,  
Каких обид не проглотила,  
Молчанье горькое храня!  
Ты разлюбил, я все любила;  
Ты гнал безжалостно меня —  
К тебе я, злобному, ласкалась,  
Как собачонка. Рассмотри  
Меня получше; говори,  
Такая ль я тебе досталась?

Глаза потухнули от слез,  
Лицо завяло, грудь иссохла;  
Я только, только что не сдохла!..  
Ты все молчишь?

Е л е ц к о й

Тебе нанес  
Я много горя... Я не ведал,  
Когда другой мой жребий предал,  
Что ты... Но что со мною?.. Свет  
В глазах темнеет... все кружится...  
Мне дурно, Сара, дурно...

С а р а

Нет!

Я знаю, что в тебе творится.  
В душе мятущейся твоей  
Я чудным чудом оживаю,  
Разлучницы проклятой в ней  
Бесовский образ погашаю.  
Бледнеешь ты... Немудрена  
Измена мне, а ей страшна!  
Будь ей теперь моя судьбина!  
Томись она! крушись она!  
С тоски иссохни, как лучина!  
Умри она! ты мой: приди,  
Прижмись опять к моей груди!  
Очнись от лютого угара,  
Приди, и все забуду я.  
Узнай меня, узнай: я Сара!  
И Сара прежняя твоя.

Цыганка страстными руками  
Его, рыдая, обвила  
И жадно к сердцу повлекла.  
Глядел он мутными глазами,  
Но не противился. Главой  
Он даже тихо приклонился  
К ее плечу; на нем, немой,  
Казалось, томно позабылся.  
По грозной буре, тишина  
Влилась отрадно в сердце Сары.  
«Он мой! подействовали чары!» —  
С восторгом думала она.



*Но время долгое проходит —  
Он все лежит, он все молчит...*

Но время долгое проходит —  
Он все лежит, он все молчит;  
Едва дыханье переводит  
Цыганка. «Милый мой!.. Он спит.  
Проснись, красавец!» Зов бесплодный;  
Миг страшной истины настал:  
Она взгляделась — труп холодный  
В ее объятиях лежал.

### ГЛАВА VIII

Стояла ночь уже давно.  
Градские стогны опустели;  
В домах уснувших ни одно  
Не озарялося окно,  
Все одинаково чернели.  
Луна не светит, все молчит;  
Лишь ветер воет и свистит,  
Метель до кровель воздымая.  
Обету своему верна,  
До самой улицы одна  
Доходит Вера молодая;  
Никем не встречена она.  
В лицо, суровый и холодный,  
Ей дует ветер непогодный,  
И ночь ненастная черна.  
Она стоит; она мгновенья  
Считает, полная волненья...  
Бегут мгновенья! Вера ждет —  
Он не приходит; не придет!  
В ней сердце замерло... девицу  
Приемлет снова прежний кров.  
Уж ранний вой колоколов  
Порою той будил столицу,  
И в город, сквозь ночную тень,  
Уж, голубея, крался день.

Холм, под которым спит Елецкой,  
Где он забыл любовь, вражду,  
Где равнодушен он к суду  
Толпы и светской и несветской,  
Уж не однажды порастал  
Весенней, новою травой,  
И снег пушистый пеленою



Его не раз уж покрывал.  
Но долго ль юноша несчастный  
Жил в сердце Веры? Много ль слез,  
Ее сердечных первых грез,  
У ней исторг обман ужасный?  
В ту ж зиму с дядей-стариком  
Покинув город, возвратилась  
Она лишь два года потом.  
Лицом своим не изменилась,  
Блится тою же красой;  
Но строже смотрит за собой:  
В знакомство тесное не входит  
Она ни с кем. Всегда отводит  
Чуть-чуть короткий разговор.  
Подчинены ее движенья  
Холодной мере. Верин взор,  
Не изменяя выраженья,  
Не выражает ничего.  
Блестящий юноша его  
Не оживит, и нетерпенья  
В нем не заметит старый шут;  
Ее смешливые подруги  
В нескромный смех не вовлекут;  
Разделены ее досуги  
Между роялем и канвой;  
В раздумье праздном не видали  
И никогда не заставляли  
С романом Веры Волховской.  
Девницей самой совершенной  
В устах у всех она слывет.  
Что ж эту скромность ей дает?  
Увы! тоскою потаенной  
Еще ль душа ее полна?  
Еще ли носит в ней она  
О прошлом верное мечтанье  
И равнодушна ко всему,  
Что не относится к нему,  
Что не его воспоминанье?  
Или, созрев умом своим,  
Уже теперь постигла им  
Она безумство увлеченья?  
Уразумела, как смешно  
И легкомысленно оно,  
Как правы принятые мненья

О романтических мечтах?  
Или теперь в ее глазах  
За общий очерк, в миг забвенья,  
Полусвершенный ею шаг  
Стал детской шалостью одною,  
И с утонченностью такою,  
Осмотру светскому верна,  
Его сама перед собою  
Желает искупить она?

Одно ль, другое ль в ней виною  
Страстей безвременной тиши —  
Утрачен Верой молодою  
Иль жизни цвет, иль цвет души.

Куда заснувшею столицей  
При ярком блеске зимних звезд  
В санях несется вереницей  
Весельчаков ее поезд?  
К цыганам. Пред знакомым домом  
Остановились. В двери с громом  
Стучат; привычною рукой  
Им отворил цыган седой.  
В хоробах спящих тьма густая,  
Но путь знаком. Толпа лихая  
Спешит проникнуть в тот покой,  
Где, ночи шумной ожидая,  
Еще с вечерней первой мглой  
В свои постели пуховые  
Легли цыганки молодые.  
Уж гости ветренные там,  
Уж кличут дев по именам.  
Но все египетское племя  
Кругом приезжих в то же время  
С веселым шумом собралось,  
И свеч сиянье разлилось.  
Дремоту девы покидают,  
Встают на общий громкий зов,  
Платками плечи прикрывают,  
Ногами ищут башмаков  
И вот уж весело болтают,  
И табор к пению готов.  
Одна цыганка на постели  
Сидит недвижно. На гостей

Глядит сердито. Роем к ней  
Подруги смуглые подсели;  
Свой дикий взгляд она хранит,  
Устами молча шевелит  
Или бессмысленно порою,  
Вздыхнув, качает головою.  
Но грянул своенравный хор —  
Блеснул ее туманный взор,  
Уста улыбка озарила;  
Воскреснув в крике хоровом,  
Она, веселая лицом,  
С ним голос яркий согласила.  
Умолкнул хор — и вновь она  
Сидит сурова и мрачна.  
Так воротилась в табор Сара.  
Судьбы последнего удара  
Цыганка вынести не могла  
И разум в горе погребла.  
Вотще родимые напевы  
Уносят душу бедной девы  
В былые, лучшие года!  
Так резвый ветер иногда  
Листок упавший подымает,  
С ним вьется в светлых небесах,  
Но, вдруг утихнув, опускает  
Его опять на дольний прах.



# Юлиуш Словацкий

## ЛАМБРО, ГРЕЧЕСКИЙ ПОВСТАНЕЦ

*Поэтическая повесть  
в двух песнях*

### Песня первая

...Should we again provoke  
Our stronger, some worse way his wrath may find  
To our destruction; if there be in hell  
Fear to be worse destroy'd...

*Milton*<sup>1</sup>

#### 1

Под греческой ладьей волнуйся, море!  
Пусть полумесяц манит позолотой  
Своих дорожек, путая узоры,  
Пред ней, поднявшей парус для полета.  
Играй, волна, под лодкой майниота,  
Неси ее в простор морской пустыни  
И там поведай: «Я носила флоты  
На пенном лоне в бой при Саламине;  
Все та же я, все та же я поныне».  
В Архипелаг неси ладью, играя,  
Где острова и голубые кручи;  
Где, над колонной сломанной свисая,  
Цветет зеленый лавр, не увядая;  
Где с апельсинов вечно снег летучий  
Слетает на безмолвные руины;  
Но люди носят там следы страданий,—  
Они идти на гибель не посмели.  
О, если бы, Медузы взгляд змеиный,

<sup>1</sup>

...Если

Мы вызовем сильнейшего врага  
На новый бой, то гнев его изыщет  
Еще иную, худшую нам кару,—  
Как будто кара хуже есть, чем ад!

*Мильтон*

Они, увидя, вдруг окаменели,  
Прибавилось бы столько изваяний,  
Отмеченных тоской Лаокоона!  
Печальный месяц смотрит с небосклона  
На мертвые руины вечерами;  
Пролив на горы свет голубоватый,  
Долины белой мглою озаривши,  
Разыскивает очертанья статуй,  
Которые он видел здесь веками.  
Он бледен, словно старец, переживший  
Своих детей, свой род больной и хилый:  
Погибли все сыны, все поколение,  
Но время так лик старца иссушило,  
На нем не видно горя и волненья,  
И не поймет никто его томленья.

2

Меж островов Эгеи лучезарной  
Скользят челны по влаге бирюзовой.  
Уподобляясь нимфе легендарной,  
Те острова посредством превращений  
Спасались от турецких притеснений:  
Как Дафна обратилась в куст лавровый,  
Так остров Гидра стал стеной зеленой,  
Ипсара оградилась берегами  
И превратилась в камень, как Ниоба;  
У скал ее прибой дробится в злобе,  
С ее чела, венчанного снегами,  
Струя хрустальных слез течет по склону<sup>1</sup>.

Резцом ваятеля ипсарский город  
Как бы изваян в каменистом лоне  
Из камня серого на сером фоне,  
До половины лесом мачт одетый.  
Кой-где мечети поднимают в гору  
Свинцовую верхушку минарета,  
Да стекла окон в зареве заката,  
Как лампы полыхая, багровеют,  
Но с каждым мигом меркнут и бледнеют,

---

<sup>1</sup> *И превратилась в камень, как Ниоба... Струя хрустальных слез течет по склону.* — Эти четыре стиха являются переводом из «Антигоны» Софокла.

И только солнца отблеск желтоватый  
На крыши сыплет искры золотые.

Последний свет погас. Но с темнотою  
Селение, почти что нежилое,  
Еще шумит. Строения пустые  
Еще хранят таинственные гулы,  
То смех, то ветра дальнего угрозы,  
Как будто недра раковин огромных,  
Куда когда-то буря звук вдохнула.  
Уже в гаремах, средь садов укромных,  
Росой жемчужною сверкают розы,  
И соловей грустит, и ароматный  
Акаций запах разлился во мраке.  
Вот за решеткой ярко вспыхнул факел;  
Вот месяц озарил тюрбан камчатный —  
То мусульманин поспешает в бани,  
Что роскошью все зданья превосходят:  
Там кипяток крутой клокочет в чане  
И с буйной силой в трубах колобродит,  
И рвется из фонтанов чудодейных,  
Сестру холодную дурманя жаром;  
Воюя с ней, ее туманит паром,  
Пока не успокоится в бассейнах.  
Курений ароматом упиваясь,  
Вступает турок важно в сень портала.  
Там анфиладой растянулись залы,  
В стекле зеркал обманно повторяясь.  
Там суетится грек-слуга; склоняясь  
Пред турками, покорно ловит взоры  
И аравийский кофе разливает  
По чашечкам японского фарфора.  
А после греку чару подставляет  
Из глины, и, монету взяв проворно,  
Он наливает в чару сок тлетворный  
Из маковых головок, сок растений,  
Что сном, подобным смерти, усыпляет.  
Все гуще дым табачный, глубже тени,  
Томятся розы, венчики склоняя,  
В этрусских вазах тихо увядая.  
Кой-где сверкают камни на эфесе;  
Сынов ислама белые тюрбаны  
Сошлись в кружки, как на лугах тюльпаны,  
На каждом ярко блещет полумесяц.

Вот юноша вошел, ипсарец, местный житель.  
 Певец, должно быть. Исхудалый, бледный,  
 Под мышкой лютя. Плащ холщовый, бедный,  
 Негусто заткан золотою нитью.  
 Он бледен, грустен, как певцы-скитальцы,—  
 Заметно, что давно в горах блуждает.  
 Его мгновенно греки обступают,  
 Роняет турок свой чубук из пальцев.  
 И грек и турок склонны к любопытству.  
 «Чем лютя, чем певец их позабавит?  
 Споет ли им про духа-кровопийцу,  
 Или Гаруна сказкою прославит?»  
 Певец обводит залу взглядом странным,  
 Как бы считая турок по тюбанам,  
 Потом глаза на греков переводит,  
 Глядит, и лютя голос вдруг находит.

#### Рассказ грека

#### 4

— На песню отклики здесь будут скупы.  
 В ней боль за родину и стон печали.  
 Здесь лица бледны. Иль сердца увяли?  
 Людей искал я, вижу только трупы.  
 Живые вы, но мертвецам подобны!  
 Отважны вы, и все ж наполовину  
 Отравлены, в вас воли нет единой  
 И сильно чувствовать вы неспособны!  
 Железные вы носите оковы!  
 Коль искру из железа выбьет слово,  
 Я буду петь, не ведая покоя.  
 Где искра есть, огонь не знает смерти.  
 Египтяне безжизненное сердце  
 Обертывали листьями алоэ,  
 На них писали слово воскрешенья,  
 Хоть слово оживить не в состоянии,  
 Но сердце в том листе избегнет тленья  
 Навеки, и настанет час познания,  
 И мысль постигнет тайны символ краткий,  
 Глубоко в сердце сыщется разгадка.

Слова певца темны и непонятны,  
Таинственны, как волны в мертвом море;  
Кинь розу вглубь, она всплывет обратно,  
Но обессмертит глубина морская  
Цветок, что побывал в ее просторе:  
Он каменеет, краски сохраняя.  
Так, если глубины своих страданий  
Певец не в силах выразить словами,  
Пусть будет холодна, как мертвый камень,  
Хоть у певца в душе бушует пламень.  
Песнь оборвется, прозвучав напрасно,  
И не затронуть ей души народной,—  
Она, как плод морских глубин, прекрасна,  
И все-таки полна трухи бесплодной.

5

Нам полночь тайно в руки меч вложила,  
Но ослабевших предала лукаво<sup>1</sup>.  
Я не забуду этот дол кровавый,  
Где столько храбрецов сошло в могилу.  
Мой детский взор следил за этим боем:  
Знамена встали в небе, словно тучи,  
Плыл полумесяц над турецким строем,  
Там загудело, задрожали кручи,  
Оттуда ядра били без пощады;  
От нас, в закатном солнечном сиянье,  
Крестов лазурных двинулись отряды  
Навстречу пушкам твердо и в молчанье.  
Короткий миг кресты в огне блистали,  
Но черные их пожирали дымы,  
Одни клонились долу за другими,—  
Еще до ночи все кресты упали.

6

Так жребий поражения нам достался.  
Но громы турок Ламбро миновали:  
Ушел он в горы, за скалой скрывался.  
Он видел мертвых,— без конца, без края  
Тела их поле битвы устилали.

---

<sup>1</sup> Речь идет о царице Екатерине, которая побудила греков к восстанию и предала их, когда они ожидали помощи.





*Но громы турок Ламбро миновали:  
Ушел он в горы, за скалой скрывался.*

А он был жив, он жил, зарю встречая.  
 А утром он бежал и стал бродяжить  
 По белу свету. Рядом с ним был кто-то,  
 Оруженосец с ним делил заботы.  
 А кто он был? Кто отгадает — скажет.  
 Прошли года, и с берега изгнания  
 Он видел: с ветром соревнуясь вольным,  
 Пронесят греки в горы песнь восстания,  
 Песнь Ригаса в набате колокольном<sup>1</sup>.  
 Недолго греки счастья дни встречали.  
 Колокола и песни смолкли скоро.  
 Клефт окровавленный уходит в горы,  
 В отчаянье глубоком и в печали.  
 Рыдает Греция, тоской объята,  
 Обходит эхо горные дубравы:  
 На палубе турецкого фрегата  
 Свершат враги над Ригасом расправу.

7

Высоко на крутой горе Ипсары  
 Есть монастырь, и первый луч восхода  
 Играет на его кресте, а своды  
 Блестят в огне закатного пожара.  
 В окрестностях монастыря — руины:  
 Колонны словно пальмы без вершины.  
 Монах у своего трудится гроба,  
 Его сюда загнала турок злоба.  
 А колокол, зовущий на молитву,  
 Не раз ипсарцев призывал к защите.  
 Затягивало башни дымом битвы,  
 Блестели пушек бронзовые станы...  
 Тогда, покорный Господа служитель,  
 Монах преображался в великана.  
 И, раб необходимости железной,  
 Взрывал обитель мирную, святую,—  
 Как некогда титаны, свод небесный  
 Кусками скал безудержно штурмуя.

Кладбище под горою каменистой,  
 Турецкое. С деревьями, с цветами...

---

<sup>1</sup> Славный гимн повстанцев, сочиненный Ригасом, начинается словами: Δεῦτε, λαίβες τῶν Ελλήνων. (Перевод: «Восстаньте, потомки эллинов».)

Надгробия украшены чалмами.  
Заброшено на этот склон скалистый,  
Оно напоминает образ рая.  
Вчера под вечер... Солнце заходило,  
Косым лучом гробницы озаряя...  
Я видел клефта у одной могилы,  
И с ним была гречанка молодая.  
Казалось, пери, красотой блистая,  
Внезапно появилась предо мною.  
Я загляделся на нее невольно,  
Когда же снова овладел собою  
И от мечтаний мыслью оторвался,  
На сердце стало грустно, сладко, больно,  
Как будто я луной залюбовался.  
И понял я: за счастье бывшее  
Сегодня к ней приходит искупленье.  
В ней грусть была видна, не сокрушенье,  
И белизны ее слеза не омрачала,  
И розовой щеки, нежней коралла.  
Среди деревьев, в белом, осиянна  
Лучом заката, в золотистом свете  
Она казалась мне струей фонтана,  
Чьи кудри в сторону относит ветер.

А клефт — когда-то, видно, знатный воин —  
Остался верен прежним их уборам:  
Был стан под черной епанчою строен,  
И грудь горела в переливах света  
Золотошвейным выпуклым узором.  
Одно его плечо плащом одето  
Белее снега, пояс, как у турка.  
Вокруг ноги — златой ремень сандалий,  
А на макушке шапочка-мисюрка,  
Но кудри буйные ее скрывали,  
Так что виднелся только золотистый  
Искусный узел, ниспадавший кистью.

Был разговор у них негромкий, тайный,  
Но часть речей я уловил случайно.

8

— Твоих речей обманчивому звуку  
Не верю, Ламбро. Ты лукавишь, знаю.

Я на лице твоём без слов читаю  
Тягчайшее из всех несчастий, скуку.  
И блеску глаз твоих не верю тоже.  
Твоя душа передо мной закрыта.  
Людское сердце с бриллиантом схоже,—  
Пускай раздроблен — он струит сиянье;  
Тебе же в душу сатанюю влиты  
Отчаянье, насмешка и страданье.  
Я знаю: ты из тех, кому отрадны  
И плач, и горькой славы упоенье...  
Судьба, увь, была к нам беспощадна.  
Я чувствую, что слово утешенья  
Уже над сердцем не имеет власти!  
И, вспоминая нашу жизнь сначала,  
Я вижу, как отчаянье искало  
Мгновенья, не заполненного счастьем,  
Чтобы проникнуть к нам, остаться с нами.  
Оно дождалось, хоть не очень скоро!  
И наши мысли, общие дотолё,  
Друг с другом разошлись в ту ночь без спора,—  
Ты мысль свою со мной не делишь боле.  
Молчишь?

— Зачем мне убивать словами?

Ведь если слово в грудь твою проникнет,  
Оно, подобно острию кинжала,  
Смертельным холодом тебя остудит!  
Опомнишься потом, но боль не стихнет,  
А распалится. Длительным мученьем  
Вся жизнь твоя уже отныне будет.  
Смотри сюда! Подобным украшеньем  
Одежда клефта прежде не дивила.  
Я — платье, ты же сердце изменила.  
Ужель глаза твои не прочитали  
Ни мыслей скрытых, ни моей печали,  
И ты узнать убийцу не способна?  
Так праздный путник, меж могил блуждая,  
Прочесть не может надписи надгробной.  
Узнай же то, что знают все на свете:  
Отныне Ламбро волен, словно ветер,  
Ему покорствуется волна морская.  
Я — мститель. Ныне черный флаг корсара  
Надменно осеняет пушек жерла,  
Бросающие смерть. Огонь пожара  
В моих глазах, и кровь с клинка не стерла

Еще рука моя. Но, дерзновенный,  
Тревожу ангела покой бесценный.  
Отверженный, забытый, я воспряну  
И разбуджу огонь давнишней страсти  
При помощи двойного талисмана:  
Величия падений и несчастий.  
Ты будешь думать не переставая;  
Я мысль твою заполоню собою,  
Облитый кровью, в самом пекле боя,  
Как падший ангел, как изгнанник рая.  
Моя душа устремлена к величью,  
Она чужда пустым людским мученьям;  
Среди людей я как в лесу осеннем,  
Где листья желтые я без различья  
Топчу ногой, не зная сожаленья,  
Но шум их на меня грусть навевает.  
Пусть лучше вал морской ладью качает,  
Презреньем отвечая на презренье.  
О море, ты предел всего земного,  
Свободы мысли на твоём просторе!  
Я слал проклятья небесам и морю,  
Но, как Тантал, средь вод я жаждал снова.  
Волна мое раскачивает ложе,  
Баюкая меня, как в колыбели.  
Я сна не ведал на земной постели,  
А ныне солнце иногда не может  
Прервать мой сон своим огнистым светом,  
И даже пушка громовым приветом  
Не в силах разбудить меня: упорно  
Пытаюсь отдалить я пробужденье.  
Просты мои заботы: приближенье  
Могучей бури, якорь непокорный;  
Не чужды чувства мне: я был растроган,  
Когда ядро грот-мачту раскололо,—  
Мы с нею вместе странствовали много.  
Земли Эпира тополь серебристый  
Был ей стволом,— я вспомнил наши доли,  
И слезы на глаза мне набежали.  
Но я смотрел, как люди умирали,  
И был мой смех ужасен и неистов,  
Хоть это были братья по неволе,  
Товарищи моей разбойной доли,  
Невольники кровавого союза.  
Да, я отверг привязанности узы,

И ныне сердце к состраданию глухо.  
На золото ценю я жизнь людскую  
И золото бросаю в глубь морскую,  
И в этом нахожу величье духа.

9

И девушка внимала. На красивом  
Ее лице румянец разгорался.  
Был светлый взор то нежным, то пытливым,  
То вдруг слезами быстро наполнялся.  
Казалось, что улыбкой сокровенной  
Она, как эхо, откликнулась другу.  
Но свет улыбки меркнул постепенно,  
И в забытии она теперь стояла,  
Напоминая Лотову подругу,  
Застывшую в неподвижности мгновенной,  
Оборотясь, с улыбкой запоздалой,  
Ловящую далекой жизни звуки.  
Так девушка, как будто изваянье,  
Стояла, опустив безвольно руки,  
И ниспадало с плеч ее волнами  
Как будто мраморное одеянье.

Весь побледнев, дрожащими губами  
Корсар сказал: — Прости меня, друг милый.  
Не очернил я собственную душу.  
Да, я таков, я к людям равнодушен,  
Меня смешит их горестная повесть.  
Но боль твою я вынести не в силах,  
Твой бледный лик мне больно ранит совесть.  
Поверишь ли, тебе одной открою,  
Что я, убийца и корсар кровавый,  
Живу другой, единственной мечтою,  
Что тягочусь в душе преступной славой!  
Хочу великой мыслью оправдаться.  
Хоть ныне люди все меня страшатся,  
Хоть им корсар внушает отвращенье,  
Я поведу их, если провиденье  
Не оборвет мой путь на середине.  
Да, на моем челе печать гордыни,  
Предвестник славных дел. Грядет из дали —  
Я вижу — время славы и печали!  
Прочь эти мысли... Милая, давно ли

Вдвоем с тобой, в чужих краях блуждая,  
Мы обрывали нежный цвет магнолий,  
По лепесткам о будущем гадая?  
Мы связаны судьбой необычайной;  
У нас одни стремленья и надежды...  
О, сколько раз в моем уединеньи  
У зеркала я примеряю тайно  
Алмазы, жемчуг, пышные одежды...  
Я знаю, что в твоём воображенье  
Таким мой образ вечно остаётся.  
Стремлюсь наружного добиться сходства,  
Улыбкою разглаживаю щеки,  
Чтоб увидеть себя в стекле зеркальном.  
Каким я был с тобой в стране далекой,  
Ещё не мрачным, юным и печальным.

О горький мир! Его насмешка косит  
Всех тех, кто плачет кровью и слезами.  
Так берегись его. Он не был с нами  
В дни радости, не будет с нами ныне.  
Заблудшим не прощает он гордыни.  
Взгляни на монастырь под облаками.  
Там для тебя убежище найду я.  
Замкнешься в келье. С каменистой кручи  
Ночами погляди на даль морскую.  
Учись ловить лазурными очами  
Мой белый парус на волне кипучей.  
Когда же волны встанут грозной ратью,  
Ты за меня молись под грохот бури:  
Одной дорогой поплывут в лазури  
Твои молитвы и мои проклятья.  
Но завтра, прежде чем искать покоя  
В обители, на берег спозаранок  
Приди ко мне, одетая чадрую  
По образу богатых мусульманок.  
Приди в накидке из густого шелка  
Иль в белом златотканом покрывале,  
Чтоб даже ветер не нашел в них щели,  
Чтобы лица они не выдавали.  
Увидишь там челнок и человека;  
То буду я: от скал прибрежных в море  
В турецком отплываю я уборе;  
Последнего я провожаю грека.  
Так он сказал, и с этими словами

Склонил лицо, бескровное от муки.  
Скупые слезы брызнули на руки...  
Иль это ветер, вековой скиталец,  
Стряхнул росинки вместе с лепестками?  
Он плакал, иль деревья осыпались...

10

Настал рассвет. Огнем зари облит,  
Бушует море в пенном прибое,  
Но за стеною портового мола  
Спокойно лижет дно береговое.  
А берег высится стеной гранита;  
Над нею — пальмы зеленью веселой  
Красуются, как ангельская свита;  
Подножье их в тумане утра скрыто,  
Лазурь небес им вместо ореола.

В часы затишья перед бурей новой,  
О, как печален моря гул бездонный!  
Лес мачт вздымался, словно обреченный  
Осенний лес, с которого суровый  
Холодный ветер оборвал покровы,  
Оставив краски только половине:  
Позолотил голландца лист дубовый,  
Английских роз румянит кармазины,  
Французских лилий серебрят седины.

Шум парусов... И слышится в дремоте  
Так много слов в разноголосом гаме,—  
Они скорбят, рассказывая что-то  
О парусе, разорванном громами,  
О состязанье с бурными ветрами.  
Вода молчит, но где-то судно тонет,  
И цвет надежды будет взят волнами.  
Отчаянье в последний раз простонет,  
И море в бездне отзвук похоронит.

11

Тремя рядами медных жерл блистая,  
Фрегат турецкий, главный, трехбунчужный,  
Вдруг задымился, залп давая дружный,  
Как будто Сатане служил он треном.



Повеял ветер, быстро дым сдувая,  
И все суда ответили поклоном.  
Фрегат молчал, впивая фимиамы,  
А утренний туман, разбитый гулом,  
Висел, цепляясь за суда крылами,  
И новая заря огнем блеснула.  
Нет выражений в нашей речи бедной,  
Чтоб утренней зари поведать чары.  
Как по теченью Нила неньюфары  
Блестят, сплетаясь лентой разноцветной,  
Как ракушки под свежей лаской моря  
Горят игрой внезапной, так на волны,  
Окраскою с мозаикою споря,  
Крылатой стаей налетают челны,  
В них тут и там чалма горит камнями,  
Серебряное покрывало блещет,  
Их яркий отблеск на воде трепещет,  
И весь залив похож на луг с цветами,  
То зеленея, словно шаль Кашмира,  
То ярко рдея, словно пурпур Тира.  
Спешит к фрегату рой разнообразный,  
Туда, где Ригас ожидает казни.

Как воронов и грифов кровожадных  
Влечет невольно смерти пир кровавый,  
Так зрители плывут в ладьях нарядных  
За поученьем иль ища забавы.  
Иные будут хохотать, быть может,—  
Смех говорит, что их величье мнимо;  
Иной, домой вернувшись, уничтожит  
Кинжал, для сердца деспота хранимый:  
Такие месть на ангелов возложат.  
Немногие, увидев, убедятся,  
Что смерть проста, и умереть решатся.

## 12

Ригас выходит; вокруг янычары;  
Крикнуть хотел он, но слова не дали.  
Раз только глянул на синие дали  
И на вершины, покрытые мглою;  
Гомон народа и весел удары  
Смолкли... Один только ропот прибоя;  
Тихо... И песня в тиши возникает,

Где-то подхваченная голосами,  
В море меж лодок турецких всплывает,  
Крепнет, качается между волнами.  
Ригаса песня призывом звучала:  
«Греки, восстаньте!» — Но греки не слышат.  
Снова: «Восстаньте!» — Все тише и тише:  
«Греки! К оружию!» — Песня пропала.  
Песнь эта Ригасу ранила сердце,  
Но торжество на лице величавом,  
Словно почувствовал Ригас бессмертье,—  
Может быть, только бессмертие славы.

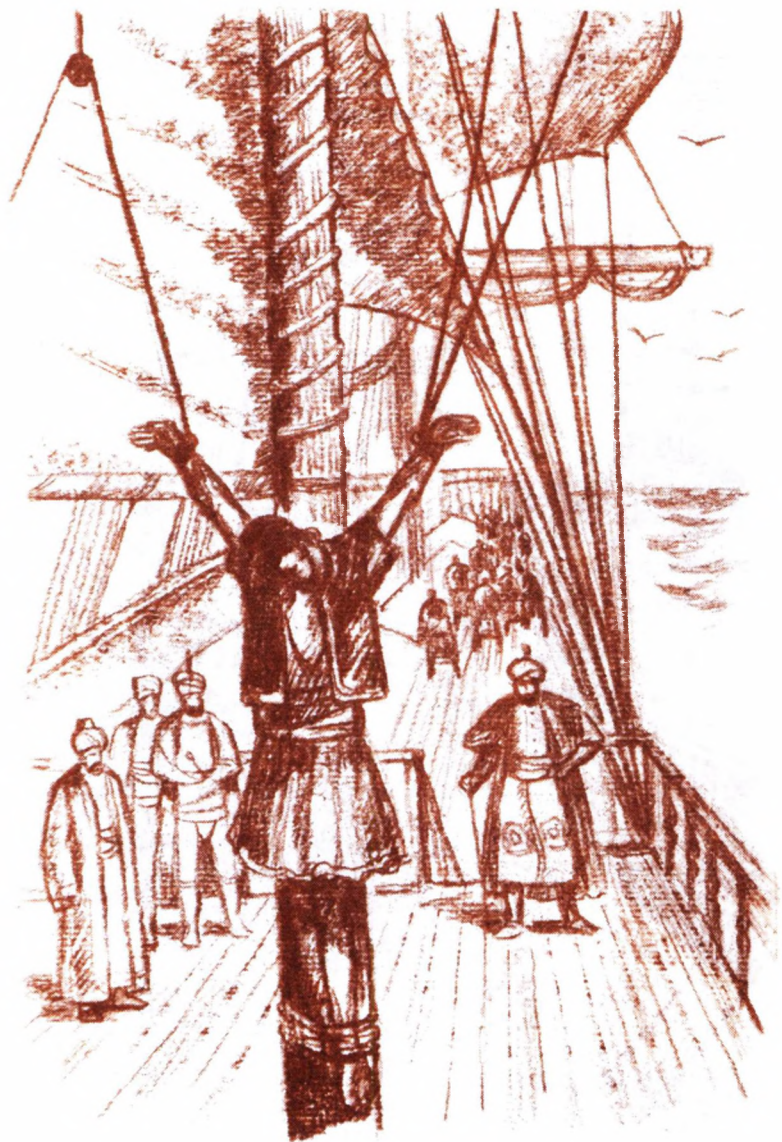
13

— Я видел, я сам это видел, греки,  
Как Ригас взошел на помост высокий;  
Я видел, я сдерживал слез потоки.  
Он глаз не закрыл, не зажмурил веки.  
Он был так молод, а смерть ужасна.  
Я видел, как Ригас сорвал повязку  
И встал в поднебесье, открытый взору,  
И как с эшафота глядел печально,  
Бросая на родину взгляд прощальный  
Пред тем, как с юною жизнью расстаться...  
И вышиб палач из-под ног опору.  
Нет слов для печали! О, все возмутятся  
Той гибелью, делом австрийской измены!  
Но встанет ли мститель из недр народа?

А там уже луч золотой восхода,  
Росу отряхая в ночной прохладе,  
На мертвого бросил свой блеск мгновенный,  
На бледный лоб и на черные пряди.  
Лицо выражало могучую силу.  
Из пытки он вышел непобежденный.  
Казалось, в нем скорбь земную сломила  
Скорбь вечности, долгой, глухой, бессонной.

14

Вдруг лодочка, одна из многих лодок,  
Зашевелилась ловко меж судами,  
Как в зарослях петляя камышовых.  
Ее хозяин-турок, быстр и ловок,



*Словно почувствовал Ригас бессмертье,—  
Может быть, только бессмертие славы.*



*Вдруг лодочка, одна из многих лодок,  
Зашевелилась ловко меж судами...*

Держа весло обеими руками,  
Гребет, зевая искусством потешая,  
Фонтаны брызг вздымая то и дело,  
Где радуга стоцветная горела.  
А лодочка резвится, как сирена:  
То в глубину лазурных волн ныряя,  
То поднимаясь с ними так, что пена  
Бьет серебром о парус полотняный.  
И кажется: не лодочка простая  
Срезает волны,— птица золотая  
Все ближе к мачте с вымпелом султана,  
Летя туда, куда под страхом казни  
Запрещено всем лодкам приближаться!  
Ее не отгоняют янычары,  
Она не пробуждает в них боязни,  
Затем, что в этой лодке золотистой —  
Все видят — девушка сидит, и хором  
Все зрители шутливо проклинаят  
Наряд турецкий, скромный, ненавистный,  
Закрывший доступ любопытным взорам.  
Она в накидке из густого шелка  
И в белом златотканом покрывале,—  
В них даже ветер не нашел бы щелки,  
Они ее лица не выдавали.  
Быть может, под защитой покрывала  
Дитя гарема, любопытством детским  
Влекомое иль страхом, пожелало  
К убитому поближе приглядеться.  
А может быть, таятся под фатою  
Глаза пытливые или пустые.  
Так обрывают листья роз порою,  
Так смотрят эти ангелы земные  
На гибель сердца, розы, человека.

Вот и фрегат. Так близко от спардека,  
И лодочка, рывком весла подъята,  
Взлетает вверх и бьет о грудь фрегата.  
Вдруг серый дым встал над ее бортами,  
И пламя серы, голубого цвета;  
Гребец застыл на миг, смотря на пламя,  
Когда ж огонь до рук его достигнул,  
Чалму он скинул прочь и в море прыгнул.  
Ему вослед ударили мушкеты,  
Но он мгновенно под водою скрылся

И вскоре вновь вдали волну раздвинул,  
И над водой внезапно появился,  
И громкий смех навстречу туркам кинул.  
Смех троекратно подхватило эхо,  
И солнца луч в лицо пловцу ударил.  
Как мог я Ламбро не узнать по смеху?  
Я видел пред собой лицо корсара.

15

Сгорела лодка, но голубоватый  
Сернистый пламень все еще лобзает,  
Как мраморную чашу, борт фрегата,  
То вспыхивает он, то опадает.  
Пополз по палубе, стеною алой  
Встает внезапно, полыхая быстро.  
Средь тучи дыма заблудилась искра,  
Звездой падучей в паруса упала.  
Огонь на мачту лезет вверх поспешно,  
Он в корпусе находит сотни щелей;  
Трещат канаты, стекла полетели;  
Обуглясь, мачта падает со звоном  
На палубу, где стон и ад крошечный,  
И треск снастей с людским смешался стоном.  
Смолкают вопли, гул огня стал тише.  
— Быть может, ухо к стонам привыкало? —  
Вдруг новый грохот, пламя новых вспышек,  
И, словно волей ангелов могучих,  
Ни пламени, ни корабля не стало.  
Лишь пена белая... Круги в лазури  
Да лодочки, колеблемые бурей,  
И пепел падает на них летучий.

16

Так Ригас был почтен похоронами.  
Не в мраморном он истлевает склепе,  
Костер ему зажгли под небесами  
Из вражьих тел, дубов... И не в гробницу,—  
На дно морей его опущен пепел.  
Но грустен жребий молодой девицы:  
Великая была в ней, видно, сила!  
Не дрогнула, не выказала страха,

Когда ее пожаром охватило.  
Упала в лодку пламенем и прахом.

17

А Ламбро в море от врагов укрылся.  
Доплыл он до корсарского корвета,  
Позвал паж и на ковры свалился  
В беспамятстве. Безумия примета,  
Текли слова бессвязно за словами.  
Туманна мысль,— в словах безумье жара.  
Он говорил: «Пора сменить нам знамя!  
Пора, пора! А если не восстанут,  
Увидя крест на знамени корсара?  
Иль скажут: «Он безумец, слишком рано!»  
О, сколько же еще терпеть смертей нам?  
Ступай, мой паж, на острова родные,  
Пройди по клефтским селам, по кофейням.  
Дознайся, есть ли там еще живые,  
Встает ли мститель на могильных плитах?!  
Потом вернись поить меня забвеньем,  
Со мной за каплю зелья препираться.  
Мне тяжело, и нет конца сомненьям.  
Вернись, чтоб сонный мне подать напиток,—  
Хочу я видеть сны и спать часами...  
Но должен жить, за Грецию сражаться...  
Ступай, вернись с хорошими вестями».  
И я пошел.

Но тут певец смутился,  
Почувствовал, что слово изменило.  
Лицо скрывая, к лютне наклонился,  
Провел рукой, ударил с полной силой,  
Взглянул на греков. Но они молчали.  
Он усмехнулся, бросил взгляд презренья  
И вышел. А за ним неслышной тенью  
Пошла гречанка в длинном покрывале  
И кликнула его. Иль торопилась  
Узнать той песни тайное значенье?  
И долго, долго их беседа длилась  
На улице, луной посеребренной.  
Она просила; он не соглашался.  
Но, видно, упросить она сумела.  
Когда расстались, у него на пальце  
Кольцо с алмазом под луной блестело.

## Песня вторая

### 1

В каюте Ламбро ночь сгущает тени.  
Янтарь окна чуть светится во мраке,  
Омыт волной... И, как в самой геенне,  
Багряный блеск в могильной тонет сени.  
Да, это ад! И роковые знаки,  
У адского начертанные входа,  
Здесь также страшным веют предсказаньем:  
Входящие, оставьте упования.  
На протяженье часа здесь стареют;  
Когда бушует в море непогода,  
И паруса скрипят, и стонут реи,  
Попробуй чувства цепью сжать железной;  
Они не внемлют голосу рассудка,  
Охвачены одной тревогой жуткой,  
И кажется, весь мир валится в бездну.  
Здесь кто-то есть живой. Хоть очертанья  
Его не разглядеть за этой мглой,  
Но слышно чье-то тяжелое дыханье.  
Кто здесь при жизни в склепе замурован?  
Кто бодрствует, не ведая покоя,  
А если спит — кто тяжким сном окован?

### 2

Паж входит... Он принес хрустальную лампаду.  
Склоняясь над столом, не поднимая взгляда,  
Сидел корсар. Он вздрогнул, просыпаясь.  
Свет был назойливым; он, как толпа людская,  
Увидев бледный лик, орет: «Безумец это!»  
И Ламбро стал менять лицо в угоду свету.  
Из нежного оно суровым стало, твердым,  
Насмешкою зажглось, пренебреженьем гордым,  
И равнодушным, и спокойным было,  
И — как у мертвого — оно застыло.  
Теперь он отдыхал. Бесстрастный и холодный,  
Он у стола сидел. На карте мореходной  
Он руку задержал. Земля и океаны  
Под ней как бы в стальных петлях Левиафана.  
Здесь, в этой комнате, и стены дышат кровью.  
Лампада, сорванная с алтаря в часовне,



Разбойнику теперь льет свет, как прежде Богу.  
А отблеск месяца у самого порога  
Лежит, как будто снег на вражеских знаменах,  
Отобранных в боях у кораблей плененных.  
Их шелк трещит у Ламбро под ногами.  
Пергамент на столе; златыми письменами  
Горят на нем слова турецкого султана,  
И череп, как печать, лежит поверх фирмана.  
Размером с головой султанской он сравнится,  
Он желт, всех черепов прекрасней, и лоснится.  
Вот дорогой кинжал в крови лежит, ржавея;  
На чаше бронзовой свернувшиеся змеи  
Сплелись и тянутся полакомиться ядом.  
Всю жизнь изгнанника прочтешь единым

взглядом,

А зеркала вдоль стен каюты словно совесть:  
Поверхность их мутна, запутанна их повесть.  
Покрыты сыростью и с каждым днем темнеют,—  
Того, что видели, пересказать не смеют.

Но вслед за бурями здесь настает затишье.  
И мысли вдаль летят, и ухо Ламбро слышит,  
Как замыслом его о бое отдаленном  
Отвечствует вода журчаньем монотонным,  
И капелек ее струится звон стеклянный,  
Как будто бы в саду лимонном плач фонтана.

### 3

Зачем же медлит паж? Иль он не хочет  
Дать господину сонного настоя?  
Ведь Ламбро, как безумный, в час полночи  
Обычно жаждет полной ядом чаши.  
На бред меняет он часы покоя,  
Мечтами он поит воображенье,  
Жизнь для него — докучных снов течение,  
Мечтанья для него всей жизни краше.  
Одною каплей, что ни день, полнее  
Та чаша,— в ней безумный бред скрывался.  
Корсар бледнел, взор ярко разгорался,  
И Ламбро в царстве духов мыслью реял,  
Но неизбежно снова пробуждался  
И, пробудясь, страдал, томился снова,  
Молил пажа о лишней капле яда;

Но паж вел каждой капле счет суровый,  
Бросая чашу в море без пощады.

4

Давно настала ночь. Но что случилось?  
И где же паж с напитком для корсара?  
Корсар молчит, хоть бледностью покрылось  
Лицо его. Иль сердце устрасилось,  
Что память пережитого кошмара  
Затмит мечты? Пред ним фрегат горящий,  
Весь пламенем охваченный багровым,  
Наполненный стенаньем, криком, ревом,—  
Обрек его на гибель ангел мстящий.  
Корсар сегодня не пригубит яда,  
Привычку ломит, будет ждать рассвета.  
Безумные кругом бросая взгляды,  
Выходит он на палубу корвета.

5

А ночь тиха. Лишь ветерок случайный  
Ласкает парус легким дуновеньем,  
И напоен стеклянный воздух тайной,  
Сияньем лунным, сладостным томленьем.  
Сапфирный свод так низко опрокинут,  
Что мачта там, над головой высоко,  
Не смеет устремить свою вершину,  
Чтоб не коснуться неба ненароком.  
То не дельфины на воде играют,—  
От лунных бликов серебрится влага,  
И острова лимонные мерцают  
Сквозь голубую даль Архипелага.  
Порой скала на горизонте встанет  
В короне звезд иль в снеговом уборе,  
Скользнув по месяцу, куда-то канет...  
Порою с плеском волн приносит море  
Песнь соловья с недалних побережий,  
И, опьяненный розой, тихий ветер  
Волну неверную слегка колышет,  
И все оттенки тонут в синем свете,  
И запахи — в дыханье влаги свежей,  
И звуки тихнут средь великой тиши.



*Корсар сегодня не пригубит яда,  
Привычку сломит, будет ждать рассвета.*

Он встал на палубе. Команда судна  
Пытливо долго издали глядела  
На страшное лицо. Оно белело чудно,  
Оно в сиянье лунном голубело.  
Ушли матросы. Ламбро повернулся  
К далеким скалам и смотрел в молчанье.  
И думы плыли... Вдруг он пошатнулся,  
Склонился... рухнул, потеряв сознание.

6

Сбежались люди. Он лежал на деке,  
Весь побелев, почти что бездыханный...  
Когда же Ламбро принесли в каюту,  
Паж закричал пронзительно, неожиданно.  
И вдруг на крик корсар приподнял веки,  
Как будто жизнь обрел он в ту минуту,  
И в забытии проговорил с тоскою:  
«Кто здесь кричал, кто плакал надо мною?  
Узнал я голос тот неповторимый,—  
Рыдает он и безраздельно любит.  
О паж! с тобою кто-то был незримый!  
Ах, этот голос! Он меня погубит!  
Крик девушки мой сон прервал невольно,  
Он и во сне потряс меня до боли.  
Я руки сжал... и напряженьем воли  
Восстал из мертвых... Где ж она? Не знаю.  
Здесь только паж. Как сладостно и больно  
Я чары этой ночью ощущаю!  
О ночь! Зачем ты не была мрачнее!  
Я проклял ночь и проклял гладь морскую!  
Какая тишь. О буря, грянь скорее!  
Взгляну ли я на море, затоскую,  
Взгляну ли в глубь тоски своей, бледнею...  
Мне сердце мгла окутала снегами.  
Но все минуло. Ночь я промечтаю!  
Налей же чашу полную, с краями...  
Устами к этой чаше приникая,  
В ней смерть я узнаю. Но укорижны  
И слез не надо мне в судьбе разбойной.  
Я не умру, покуда стон отчизны  
Молитвой будет мне заупокойной».

И паж, послушный слову господина,  
Дал чашу и неслышно удалился.

Наполнена питьем до половины,  
Была та чаша дорогой работы.  
Корсар взял чашу, жадно к ней склонился.  
С его лица струились капли пота.

7

Выпил... Лицо озарилось румянцем,  
Словно упал с него занавес мгlistый.  
Вспыхнуло пламя безумья багрянцем  
В светлых глазах его, ясных, и чистых,  
И отражавших глубокие дали.  
Жаром горячим глаза заблистали,  
Цвет потеряли — одно только пламя —  
И увлажнились внезапно слезами.  
Замер, челом на ладони склоняясь,  
Смотрят глаза, но они неподвижны,  
Жилки на бледных висках засветились,  
Словно побеги плюща извиваясь.  
Кудри, как листья в день тихий осенний,  
Затрепетали и зашевелились.  
Хоть неподвижен он, как изваянье,  
Мысли витали в кошмарах видений.  
Сны оживали в безумном сознание,  
Делались явью, и бред обрывался,  
Но, как разрубленный змей, содрогался.  
Тсс! Это Ламбро, волшебным дурманом  
Ввысь унесенный к лазури небесной;  
В очаровании чувств несказанном,  
Словно покончил он с жизнью телесной.  
Слово, чуть начато, — в смех переходит,  
Смех оборвется, со вздохом глубоким...  
Крылья ль уносят, иль руки уводят  
Сонного в небо воздушной волною?  
Мысли и память о прошлом далеком  
С чаши весов пали сами собою.

Встал неподвижно... и тысячи молний  
Огненным кругом над ним заблистали,  
Тысячи рук замахнулись безмолвно,  
Словно архангел, блистающей сталью  
И потонули в пространстве сапфирном,  
Темно-прозрачном, глубоком, обширном,  
Как бесконечность... Лишь море шумело.

А в глубине голубого предела  
Ярким виденьем вставало в сознание  
Многоколонное легкое здание:  
Светом очерчены в тверди бездонной,  
Справа и слева вздымались колонны  
В самое небо. Одна половина  
Вся утопала в сиянии лунном.  
Так по ночам озаряет долины  
Светом серебряным месяц прозрачный.  
Слева все было огнисто и мрачно,  
Как в преисподней. Зерцало эгиды  
Здание венчало блистающим сводом.  
Духов склонившихся кариатиды  
Призрачным двигались хороводом.  
Ближние — словно исчадия ада,  
Но, уходя в обе стороны в воздух,  
Все уменьшались, сияя, как звезды,  
И пропадали в конце колоннады.

И Ламбро ждал, едва дыша. Покои  
Воздушные, куда стекались тени,  
Легчайшее из легких дуновений  
Могло бы в бездну унести с собою,  
Могло бы сонмы духов уничтожить.  
И Ламбро ждал и сдерживал дыханье,  
Чтоб зеркало волшебств не потревожить.  
Порой он тени узнавал людские —  
Давно умерших клефтов очертанья.  
Бесчисленные, бледно-голубые  
Иль мрачные в мерцании огнистом,  
Кружились сонмы их, подобны листьям,  
Когда их вихрь метет порой осенней.  
И все они в ответ на взгляд корсара  
Суровее глядели и надменней;  
Но Каина печать была им кара,—  
Еще не сбросившим земных уборов,  
Им места нет среди небесных хоров;  
Перед глазами Ламбро, в дымке синей,  
Пурпурным блеском золота украсясь,  
Они блистали, как блестит оазис,  
В серебряной и огненной пустыне.

И призраки корсара окружали  
Тугим кольцом. Их были миллионы...

А он стоял, их взглядами пронзенный...  
Казалось, что ему глаза открыли  
Они насильно. Их встречая взоры,  
Он чувствовал немые их укоры.  
И громкими кричали голосами:  
«Мы шли на смерть, а ты не умер с нами!»

8

Лицо корсара исказилось мукой.  
Уста открыл, но говорить не мог.  
С ковра поднялся, вытянувши руки:  
«Живу!» — и каждый звук ему был труден —  
Он крикнул. Сон казался непробуден.  
И все ж проснулся, — сон свой превозмог,  
И оглянулся: «Паж, еще дай чару!  
Я мало выпил пламенного яда,  
Меня земная мучила досада.  
Да, я живу! Ужаснейшую кару  
Мне небеса послали в наказание...  
Быть в мире оборвавшейся струною,  
Чей звук счастливых бьет в миг ликования,  
Иль быть как будто крышкой гробовою,  
Которая сперва глухим стенаньем  
На горсть земли еще ответить может,  
Потом молчит. Верни меня мечтаньям!  
Налей мне зелья, паж, и пить я буду,  
Пока все мысли я не позабуду  
И ту, последнюю, что сердце гложет!  
Паж, кубок дай!» — «Напрасное желанье!  
Вернуть тот кубок у меня нет силы...  
(То было ложью.) Дал ты приказанье,  
И я тот кубок в море уронила!...»

Под страшным взглядом Ламбро паж запнулся,  
Корсар глядел ему в лицо, не видя,  
И, сделав шаг, к лицу пажа нагнулся,  
Водя руками, громко крикнул: «Ида!  
Нет, это злые духи преисподней  
Прислали оборотня мне сегодня,  
И он за мной повсюду ходит следом.  
Вам, демоны, удел ее неведом!  
Она жива! Сегодня в час рассвета  
В одежды Иды кукла мной одета,

И эта кукла турок обманула,  
Они не распознали нашей мины <sup>1</sup>...  
О, если б Ида с лодкой потонула,  
Не стал бы я спастись из пучины!  
Зачем же этот призрак здесь со мною?  
Зачем опять ее лицо мелькнуло  
В чужом обличье? Лампу приоткрою.  
Паж, подойди».

Но паж, скрывая трепет,  
Схватил старинный кубок с позолотой,  
Себя не помня, влил напиток белый,  
И капли яда падали без счета.  
Он к Ламбро робко подошел, несмело,  
Глаза рукой от света прикрывая,  
И подал кубок, собственную тенью  
Докучный свет лампы затемняя.  
Но Ламбро жажды чувствовал томленье,  
И отягченные дремотой взгляды,  
Пажа минув, устремились к яду.

9

Выпил. Лицо разгорелось мгновенно.  
В блеске очей, в обезумевшем взоре  
Тайны неведомой знак сокровенный,  
Словно предвестник грядущего горя.  
Снова почудились те же покои,  
Те же видения взору предстали.  
Клефты его окружили толпою.  
Что они скажут? Но клефты молчали.  
И перед ними два ангела встали:  
Первый — весь пламенный, соткан из молний,  
Вид его для человека смертелен, —  
В помыслах Ламбро зачатый когда-то,  
В мире реальном он не жил доселе.  
Ангел второй был, казалось, исполнен  
Лунного блеска и трижды крылатый <sup>2</sup>.  
Ангелом Господа был он от века,

---

<sup>1</sup> Во время последней войны за независимость греки часто подводили под турецкие суда свои зажигательные корабли, на которых были помещены, чтобы не возбуждать подозрений у турок, куклы или так называемые манекены. Эти ладьи имели вид торговых кораблей.

<sup>2</sup> Изображение ангела, заимствованное у Мильтона.



Ныне же крылья поблекли печально,—  
Ведь омывает их ангел опальный  
В горьких от скорби слезах человека.  
С пламенем чаша в руке его правой,  
В ответах синих черты голубели...  
Ламбро услышал, как ангелы цели  
Гимн ужасающий и кровавый.

### Гимн первого ангела

О море, о море людское!  
Шумишь и бушуешь, но ветер утихнет —  
И ты неподвижно... Что вырвет тебя из покоя?  
Поманит ли слава, любовь ли подвигнет?  
    О море, о море людское,  
    У тронов лежащие в униженье!  
Вас враг погубил, вас осталось немного,  
В молитвах склоняясь, молили вы Бога,  
Но мне вы молились,— я Ангел Отмщенья.  
Меня, погибая в последней молитве,  
Зовет умирающий. Перед могилой,  
Где родичи встали толпою унылой,  
Когда вспоминают погибшего в битве,  
Меня вспоминают,— меня, а не Бога.

К Стамбулу летела  
Крылатая погань,  
Голодная, села  
На улице тучей.  
Но башни с мраморными главами  
Из тучи летучей  
Мечети подняли  
И своими каменными стопами  
Рай саранчи затоптали.

Но черная злоба той стаи голодной  
В единую мысль воплотилась.  
И, падая, мрамор глодали холодный  
И гибли, но мысль их во мне возродилась,  
Месть гибнущего народа.  
Кто выбрал меня в дни всеобщей боязни,  
Тот должен отринуть людскую природу,  
И, если друзья испугаются казни  
И станет все больше могил на кладбище,

Где глухо отчаянье стонет,  
Ему усмехнусь я улыбкой застывшей,  
И смех сатанинский в нем взгляд мой разбудит,  
А плакальщиц хор укорять его будет,  
Что с ними в слезах он не тонет.

Слеза ослабляет мой дух дерзновенный,  
И солнце его ослепляет.  
Но, словно вечерний цветок сокровенный,  
Он в свете луны оживает.  
Я турок встречаю у самой мечети,  
В сердца их, готовые Богу открыться,  
Молитву вонзаю на остром стилете  
И в памятной книге боев и сражений  
Кровавым мечом открываю страницу,  
Зовущую к мщению.

#### Гимн второго ангела

Где пальмы в пустыне и свод раскаленный  
Пронизан горящими искрами зноя,  
Весь день, ураганом горячим рожденный,  
Я жду, как шакал, окончания боя.

Когда же покрыты пески мервецами  
И встретят шакалы их радостным пеньем,  
Луна и двух раз не взойдет над песками,  
Я, Ангел Чумы, полечу по селеньям<sup>1</sup>,  
Дыханием жен и детей заражая,  
Чтоб долго о мертвых они не рыдали.

То кровь на крыле моем светит людская,  
Хоть волны морские его омывали.  
Лечу обращать поселения в пустыни,  
И люди в столицах трепещут, заслышав,  
Как я проплываю над самою крышей  
Воздушной рекою, прозрачной и синей.

Лечу из султанской столицы.  
Там сотню голов срубили,

---

<sup>1</sup> Чума, которая отомстила недавно предавшей наше дело Европе, подсказала мне мысль соединить в одном образе ангела чумы и ангела мести.

На колья их насадили;  
К закату повернуты лица,  
Как к солнцу желтый подсолнух,  
И смотрят очами безмолвно  
В туман над родными горами,  
И каждая, словно живая,  
Кровавыми плачет слезами.  
Я их на месть вдохновляю:  
«Вот вам оружие, мстите!  
Город от края до края  
Цепью чумной окружите!»  
Запах гниющего мяса...  
Люди бегут за ворота...  
Город чумой опоясан,  
Падают ниц, как в поклонах,  
И умирают без счета.  
Головы, словно в коронах,  
Трупам дают приказанья.

Из Сирии с данью  
Веду бригадину  
По синему морю  
И в порт направляю.  
Но встала немая,—  
Ни лодки, ни шлюпа!  
На мачте в дозоре,  
Взирая на трупы,  
Я сам восседаю.

Храбрые ныне  
В прах обратились.  
Велю, чтоб могилы открылись!  
Заговорили:  
«Дух златокрылый!  
Возьми с могил огонечек синий  
И мсти...» Взял их дуновенье,  
Мстить улетаю...  
Меня называют  
Мертвые Ангелом Мщенья.

Внезапно песнь двух ангелов прервалась;  
В его бреду те звуки возникали,  
Они взлетали вверх и ниспадали,  
Как будто песня в горле задыхалась.

Он встал... и пошатнулся... и бесшумно  
Пал на ковер. Дрожащими губами  
Он начал говорить, и взор безумный  
Еще пылал горячечными снами,  
И демоны могли бы устраситься,  
Его лицо увидя восковое.  
Он говорил: «О ангелы-убийцы!  
Вы месть нарисовали мне такую  
Прекрасною,— прекраснее всех гурий!  
Она зажгла мне сердце грозной страстью.  
Угаснут сны, но в ней найду я счастье.  
Я для нее средь мыслей, смятых бурей,  
Рай чувства сотворю,— сады Эдема.  
Не буду одинок, хоть монастырской  
Стеной навеки отдален от Иды.  
О месть моя! Когда кругом все немо,  
Мне мир поднять рукою богатырской  
И вновь, как в преисподней Данаиды,  
Лить кровь без устали в сосуд дырявый...  
Иль сам не отомстишь ты, Боже правый!  
Здесь до меня твои посланцы, Боже,  
Приносят замысел великий, грозный;  
Пылают письма огнем на лицах,—  
Значенья их мой ум понять не может.  
Народ мой, слышишь? Мстить еще не поздно!  
Нет, не сегодня... Голова кружится...  
Пусть завтра, только не сегодня... завтра.  
Сегодня дам видениям свободу  
И мысль одну из роя сновидений  
Я выхвачу,— то мысль о Воскресенье.  
И растворю в крови, как Клеопатра  
Свой жемчуг в уксусе,— и дам народу.  
Но, может быть, в безумном ослепленье,  
Народ отвергнет кубок?... О, проклятье!  
Проклятье, если кубок мой отринут  
И, не приняв его, меня покинут,  
Увидев кровь, испуганные братья!  
Ведь мысль, которая в нем растворилась,  
Бесценный дар,— она лишь Богу снилась...  
Понять мне надо,— все увидеть ясно,  
Чтоб семена скорее дали всходы.  
Мсть человека... Мщение народа...  
В сердцах и мыслях... но все мысли гаснут...  
Меня опять уносит рой видений,

Я чувствую их сердцем, вижу глазом;  
Мне воздух кажется большим алмазом,  
Где тысяча играет отражений!

О сумрачные виденья!

Сменяются быстро картины!

Корабль мой корсарский у края пучины  
Внезапно на воздух взлетает,  
И Ангел Чумы направо,  
Налево Ангел Отмщенья,  
И снасти лучами сияют,

А море лазурное величаво,  
О грудь корабля не ударит волнами,  
И мачты его не шумят парусами,

Но слышу: лечу я,  
Как призраки в пору ночную.  
Под мглистыми пеленами,  
Слегка голубея,  
Мелькнул край прибрежный,  
Исчез за дымкою снежной.  
Трепещет пальма на склоне,  
Подобно жрецу Иудеи,  
Который подьмет ладони  
К луне и лицо отвращает,  
Творя неумолчно моленья.

И Ангел Отмщенья рулем управляет;  
Горят берега от его приближенья,  
И пальмы-колонны пылают в эфире,  
И все уже пламенем дышит и дымом;  
Одни кипарисы стоят нерушимо,  
Как черные стражи ушедшего мира...

Еще берега, колонны...  
И группы мраморных статуй...  
Кой-где минарет угрюмый.  
Чертополох и мята  
Шумят, как сады Вавилона,  
Своим заглушая шумом  
Унылый вопль муэдзина.  
Лавровая роща, долина...  
Оливы... Еще колоннада,  
И вот обезглавленный храм Зевеса.  
О гордая ласточка, ты ли  
У самого края отвеса  
Слепила гнездо? А в храме

Поругано все врагами.  
А ласточку не убили?  
О нет,— это дервиш нищий,  
Сантон, сложил здесь жилище <sup>1</sup>.  
Разрушенные колоннады,  
Лазурные неба громады,  
И видно далеко с моря,  
Как дервиш творит обряды,  
Святыни ногой попирая...»

Так Ламбро спал и видел сны, рыдая  
Слезами горькими стыда и горя.  
Взглянул на духов гибели и мести,  
Но их черты напоминали камень.  
Казалось, меркнет их мятежный пламень.  
«Народ, восстав, сумеет смыть бесчестье!»—  
Сказали... И корабль унесся в море.

Далеко там, на Босфоре  
Стамбул показался в тумане:  
И тысячи минаретов  
Чертили в небе рассвета  
Свои письма золотые,  
Записанные в Алкоране:

«Отмщеньем ты служишь всевышнему богу».  
А пламенный ангел с высот Ай-Софии  
Глядит на столицу... Но все вдруг темнеет...

«Паж, это ты разбил, наверно, зеркало,  
Где целый мир я видел отраженным!  
Ты это сделал! Все вокруг тускнеет,  
Дрожит и ускользает, и померкло.  
Теперь опять пред взором омраченным  
Встает рой мыслей прежних и сомнений.  
Увы! Увы! От ясных сновидений  
Вернуться к темной глубине рассудка!  
И взор блуждает, дна не достигая,  
В смятенье мыслей, в этой бездне жуткой.  
Луч разума, сознание обретая,  
Проснулся вдруг, от адских снов избавлен...»  
Корсар умолк. Одной объятый думой,

---

<sup>1</sup> В Афинах на развалинах храма Зевса турецкий дервиш построил свою хижину.

Лежал он, распростертый и угрюмый...  
Сорвался с ложа, крикнул: «Я отравлен!»

10

Он колебался, мысли сокровенной  
Боясь и выразить не смея в слове.  
Он ожидал, что смерть придет мгновенно  
И речь на полуслове остановит,  
И на крутом челе его, казалось,  
Отчаянье сквозь дрему пробивалось.  
Схватил кинжал он золоточеканный.  
Рука дрожала. Словно одержимый  
Иль бешенством внезапно обуянный,  
Над головой паж кинжал заносит,  
А самого то в жар, то в холод бросит,  
И сталь со звоном на пол покатилась.  
«Паж, ты глядишь глазами голубыми,  
Как Ида! Я тебя убить не в силах.  
Живи с людьми. Они тебя достойны.  
В сердца к ним проникай путем обмана.  
Тебя я жизни научил разбойной,  
Но счастьем обучать тебя не стану.  
Вот это золото с собой возьмешь ты,  
Купить ты сможешь сон и зелье злое.  
Возьми и кубок. Если доживешь ты  
До седины и будешь жить в покое,  
Велишь сынам налить его до края  
Румяным кипрским. Должен умереть я.  
Заснешь и ты. Нет, я не проклиная  
Поступок твой,— смерть шлет тебе проклятье!  
Да, смерть моя ничтожна, и позорна,  
И преждевременна. Мне мать-природа  
Вложила в грудь таинственные зерна,  
В них мысль самоубийственная. Всходы  
Пробились, как сорняк неприхотливый;  
Росли во мне, росли и буйно зрели.  
Я ждал, чтобы пришел тот час счастливый,  
Когда душа, забыв о бренном теле,  
Сама порвет всех снов хитросплетенья,  
В сознание, с гордостью, без сожаленья.  
Тогда пускай со мной бы встали рядом  
Былых друзей воскреснувшие тени.  
Я указал бы им на чашу с ядом

И отошел с усмешкою презренья.  
Друзья... О, я был заподозрен ими...  
В душевной силе Ламбро усомнились...  
Но нет, не все от Ламбро отступились!  
И есть одна с глазами голубыми,—  
Ее я вижу... Нет! Игрой ночью  
То сатана дразнит! Вскипает злоба!  
Паж иль она? А я стою у гроба!  
Мертва? Жива? Умри, пойдем со мною!»  
Паж окровавленный упал. Корсар нагнулся,  
Чтобы вырвать нож. Не мог. Дрожа, поднялся,  
Ушел... Кровавый след за ним тянулся,  
Он рот полуоткрыл и задышался.

11

Так падших ангелов изображают.  
Все мысли на челе теснятся разом,  
Бессильны чувства и бессилен разум,  
И память неуверенно блуждает.  
Корсар уже не помнит преступленья.  
Три раза он пажа позвать пытался,  
И паж услышал. Слабое движенье  
Он сделал, чтоб ответить, и скончался.  
Шатаясь, Ламбро до стола добрался,  
До кубка дотянулся он пустого.  
Осадок черный в кубке оставался;  
Он кубок осушил и ожил снова,  
И сон на миг его оставил веки,  
Ускорив приближенье сна иного,—  
Так пламя вспыхнет и умрет навеки.

12

«Моя стихия — этот мрак беззвездный,  
Моя душа уже на грани ночи.  
Ночь вечности простерлась черной бездной,  
Людская мысль ее постигнуть хочет  
И, порываясь к ней, летит за нею,  
Теряется и вновь уйдет в мечтанья...  
Но я моею мыслью не владею,—  
Она ко мне не может возвратиться,  
Она познала ад существования.  
Пускай летит она и пламенеет,



Отмечена клеймом братоубийцы;  
Хотя в ничтожной искре зародилась,  
Но сердце от ее огня истлеет,—  
Отравой тронута, оно испепелилось.

. . . . .  
Как душно здесь! Зачем под эти своды  
Внесли цветы? Тлетворно их дыханье!  
Их запах ночью вас во сне находит  
И убивает, как воспоминанье...  
Разбейте окна, разломайте стены!  
Мне показалось... там, у изголовья,  
Благоухают розы и вербены...  
И, кажется, они запахи кровью?

. . . . .  
Оставляю по себе воспоминанье  
И славу, память о преступной жизни...  
И крови!.. О слава! Встать, как изваянье,  
На той гробнице, где лежит отчизна!

. . . . .  
Вы мне вручили жребий Иксиона  
И многого от Ламбро ожидали,  
Но были скованы у Ламбро руки:  
Я жил с людьми, толпою окруженный,  
И толпы, словно волны, набегали.  
Я не восстал, я перенес все муки.  
Уйдите, люди! Я ищу покоя!  
Лампада хочет умереть со мною?  
Гори, огонь! То мне пора угаснуть.  
Гори над телом мертвого корсара!  
Но тронул я рукой хрусталь твой ясный...  
Он в пятнах? Кровь?.. На палубе дерутся?!  
Враги напали, кровь сюда стекает...  
Я слышу: доски там трещат и гнутся!  
То пушка бьет в корвет. Гремят удары.  
Эй, все ко мне! О, если я бледнею,  
То не от страха! Все сюда, скорее!  
Взмахну еще я саблей, как бывало.  
Но как темно,— ужели все пропало?  
Проклятие тому, кто в гуще боя,  
Поддавшись страху, закричать решился!  
Проклятие волне, что в глубь пробоин  
Вторгается, грудь корабля ломая!»  
И вот корабль вздохнул, изнемогая.  
«Иду ко дну...»— И Ламбро вновь забылся.

Огонь погас. Спит Ламбро сном глубоким <sup>1</sup>.  
 Текут его последние минуты.  
 Чу... Тихие шаги неподалеку,  
 И кто-то открывает дверь каюты,  
 Неслышно в комнату мучений входит.  
 «Молчат,— сказал.— Знать, оба сном забылись».  
 Открыл фонарь потайной, луч наводит...  
 Отражены зеркальными стенами,  
 Его черты отчетливо явились.  
 Одежда на убор пажла похожа,  
 Он строен был и станом гибок тоже,  
 Но только с черными как ночь глазами  
 И старше. Красотой не привлекало  
 Его лицо, но странно повторяло  
 Усмешку Ламбро, мертвенную бледность,—  
 Свидетельство того, что слишком рано  
 Созрел душой, что жизненные раны  
 Всех чувств людских ему внушили тщетность.  
 Он постоял и вслушался. Украдкой  
 Взглянул на дверь,— так человек решает  
 Себя не утруждать чужой загадкой,—  
 Сказал негромко: «Госпожа, светает.  
 Пришло нам время. Госпожа, скорее!»  
 Потом чуть громче: «Нам пора в дорогу,  
 Пока еще туман над морем веет.  
 Проснется Ламбро — покарает строго.  
 Хотя бы сто перстней ты мне сулила,  
 Не вынесу его стального взгляда:  
 За сто алмазов не хочу могилы!  
 Он отомстит, не знает он пощады!  
 Бежим, куда тьма не поредела,  
 Иль Ламбро нас... Нет ни секунды лишней!  
 Пол чем-то залит... Кровь? Здесь чье-то тело!  
 Фонарь открою... То она!! Всевышний!  
 В груди кинжал... Она убита! Боже!»  
 Замолк, а мыслей бурный бег тревожен.  
 Внезапно взор в окно каюты кинул  
 И закричал в испуге: «Солнце! солнце!»  
 В безумии схватил мешок червонцев  
 И, выбежав, дверной засов задвинул.

<sup>1</sup> Отравленные настоем опия засыпают, однако перед смертью пробуждаются.

Богиня ночи косы отряхнула;  
 Упали звезды в синие просторы;  
 Но все в лучах рассвета потонуло,  
 И утро встало над морской пучиной.  
 Корсар невидящие поднял взоры:  
 Еще во сне он был наполовину,  
 Еще вкушал полупокоей отрадней,  
 Как будто убаюкан непогодой.  
 Но боль, подобно нити Ариадны,  
 Из лабиринта снов его выводит.  
 Жестокий дух, который пьет рыдания,  
 Скуп на дары, их даром не бросает, —  
 За миг забвенья — новые страдания  
 И муки горшие он посылает.  
 День лился в окна — светел, благодатен.  
 Корсар увидел кровь, склонился к телу:  
 «Я узнаю кинжал по рукояти,  
 Мой собственный кинжал. Я это сделал!  
 Ужель так тесно был я в жизни связан  
 С людской толпой? Ужели одиноким  
 Нельзя мне умереть? Зачем обязан  
 Я знать, что люди, сломленные роком,  
 Как листья в бурю, падают со мною.  
 Мне горько, как под рухнувшей стеною,  
 Случайно умереть со всеми разом,  
 Погибнуть смертью бесполезной, темной  
 И знать, что громкий стон людской покроет  
 Твой вздох предсмертный, что тебя не вспомнят,  
 Что память должен ты делить с толпою...  
 Взглянув в лицо паж, хочу увидеть,  
 Как бледен, как меня он ненавидит».

Слегка отвел тюрбан окровавленный  
 Со страусовыми перьями густыми  
 И, как небесным громом пораженный,  
 Чуть не упал, когда вдруг повстречался  
 С недвижными глазами — голубыми.  
 За рукоять клинка невольно взялся  
 И, дернув, отшвырнул. Нож покатился,  
 А на губах был горький вкус дурмана.  
 Он вспомнил все, отпрянул, возвратился,  
 Потом рукой, дрожащей от печали,

Сорвал тюрбан,— тогда из-под тюрбана  
Густые кудри вырвались, упали,  
Шурша свились кольцом над тонкой бровью,  
Вокруг лица сплетаясь ореолом.  
Ужасный вид! Запекшиеся кровью  
Запачкан аксамит ее камзола;  
Лицо ее печально и бесстрастно,  
И эта бледность, бледность алебаstra!  
Цветок увядший мертвою рукою  
Прижала к сердцу, как ребенок малый,  
К другой ладони прислонясь щекою,  
Не умерла, а будто задремала.

16

Призвав на помощь волю всю и силу,  
В отчаянье боролся он с собою:  
Так люди лгут самим себе — порою  
Стыдится сильный выказать страданье.  
И сердце сжалилось, готово было  
Ему дать слезы, словно подаянье.  
Он их не принял и отвергнул милость.  
Он муки тела вытерпел, не споря.  
Но миг прошел, и новый приступ горя  
Вдруг налетел, и все в нем надломилось.  
Он кудри рвал свои, и кулаками  
Он бил себя, и боевые шрамы  
Вскрывались вновь и кровью истекали.  
Что мучило его? В могучем теле —  
Теперь он это чувствовал яснее —  
Мученья яда что ни миг слабели  
И жизненные силы побеждали.  
Не умереть, а жить всего страшнее.  
«Так,— молвил,— в родовой моей гробнице,  
Средь волн лазурных моря, в час рассвета  
Я схороню ее. Еще ни разу  
Тень женщины не смела опуститься  
На палубу корсарского корвета.  
Наперекор я не пойду приказу,  
Мной данному. Не вынесу глумленья  
Тех, кто прощает только преступленья».

17

Он распахнул окошко бортовое  
И сел под ним, а взгляд далеко реял.



*Но миг прошел, и новый приступ горя  
Вдруг налетел, и все в нем надломилось.*

Сверкало море темной синевою,  
В тумане серебрясь, под солнцем рдея.  
Держал он Иду на груди широкой  
И долго с ней расстаться не решался;  
То взор свой в омут погружал глубокий,  
То к мертвой с тихой грустью обращался.  
Лицо ей ветер заслонял порою,  
Кудрей девичьих облаком играя.  
Дышал корсар душистой их волною,  
О днях былых печально вспоминая.  
Он в ней не видел бледности ужасной;  
Ее лицо, оттенками коралла  
Пленявшее, смерть ныне одарила  
Нежнейшим цветом, белизной прекрасной.  
В ее глазах он не читал проклятья.  
Казалось, движима любви порывом,  
Она корсару бросилась в объятья;  
Как бы не в силах вынести разлуку,  
К его груди прижалась боязливо  
И словно отвернулась от могилы,  
Внимая волн немолкнущему звуку,  
И, глядя в очи Ламбро, положила  
Виновную ему на плечи руку.  
Он лгал себе. Но мог ли притворяться,  
Хоть очи ни слезы не уронили,  
Когда пришлось от мертвой оторваться,  
Отбросить эту руку цвета лилий,  
Кудрей откинуть сумрак благовонный!  
Все муки он претерпевал безмолвно  
И бросил тело в море. Потрясенный,  
Смотрел, как разошлись кругами волны,  
Как вновь срасталась гладь воды разбитой,  
Как тело снова среди волн мелькнуло,  
Наполовину скрытое стихией,  
Ища как будто от нее защиты,  
Как, принимая формы неживые,  
Оно в глубинах моря потонуло.

А Ламбро,— дьявол иль бездушный камень,—  
Чуть наклонясь, бесстрастными очами  
Глядел. Улыбка на лице играла,  
Яд наносил последние удары,—  
Усмешка губы бледные разжала,  
И это был последний смех корсара.

Он на ковер безмолвно опустился,  
 Бледнел и гаснул, слабостью объятый,  
 Потом в ладони хлопнул он трикраты.  
 Старик матрос на зов его явился.  
 «Эй,— молвил Ламбро,— вот мое веленье:  
 Пусть поп, как в праздник, свечи зажигает  
 И громким голосом твердит моления,  
 В огне свечей и благовонном дыме,  
 За тех, кто на фрегате умирает,  
 И за усопших...»

«Но какое имя  
 Прикажешь поминать? В ком жизнь слабеет?»  
 «Пажа повесить высоко на рее!  
 Да будет с ним прощенье всеблагое!»  
 «О господин, приказ твой не исполню.  
 Твой паж бежал. Сегодня на рассвете  
 Он, видно, шлюп тайком спустил на волны.  
 Хоть у султана или в башнях Перы,  
 Где б он ни прятался на целом свете,  
 Но воронью его скормлю я сердце!»  
 «Но ничего... Пусть по обрядам веры  
 Скорее поп отходную читает  
 Над грешником... и мертвых поминает.  
 Оставь меня...» — И прошептал: «Со смертью».

Уже на черном знамени корвета  
 Лежат останки мертвого корсара.  
 Сошлась команда, молодой и старый.  
 Заупокойные молитвы спеты,  
 Курят кадила серыми клубами,  
 И свечи оплывают воском ярым.  
 О грозный образ красоты неожиданной!  
 Когда, следя за мертвецом глазами,  
 Подняли якорь, грохоча цепями,  
 Корабль поплыл, и Ламбро бездыханный  
 В последний раз с ним странствовал по морю.  
 Когда же трижды утренние зори  
 Одели в пурпур водные равнины,  
 Над телом Ламбро волны пасть сомкнули,  
 И тридцать пушек глубоко вздохнули  
 Над безответной синевой пучины.

# Альфред де Мюссе

## РОМАН

### I

Где времена, когда бессмертные, бывало,  
Гостили на земле, покинув небеса,  
Когда, рожденная из вспененного вала,  
Венера блещущие кудри выжимала,  
Животворя поля, и доли, и леса?  
Где времена, когда игрою своенравной  
Рой сладострастных нимф смущал речную тишь  
И дикой похотью воспалялись фавны,  
Которых тяжкий зной загнал в густой камыш;  
Когда лобзаниями Нарцисс будил глубины  
Зеркальных родников; когда, рассвирепев,  
Обрушивал Геракл, одетый шкурой львиной,  
На злые чудища свой правосудный гнев;  
Когда в стволах дубов сильваны озорные  
Дразнили путника, ветвями шевеля;  
Когда еще была божественна земля  
И были горести божественны земные;  
Когда был сонм богов — зато среди людей  
И слуху не было еще об атеистах;  
Когда был мир блажен, когда меж круч скалистых  
Лишь пращур Сатаны терзался — Прометей?  
Пусть на тебя потом повеял холод склепа,  
О человеческого рода колыбель,  
Пусть над развалинами римскими свирепо  
Пронесся ураган из северных земель,—

Где времена, когда над варварством и злобой  
Забрезжил век златой, в надеждах и цвету,  
И вместе с Лазарем наш мир восстал из гроба  
И головой взломал могильную плиту?  
Где времена, когда старинные сказанья  
На золотых крылах взлетали к небесам  
И в белом, словно снег, невинном одеянье  
Сияли верованье, статуя и храм;  
Когда, восстав из недр, подъяли к небу взоры  
Роскошные дворцы и стройные соборы,



Что были с первых дней осенены крестом;  
Когда очнулся мир, разбуженный Христом;  
И рос за храмом храм то в Страсбурге, то в Кёльне,  
К небесной вышине вздымая колокольни;  
И толпы без числа, стекаясь к алтарю,  
Осанной славили грядущую зарю;  
Когда вершилось все, о чем гласит преданье,  
Когда простер свой свет, объемля мирозданье,  
Крест беломраморный на всю земную твердь,  
И расцветала Жизнь — и уповала Смерть?

Христос! Я не из тех, кто благодати небесной  
Взыскует ревностно, входя в безмолвный храм;  
Я не из тех, кто путь вершит с Тобою крестный  
И падает к Твоим израненным стопам;  
Я не клоню колен перед священным входом,  
Покуда, лепеча смиренные псалмы,  
Трепещет твой народ под сумеречным сводом  
И гнется, как тростник под веяньем зимы.  
Не в силах верить я, Христос, в твои заветы:  
Мир одряхлел, и я родиться опоздал.  
Пронзают пустоту всё новые кометы;  
Был век отчаянья — безбожья век настал.  
Теперь в людских сердцах порою только случай  
Бесцельно бережит мечту веков былых,  
И призрак прошлого, повитый темной тучей,  
В пучину сталкивает ангелов твоих.  
Твой гроб, о Господи, колеблется над бездной,  
Распятие твое повержено во прах,  
И пылью образ твой подернулся небесный  
На наших нынешних эбеновых крестах.

Ну что ж! Безбожного столетья сын усталый,  
Я по тебе, Христос, заплачу на земле,  
Что в гибели твоей нашла свое начало  
И сгинет без тебя в пустой, холодной мгле!  
Кто к жизни этот мир вернет теперь, о Боже?  
Ты пролил кровь свою, дабы он стал моложе,  
Но кто еще твое деянье повторит?  
Не знавшим юности кто юность возвратит?

Всё так же дряхлы мы, как при твоём рожденье,  
Но ждем по-прежнему, когда настанет час;  
Во гробе Лазарь вновь простерся без движенья,



*Я не из тех, кто путь вершит с Тобою крестный  
И падает к Твоим израненным стопам...*

Но слишком сон его глубок на этот раз.  
О где Спаситель наш, несущий нам бессмертье?  
Где Павел — истины прибежище и столп,  
Прикрытый рубищем учитель римских толп?  
Где первых мучеников верность и усердье?  
На чьем челе венцу нетленному сиять?  
Чьи ноги умастит Мария из Магдалы?  
Чей голос возгремит из тучи, как бывало?  
Кто ныне, кто из нас сумеет Богом стать?  
Бесплодная земля томится в запустенье;  
Над ней отчаянье нависло мрачной тенью,  
И так она стара и немощна, как в год,  
Когда на ложе мук простерлась, бездыханна,  
Дабы воспрянуть вновь по слову Иоанна  
И в чреве ощутить грядущей жизни плод.  
Повсюду признаки упадка и бесчинства,  
Вновь век Тиберия и Клавдия настал,  
Сатурн последнее свое дитя пожрал —  
Надежде гаснущей постыло материнство:  
Сосцы, питавшие весь мир, истощены,  
И вот бесплодие ей навевает сны.

## II

Среди распутников всемирной той столицы,  
Где вольномыслием грешит и стар и млад,  
Где истари порок изысканный гнездится,  
В Париже, стало быть, блистал, как говорят,  
Распутством Жак Ролла. Досель еще в тавернах,  
Где буйствует разгул среди огней неверных,  
За зернью, картами, в забавах и пирах  
Не проводил ночей подобный вертопрах.  
Не в силах совладать с собой, он был игрушкой  
Своих страстей; Ролла глядел на их поток,  
Как смотрят с берега на мирный ручеек;  
Он был пристанищем, где тешилась пирушкой  
Их бледная толпа, топя тоску в вине,  
Где гости то впотьмах крушили мебель в зале,  
То в дикой ярости друг друга истребляли,  
Как гладиаторы, как звери по весне,  
То пели вразнобой, один другого пуще —  
Так, буйной стайкою слетев на куст цветущий,  
Исходит сотня птах в любовной пискотне.  
Отец героя был дворянчик простоватый,

Он в захолустье жил, именье проедал;  
Ролла воспитан был, как баловень богатый,  
Но унаследовал ничтожный капитал,  
И в девятнадцать лет он получил свободу,  
А между тем к труду был не приучен сроду  
И дарованиями тоже не блистал.  
Да он и не хотел закабалиться, кстати:  
Без смеха он о том и помышлять не мог,  
Чтоб в услуженье быть у богачей и знати —  
И, деньги скудные непринужденно тратя,  
Он был таков, каким его задумал Бог.

Однажды, выбившись из сил на ратной ниве,  
Геракл увидел двух к нему спешащих дев —  
Посулы Похоти податливой презрев,  
Он Доблесть предпочел: она была красивей.  
Но нынче красоты нет ни в добре, ни в зле.  
Мы не колеблемся меж тем путем и этим;  
Столетия минули — и мы за ними третьим  
Наезженным путем влачимся по земле.

Стезею прашуров Ролла пошел измлада.  
Что видит человек, въезжающий в Париж?  
Всё бойни, кладбища да ветхие ограды.  
Вот так и в обществе, куда ни поглядишь:  
Кишат распутники вокруг да пустомели,  
А целомудрые укрыты в цитадели,  
Стыдливость прячется, а вот уж на разврат,  
На проституцию — глазейте все подряд!  
И у людей юнец тогда лишь принят будет,  
Когда свой доблестный, как жар, горячий меч  
Употребит во зло — и навсегда остудит  
Клинок, ниспосланный ему, чтоб зло пресечь.

Все было у Ролла — отвага, блеск и сила,  
Всех истин прописных чуждался наш кутила,  
И, счастья не ища, привычкой не храним,  
Он чтит других богинь, повиновался им  
И жил по правилам гордыни и дерзанья.

В три кошелька сложив остатки состоянья,  
Три года радовался он сиянью дня:  
Равно глухой к хвале, посулам, укоризне,  
Был падок наш герой на все соблазны жизни,

К народам и царям презрение храня.  
Жизнь для него была подобьем маскарада,  
Где он — единственный, на ком личины нет.  
Но, словно золотым плащом Алкивиада,  
Высокомерием блистательным одет,  
Он, любопытствуя, глядел на белый свет.

Он не утаивал грядущего исхода  
От тех приятелей, с кем тешился гульбой,  
И часто повторял среди толпы народа,  
Что денежки свои растратит за три года,  
А после учинит расправу над собой.

Притом в его душе, возвышенной и тонкой,  
Жила доверчивость и простота ребенка.  
Не в силах бедняком себя вообразить,  
Он был незащищен: ему вооруженье  
Досталось хрупкое — и в первом же сраженье  
Не смог бы он удар смертельный отразить.

Когда рожденная на воле кобылица  
В пустыне за три дня от жажды истомится  
И освежительной грозы напрасно ждет,  
Но листья палм сухи по-прежнему и пыльны,—  
Все дальше в поисках воды она бредет  
И вот в тени ветвей, поникнувших бессильно,  
Находит высохший, безжизненный родник,  
А из-за скал меж тем несется львиный рык.  
И окровавленными чуткими ноздрями  
Она сухой песок взрывает, но на нем  
Лишь каплющая кровь расходится пятном,  
И меркнет солнца диск перед ее глазами,  
И вскоре ветер ей припорошит бока  
Безмолвным саваном зыбучего песка.

Не знала, гордая, что вслед за караваном  
Под крик погонщиков идти путем песчаным  
Могла бы и она — лишь дай себя взнуздать,  
А как придут в Багдад, там, верно, все найдется —  
И сено, и вода из чистого колодца,  
И раззолоченных конюшен благодать.

Пусть все из персти мы замешаны единой,  
Воспользовался Бог особенною глиной,

Когда он вылепил такое существо,  
Которое, пройдя Господнее горнило,  
Из всех земных богатств свободу возлюбило,  
Свободу выбрало — и больше ничего.

### III

То снег иль статуя виднеется в мерцанье  
Лампады золотой, за легкой синей тканью?  
Пожалуй, снег бледней, чем эта белизна,  
Но ослепительнее мрамора она.  
То спящее дитя... В устах полуоткрытых  
Порой родится вздох, нежнее и слабей  
Дыханья трав морских, покуда шевелит их  
Зефир, летающий над зеленью зыбей,  
Который весело парит над морем, чуя  
На крыльях аромат и пылкость поцелуя  
Покорных лепестков, и пьет росу шутя.

То спящее в ночи под пологом дитя.  
Дитя в пятнадцать лет — уже отроковица.  
Но чувства в девичьей душе еще молчат.  
И юный херувим понять напрасно тщится,  
Кто он — возлюбленный ее иль нежный брат.  
Она раскинулась, отбросив одеяла,  
А в пальцах тоненьких нательный крестик спит  
Ведь перед сном она молитву прочитала  
И поутру опять молитву сотворит.

Как целомудрием овевя лик прелестный!  
Во всех ее чертах стыдливость, дар небесный,  
Как будто молоко в воде, растворена.  
О как ее краса невинна и ясна!  
Быть может, в темноте, вокруг нее царящей,  
Еще разительней очарованье спящей,  
Сам вечер, кажется, набросил, трепеща,  
На ложе девичье край черного плаща.

Мы внемлем с тою же священной боязнью  
Дыханью детскому, как смертник перед казнью  
Шагам священника у роковой черты!  
Вот померанцевые в комнате цветы,  
Вот, близ распятия, молитвенник открытый,  
Всему свои места — и книжкам, и шитью...

Уж не припрятана ли прялка Маргариты  
Здесь, в тихом и простом девическом раю?

Не правда ль — как чиста младенческая дрема!  
Краса подобная с пороком незнакома:  
Над девственной душой не властны силы зла,  
Она внушает всем не страсть, а преклоненье,  
Как будто гонят прочь людское вожделенье  
Ревнивых ангелов простертые крыла.  
Но что за женщина садится в изголовье?  
О дева, кто она тебе? Угрюмый взгляд  
Не материнской ли туманится любовью,  
Вперяясь то в огонь, то в тусклый циферблат?  
А если это мать — кому же в час вечерний  
Приотворяет дверь она и теплит свет?  
Отец ли пожелал взглянуть на сон дочерний?  
Но у тебя отца давно, Мария, нет.  
Однако кто же он, ее хлопот виновник?  
Явились на столе и яства, и вино...  
И для кого свечей так много зажжено?  
Но ты, Мария, спишь — нет, он не твой любовник,  
И светлый, словно день, младенческий твой сон  
Доныне грозами любви не омрачен.  
А кто владелица измятой той накидки,  
Что сохнет у огня, измокшая до нитки?  
В ней столько сырости, что впору выжимать!  
Ужель она твоя? Лицо твое пылает,  
И непросохшая ко лбу пристала прядь...  
Зачем тебя под дождь, на холод посылают?  
Нет, эта женщина тебе, дитя, не мать.

Чу! Голоса... В дверях мелькают незнакомки,  
Полуодетые фигуры сквозь потемки  
Бредут: неверный шаг, бессвязный разговор  
Заполнили досель безлюдный коридор.  
Подвинули свечу, и в смежном кабинете  
Видны следы гульбы: бутылок полон стол,  
Остатки трапезы — там пир горою шел,  
И пятна винные темнеют в тусклом свете.  
Стук, хохот... Кто-то дверь захлопнул на бегу...

Нет! Примерещились мне шум и люди эти!  
Ни слуху, ни глазам поверить не могу!  
То мать твоя сидит. Все тихо в доме сонном,

Не дождевой водой, но маслом благовонным  
Омыты волосы; румянец на челе  
Навеян дремою в покое и тепле.

Но тише! Слышатся шаги по гулким плитам;  
Вот кто-то выступил вперед из темноты.  
Фонарь, колеблющийся в сумраке размытом...  
Приятель мой, Ролла, зачем здесь рыщешь ты?

О Фауст, разве ты не помышлял о смерти  
В ту ночь, когда тебя увлек Господень враг  
Под огненным своим плащом к небесной тверди  
И ты к мирам иным взлетел сквозь вечный мрак?  
Не ты ли, ангельским настигнутый напевом,  
Изведал тягостный кошунственный озноб?  
Не ты ли был готов, терзаем темным гневом,  
О стену разmozжить свой стариковский лоб?  
Да, на губах твоих отрава трепетала;  
Самоубийственный твой поощряя путь,  
Смерть неотступная в твою живую грудь  
Спиралевидное свое вонзила жало,  
И сердце старое разбилось, как в мороз,  
Обледенев, трещит и крошится утес.  
О дряхлый атеист, отринувший науку!  
Следил лишь ангела разгневанного взор,  
Как ранил ты свою морщинистую руку,—  
И, кровью грешною скрепляя договор,  
Ты в руки дьяволу предался с этих пор.  
Но разве над горой, одетой в панцирь льдистый,  
Или над рощами, над входом в темный грот,  
Или над бездною морских зеленых вод  
Рождался на заре такой же ветер чистый,  
Таковыми ливнями весенними согрет,  
Как этот бриз, твои овеявший седины,  
Когда, припав к плащу красавицы невинной,  
Ты полюбил ее — дитя в пятнадцать лет?  
Пятнадцать лет! Года Ромео и Джульетты  
В тот миг, когда они друг друга обрели  
И трели жаворонка, вестника рассвета,  
Прощальный поцелуй едва прервать смогли!  
Пятнадцать лет! Пора, когда плоды златые  
На древе жизненном приветствует весна,  
Когда, животворя воздушную стихию,  
Готово ветерку душистому впервые



Оно крылатые доверить семена!  
Пятнадцать лет! Пора невинности прелестной,  
Что создана была тобой, Отец небесный,  
Когда ты первую из женщин сотворил  
И совершенную красу земле явил!

Зачем запретный плод ты сорвала, играя,  
О Ева юная в венце златых кудрей?  
Твой Бог лишился вмиг бессмертия и рая,  
Но стал от этого тебе еще родней.  
Когда бы небеса тебе простили — снова  
Ты б отреклась от них для жребия земного:  
Делить с возлюбленным изгнаннический путь,  
А после умереть, припав к нему на грудь.  
Но вот в уснувшую красавицу угрюмо  
Вперяется Ролла; он словно удручен  
Какой-то тягостной и нечестивой думой,  
И содрогания унять не в силах он.  
Недешево ему досталась Марион:  
В уплату отданы последние пистолы.  
Об этом знают все. Входя под темный свод,  
Он клятву дал себе, что сам, по доброй воле,  
Покинет этот мир, едва заря взойдет.  
Три года, полные забав и упоенья,  
Три года, три хмельных, неистовых мгновенья,  
Истаяли вдаль, как утренний туман,  
Как перелетных птиц проворный караван.  
Повесе ночь одна осталась перед смертью,  
Та ночь, когда больной в горячечном усердье  
Взывает к Господу, а смертнику в тюрьме  
Свет покаяния является во тьме,  
Но он — христианин, мужчина! — позабыться  
В разврате предпочел. Беспечная блудница  
Дремала, юная, в постели пуховой —  
И на него озноб повеял гробовой.

О вы, девичество поправшие торговлей!  
Не лучше ль было бы под этой мирной кровлей  
Ей кости молотом тяжелым размолоть  
И острым лезвием изрезать эту плоть?  
Не лучше ль, нежного румянца не жалея,  
В лицо ей кислоту тлетворную плеснуть,  
Чем, лицемерно гладь озерную лелея, —  
Гладь, где невинные отражены лилеи, —  
Лить в озеро тайком отравленную муть?

Пленилась бы сама Любовь ее чертами!  
Когда б в тиши расцвел красы ее цветок —  
Какие бы плоды явились перед нами!  
Какое бы могло божественное пламя  
В таком светильнике родиться в должный срок!

Ты, злая нищета, отъявленная сводня,  
Растлила девочку, которая могла  
У древних римлян быть весталкою! Сегодня  
Молитву перед сном она произнесла...  
Молитву! Но увы, чтобы найти подмогу,  
Тебе она должна молиться, а не Богу!  
Твой голос матери корыстной нашептал  
В бессонной темноте ночной, сквозь шум ненастья,  
Когда на дом ее обрушились несчастья:  
«Невинность дочери — доходный капитал!»  
Ты перед шабашем сама ее обмыла,—  
Усопших моют так, дабы предать земле,—  
Ты нынче под ее накидкою спешила  
По грязной улице в сырой и стылой мгле!  
Кто знал, какой удел ей назначало небо,  
Ей, промышляющей бесчестьем ради хлеба?  
Ужель на этом лбу порок запечатлен?  
К ней страсти низкие привиться не сумели.  
Да, ей пятнадцать лет! В ней чувства спят доселе,  
Мария — имя ей, совсем не Марион.  
Пусть занята она постыдным, гнусным делом —  
Лишь бедность этому виной, а не расчет:  
За этим пологом, на покрывале белом,  
Заблудшее дитя, она торгует телом,  
А плату матери послушно отдает.  
Нет, вам не жаль ее, пленительные дамы:  
Вы нищеты чужой не видите упрямо  
И не желаете страданья замечать!  
Нет, вам не жаль ее, почтенные мамы:  
В похвальной строгости возрастают дочки ваши,  
А в спальне прячется любовник под кровати!  
В любви беспечней вы, прелестнее, живее,  
И тем не менее вы не ночные феи.  
Но призрак голода, назойлив и уныл,  
В убогой комнате не выросал пред вами,  
И, прикасаясь к вам бескровными губами,  
В обмен на поцелуй вам хлеба не сулил.



*Заблудшее дитя, она торгует телом,  
А плату матери послушно отдает.*

Ужели всем векам от сотворенья света  
Подобен ты, мой век? Стремительной рекой  
Ты мертвые тела уносишь на морской  
Лазоревый простор; а дряхлая планета  
Все видит — жизнь людей и жалкий их конец,  
Но, мерно проходя небесную дорогу,  
В порыве жалобном не вознесется к Богу,  
Дабы смягчился к ней наш Всеблагий Отец.  
Но если мир таков — проснись же, наконец,  
Полуодетое продажное создание!  
Завесой ветерок играет у окна,  
Бросает отблески вокруг бокал вина.  
Я за ночь уплатил — какое ликованье!  
На тайной вечери печален был Христос,  
А я за ужином повеселюсь до слез.  
Пускай испанского вина забрызжут струи!  
Да здравствуют любви хмельные поцелуи!  
Дух заблуждения, неси меня туда,  
Где ждет веселых нег и пиршеств череда!  
Так воспоем лозу, и жизнь, и гибель нашу!  
Свобода — за тебя я осушаю чашу!  
Пригубим и пройдем забвения черту!  
Восславим золото, и ночь, и красоту!

#### IV

Вольтер! Спокойно ли почишь ты в могиле,  
В усмешке пакостной скривив истлевший рот?  
Твои писания твой век опередили,  
Зато уж в наши дни настал и твой черед.  
Ты за подкопом вел подкоп трудолюбиво,  
Чтоб нам на головы великий рухнул храм.  
Смерть восемьдесят лет тебя нетерпеливо  
Ждала; ты чтил ее превыше прочих дам:  
С любовью адскою не сладить было вам!  
Быть может, брачное порой оставив ложе,  
Где вы милуетесь под крышкой гробовой,  
Ты бродишь, поступью бесплотную тревожа  
Безлюдный монастырь иль замок родовой?  
О чем твердит тебе пустынная обитель,  
В которую забыл дорогу человек?  
Алтарь, из-за тебя заброшенный навек?  
О чем твердят кресты? О чем твердит Спаситель?  
И не течет ли кровь из ран его опять,

Когда приходишь ты, святыни осквернитель,  
Его, как лист сухой, на древе сотрясать?  
Ты возомнил, что труд, который миру нужен,  
Исполнен? Ты, как бог, почивший от труда,  
Доволен делом рук своих? Ну что ж, тогда  
К герою нашему прошу тебя на ужин.  
Вот он за трапезой сидит, потупя взор.  
Сейчас к его столу подсядет Командор.  
То слышен поцелуй, то вздох сердечной муки...  
Так обнаженные сплелись в объятье руки,  
Как будто в плоть одну две жизни сведены.  
И жалобный упрек, и слезы униженья  
Под обеспамятевшим оком Наслажденья  
Трепещут на устах и в душах стеснены.  
Пусть небо на детей златой накинёт полог!  
Что им любовь? Их век покуда столь недолог,  
Что оба не были ни разу влюблены.

Откуда же у них бессвязный, нежный шепот,  
Слова, которые лишь сладострастный опыт  
В минуты забвения подсказывает нам?  
О женщина! Сосуд скорбей и благостыни,  
Алтарь таинственный, где, осквернив святыни,  
Назавтра грешник вновь им курит фимиам!  
Какое бережное сохранило эхо  
Тот вздор, которому невнятность — не помеха,  
Который и теперь, как в прежние века,  
Вновь у любовников слетает с языка?

О профанация! Что им любовь? На свете  
Не сыщешь двух существ бесхитростней, чем эти,  
Чьей ангельской красой пленился бы Творец!  
Что им любовь? И дождь, и ветра завыванье,  
И темнота, и все ночное мирозданье  
Внимают ласке двух мятущихся сердец!  
В бутылках выпитых уже ни капли влаги,  
Лобзаньям нет числа — и новому бедняге,  
Быть может, рок велит: «Рождайся и живи!»  
Любовь? О нет! И все ж — видение любви!

О, монастырские ворота, стены, плиты —  
Известен только вам любви прекрасный лик!  
Вы поцелуями бесчисленными покрыты,  
Вам ведом исповедей пламенный язык!

Примите двух детей под кров благословенный,  
Забвенья ищущих в постели, что годна  
Не для утех, но лишь для смерти или сна;  
Разбейте их сердца о каменные стены;  
Вонзитесь в кожу им узлами власяниц;  
Охолодите лбы крестильною водою;  
Все расскажите им, смиренно павшим ниц,  
Все, что поймут в любви не раньше эти двое,  
Чем проведут всю жизнь в молитвах у гробниц!

Монахи, только вы испили полной чашей  
Великую любовь, и под покровом сна  
Всевышний осенял в ночи вериги ваши,  
Вам счастье высшее сулила тишина,  
Когда ж орган будил безмолвную обитель —  
В сиянье витражей вам представлял Спаситель.  
О, вам блаженная любовь была дана!

Взгляни же, Аруэ: вот юноша, который  
На грудь красавицы с лобзанием поник;  
Назавтра он умрет. Скажи мне, в этот миг  
Он стоит твоего завистливого взора?  
Знай: он читал тебя. И не найти ему  
Ни упования, ни облегченья в горе.  
Безверье выверено с помощью теорий —  
Так действуй же под стать ученью своему,  
Влеку несчастного в кладбищенскую тьму.

Но слушай: если бы в отчаянье, в позоре  
Путеводительную он нащупал нить —  
Решился бы он смерть распутством осквернить?  
Смерть! — Нет, довольно бы и робкого намека  
На то, что наша жизнь не вся пройдет во прах, —  
Пусть ад, мучения внушают людям страх! —  
Надежда в них сильнее, и во мгновенье ока  
Взовьется над землей ее полет высокий,  
И узрит Господа несчастный в небесах!

Вольтер, хвала твоим трудам неутомимым!  
Вот он — предсказанный тобою человек!  
Такую смерть открыл лишь современный век.  
Когда воскликнул Брут над разоренным Римом:  
«О добродетель, ты — не более чем звук!» —  
Он не кощунствовал. Он все утратил в жизни —

И вольность, и мечту, и преданность отчизне;  
Исчезли воинство, возлюбленная, друг;  
И в небрежении ко всем земным уладам  
В благие небеса он устремился взглядом  
В тот час, когда душой был к гибели готов.  
Он неба не отверг, и в этой выси горней  
Надежда для него осталась тем бесспорней,  
Что он сберег свой меч и сохранил богов.

А вы, вершители кощунственного дела,  
Глупцы, что в алтарях разъяли Божье тело,—  
Кому служили вы, все сущее круша?  
Какие семена посеять вы спешили,  
Когда тревожили Господень прах в могиле,  
Откуда навсегда ушла его душа?  
Вы переплавили людей и землю в тигле,  
А после вылепили заново. Ну что ж!  
И мир ваш недурен, и человек хорош:  
Вы чистоты во всем и гладкости достигли,  
На древе жизненном все ветви вы подстригли,  
Стальными рельсами вы прочертили твердь  
Земную, но увы — ваш воздух сеет смерть.  
Его вы громкими речами напители,—  
И ветер подхватил отравленную муть.  
Вы безобразные кумиры растоптали,  
Но и небесных птиц осмелились вспугнуть.  
Не веря пастырям, вы ханжество попрали,  
Но с ним отринут Бог — и узаконен грех.  
Происхождением вы кичиться перестали,  
Зато ударились в распутство без помех.  
Забыв о цензорском невежественном иге,  
Свободно реет мысль, вольны театр и книги —  
Нет, нужен бой быков: он вам щекочет вкус!  
Пресыщенный богач иль честолобец нищий  
Не в монастырь уйдут искать духовной пищи,  
А поспешат разжечь жаровню, как Эскусс!

## V

Жак у огня стоял и видел, как все выше  
Вздымается заря, окрашивая крыши.  
Повозки первые тянулись тяжело.  
Безмолвно хмурил он бескровное чело.  
Ночные облака изрезал свет багровый —

Не так ли некогда от жалобы Христовой  
Завеса порвалась во храме на куски?

Внизу бродячие артисты-бедняки  
Затасканный романс тянули еле-еле.  
Как на сердце у нас щемит в часы тоски  
От этих песенок, что мы лет в десять пели!  
Какою бездной мы отделены от них!  
Как давит бремя лет! Как дальний голос тих!  
Ты ль, ангел памяти, исходишь в тихом плаче?  
Ты ль горько сетуешь, угрюмый дух утрат,  
В напевах, лившихся так много лет назад  
Над золотым дворцом влюбленности ребячьей?  
Как расцветает в них минувшее опять!  
Они баюкали — им нас и отпеваты!

Отворотясь, Ролла вперил в Марию очи.  
В постели сон ее сморил к исходу ночи.  
Защита от судьбы у каждого своя:  
Сон выбрала она, он — тьму небытия.

Луч солнца поутру пылающим багрянцем  
Расцветчивает снег в разгаре декабря;  
И ночь серебряная рдеется румянцем,  
Едва лобзаньями смутит ее заря.  
Так вспыхнет девушка порой от странной дрожи,  
От зова смутного, что в сердце к ней проник;  
Так искушение, невинность растревожа,  
Внезапно алостью подернет ясный лик.  
О солнце, светлый царь, навек влюбленный в землю!  
Ее твоя сестра баюкает в ночи.  
Ты вечной юностью блистаешь не затем ли,  
Чтоб землю не жили всегда твои лучи?

Вы, ласточки, стрелой взмывающие в небо!  
Скажите мне — за что я смерти обречен?  
Как страшно умирать! Гляжу на вас — и мне бы  
За вами воспарить под самый небосклон!  
Скажи, вселенная, — какую силу зори  
Имеют над тобой? Неужто новый день  
Так важен для тебя? Когда ночную тень  
Пронизывает луч — скажите, луг и море,  
Что будоражит вас? И всякий раз опять  
Зачем смятенья вам и дрожи не унять?



Земля, обласканная солнечным величием!  
О чем ты хочешь мне поведать в игре птичьей?  
Что мне в твоей любви? Что мне в твоей красе?  
Чего от смертника вы требуете все?

Но что с ним? Почему *любовь* все снова, снова  
Нейдет у нашего героя из ума?  
Чей голос вновь ему бормочет это слово  
Теперь, когда пред ним предстала смерть сама?

Ему — кто в кабаках привык искать забвенья,  
Развратом укрощать бунтующую кровь,  
Кто в жизни видел вещь, достойную презренья,  
Кто похвалялся тем, что презирал любовь!  
Ему — кто чувствами пренебрегал доньше  
И сердце укрепил, как грозную твердыню,  
Гордясь, что вход в нее любви навек закрыт —  
Так шрамом сабельным гордится инвалид!  
Ему — кто жил, себя растрачивая щедро,  
Без дома, без родных, беспечен, норовист,  
И отдал молодость свою на волю ветра,  
Как ветка отдает увядший желтый лист!

И вот теперь, когда, себя к концу готовя,  
Ролла обрел приют кошунственный в алькове,  
Где гробом высится роскошная кровать,  
Теперь, когда ни в чем не остается смысла,  
И тьма грядет, и жизнь на волоске повисла —  
Кто о любви ему дерзает толковать?

Когда торопится на промысел орлица,  
А из гнезда птенец следит ее полет —  
Кто подает птенцу совет за нею взвиться,  
Вселяет мужество, и манит, и зовет?  
Кто вдохновил его на первое усилие?  
Еще не ведали паренья эти крылья,  
Но миг — и молодой орел летит вперед.  
Являя нам судеб и душ многообразие,  
Рождает выроdkов наш мир — шакалов, змей,  
Что выпускают дух, покрыты той же грязью,  
В какую выползли из чрева матерей.  
Природа пренебречь не может этой мразью:  
Чтоб ворона вскормить иль отыскать алмаз,  
Она нуждается в отбросах всякий раз.

Но у природы есть какой-то способ верный  
Предызбранным сердцам придать такой закал,  
Чтоб мир, наполненный бесчинствами и скверной,  
Их безупречности ничем не запятнал.  
Они откованы из редкого металла,  
И пусть немного их — зато им нет цены:  
Зловоние и грязь им не вредят нисколько,  
Как мрамору ни дождь, ни время не страшны.  
А тот, над кем резец внимательной природы  
Трудился ревностно, — пускай три лучших года  
Он тратит на пустой бессмысленный разврат,  
Пусть равнодушием и скукою томится —  
В его груди змея до времени таится  
И скоро в кровь ему смертельный впустит яд.

О гаитянское истерзанное племя,  
В тупом терпении под тяжестью оков  
Страдало ты, пока не наступило время  
Опомниться, восстать и сбросить рабства бремя,  
Услышав вольности и ненависти зов!  
Так разум твой, Ролла, порвал оковы ныне,  
Ты видишь: минули порабощенья дни —  
Навстречу вечности через пески пустыни  
Несутся факелов неистовых огни.  
Изрежь осколками ступни себе до крови,  
Жизнь растопчи свою, бывшее сокруши,  
Восславь небытие — и на последнем слове  
Его в объятии последнем задуши!  
Гляди: небытия густое покрывало,  
Закрыв от нас зарю, застлало небосвод.  
Тьма побеждает свет. То вечности начало.  
Кто прожил не любя — тот без любви умрет.

Ролла пробрал озноб, и, раму затворяя,  
Он надломил цветок, стоявший на окне.  
Сказала далия ему: «Я умираю,  
Но ветер я люблю — он прилетит ко мне.  
Меня он оживит дыханием утешным;  
Я жду его, любовь и чистоту храня;  
Он приникал ко мне с лобзанием безгрешным —  
Ты в силах лишь сорвать и погубить меня».

Люблю! — поет зефир, щебечет птичья стая  
Напев, подсказанный природою самой.

Люблю! — вздохнет земля, бессильно поникая,  
Когда ей час пробьет одеться вечной тьмой.  
О звезды, и для вас священно это слово:  
Когда Зиждителем был создан небосвод,  
Сперва из вас одна пустилась в путь, готова  
Преодолеть лазурь пространства мирового,  
Чтоб солнце отыскать, — но тут пришел черед  
Другой звезды, и та, влюбленная в подругу,  
За нею ринулась вдогонку, и по кругу  
Согласно двинулся небесный хоровод!

Недвижен юноша. Мария сном объята.  
И мнится — он ее уже видал когда-то,  
Прочел он тайного сродства бесспорный знак  
На девичьем челе — и содрогнулся Жак.  
Заблудшее дитя и он — одной породы:  
Под эти ветхие и сумрачные своды  
Недаром и она вступила, словно в склеп!  
Он чувствует: и ей знакомо то страданье,  
Что погнало его за гибелью в вертеп.

«О боязливое и нежное создание,  
Ты дар смирения восприняло сполна!  
Увы, твоя судьба — моей судьбы подобье.  
Застынь же на моем безвременном надгробье  
Прекрасной статуей, не прерывая сна!  
Не просыпайся, спи! Ты — дочь земли, блудница,  
А сон — небесный гость, он Господом храним.  
Целую я твои смеженные ресницы,  
Но не с тобой, дитя, прощаюсь я, а с ним.  
Он дорог мне за то, что не познал разврата,  
Он помнит девичий, невинный облик твой,  
Он от влюбленного вовек не примет платы,  
И он тебе одним обязан — красотой.

О Господи! Черты небесного виденья  
Сквозь полог угадал мой воспаленный взор!  
Но если впрямь любовь, как лебедь, царь озер,  
Слагая свой напев, находит вдохновенье  
Не в красоте самой, а в том, что предстает  
Лишь контуром ее в зеркале темных вод;  
И если впрямь любовь бывает только мнимой,  
Но исцеленья мы не просим от нее,  
А молим вновь и вновь иллюзий у любимой,

Дабы еще продлить страдание свое,—  
То, право, стоит ли искать мне лучшей доли?  
Мария так юна, прелестна и кротка!  
Что мне до прочего? Я покоряюсь воле  
Твоей, любовь! Пускай ты — аромат, не боле:  
Струись из этого печального цветка!»

Дремала девушка, застыв, как изваянье.  
Жак рядом с ней прилег; смешалось их дыханье;  
То он, опомнившись, бросает на нее  
Дремотный взор, то вновь впадает в забытье.  
Очнувшись, молвила ему Мария: «Что бы  
Мог значить сон такой? Мне снилось, будто я —  
На зимнем кладбище; стоит постель моя  
Среди крестов, могил; мне не унять озноба;  
Вдруг люди, в черное одетые, втроем  
Кого-то хоронить несут через сугробы,  
Потом с молитвою снимают крышку с гроба —  
И, видя мертвеца, я вас узнала в нем!  
Ваш взгляд остекленел, и губы почернели.  
Из гроба встав, ко мне вы устремили шаг  
И, руку протянув, вы мне сказали так:  
«Тебе здесь места нет! Прочь из моей постели!»  
Гляжу — разверстая могила подо мной».

«Что ж,— возразил Ролла,— не вижу, отчего ты  
Так удивляешься: правдив твой сон чудной.  
Ты знаешь: нынче я покончу с жизнью счесть,  
И сон твой наяву исполнится, мой друг».

Мария, зеркальцем поигрывая, вдруг  
Увидела лицо Ролла: он был так бледен,  
Что, потрясенная, сама, как смерть, бледна,  
«О чем вы?» — в ужасе воскликнула она.  
«Иль ты не слышала? И раньше был я беден,  
А с нынешнего дня я разорен дотла,  
И эта наша ночь прощальною была.  
Известно всем вокруг, что ждет меня могила».  
«Вы проигрались?» — «Нет, мой друг, я разорен».  
«Вот как? — отозвалась Мария и застыла,  
Обдумывая то, что ей поведал он.—  
Вот как... Но в мире вы живете не одни же!  
Неужто нет у вас родных, друзей в Париже  
Иль где-нибудь еще? Зачем вам умирать?»



*Дремала девушка, застыв, как изваянье.*

Стал тише голосок, а взор еще нежнее.  
Мария оперлась о пышную кровать,  
Умолкла, докучать расспросами не смея,  
И, с тихой ласкою прильнув к груди Ролла,  
Устами свежими его уста нашла,  
А после молвила: «Тебе помочь могу я.  
Хотя, к несчастью, я в деньгах не вольна:  
Я сразу матушке их отдавать должна,  
Но вот: продай мою цепочку золотую,  
И с тем, что выручишь, ступай в игорный зал».

Жак улыбнулся ей, достал флакончик черный  
И отпил из него; потом, склонясь проворно,  
Цепочку на ее груди поцеловал —  
И головой поник в последнем поцелуе.  
Склонилась девушка в отчаянье над ним.  
Он умер, чистоты божественной взыскав,  
И в свой предсмертный миг любил — и был любим.



# Джакомо Леопарди

## ПАЛИНОДИЯ

*Маркизу Джино Каппони*

И в воздыханье вечном нет спасенья.

*Петрарка*

Я заблуждался, добрый Джино; я  
Давно и тяжко заблуждался. Жалкой  
И суетной мне жизнь казалась, век же  
Наш мнился мне особенно нелепым...  
Невыносимой речь моя была  
Ушам блаженных смертных, если можно  
И следует звать человека смертным.  
Но из благоухающего рая  
Стал слышен изумленный, возмущенный  
Смех племени иного. И они  
Сказали, что, неловкий неудачник,  
Неопытный в уладах, неспособный  
К веселью, я считаю жребий свой  
Единственный — уделом всех, что все  
Несчастливы, точно я. И вот средь дыма  
Сигар, хрустения бисквитов, крика  
Разносчиков напитков и сластей,  
Средь движущихся чашек, среди ложек  
Мелькающих блеснул моим глазам  
Недолговечный свет газеты. Тотчас  
Мне стало ясно общее довольство  
И радость жизни смертного. Я понял  
Смысл высший и значение земных  
Вещей, узнал, что путь людей усыпан  
Цветами, что ничто не досаждаст  
Нам и ничто не огорчает нас  
Здесь, на земле. Познал я также разум  
И добродетель века моего,  
Его науки и труды, его  
Высокую ученость. Я увидел,  
Как от Марокко до стены Китайской,  
От Полюса до Нила, от Бостона  
До Гоа все державы, королевства,

Все герцогства бегут не чуя ног  
За счастьем и уже его схватили  
За гриву дикую или за кончик  
Хвоста. Все это видя, размышляя  
И о себе, и о своей огромной  
Ошибке давней, устыдился я.

Век золотой сейчас прядут, о Джино,  
Трех парок веретена. Обещают  
Его единодушно все газеты,  
Везде, на разных языках. Любовь  
Всеобщая, железные дороги,  
Торговля, пар, холера, тиф прекрасно  
Соединят различные народы  
И климаты; никто не удивится,  
Когда сосна или дуб вдруг источат  
Мед иль закружатся под звуки вальса.  
Так возросла, а в будущем сильнее  
Мощь кубов перегонных возрастет,  
Реторт, машин, пославших вызов небу,  
Что внуки Сима, Хама и Яфета  
Уже сейчас летают так свободно,  
И будут все свободнее летать.

Нет, желудей никто не будет есть,  
Коль голод не понудит; но оружие  
Не будет праздным. И земля с презреньем  
И золото, и серебро отвергнет,  
Прельстившись вексельями. И, как прежде,  
Счастливого людское племя будет  
Кровь ближних проливать своих: Европа  
И дальний брег Атлантики — приют  
Цивилизации последний — будут  
Являть собой кровавые поля  
Сражений всякий раз, как роковая  
Причина — в виде перца, иль корицы,  
Иль сахарного тростника, иль вещи  
Любой другой, стать золотом способной,  
Устроит столкновенье мирных толп.  
И при любом общественном устройстве  
Всегда пребудут истинная ценность  
И добродетель, вера, справедливость  
Общественным удачам чужды, вечно  
Посрамлены, побеждены пребудут —



Уж такова природа их: всегда  
На заднем плане прятаться. А наглость,  
Посредственность, мошенничество будут  
Господствовать, всплывая на поверхность.  
Могущество и власть (сосредоточить  
Или рассеять их) — всегда во зло  
Владеющий распорядится ими,  
Любое дав тому название. Этот  
Закон первейший выведен природой  
И роком на алмазе, и его  
Своими молниями не сотрут  
Ни Вольта, ни Британия с ее  
Машинами, ни Дэви, ни наш век,  
Струящий Ганг из новых манифестов.  
Вовеки добрым людям будет плохо.  
А негодяям — хорошо; и будет  
Мир ополчаться против благородных  
Людей; вовеки клевета и зависть  
Тиранить будут истинную честь.  
И будет сильный слабыми питаться,  
Голодный нищий будет у богатых  
Слугою и работником; в любой  
Общественной формации, везде —  
Где полюс иль экватор — вечно будет  
Так до поры, пока земли приюта  
И света солнца люди не лишатся.

И зарождающийся золотой  
Век должен на себе нести печать  
Веков прошедших, потому что сотни  
Начал враждебных, несогласий прячет  
Сама природа общества людского,  
И примирить их было не дано  
Ни мощи человека, ни уму,  
С тех пор как славный род наш появился  
На свет; и будут перед ними так же  
Бессильны все умы, все начинанья  
И все газеты наших дней. А что  
Касается важнейшего, то счастье  
Живущих будет полным и доселе  
Невиданным. Одежда — шерстяная  
Иль шелковая — с каждым днем все мягче  
И мягче будет. Сбросив мешковину,  
Свое обветренное тело в хлопок

И фетр крестьяне облекут. И лучше  
По качествам, изящнее на вид  
Ковры и покрывала станут, стулья,  
Столы, кровати, скамьи и диваны,  
Своей недолговечной красотой  
Людские радуя жилища. Кухню  
Займет посуда небывалых форм.  
Проезд, верней, полет, Париж — Кале,  
Оттуда — в Лондон, Лондон — Ливерпуль  
Так будет скор, что нам и не представить;  
А под широким ложем Темзы будет  
Прорыт тоннель — проект бессмертный,  
дерзкий.

Волнующий умы уж столько лет.  
Зажгутся фонари, но безопасность  
Останется такую же, как нынче,  
На улицах безлюдных и на главных  
Проспектах городов больших. И эта  
Блаженная судьба, и эта радость —  
Дар неба поколениям грядущим.

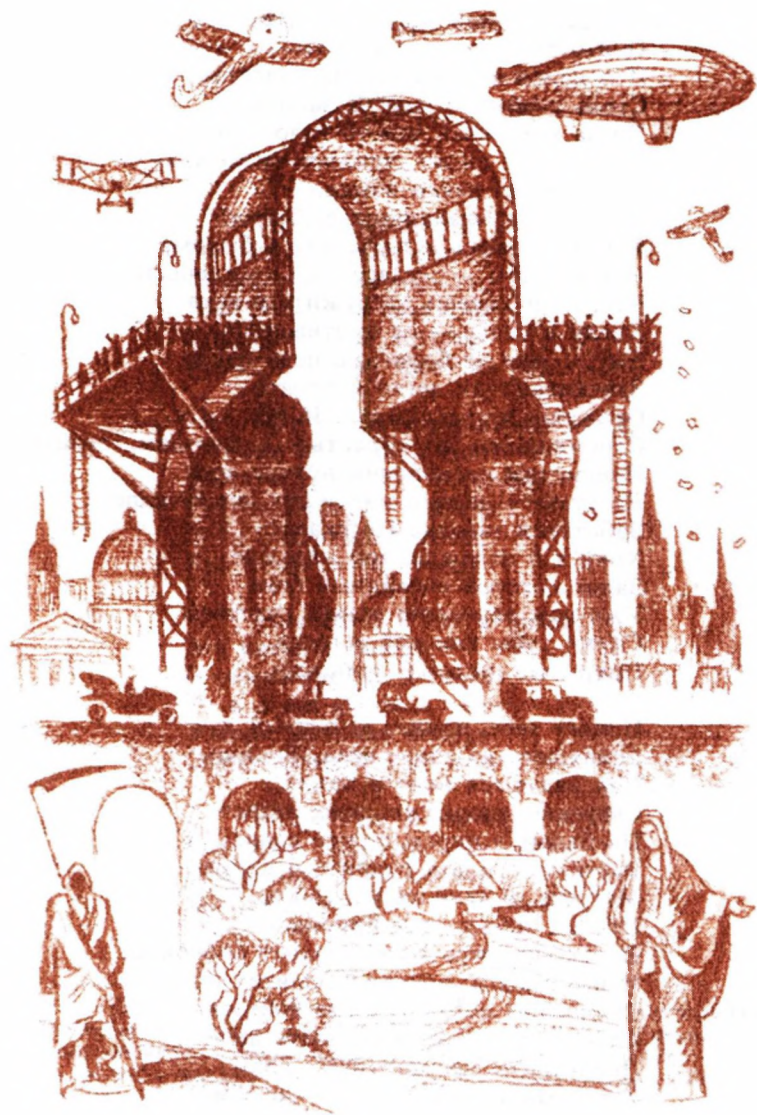
Тот счастлив, кто, покуда я пишу,  
Кричит в руках у бабки повивальной!  
Они застанут долгожданный день,  
Когда определит научный опыт —  
И каждая малютка с молоком  
Кормилицы узнает это, — сколько  
Круп, мяса, соли поглощает город  
За месяц; сколько умерших и сколько  
Родившихся записывает старый  
Священник; и когда газеты — жизнь  
Вселенной и душа ее, источник  
Единственный познания всех эпох, —  
Размножившись при помощи машин  
Миллионным тиражом, собой покроют  
Долины, горы и простор безбрежный  
Морей, подобно стаям журавлиным,  
Летающим над широкими полями.

Как мальчик, мастерящий со стараньем  
Дворец, и храм, и башню из листочков  
И щепок, завершив едва постройку,  
Все тотчас рушит, потому что эти  
Листочки, щепки для работы новой

Нужны, так и природа, доведя  
До совершенства всякое свое,  
Искусное подчас, сооруженье,  
Вмиг начинает разрушать его,  
Швыряя вокруг разрозненные части.  
И тщетно было бы оберегать  
Себя или другого от игры  
Ужасной этой, смысл которой скрыт  
От нас навеки; люди, изощряясь  
На тысячи ладов, рукой умелой  
Деянья доблестные совершают;  
Но всяческим усилиям вопреки  
Жестокая природа, сей ребенок  
Непобедимый, следует капризу  
Любому своему и разрушенье  
Все время чередует с созиданьем.  
И сонм разнообразных, бесконечных,  
Мучительных недугов и несчастий  
Над смертным тяготеет, ждущим тупо  
Неотвратимой гибели. Внутри,  
Снаружи злая сила разрушенья  
Настойчиво преследует его  
И, будучи сама неутомимой,  
Его терзает до поры, пока  
Не упадет он бездыханный наземь,  
Сраженный матерью своей жестокой.  
А худшие несчастья человека,  
О благородный друг мой,— смерть и старость,  
Которые рождаются в тот миг,  
Когда губами нежного соска,  
Питающего жизнь, дитя коснется.  
Мне кажется, что это изменить  
Век девятнадцатый (и те, что следом  
Идут) едва ли более способен,  
Чем век десятый иль девятый. Если  
Возможно именем своим назвать  
Мне истину хоть иногда,— скажу,  
Что человек несчастен был и будет  
Во все века, и не из-за формаций  
Общественных и установок, но  
По непреодолимой сути жизни,  
В согласье с мировым законом, общим  
Земле и небу. Лучшие умы  
Столетия моего нашли иное,

Почти что совершенное решение:  
Сил не имея сделать одного  
Счастливым, им они пренебрегли  
И стали счастья искать для всех;  
И, обрета его легко, они  
Хотят из множества несчастных, злых  
Людей — довольный и счастливый сделать  
Народ; и это чудо, до сих пор  
Газетой, и журналом, и памфлетом  
Не объясненное никак, приводит  
В восторг цивилизованное стадо.  
О, разум, о, умы, о, выше сил  
Дар нынешнего века пронизать!  
Какой урок познания, как обширны  
Исследования в областях высоких  
И в областях интимных, нашим веком  
Разведанные для веков грядущих,  
О Джино! С верностью какой во прах  
Он в обожанье падает пред теми,  
Кого вчера осмеивал, а завтра  
Расстопчет, чтоб еще чрез день собрать  
Осколки, окурив их фимиамом!  
Какое уважение и доверье  
Должно внушать единомуше чувств  
Столетия этого, вернее года!  
Как тщательно нам надобно следить,  
Чтоб наша мысль ни в чем не отклонилась  
От моды года этого, которой  
Придет пора смениться через год!  
Какой рывок свершила наша мысль  
В самопознание, если современность  
Античности в пример готовы ставить!

Один твой друг, о досточтимый Джино,  
Маэстро опытный стихосложения,  
Знаток наук, искусства критик тонкий,  
Талант, да и мыслитель из таких,  
Что были, есть и будут, мне сказал:  
«Забудь о чувстве. Никому в наш век,  
Который интерес нашел лишь в том,  
Что обществу полезно, и который  
Лишь экономикой серьезно занят,  
До чувства нету дела. Так зачем  
Исследовать сердца свои? Не надо



*Привет тебе, привет, о первый луч  
Грядущего во славе века.*

В себе самом искать для песен тему!  
Пой о заботах века своего  
И о надежде зрелой!» Наставленье,  
Столь памятное мне! Я засмеялся,  
Когда комичный чем-то голос этот  
Сказал мне слово странное «надежда» —  
Похожее на звуки языка,  
Забытого в младенчестве. Сейчас  
Я возвращаюсь вспять, иду к былому  
Иным путем — согласен я с суждением,  
Что, если хочешь заслужить у века  
Хвалу и славу, — не противоречь  
Ему, с ним не борись, а повинуйся,  
Заискивая: так легко и просто  
Окажешься средь звезд. И все же я,  
Стремящийся со страстью к звездам, делать  
Предметом песнопений нужды века  
Не стану — ведь о них и так все больше  
Забьются заводы. Но сказать  
Хочу я о надежде, той надежде,  
Залог которой очевидный боги  
Уже нам даровали: новым счастьем  
Сияют губы юношей и щеки,  
Покрытые густыми волосами.

Привет тебе, привет, о первый луч  
Грядущего во славе века. Видишь,  
Как радуются небо и земля,  
Сверкают взоры женские, летает  
По балам и пирам героев слава.  
Расти, расти для родины, о племя  
Могучее. В тени твоих бород  
Италия заблещет и Европа,  
И наконец весь мир вздохнет спокойно.  
И вы, смеясь, привет пошлите, дети,  
Родителям колючим и не бойтесь  
Слегка при этом поцарапать щеки.  
Ликуйте, милые потомки, — вам  
Заветный уготован плод — о нем  
Давно мечтали: суждено увидеть  
Вам, как повсюду воцарится радость,  
Как старость будет юности счастливей,  
Как в локоны завьется борода,  
Которая сейчас короче ногтя.

# А. И. Подолинский

## СМЕРТЬ ПЕРИ<sup>1</sup>

### I

Гневен, мрачен и могуч,  
На крылах громовых туч,  
Донебесным великаном,  
Над песчаным океаном,  
Ураган во мгле ночной  
Встал,— и Нил зовет на бой!

Под размахом вражьих крыл,  
Ото сна воспрянул Нил.  
Злостью грудь его трепещет,  
Рвется, пенится и блещет  
Волн сердитых чешуей,  
Как змея своей броней.

Сшиблись! Ужас и краса  
Эта битва!.. Небеса  
И земля гремят и стонут,  
То в пыли и мраке тонут,  
То при молниях вокруг  
Скачут брызги, как жемчуг.

Рев, и гул, и вой окрест!..  
Как орел, вскружась до звезд  
И бросаясь с небосклона,  
Вихорь волны бьет с разгона

---

<sup>1</sup> *Пери*, по понятиям восточных,— существа превосходнее человека, но отличные от *Меляк*, ангелов, и от *Дивов*, или *Джинов*, злых духов, с которыми они ведут непрерывные войны. Они в повестях восточных — почти то же, что в западных волшебницы или феи. Обитательницы фантастической страны, именуемой *Перистаном* или «Землей *Пери*», смежной с *Дивистаном*, «Землею *Дивов*» или злых духов, они никогда не делают зла и далеко превосходят всех других духов своею красотой. *Перизаде*, то есть «урожденная *Пери*», или *Перипейгер*, «*Пери*-лицая», суть выражения, обыкновенно употребляемые персидскими поэтами, когда они описывают красавицу.



*Ураган во мгле ночной  
Встал,— и Нил зовет на бой!*



И в растерзанный поток  
Сыплет громы и песок.

Всей громадой бурных вод  
Бездна Нила восстает,  
Будто пастью крокодила  
Пыль и громы поглотила,  
И над ними, как скалы,  
Снова сдвинула валы.

Вдруг, собрав остаток сил,  
Вихрь полстепи закружил —  
И упал. Из крутояра  
Волны силою удара  
Вышиб прочь — и с двух сторон  
Их, как рать, рассеял он.

Необуздан, в города,  
В села, в рощи, на стада  
Гонит бурные разливы,  
Рвет деревья, топит нивы  
И во глубь своих песков  
С торжеством уходит вновь.

## II

Лучом животворным зарю зажигая,  
Дух света незримый парит над землей,  
И, в пурпур прозрачный лазурь одевая,  
Рубины и перлы он сыплет росой,  
Облака из дыханья цветов образует,  
В серебре их купает и, как море, волнует.

Одетая тучей, черна, как в ночи,  
Гроза убегает на скат небосклона;  
Но, сыпясь с востока во глубь ее лона,  
Как стрелы, несметно вонзились лучи,  
И будто бы кровью из ран облитая,  
Падет, покрасневшись, громада седы.

И там, где Дух бурь рассыпался  
огнем,  
Где Ангелы мрака, в громах окликаясь,  
Волна за волною лучи разыгрались,

Сверкая в пространстве небес голубом,  
И вспыхнуло небо в разливах сиянья,  
Светло и спокойно, как в утро созданья.

### III

Взгляни ж на землю! Вот она —  
Как из насильственных объятий  
Освобожденная жена,  
Борьбы и ужаса печати  
Еще с прекрасного чела  
Она изгладить не могла.  
Коса и локоны развиты,  
Глаза в слезах, уста раскрыты,  
И тщетно силится вздохнуть  
Ее истерзанная грудь.

Подобный вид земля явила  
На берегах обширных Нила,  
С волнами, вихрем и грозой  
Изнеможденная борьбой.  
Как будто ризою раздранной,  
Она оделась в пар туманный,  
Но всюду раны виден след,  
Где ни пробьется утра свет:  
Там волны бурного потока  
Ей грудь изрезали глубоко;  
Здесь гром рассек ее чело;  
А тут волосы ее кудрявы,  
Ее зеленые дубравы,  
Грозой всклочило и пожгло.  
Напрасно в блеске грани чудной  
На луг недавно изумрудный  
Кристаллы сыплются росы:  
Как будто лезвием косы,  
Обезображенный набегом  
И мутной влаги, и песков,  
Предстал он взору грустным берегом  
Без аромата, без цветов.  
Нигде, как прежде, не толпятся  
На тучных пажитях стада,  
И кущи сел и города  
Окест в развалинах дымятся.

. . . . .

О, если б с ближней пирамиды  
Взглянул в ту пору кто-нибудь,  
Какой тоской окрестны виды  
В нем возмутили б ум и грудь!  
Разрушен бранью вековою,  
Печален край, свидетель сеч;  
Но здесь не брань, не огонь, не меч —  
Здесь Божий гнев прошел грозою!  
Тот гнев-каратель, кто кругом  
Равно цветы и пальмы косит  
И без ошибки мстящий гром  
На обреченного приносит  
И в самом сумраке ночном.

#### IV

Там, где лотоса цветами,  
Разнесенными грозой,  
Как блудящими звездами,  
Нил усеян голубой,  
Где то вскроется могила,  
То гора встает из волн,  
Без весла и без кормила  
Ветер носит легкий челн.

В челне дева молодая  
В пышной ризе и цветах,  
Перевита дорогая  
Цепь в густых ее кудрях;  
Но с нарядом несогласна  
Бледность смертная лица.  
И поникнул лик прекрасный  
К персям юноши пловца.

В их очах — туман испуга;  
Но любовь еще сильна,  
И не вырвет друг у друга  
Их не вихорь, ни волна.  
Будто скованы их руки,  
Мысль одна у них в груди:  
Жизнь ли, смерть ли впереди,  
Только б не было разлуки!

Вдруг огромный и крутой  
Вал пловцам навстречу хлынул,

Челн, как пух, из бездны вскинул  
На хребет высокий свой.  
Он несет их, полных страха,  
Между безднами кружит  
И у берега с размаха  
Ношу бросил на гранит.

V

Из родины чудес, где Инда льются воды,  
Где густо разрослись священных рошей

своды,

Где, жарко некогда кипевшее в огне,  
Остыло золото в нагорной глубине,  
И яхонт и алмаз наводят мысль, что боги  
Развалинам свои там предали чертоги,—  
Поднявшись от цветов, на крыльях ветерка,  
Чуть видны, плавали в лазури облака.

Как в бархате ковров роскошно утопая,  
Гарема пышного царица молодая,  
Когда вокруг нее туманом голубым  
С курильниц дорогих душистых вьется дым  
И, пламенного сна подобную виденью,  
Ее прозрачною окидывает тенью,—  
Так Пери, при луне, в безмолвии ночном,  
Летящих облаков обвита серебром,  
Беспечно вверившись воздушному их лону,  
Несется, легкая, как звук по небосклону.

И виденье вслед виденью  
Развивается пред ней,  
То окинутые тенью,  
То в сиянии лучей:  
Вон, как скатерти шелковы,  
Видны темные дубровы  
И озера в их глуши,  
Будто сребряны ковши;  
По краям холмов вершины  
Озаренные стоят,  
Словно Духи-исполины  
За трапезою сидят.

Вон степь — урагана широкое ложе,  
Сама золотая при блеске лучей,

А скалы нагие пестреют на ней,  
Как черные пятна по барсовой коже.  
Потоки меж ними, как змеи, скользят  
И в области смерти о жизни звучат;  
И пальмы, внимая призыванию их,  
Сошлись толпою у струй голубых  
И смотрят с курганов на волны песчаны,  
Кивая косматой своей головой,  
Как будто бы кличут к себе караваны,  
Чтоб дать им защиту в полуденный зной.

Степи резким рубежом,  
Горы сдвинулись кругом;  
Их подошву омрачая,  
Морем туча громовая  
Вдоль гребнистого чела  
Необъятная легла.  
И, как остров, возникая  
Из среды туманной мглы,  
Здесь торчит хребет скалы,  
Дальше льдина вековая, —  
И мелькают при луне  
В чудных образах оне:  
То хрустальный блещет терем,  
То грозит седой колосс,  
То под тенью страшным зверем  
Поднял голову утес.

За ними — бездна голубая,  
Подобна блеском небесам,  
Трепещет в ней луна другая,  
Другие звезды блещут там.  
Но, как огромными крылами,  
Над ними вея парусами,  
За кораблем корабль бежит,  
Разочаровывая вид, —  
Меж двух небес, в пучине света,  
Они на дышащем стекле  
Скользят, как тень, как у поэта  
Земная дума на челе.

И вот исчезло все: дубровы, степи, море,  
И Пери носится высоко на просторе,  
И гимн светил ей слышен издали.

Но грань положена меж неба и земли;  
Немея, крылья там земные тяготеют,  
И Ангелы ее переступить не смеют,  
С тех пор как прелести и ласки дев земных  
Преступно увлекли прекраснейших из них <sup>1</sup>,  
Чтоб, свергнуты с небес, лишенные сиянья,  
В тоске мучительной, в мольбах без упования,  
Несбыточных надежд влачили грустный век  
И плакали о них, как плачет человек.

Но мысли, Эдема лучи золотые,  
Бессмертьем зажегшие грудь,  
Летят без преград за пределы земные,  
В обратный на родину путь:  
Их манит сиянье родного потока,  
Им грустно в темнице светить одиноко,—  
В источнике света хотят утонуть.  
И пламенной мыслью приблизилась Пери  
К заветным Эдемским дверям,  
Но страшно и мыслью проникнуть за двери:  
Судья ей, преступнице,— там!  
Ей чудятся хоры, небесные звуки;  
Волнуется море сиянья кругом:  
О, сколько отрады, и грусти, и муки!..  
Улыбка блеснула — и слезы ручьем!  
И пали на грудь ей их жаркие волны.  
Из сердца уходит пленительный сон,  
И холодом вея, пустынный, безмолвный,  
Опять ее обнял земной небосклон.

Свой блеск последний звезды мешут:  
Но там, вдали, кипят и блещут  
Живые волны янтаря.  
И, бледным золотом сияя,  
Полнеба тихо обнимая,  
Как море, льется там заря.  
И облака, что в ночь носились  
Высоко с Пери молодой,  
Светлея, долу опустились,

---

<sup>1</sup> По преданию восточных, случилось, что после того, как люди размножились на земле, родилось у них множество дев пригожих и прелестных; и ангелы Аллаха, как скоро их увидели, влюбились в них и были за то изгнаны из неба. Восточные думают, что от них-то происходит род Пери.

Как бы влекомые зарей;  
Сперва над влагой серебристой,  
Потом, повиснув над землей,  
В хрустальный замок превратились  
И вдруг в сиянье растопились  
И пали радужной росой.

И, блестящие росой,  
Над поверхностью земною  
Пери тихо развила  
Светозарных два крыла.  
Но какой земли равнина  
Ей открылась с высоты?  
Роз ли видны Низибина  
Снежно-белые кусты? <sup>1</sup>  
Иль горят огнем рубина  
Кашемирские цветы?  
Не родных ли волн Гангеса  
Слышен шум под сводом леса,  
Или плещет Иордан,  
И вдали, огромной тучей,  
Кедров бор неся дремучий,  
Подымается Ливан?

На цветы, леса и волны  
Пери взор, вниманья полный,  
Долго тщетно устремлен:  
Их узнать не может он!  
Вдруг на скате небосклона  
Солнце вспыхнуло — и вот  
На высокий лик Мемнона,  
Как блестящая корона,  
Первый луч его падет.  
Грудь немая истукана  
Теплотой оживлена,  
Звуком громкого тимпана  
Содрогнулася она.  
Цепью дальних гор и долом  
Прокатился чудный звон,  
И царя степей глаголом  
Край окрестный пробужден.  
С вековых гробниц пустыни

---

<sup>1</sup> Нисибин — город в Персии, славится множеством садов, богатых белыми розами.

Утра пар слетает синий,  
Отблеск дня передает  
Пирамиде пирамида,  
И с вершины их падет  
Яркий свет в лазурь Мерида,  
Где, разлив дневных лучей  
Возвещая громким криком,  
В тростнике проснулась диком  
Стая вольных лебедей;  
Звучно их плеснули крыла,  
С шумом стая поднялась  
И к волнам раздольным Нила  
Светлой нитью понеслась.

## VI

И Пери вслед за лебедями  
Кружит над Нильскими водами.  
Но сжата грудь ее тоской!  
Увы, печальнее кладбища  
Луга и нивы, и жилища,  
Опустошенные грозой  
И Нила бурною волной.  
И прочь от грустного предела  
Уже лететь она хотела.  
Вдруг тихий плач сквозь говор вод  
Остановил ее полет,  
И Пери видит раздробленный  
Об острый камень и песком  
До половины занесенный  
Челнок на берегу крутом.

Вблизи, под кручью скал, на каменных  
ступенях,

И бледен и уныл, как призрак гробовой,  
Склонился юноша: на трепетных коленях  
Покая голову подруги молодой  
И очи устремя в ее недвижны очи,  
Он тихо шепчет ей: «Звезда моя, взгляни!  
Рассей холодный мрак моей сердечной ночи,  
Из розы нежных уст любовью дохни!..  
Скажи, что ты живешь!.. Я чувствую, я верю —  
Две страстные души взаимную потерю  
Заране узнают: в грозу, под громом вод,  
Я б сердцем услышал души твоей полет!»





*Склонился юноша: на трепетных коленях  
Покая голову подруги молодой...*

Мольба напрасная! Покрыты  
Могильной бледностью ланиты  
Прекрасной девы; взор потух,  
Словам любви не внемлет слух;  
Ни разу грудь не встрепенется;  
И только кровь из ран ее,  
Где вгрызлись камней острия,  
Полузапекшаяся льется!

И с громким воплем обхватил  
Труп девы юноша несчастный,  
Прижал к груди безумно-страстно,  
Уста к устам ее склонил,  
Как будто пламенным дыханьем,  
Как будто огненным лобзаньем  
В ее бесчувственную грудь  
Хотел всю жизнь свою вдохнуть.  
Надежда тщетная!.. Свалился  
Тяжел остывший труп немой,  
Лишь на плече остановился  
Окостенелою рукой,  
Да заструившись, как живая,  
Коса рассыпалась густая,  
Блестя при солнечных лучах,  
Как ключ сверкающий в горах.

Ожесточенный, мрачный, злобный,  
Стреле отравленной подобный,  
Страдалец бросил к небу взор,—  
Немой, но дерзостный укор!  
Взглянул на труп — и, полный муки,  
Еще к пылающим устам  
Прижал уста, и грудь, и руки...  
И пал без чувств к его ногам.

## VII

Состраданием и страхом  
Пери вдруг поражена;  
Близ страдальца пред Аллахом  
Пала ниц в слезах она.  
«О, пошли ему,— молила,—  
Мира Ангела, Алла!  
Скорбь в нем веру погасила,

Разум страсть превозмогла!  
Не даруй — да грешный ропот  
Будет гибелью души!..»

Но тяжелый вздох и шепот  
Ей слышались в тиши:  
Пери к юноше припала, —  
Грудь в ней робко трепетала.  
Бедный жив!.. И страшно ей,  
Чтобы ропотом бессильным  
Он мученьям замогильным  
Не обрек души своей,  
Чтоб кончины Ангел нежный,  
Слыша вопль его мятежный,  
Устрашен, не отлетел  
И, о гибнущем тоскуя,  
Мирового поцелуя  
Дать устам его не смел!

И печальным размышленьем  
Пери вновь увлечена.  
Вдруг — как будто вдохновеньем  
Оживилась она:

«Знаю, замысел мой грешен,  
Но да будет грех свершен,  
Если скорбный им утешен,  
Падший небу возвращен!  
Заповедано от века  
Светлым Пери — человека  
Не прельщать своей красой.  
Но, как звук струны послушный,  
Лик рассеявши воздушный,  
Образ я приму земной;  
И, оспорив у могилы,  
Труп, еще страдальцу милый,  
Оживлю моей душой;  
И к нему подругой нежной,  
Чтоб не гибнул безнадежный,  
В час предстану роковой.  
Как она, с тоской, с любовью,  
Я приникну к изголовью,  
Нежный взгляд ее возьму,  
Звук речей ее приму,  
Чтоб, словам моим внимая,  
В нем невольно, умирая,

Примирилась с небом вновь  
Благодарная любовь!»

## VIII

Едва замолкнула — и Пери образ ясный,  
Как в темном облаке свет радуги прекрасной,  
Как легкая струя дыхания цветов,  
Растаял в воздухе и скрылся в царстве снов.

Но девы молодой бесчувственное тело  
Внезапно жизнь роскошной закипело,  
В холодном мраморе поблекнувших ланит  
Кровь снова пламенем и пурпуром горит.  
Улыбкой томною уста ее зажглись,  
Как утренний туман, ресницы поднялись,  
Но в темное стекло погаснувших очей  
Едва проникнул свет пронзительных лучей,  
Вздохнула тяжко грудь, уста затрепетали,  
Из них исторгся крик — звук боли и печали,  
С каким, предчувствуя страданья впереди,  
Душа приемлет жизнь в младенческой груди.

О Пери, Пери! тщетно крыла  
Ты вновь хотела б развернуть!  
Уж человеческая грудь  
Тебя мучительно стеснила!  
В какую бездну темноты  
Из моря блеска пала ты!  
К лучам пылающим привычный,  
В пространстве неба безграничный,  
Внезапно твой потускнел взор,  
Как бы подернутый туманом  
Очей вместилище стеклянном;  
И неба ясного простор,  
Где недоступные светила  
Ты беспрепятственно следила,  
Теперь как будто бы потух  
И тесно сдвинулся вокруг;  
И этот воздух благовонный,  
Который всюду за тобой  
Вился душистою струей,  
Весной и блеском напоенный,—

И он вокруг тебя сгущен,  
Твоим дыханьем заражен!

На раздолье, на просторе,  
Вольны волны льются в море,—  
С ветром спорят быстротой,  
С солнцем — блеска красотой;  
Но из родины прозрачной  
Заключенные в сосуд,  
Волны тихи, волны мрачны,  
Не блестят и не бегут.  
Как живые волны моря,  
Быстротой с лучами споря,  
Мысли Пери от земли  
Смело в даль ее несли,  
Вдруг, лишены сил, смутились,  
В мрак внезапно погрузились:  
Узкий череп стиснул их  
В костяных стенах своих.  
И забот земных тревога  
В них нестройно поднялась:  
С мыслью, яркой искрой Бога,  
Жизнь телесная слилась!

И грустные на Пери бросил тени  
Мир новых дум, и чувств, и впечатлений,  
Все трудности земного бытия  
Предстали вдруг понятиям ея —  
Она несет в заимствованном теле  
Страдания, ей чуждые доселе:  
Ей темя жжет полудня острый луч,  
От жажды грудь горящая томится  
И кровь ее, как нефти жаркий ключ,  
Огнем из ран пылающих струится.

Но и средь мук увлечена  
Невольным чувством состраданья:  
«О люди! бедные создания! —  
Уныло молвила она.—  
Как много силы и терпенья,  
Как много веры надо вам,  
Чтоб в дни подобного мученья  
За жизнь, в пылу ожесточенья,  
Не слать упреков небесам!»

И взор ее, участия полный,  
На юношу страдальца пал,  
Который, бледный и безмолвный,  
Еще у ног ее лежал...

И сердце, как арфа, чьи струны молчали,  
Но вдруг под незримым перстом зазвучали,  
Мелодией стройной ей подало весть,  
Что в жребии смертных и радости есть.  
И Пери прижала к груди своей руки,  
Полна упоенья, не смея дышать,  
И слушает жадно ей новые звуки,  
Хоть тайны их чудной не может понять.  
Но грудь ее темным зажглась упоеньем,  
Но жизнь человека, грозившая ей  
За мукою мукой, сцепленьем скорбей,  
Как будто блеснула волшебным сияньем,  
И прелесть той жизни угадывал ум  
В волненье доселе неведомых дум.

Какой же тайной, дивной власти  
Рассудок Пери предала?  
Увы, она чужие страсти  
В груди угаснувшей зажгла!  
И за поступок свой преступный  
Душой, им прежде недоступной,  
Их в казнь от неба приняла!  
И все, что страстного таилось  
При жизни девы молодой,  
В ее останках оживилось,  
Как яд одежды роковой,  
Согретый персей теплотой! <sup>1</sup>  
И сердце вновь заговорило  
Понятным трепетом своим,  
И тот, кого оно любило,  
Опять им пламенно любим!..

## IX

И Пери грудь волнуется мятежно;  
И взор ее, задумчивый и нежный,

---

<sup>1</sup> Читатели, конечно, помнят баснословное сказание о смерти Геракла, причиною которой была одежда, напитанная ядовитой кровью Центавра.

На юношу был долго устремлен.  
Но жизнь в немых чертах его не блещет,  
И мысль ее сомнением трепещет:  
Не смертный ли запечатлел их сон?..  
И чтоб решить печальное сомненье,  
Грудь его коснулась она,  
И эта грудь, как мрамор, холодна!  
Но слабое заметно в ней биенье,  
Но сердце в ней, чуть слышное, звучит,  
И тихий звук, как пламя, в душу льется,  
И громко он на сердце отдается,—  
И мир любви неведомой открыт!

И боль, и собственные муки  
Забыв, на трепетные руки  
Страдальца Пери приняла;  
Над ним склонилась на колени,  
Как ива плачущая сени,  
Густые кудри развила,  
Чтоб ране, вдоль чела открытой,  
Была хоть слабою защитой  
От зноя солнечных лучей  
Живая прядь ее кудрей.  
И за прерывистым дыханьем  
Своим заботливым вниманьем  
Следит, недвижимая, она,  
Одною мыслию полна,  
Чтоб жизни гаснущие силы  
Опять в груди его зажечь,  
Чтоб в цвете лик увидеть милый,  
Чтоб слышать сладостную речь!..

И грудь взыграла теплой кровью,  
Как бы согретая любовью.  
Вздыхнул — и тихо наконец  
Глаза открыл полумертвец,  
И если б ангелы для Пери  
Отверзли вдруг Эдема двери,  
Всем блеском радужных лучей  
Не отвлекли б ее очей.  
Так в этот взор, едва блеснувший,  
Взор Пери страстно погружен!  
И негу пьет роскошно он,  
В его сиянье утонувши,—

Как влагу сладкую росы,  
В венок проникнув серебристый,  
Из лона лилии душистой  
Луч солнца в ранние часы!

А он?.. И радость и сомненье  
В его болезненных чертах!  
«Быть может, это сновиденье?» —  
Рассудку шепчет тайный страх.  
Но нет!.. он чувствует дыханье,  
Чело палящее, — и рук,  
Его обнявших, трепетанье, —  
И даже сердца близкий звук.  
«Ты ль это? — воскликнул. — О, что ж со мной было?  
Какой же мне страшный привиделся сон!  
Скажи ж, что живешь ты! Скажи мне, друг милый,  
Что рай мой мне снова в тебе возвращен!  
Боюсь еще верить, не призрак ли вижу?  
О, пусть же твой сладкий я голос услышу!»

Но Пери слов не слушает: она,  
Лишь голоса гармонии внимая,  
В его поток душой погружена.  
И что звонки пленительные рая <sup>1</sup>,  
Что звучная Эдемская волна,  
И хор духов, и песни страстных гурий,  
И гимн светил в надоблачной лазури,  
И ангела поющая струна?  
Их звуки в грудь не так роскошно льются,  
И долго так в душе не остаются...

Ее молчаньем поражен,  
Страдалец тихо приподнялся,  
И молит робким взором он,  
Чтоб милый голос отозвался.  
Но Пери нежный стан дрожит,  
Но кровь из ран ее бежит,  
И он, собрав остаток силы,  
Спешит помочь подруге милой:

---

<sup>1</sup> В Коране сказано, что деревья садов *Дженнета* (рая) увешаны хрустальными колокольчиками, которых звуки сливаются в непрерывную усадительную мелодию.



«О, ради неба! Что с тобой?  
Мои не слышишь ты моления,  
Бледна, безмолвна, без движенья,  
И льется кровь из ран струей,  
И эти раны зноем пышут,  
Таясь в раскинутых кудрях;  
Твои уста, как пламя, дышат,  
Недуг горит в твоих очах!»

И рукой дрожащей плечи  
Окровавленные он  
Обнажил; но тихой речи  
Звоном вдруг остановлен:  
«О, забудь про эти муки!  
Верь, и я забыла их;  
Но заслушалась я в звуки,  
В звуки грустных слов твоих;  
Веял дивною мечтою  
Голос твой души моей,  
И тонула я душою  
В небесах твоих очей.  
Милый! Что мои страданья!  
Им не нужны врачеванья.  
Но в моем волшебном сне  
Дай забыться мне вполне!  
Пусть блеснет твой взор мятежный  
Светом тихого огня,  
Пусть мне скажет голос нежный...  
Милый! Любишь ли меня?..

— «Я люблю ли?.. Розы страстной  
Так не любит соловей,  
Ночь — звезды своей прекрасной,  
Небо — радуги своей!  
Как в волнах морских прохлада,  
Огонь в рубине винограда,  
Запах сладостный в цветах,  
Звук пленительный в струнах,  
Так любовь к тебе таится  
Глубоко в груди моей;  
И когда на утре дней  
Грустный жребий мой свершится,  
Сердце милый образ твой  
В гроб возьмет еще с собой!»

И с упоеньем Пери внемлет  
Волшебству полных страсти слов.  
С таким волнением приемлет  
Их только первая любовь.  
Ей каждый звук лучом палящим  
На сердце падает, и в нем  
Душистым, пышным и блестящим  
Он развивается цветком.  
И свет, в груди ее разлитый,  
Проникнул, розовый, в ланиты,  
Блеснул улыбкой на устах  
И неги пламенем в очах.  
Она любовника, в забвенье,  
Руками страстно обвила,  
И было чудно выраженье  
Ее прекрасного чела:  
Ее уста не говорили,  
Но очи, полные огнем,  
Еще волшебных слов молили  
Красноречивым языком.

## Х

А бедный юноша печально  
Терялся взором в степи дальней  
И меж окрестных диких скал  
Очами помощи искал.  
Но все кругом безмолвно было;  
И чтобы сердце как-нибудь  
Еще надеждой обмануть,  
Склонился он к подруге милой,  
Ее привлек к себе на грудь  
И тихо молвил: «Как уныла  
Страна, куда жестокий рок,  
Мой пышный, нежный мой цветок,  
Тебя занес, моя Леила!  
Но пусть и самый солнца свет  
В пустыне этой потемнеет,  
Ты не увянешь, милый цвет,  
Тебя любовь моя согреет!..»

Но что же Пери светлый лик  
Потух внезапно и поник?

В ее очах печальной тенью  
Какой-то мрачной мысли мгла,  
Как туча по небу, прошла  
И сердце предала волненью.

Увы! одно слово меж сладостных слов,  
Как дух-возмутитель меж светлых духов,  
Души ее, тихим объятой забвеньем,  
Внезапно предстало враждебным виденьем.  
И вновь ей мечтами любви не уснуть!  
Ей ревность тревогой наполнила грудь:  
«Леила!» — бледнея, уста повторяют,  
И слезы струятся, и очи плачут.

С неизъяснимою тоской  
Живые признаки печали  
Глаза любовника читали  
В чертах подруги молодой.  
Внезапных слез ее не может  
Понять причины тайной он;  
Но эта скорбь его тревожит,  
Но он, учаством увлечен,  
Любовью мыслит успокоить  
Ее тоскующую грудь,  
И ласки хочет он удвоить,  
Чтоб негой сердце обмануть.  
И, стан ее объемля стройный,  
Чело к челу ее склонил,—  
И долгий, сладостный и знойный  
Их поцелуй соединил...  
О, что же с Пери? Кровь пылает,  
Все члены трепет пронизает,  
Смутились мысли... И она,  
Безумной страстию полна,  
«Прости, прости меня! — сказала.—  
В твоих объятиях не та,  
О ком душа твоя страдала.  
Твоя любовь — одна мечта!  
Леилы нет! Твоей потери  
Уже ничем не возвратить.  
Но я клянусь тебе любить,—  
А я не смертная,— я Пери!..

Там, где Каф-гора встает <sup>1</sup>  
Из пучины бурных вод  
И, покрытая снегами,  
Бесконечными хребтами  
Дважды вокруг земли идет,  
Означая солнца ход;  
Где льды, неприступной возникнув стеною,  
Роскошные доли таят меж собою,  
Там скрытый и мирный приют на земли,  
Изгнанницы неба, мы, Пери, нашли.

Там природа — чудный сон;  
Нам не светит небосклон,  
Но окрестных скал вершины,  
Изумруды и рубины,  
Светом яркого огня  
Пламень солнца заменя,  
Нас радужным блеском что день осыпают;  
Когда же вечерней порой потухают,  
Свет лунный струится из лона цветов  
И блещут лампы ночных мотыльков.

В наших рощах и садах  
Дерева всегда в цветах;  
И как ветер их колышет,  
Каждый лист как будто дышит,

---

<sup>1</sup> *Каф-гора*, по мнению последователей Корана, опоясывает весь земной шар. Чтобы обозначить все пространство земли и вод, они говорят «от Кафа и до Кафа» и на этом предположении утверждают, что солнце восходит и нисходит по его ледяным ступеням. Ибн-эль-Варди в своем *Хиридат-эль-Аджаиб*, следуя примеру мифологов Востока, пишет, что эта гора основана на камне, называемом *Сакрат*; Коран упоминает об нем в главе «Локман»; а Локман утверждает, что, владея только песчинкою этого камня, можно творить чудеса. Этот камень — ось и опора земли, состоит из цельного изумруда; его отражение дает голубой цвет небу, и когда, по велению Аллахову, он двинет одной из жил или ветвей своих, колеблется, трепещет и разверзается пропастью. На основании таких же баснословных преданий в первой части *Тарих-Табари*, писанного по-персидски, что Бог Всемогущий, создав землю, обвил и укрепил ее поясом гор, которые называются у Аравитян *Кафом*. Земля, без его пособия, находилась бы в непрерывном колебании и не могла бы быть обитаемою. Хребет Кафа есть кольцо земли изумрудного цвету; путь к нему прегражден со всех сторон областями непроницаемого мрака, и человек, без помощи сверхъестественной, достигнуть до него не может. Герои, племени Адамова, покорив исполинов, заключили их в горах Кафских, где также Пери нашли себе убежище.

Гармонически звучит  
И алмазами горит.  
Под сенью миртов, с поверхности чистой,  
Озера нам веют прохладой душистой,  
Из гротов кристальных источники бьют,  
И стройные песни нам волны поют.

Без трудов и без забот,  
Наших дней беспечен ход:  
То веселыми толпами  
Мы кружимся меж цветами,  
То играем на волнах,  
То купаемся в лучах;  
Иль, тихо друг с другом меняясь мечтами,  
Мечты развиваем прелестными снами,  
Потом их разносим вечерней порой  
И сыплем незримо над спящей землей.

Но, как вспыхнет темя гор,  
Арф Эдемских строим хор,  
Чтоб на родину их звуки  
Скорбь мучительной разлуки  
К трону Аллы от земли,  
Умиленные, несли.  
И, тесно обвившись друг с другом руками,  
Вослед этим звукам летим облаками,  
С надеждой стремимся на радужный путь,  
И сладостной думой волнуется грудь...

Но пускай еще для нас  
Отдален прощанья час:  
Что мне ныне прелесть рая!  
Жизнь прекраснее земная,  
Если пламенной душой  
Ты поделишься со мной.  
Как амвры дыханье, как звук поцелуя,  
Тебя в наш цветущий приют унесу я,  
И там, чтоб блаженство вполне довершить,  
Подруг моих, милый, научим любить!»

## XI

Но юный друг ей молча внемлет,  
И тайный страх его объемлет,  
И взор недвижно устремлен,

И в этом взоре скорбь и мука.  
Прервать молчанье хочет он,  
Уста трепещут,— но без звука,  
Как арфа, чьих согласных струн  
Коснулся гибельный Симум...<sup>1</sup>  
В рассказе Пери, дивном, странном,  
В ее признании нежданном  
Невероятно все ему,  
Все чуждо светлому уму.  
И страшной мыслью он трепещет,  
Что взор ее, который блещет  
Каким-то светом неземным,  
Горит безумием одним...

Но тайное Пери проникла волненье,  
И мыслит с улыбкой: «Разрушу сомненье!  
Невольно поверит он чудным словам,  
Как духом блестящим предстану очам,—  
Его моих взоров осыплю звездами,  
Как паром душистым, повею кудрями,  
Чтоб он, утопая со мной в небесах,  
Забыл на земле им покинутый прах!»

Трудным вздохом подымая  
Человеческую грудь,  
Разом Пери молодая  
Хочет крылья распахнуть;  
Но напрасно рвутся крылья,  
Слабы тщетные усилия,—  
Грудь в объятиях своих  
Силой жизни держит их.  
Изумлением и страхом  
Пери мысль поражена;  
С оживленным ею прахом  
Долго борется она:  
Нет спасенья! Уступает  
Воля силе роковой...  
Уж она изнемогает,  
Утомленная борьбой;

---

<sup>1</sup> На Востоке утверждают, что когда знойное дуновение «ядовитого ветра» или Самума, или, как обыкновенно пишут, *Симума*, пробежит по струнам инструмента, то они остаются безмолвны. Это легко объясняется страшным жаром дуновений Самума, от которого металл расширяется и вытягивается. Такое же действие производит палящий ветер *Хамсин* в Египте и *Сирокко* на берегах Средиземного моря.

Но, на грудь, под ризой белой,  
Руки стиснувши крестом,  
Ненавистное ей тело  
Рвет в отчаянье немом!

Увы, не мог перенести  
Ее страданий друг Леилы!  
От отступления спасти  
Ее стремится он, но силы  
Погасли вдруг; растравлена  
И напряженьем и тоскою,  
Раскрылась рана — и волною  
Кровавой хлынула она.  
Из уст исторгся звук дрожащий,  
Но говорить уж он не мог:  
Он только взор возвел молящий,  
И мертвый пал у милых ног.

Разом громкий вопль раздался —  
В сердце степи он проник;  
Но никто не отозвался,  
Кроме скал, на этот крик.  
И в беспамятстве пустынном  
Пери берегом бежит;  
Скалы идут рядом длинным,  
Нил у ног ее шумит.  
Только нет в стране безлюдной  
Человеческих следов;  
По кремням и меж песков  
Бег ее измучил трудный,—  
И, склонившись на скалу,  
Пери вновь недвижна стала.  
Голова на грудь упала,  
Бледность смерти по челу,  
В мыслях мрак темнее ночи...  
Сердце смолкнуло в ней вдруг,  
И бессмысленные очи  
Бродят медленно вокруг.

## XII

Погаснул день, ложится мгла ночная;  
Прохладою на берег веет Нил.  
Он, Пери грудь дыханьем освежая,

И чувства ей и память возвратил.  
Она очнулася, обильно слезы льются;  
И перси вновь на прах, ей милый, рвутся,  
Но в темноте обратного пути  
Среди песков сыпучих не найти.  
И на скалу она, безмолвна, села,  
Унылый взор на звезды возвела:  
Молиться бы несчастная хотела,  
Но слов она и мыслей не нашла.  
Порой уста дрожащие шептали,  
Но только смерть на помощь призывали.

Смерть не шла; но, прежде ей  
Утешитель незнакомый,  
В море призраков несомый,  
Сон сомкнул ее очей  
Утомленные ресницы,  
Мысли вихрем закружил,  
И страданию границы  
Он забвеньем положил.

И Пери вдруг пленительные звуки  
Услышала, она узнала их:  
То голоса подруг ее младых.  
«Ко мне! ко мне! прекрасные подруги!»

Долго в темной вышине  
Светлым облаком оне  
И кружились и сияли,  
Появлялись, исчезали,  
И, как будто бы дождем  
Вдруг рассыпавшись шумящим,  
Роем, радужно блестящим,  
Пали на землю кругом.  
«Ты ли, милая? — сказали. —  
Мы давно тебя искали,  
Внемля жалобам твоим.  
Из мучительной неволи  
Мы одним мгновеньем боли  
Вновь тебя освободим!»

С собой они из дальних стран земли  
Душистые цветы и ветви принесли,  
И между скал бесплодной степи вмиг  
Из тех ветвей костер уже возник,



И слышен гимн; и, гимну их внимая,  
Ободрена присутствием сестер,  
Страдалица без страха молодая  
И радостно восходит на костер.

Дым бежит в струях душистых,  
В искрах ярко-золотистых  
Пламень Пери охватил.  
Но не пламень это был,—  
Это юноша, ей милый.  
Светозарный, златокрылый,  
Нежным, розовым огнем  
Вдруг возникнул над костром.  
Он палящими устами  
Грудь ее облобызал,  
Обнял жаркими крылами,  
Из костра ее умчал.  
И огню лобзаний страстных  
Пери смутно предалась,  
Грудь в объятьях сладострастных  
Закипела и зажглась;  
И, казалось, умирала,  
Трудным трепетом дыша,  
Будто тело покидала  
Отрешенная душа!

И там, где звезд роскошный пламень льется,  
Как вихрь, чета любовников несется.  
Навстречу ей — вдруг призрак молодой,  
Сияющий Эдемской красотой.

Пери вновь затрепетала.  
Крепче друга обняла,  
Устрашенная, узнала  
Ту, чей образ приняла!  
Но соперница младая  
К ним приблизилась, сияя,—  
Друга тихо позвала,—  
И, в одно мгновенье ока,  
В небо темное, далеко,  
За собою увлекла.

И Пери вслед за ним хотела,  
Но ею принятого тела  
Вдруг тяжесть чувствует она.

Его мучительным давлением,  
Его стремительным паденьем  
Она с небес увлечена;  
Из бездны в бездну упадает,  
То вихри снежные встречает,  
То гор пылающих ко дну  
Летит с разгона в глубину,—  
Летит...

### XIII

И вдруг открыла очи.  
С земли сбегали тени ночи,  
Лучами утра озарен,  
Сиял румяно небосклон.  
«О, что со мной? Еще ль живу я!» —  
Сказала бедная, тоскуя.  
И долго мысль ее смутна,  
И долго в ней недоуменье:  
Во сне ль томится вновь она  
Иль уж не сон ее томленье?  
Вперед без цели Пери шла;  
Вдруг крик пронзительный орла  
Среди безмолвия раздался:  
Орел то в воздухе терялся,  
То вновь на землю упал,  
И меж окрестными скалами,  
Свистя огромными крылами,  
Орлицу криком вызывал.

Пери вдруг остановилась.  
Память быстро прояснилась:  
Крик орла ей все сказал.  
Грудь в испуге задрожала:  
Пери сердцем угадала,  
На какой он пир скликал.  
Этот страх дает ей силы,  
За орлом следит она.  
Вот упал ширококрылый,—  
Но добыча спасена.  
Он, испуганный, поднялся  
Вверх на каменный уступ,  
И нетронутый достался  
Драгоценный Пери труп...



*Вдруг крик пронзительный орла  
Среди безмолвия раздался...*

Едва дыша от утомленья,  
На тело милое, бледна,  
Без слез, без жалоб, без движенья  
Склонилась медленно она.  
Безмолвно очи устремила  
В черты недвижимого чела,  
И сил остаток собрала,  
И грудью грудь его закрыла.  
Но все, что есть тоски и мук,  
Когда возврата нет потере,  
Немым отчаянием вдруг  
Стеснило сердце бедной Пери.

Часы текут незримыми волнами,  
Уже зажжен полуднем небосклон,  
Горят пески, и душно меж скалами,  
И зноем труп внезапно поражен.  
Дохнула смерть из язв его тлетворно,—  
Вмиг ожили безмолвные скалы,  
На высоте откликнулись горной,—  
Из гнезд чета слетает за четой  
И, смелые, ширяют над землей.  
Противиться им Пери бы хотела,  
Но уж дышать близ трупа не могла,  
К другой скале невольно отошла  
И с ужасом на страшный пир глядела.

Лучами острыми паля,  
Зной жарче льется с яркой сени,  
Как лава, вспыхнула земля,  
И скалы голые — без тени.  
И обнял Пери этот зной  
Своей удушливой волной.  
Пылают бледные ланиты,  
Иссохла грудь, полураскрыты,  
Уста поблекшие горят.  
Вблизи ей слышны волны Нила,—  
Влечется к ним,— но гаснет сила,  
И вдаль с отчаянием взгляд  
Она горящий обратила...

И суждено испить до дна  
Ей чашу, полную страданий!

Других, неведомых терзаний  
Вдруг боли чувствует она:  
Какой-то коршун лютый, гладный  
Когтями внутренность ей рвет,  
На миг забыться не дает,  
Ее терзая беспощадно.  
И,— страшно молвить,— может быть,  
Блуждая жадными очами,  
Пир отвратительный с орлами  
Она хотела б разделить!..<sup>1</sup>

#### XIV

И этот день, мучительный, печальный,  
Угаснул наконец; по скату степи дальной  
Сверкали искрами струистые пески,  
Как волны золотом осыпанной реки.  
Еще незримая, по сводам неба ясным  
Ночь тихая неслась вослед за днем прекрасным,  
И вечер, поцелуй любви стыдливой их,  
На землю пролился, блистателен и тих.

Но в тишине и скорбь и муки  
Вдвойне страданием гнетут,  
И боль тогда имеет звуки,  
И язвы громко вопиют,  
И этим воплям Пери внемлет,  
И все в природе чуждо ей.  
Напрасно тихий свет лучей  
Ее сиянием объемлет  
И вечер негою своей:  
Ее ничто не ободряет.  
Она не мыслит, не желает.—  
Так безнадежно предана  
Своим страданиям она!..

И голова ее упала  
Без сил на плечи; наконец  
Потускли очи, как свинец,  
И грудь приметно угасала.

---

<sup>1</sup> Эти четыре стиха производут, может быть, неприятное впечатление на читателя; но мне казалось, что, исключив их, я не передал бы вполне мысли моей поэмы и тем нарушил бы целостность всего стихотворения.

Вдруг хор знакомых голосов  
Ей слышен будто с облаков:

«Судья правосудный на троне сидит,  
С любовью прощает, без гнева казнит!

Ты тяжкий грех пред Богом совершила:  
С земным в союз запретный ты взошла;  
Земная жизнь ослушную казнила,  
Чтоб муки ты земные поняла!

Но ты влеклась к проступку  
со страданием,  
И вздох любви на небе не забыт:  
Искуплен грех любовью и страданием,  
А смерть — Творца с созданием мирит!  
Судья милосердный на троне сияет,  
Казнит Он без гнева, с любовью прощает!»

Хор замолк; и светлых крыл  
Кто-то яркими лучами  
Разом Пери обхватил,  
Слил уста с ее устами,  
И незримыми перстами  
Сердце вдруг остановил.

Цепь земная разорвалась  
Легче звука и мечты,  
Пери вольная помчалась  
В беспредельность высоты;  
И навстречу ей, сияя,  
Из отверстой двери рая,  
В виде ярких облаков,  
Вылетает сонм Духов.  
И он, недавно столько милый,  
С своей подругой светлокрылой  
Предстал, как прежде, перед ней,  
Но в блеске славы и лучей...  
Она летит к чете прекрасной,  
Приемлет дружеский привет:  
Уже в душе ее бесстрастной  
Любви и ненависти нет!

И сбылося упование!  
Там, где жизнь и ликование  
Без границ и без конца,  
Где возвышено создание  
Лицезрением Творца,  
Образ Ангела прекрасный  
Пери снова приняла,  
Вновь, как в утро жизни ясной,  
Розой райской расцвела,  
И, как дней ее в начало,  
Вновь ничто не возмущало  
Мира сладкого души.  
Только в утренней тиши,  
Как с земли вставали звуки,  
Билась грудь ее трудней:  
Мнилось — прежние подруги  
Откликались грустно к ней!



# А. И. Полежаев

## КОРИОЛАН

### Глава первая

#### РИМ

#### I

Была страна под небесами,  
Была великая страна —  
Страна чудес... но времена  
Враждуют страшно с чудесами!  
Был град, любимый град богов,—  
Но уж давно пределы мира  
Освободились от кумира  
Племен, народов и веков!  
Он пал — сперва, как лев свободный,  
Потом, как воин благородный,  
Потом, как раб!.. С лица земли  
Он не исчез от укоризны;  
Но душен воздух той отчизны,  
Где славу предков погребли!  
И, жертва общего презренья,  
С тех пор на месте преступленья  
Он, как измученный злодей,  
Обезображенный страданьем,  
Лежит, покрытый поруганьем,  
В виду безжалостных людей!  
Без утешенья и без силы,  
Лишенный чувств и оборон,  
Как лобызанием Далилы  
Обезоруженный Самсон,—  
Он недвижим во сне глубоком,  
И филистимская вражда  
Стоит в веселии жестоком  
Над ложем смерти и стыда...  
И залегла над ним сурово  
Непроницаемая мгла —  
И долго черного покрова  
Не сгонит день с его чела!



И что ж? не будет лист увядший  
Цвести опять между ветвей,  
И горний дух, однажды падший,  
Не воскресит минувших дней!

## II

Он спит... Но кто не видел бури,  
Когда, свирепа и грозна,  
Она, как черная волна,  
Мрачит и топит блеск лазури?  
О, так на лоне тишины,  
Над этой вечною могилой  
Кумира славной старины  
Летают, выются с чудной силой  
Былого тягостные сны!  
Так благодатная десница  
Всегда таинственной судьбы  
Еще хранит свои столпы,  
О Рим, всемирная столица!  
И, как бездетная орлица,  
Она витает над тобой,  
И грустно ей расстаться с славой,  
С твоей победною державой,  
Теперь погибшей и рабой!..  
И между тем как сон печальный  
Тебя сурово тяготит,  
Она улыбкою прощальной  
С тобой безмолвно говорит...  
И рой видений — то прекрасных,  
Подобно утренней звезде,  
То величавых, то ужасных,  
Страшней порока в наготе,  
Тебя лелеет непрерывно,  
Как мать любимое дитя,  
Иль, свежей памятью шутя,  
Наводит страх и ужас дивный  
На труп холодный и немой  
Твоей гордыни роковой...

## III

И в влажном облаке тумана  
Рисует он перед тобой

Перстом волшебным некромана:  
И твой воинственный разбой,  
И беспокойное гражданство,  
И дух отважный мятежей,  
И кровь свободы, и тиранство  
Среди народных площадей;  
Фабриций, Регул, триумвиры,  
Трибуны, консулы, порфиры  
В громах и прежней красоте,  
Борясь с свирепыми веками,  
Встают и, пышными рядами  
Мелькая ярко в темноте,  
Приносят дань твоей мечте...  
И видишь живо ты миллионы  
Своих народов и рабов,  
Свои когорты, легионы  
Под тенью тысячей орлов,  
И океан, обремененный  
Громадой черных кораблей,  
И мир коленопреклоненный  
Пред капитолией твоей.  
И всё — и всё, что обожали  
С глухим проклятьем племена,  
Что безусловно освящали  
Своим полетом времена,—  
Всё видишь ты, и — изнуренный  
Ужасной мукой Прометей,  
Ты, будто вновь одушевленный  
Картиной славы прежних дней,—  
Ты, может быть, в тоске бессильной  
Желаешь быстро перервать  
Твой сон лукавый, сон могильный,  
И с новой яростью восстать!  
Но... безотрадные надежды!..  
Прошли года — пройдут года,  
И смертью скованные вежды  
Не разомкнутся никогда!..

#### IV

Ты пал! Ты умер для потомства!  
Ты — груда камней и земли!  
Секиры зла и вероломства  
Твои оплоты потрясли!

Нет Рима, нет — и невозвратно!  
И с полунощной тишиной  
Одна лишь тень его превратно  
Дрожит над тибрскою волной!..  
Исчезли цирки, пантеоны,  
Дворцы Нерона и сенат,  
И императорские троны,  
И анархический булат,  
И там, на площади народной,  
Где, в буйном гневе трепеща,  
Взывал Антоний благородный  
К друзьям кровавого плаща,  
Где защитил народ свободный  
Своих тиранов от мечей  
И, наконец, окровавленный,  
Склонился выей, изнуренный,  
Под иго хитрых палачей <sup>1</sup>, —  
Там тихо всё! умолкли битвы!..  
Лишь век иль два тому назад,  
Бывало, теплые молитвы  
То место громко огласят,  
Когда в угодность Каиафе <sup>2</sup>,  
При звуке бубнов и рогов,  
В великолепном автодафе  
Сжигали злых еретиков...

V

Теперь же в Ромуловой сфере  
Костры живые не трещат —  
Зато прекрасно Miserege  
Поет пленительный кастрат.  
И если страннику угодно  
Иметь услужливых друзей,  
Его супругу благородно  
Проводит ловкий чичисбей...

---

<sup>1</sup> Триумвиров.

<sup>2</sup> Под именем Каиафы здесь разумеется верховный инквизитор.

## Глава вторая

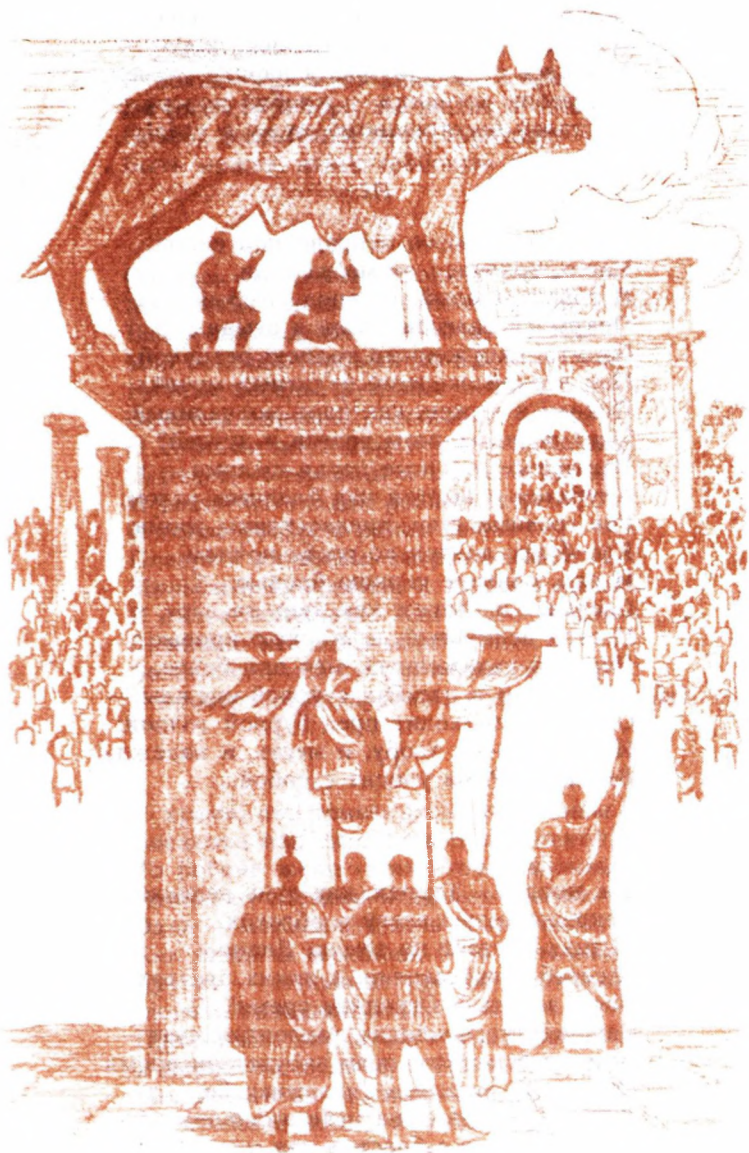
### ИЗГНАННИК

#### I

Кто видел над берегом туманного моря  
Векам современный, огромный утес,  
Который, с волнами кипучими споря,  
На брань вызывает их бурный хаос?  
Стоит недвижимый над черной могилой —  
Но воют и плещут буграми валы;  
Свирепое море с неведомой силой  
Обмыло гранитные ребра скалы,  
Обрушилось, пало холодной геенной,  
Тяжелой громадой на вражье чело —  
Сорвало, разбило — и лавой надменной  
В пучину седую, как вихрь, унесло!  
Те волны, то море — народная сила;  
Скала — побежденный народом герой.  
На поле отваги судьба довершила  
Насильства и славы торжественный бой...

#### II

Смотрите: бунтуют безумные страсти;  
Неистово блещет крамольный перун;  
Священный останок утраченной власти  
Громит безответно могучий трибун.  
Мятеж своевольный и ярые клики  
Возникли в отчизне великих мужей:  
Патриций, и воин, и раб полудикий  
Враждуют на стогнах отцов и детей;  
И шум и смятенье в приливе народа...  
«Сенат и законы!» — «Мечи и свобода!» —  
Взывают и вторят в суровых толпах.  
«Но слава, победы, заслуги и раны?» —  
«Изгнание злодею! Погибнут тираны!  
Мы вместе сражались и гибли в боях!» —  
И глухо мечи застучали в ножнах...  
«Давно ли он принял от гордого Рима  
Зеленый венок, украшение вождей?» —  
«Изгнание, изгнание! Видна диадима



*Давно ли он принял от гордого Рима  
Зеленый венок, украшение вождей?*

В зеленом венке из дубовых ветвей»<sup>1</sup>.  
И долго торжественный голос укора,  
Мешаясь с проклятьем, в народе гремел,  
И жребий изгнания — жребий позора —  
Достался бесстрашному мужу в удел!..

### III

Доволен и грозен несправедливой силой,  
Народ удалился от места суда,  
И город веселый, и город унылый  
Покрылся завесою тьмы и стыда...  
Но кто, окруженный толпою ревнивой,  
Под верной защитой булатных мечей,  
Покоен и важен, как царь молчаливый,  
Идет перед сонмом врагов и друзей?  
Волнистые длинные перья шелоча  
Клубятся и выются над бледным челом,  
Где грозные тучи, предвестницы грома,  
Как будто таятся во гробе ночном,  
И око, обвитое черною бровью,  
Сверкает и пышет, как день на заре,  
И стан величавый, и, жаркою кровью  
Нередко увлажненный, меч при бедре,  
Блестящий в изгибах суровой одежды, —  
Он гордо проходит пред бурной толпой;  
И мнится — и злобу, и месть, и надежды  
Великого Рима уносит с собой...

### IV

Уж поздно... Тарпея, как тень великана,  
Сокрыла седую главу в облаках,  
И тихо слетает на землю Диана,  
В серебряной мантии, в ярких звездах.  
Часы золотые! Отрадное время!..  
Вам жертву приносит поклонник сует —  
Лишь с сумраком ночи забудет он бремя  
Душевной печали и тягостных бед.  
В глубине эмпирея, на небе эмальном  
Звезда молодая блестит для него,

---

<sup>1</sup> Народные трибуны, обвиняя Кориолана во многих преступлениях против отечества, уличили его также в домогательстве верховной власти.

И сон благотворный на ложе страдальном  
Согреет облитое хладом чело...  
И после — на муку знакомого ада,  
На радость и горе, на жизнь и тоску  
Навеет волшебная ночи прохлада,  
Быть может, навек гробовую доску...

## V

Оделась туманною мглою столица;  
Мятежные площади спят в тишине.  
Вдали промелькает порой колесница  
Иль всадник суровый на быстром коне;  
Ночные беседы, румяные девы  
Заметны порою в роскошных садах,  
И слышны лобзанья, и смех, и напевы,  
И рядом — темницы и вопли в цепях.  
И редки на улицах робкие встречи,  
И голос укора, и ропот любви —  
Плащи и кинжалы, смертельные сечи,  
Мольбы и проклятья, и трупы в крови...  
И снова молчанье... Как будто из Рима  
Возникло песчаное море степей...  
Безоблачно небо; луна недвижима  
В пространстве глубоко воздушных зыбей.

## VI

У храма, под тенью душистой оливы  
Внезапно нарушив священный покой:  
То робкие жены — их взор боязливый  
Наполнен слезами и дышит тоской.  
Одна — молодая, в печали глубокой,  
Как ландыш весенний, бела и нежна;  
Другая — летами и грустью жестокой  
Могиле холодной давно суждена.  
Пред ними, закрытый волнистою тогой,  
В пернатом шеломе, в броне боевой —  
Неведомый воин, унылый и строгий,  
Стоит без ответа с поникшей главой.  
И тяжкая мука, и плач, и рыданье  
Под сводами храма в отсвеченной мгле —  
И видны у воина гнев и страданье,  
И тайная дума, и месть на челе.

И вдруг, изнуренный душевным волнением,  
Как будто воспрянув от тяжкого сна,  
Как будто испуган ужасным виденьем:  
«Прости же,— сказал он,— родная страна!  
Простите, сыны знаменитой державы,  
Которой победы, и силу, и честь  
Мрачит и пятнает на поприще славы  
Народа слепого безумная месть!  
Я прав и свободен! Я гордой отчизне  
Принес дорогую, священную дань —  
Младые надежды заманчивой жизни,  
И сердце героя, и крепкую длань.  
Не я ли, могучий и телом и духом,  
Решал многократно сомнительный бой?  
Не я ли наполнил Италию слухом  
О гении Рима, враждуя с судьбой?  
И где же награда? Народ благодарный,  
В минутном восторге, вождя увенчал —  
И вновь, увлеченный толпою коварной,  
Его же свирепо судил и изгнал!  
Простите ж, сыны знаменитой державы,  
Которой победы, и славу, и честь  
Мрачит и пятнает на поприще славы  
Народа слепого безумная месть!..»

## VII

Протяжно гремели суровые звуки  
И глухо исчезли в ночной тишине,  
Но голос прощанья в минуты разлуки  
Опять пробудился, как пепел в огне:  
«Свершилось! свершилось! О мать и супруга!  
Мне дорого время, мне дорог позор!  
Примите ж в объятия сына и друга —  
Его изгоняет навек приговор!  
Где дети изгнанника? Дайте скорее  
Расстаться с чертами родного лица —  
О, пусть лобызают младенцы нежнее  
Устами невинными очи отца!  
Пусть юные души дыханье обиды  
В груди благородной навек сохраняют,—  
И некогда гордо кинжал Немезиды  
Забвенному праху отца посвятят!»  
И снова рыданья!.. Горячих объятий



Не слышит, не чувствует гордый герой —  
Свободен... и скрылся от граждан и братьев,  
Как лев, уязвленный пернатой стрелой...

## Глава третья

### ВРАГ

#### I

Пробудился гений славы:  
Из объятий тишины  
Потекли на пир кровавый  
Брани гордые сыны.  
Кто ж вы?.. Яростные клики  
Раздались, как гул морей...  
Не восстал ли Рим великий  
На народов и царей?  
Не во гневе ль он суровый  
Изрекает приговор —  
И дарует им оковы  
И блистательный позор?..  
Нет! Решитель дивных боев  
Стран далеких не громит —  
Над отечеством героев  
Туча грозная висит.  
Пали, пали легионы,  
Приносившие законы  
На булатных лезвиях,—  
И бесстрашно окружила  
Разрушительная сила  
Самый Рим в его стенах!..  
Кто же смелый искунитель  
Повелительной судьбы?  
Ваш опасный притеснитель  
Ига римского рабы?

#### II

Раздавался гул громовый,  
Полунощная гроза  
Блеском молнии багровой  
Озаряла небеса.  
Над туманною рекою

Древний Анциум<sup>1</sup> дремал  
И угрюмой тишиною  
Мирных жителей к покою  
Благосклонно призывал.  
Племя славного народа  
Крепкий город охранял;  
Там отважная свобода  
На границах рубежей  
Берегла от утеснений  
Кровожадных поколений  
Цвет воинственных мужей;  
Там она, на поле чести,  
В самой гибели жива —  
Разливала ужас мести  
За великие права.  
Часто сильные дружины  
Приходили на равнины  
Плодоносной стороны;  
Но тогда миролюбивый  
Обожатель тишины  
Покидал златые нивы  
И отцов заветный плуг  
И стремился горделиво  
На призывный трубный звук.  
Непреклонный, беспощадный,  
Он пришельца поражал  
И в тени лесов отрадной  
Грозный подвиг воспевал...

### III

Тщетно Рим неодолимый  
Вызывал на лютый бой  
Сына родины любимой,  
Стража вольности святой.  
Лишь один герой могучий  
Прошумел, как вихрь летучий,  
На убийственных полях:  
Он покрыл костями долы,  
И упали Кориолы  
Перед воином во прах.

---

<sup>1</sup> Анциум — город вольсков, в котором Кориолан, после изгнания его из дома, нашел сильное покровительство.

Но народ самодержавный  
Осудил его бесславно  
На изгнание и позор  
И без тайной укоризны  
Произнес красе отчизны  
Ненавистный приговор...  
Благородный победитель,  
Удивление чуждых стран  
Обвинен как притеснитель  
Легкомысленных граждан;  
И теперь, в суровой доле,  
Грустной думой удручен,  
Может быть, на бранном поле  
Ищет смерти,— жаждет он  
Позабывать несправедливый  
И блуждающий ревниво  
По следам его закон...

#### IV

Город вольсков осенила,  
Как холодная могила,  
В шуме бури тишина;  
И под кровлею надежной  
Мирный житель безмятежно  
Предавался неге сна.  
В это время кто-то, строен,  
Безоружен, но покоен,  
Гость неведомый, вступал  
В град и пышные чертоги,  
Где глава народа — строгий  
Старец Аттий — обитал.  
В мрачной думе вождь верховный,  
После тягостного дня,  
Одинок сидел безмолвно  
У отрадного огня.  
Все вокруг него дышало  
Незабвенной стариной  
И невольно вспоминало  
Славу жизни молодой:  
Шлемы, панцири и латы,  
И тяжелые булаты,  
Иззубренные в боях,  
Перед ним в отцовской сени

Отсвечались на стенах —  
И порой как будто тени  
Трепетали на гробах.

## V

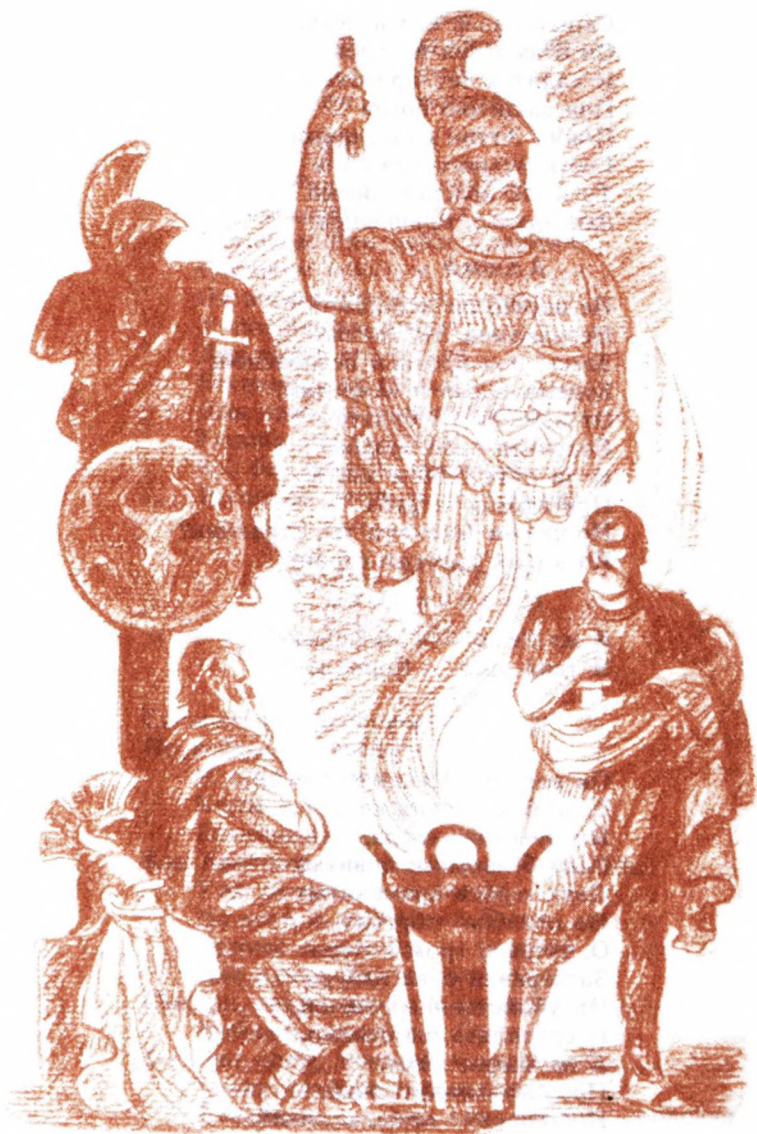
Охранитель беззащитных,  
Раболепственных владык,  
Он на битвах кроволитных  
Был отважен и велик;  
Сам орел капитолийской  
Рог гордыни италийской,  
Для тиранов роковой,  
Не возмог стереть кичливо  
Над его вольнолюбивой  
Серебристой головой <sup>1</sup>.  
Только раз он в вихре боя  
Пал разбитый и от ран;  
Но тогда его, героя,  
Победил Кориолан.  
Это имя было казнью  
В непокорных племенах  
И с невольною боязнью  
Повторялось на устах;  
Это имя ужасало  
И народы и царей  
И, как буря, навевало  
Хлад на души матерей...

## VI

Старый вождь сидел угрюмо  
Перед тлеющим огнем  
И летал печальной думой  
В невозвратном и былом.  
Вдруг в мечтании глубоком,  
Изумлен и недвижим,  
Видит он: в плаще широком  
Чуждый воин перед ним.

---

<sup>1</sup> Да простят мне из уважения к памяти Кориолана поэтическую вольность, с которой приписал я много редких достоинств едва известному по истории Аттию Туллу. Кориолан достоин был иметь знаменитого соперника — на поприще славы.



*Видит он: в плаще широком  
Чуждый воин перед ним.*

Скрыты взор его и лета;  
Он безмолвен и суров  
И садится без привета  
Под защиту богов <sup>1</sup>.  
Понял Аттий горделивый  
Гостя чудного без слов —  
То язык красноречивый  
Запоздалых пришлецов.

#### А т т и й

Не порою ли ненастной,  
Незнакомец, ты гоним?  
Здесь, под кровлей безопасной,  
Будешь здоров и невредим.  
От измены, от булата  
Сохранит тебя судьба,  
И на путь тебе я злата  
Приготовлю и раба.  
Но скажи мне: кто ты, странник?  
Из каких далеких стран?

#### Н е з н а к о м е ц

Я из Рима — я изгнанник!  
Я твой враг — Кориолан!..

### VII

Он встает... Какая встреча!  
Если б яростная сеча  
Их неистово свела,  
Если б лаврами обвитых  
Двух героев знаменитых  
На погибель обрекла,—  
О, тогда и гром и бури  
Засверкали б на лазури  
Их убийственных мечей,  
И сразились бы стихии,  
А не воины лихие  
Пред миллионами очей.  
Но теперь — один, великий,  
Без покрова и друзей,  
У могучего владыки

---

<sup>1</sup> Историческое.

Необузданных мужей  
Ищет, с гордостью свободной,  
Или жизни благородной,  
Или смерти, как злодей.

### К о р и о л а н

Аттий! Рок меня коварный  
Справедливо погубил —  
Слишком Рим неблагодарный,  
Слишком много я любил.  
Он изгнал меня... я снова  
У старинного врага;  
Для услуг его готова  
Беспощадная рука,  
Для вражды непримиримой —  
Голова моя и кровь!  
Ах, без родины любимой  
В сердце месть, а не любовь!..

## Глава четвертая

### ГРАЖДАНКА

#### I

Светило дня роскошно и светло  
По небесам безоблачно текло  
И озаряло Рим унылый,  
Когда в виду его граждан  
Военачальник чуждой силы,  
Как бранный дух, предстал Кориолан.  
Уже не славу, но оковы,  
Не щит, а гибельный булат  
Принес в деснице он суровой  
Для казни Ромуловых чад.  
Смотри, тиран народов вероломный,  
Любимец счастья и богов,  
На этот сонм, могучий и огромный,  
Твоих завистливых врагов!  
Дерзнешь ли ты, как прежде горделивый,  
Рассеять их несметные толпы?  
Падут ли в прах, с потупленною выей,  
Перед тобой мятежные рабы?  
Увы!.. Одни высокие твердыни,

Одни бойницы — твой покров,  
И превратил огонь в печальные пустыни  
Богатство сел твоих, и нив, и городов...  
К тебе как гений разрушенья  
Притек неистовый герой —  
Обмыть в крови, на поле мщенья  
Позор обиды роковой!..

## II

Кто видел бурные потоки,  
Когда с вершин утесов и холмов  
Они бегут и роют путь широкий  
Среди степей, среди лесов,  
И рушат все стремительною лавой —  
Так и отважные сыны  
Свободы дикой и войны  
Текли на подвиг величавый.  
И смерть и кровь по их следам —  
И исполин, доселе знаменитый,  
Везде рассеянный, разбитый,  
Спешит в отчаянье к стенам.  
И вопли жен осиротелых,  
И укоризны матерей,  
И ропот старцев, поседелых  
На поле славы прежних дней,  
Встречают с грустью безнадежной  
Остатки робких беглецов;  
И стыд неволи неизбежной  
И звук торжественных оков  
Над ними носятся незримо, но мятежно,  
Как молния во мраке облаков...  
Нередко погружен в мучительные думы,  
Когда во тьме ночей дремал покойный стан,  
На город мрачный и угрюмый  
С невольною тоской взирал Кориолан.  
В каком печальном унижение  
Стоял, как призрак, перед ним  
Тот самый гордый, сильный Рим,  
Краса могучих поколений,  
Который страшен и велик,  
Был некогда грозой народов и владык;  
Тот Рим, отечество героев,  
Который он на поле боев



Прославил гибельным мечом  
И, наконец, карал без сожаленья,  
Как жертву праведного мщенья,  
В безумстве жалком и слепом.

### III

Как гражданин страны несчастной,  
О ней он втайне тосковал —  
Он часто к родине прекрасной  
Мечтой высокой улетал;  
Но приговор несправедливый,  
Но голос чести и стыда  
В его душе самолюбивой  
Таились яростно всегда;  
И он презрел, неумолимый,  
Права, законы, самый рок —  
И славный град вражде непримиримой  
И разрушению обрек.  
Увы, священная свобода!  
Ни представители народа <sup>1</sup>,  
Ни жрец верховный, ни сенат  
В злоеший день не охранят  
Тебя надежную эгидой  
От непреклонного врага!  
Кто движим мстью и обидой,  
Кого свирепая тоска  
Казнит и мучит самовластно,  
Кто утонул в пучине зла,—  
Тому раскаянье ужасно,  
Тому отрада немила;  
Тот увлечен ожесточеньем  
Безумной воли и страстей  
И дышит весь уничтоженьем,  
Как недруг неба и людей...  
Таков Кориолан!.. Народ самодержавный,  
Тебе он произнес печальные слова:  
«Я гражданин изгнанный и бесславный,—  
Огонь и меч — мои единые права!  
Я их внесу рукой окровавленной  
В чертог тиранов и судей —

---

<sup>1</sup> Здесь говорится о безуспешном посольстве к Кориолану римского сената и жрецов.

И не спасет гордыни униженной  
Ни стон, ни вопль, ни святость алтарей!..»

#### IV

Где раздались протяжно и сурово  
Глухие звуки этих слов?  
Под сводом неба, средь шатров,  
Где все шумит, где все готово  
Восстать и тучей громовой  
Лететь за славою на бой...  
Совершилось!.. благодатный  
Луч надежды изменил!  
Ополчись на подвиг ратный  
Гений Рима — воин сил!  
Где вы, праотцы и деды  
Погибающих сынов?  
О, покиньте для победы  
Сени мрачные гробов!  
Пронеситесь над главами  
Устрашенных беглецов,  
И рассеются над вами  
Сонмы лютые врагов!  
Но нет! блистают копья, брони;  
Стучат железные щиты;  
Покрыли воины и кони  
Луга, долины, высоты;  
Тревога, грохот, гул и клики,  
Земля и стонет и гудит —  
И горе, горе, Рим великий,  
Твой час, последний час пробит!..

#### V

Кто этот муж иноплеменный,  
Всегда и всюду впереди?  
За ним волною разъяренной  
Текут народы и вожди;  
Его десницы мановенье,  
Единый взор его очей  
Приводят в трепет и волненье  
Толпы воинственных мужей...  
Уже он близок; из колчана  
Выходят стрелы — миг один —

И может быть, к стопам Кориолана  
Падет покорный гражданин!..

## VI

Но что за дивное явление,  
Откуда страх между бойцов?  
Кто мог остановить внезапно ополчение  
Перед лицом бледнеющих врагов?  
Вся рать безмолвна, недвижима.  
Навстречу ей, торжественно, из Рима  
Идет не грозный легион,  
Предвестник битвы кроволитной,  
Но сонм усталый, беззащитный  
Младых гражданок, славных жен...  
С другим оружием — с слезами  
И распущенными власами  
На обнаженных раменах,  
С словами мира на устах,  
С мольбой, ничем не отразимой,—  
Они идут тебя сразить  
И пламень мести потушить  
В твоей груди, герой непобедимый!..

## VII

Кого с растерзанной душой,  
С челом суровым и холодным,  
Кого ты зришь перед собой?  
Кто гласом грустным, но свободным  
К тебе воззвал: «Кориолан!  
Кого я заключу в горячие объятья:  
Тебя ли — своего отечества тиран,  
Навлекший на главу позорную проклятья,  
Или тебя — несчастный сын?  
Кто ты? Изгнанный гражданин  
Или надменный повелитель?  
Когда и меч, и смерть, и плен  
Ты вносишь в недра этих стен —  
Зачем же медлишь, победитель,  
Своих детей, жену и мать  
Цепями рабства оковать?  
Карай меня всей тяжестию мщенья!  
Я Рим повергла в море зла



*О мать моя — ты победила!  
Твой сын погиб, но Рим спасен!..*

И недостойна сожаленья —  
Я жизнь преступнику дала!..»

## VIII

И вопль гражданок знаменитых,  
И милые слова: «отец, супруг»,  
Печальный вид простертых к небу рук,  
Растерзанных одежд и уст полуоткрытых —  
Все душу мрачного вождя  
В то время сильно волновало —  
И, чувство мести побеждая,  
Невольно к жалости склоняло.  
Казалось, слова одного  
Искал он в памяти: пощада;  
И в тишине взирали на него  
И чуждые толпы, и римляне из града.  
И долго был он в думу погружен,  
И наконец как будто пробудила  
Его от сна неведомая сила:  
«О мать моя — ты победила!  
Твой сын погиб, но Рим спасен!..»  
На месте том, где самовластье  
Любви гражданской и красы  
Спасло отчизну от грозы,  
Воздвигли храм богине Счастья<sup>1</sup>.  
Но там, где пал неистовый герой  
И добродетельный изгнанник,—  
Не видел памятника странник  
И не вздыхал над урной гробовой...



---

<sup>1</sup> Историческое.

# Е. Бернет

## ВЕЧНЫЙ ЖИД

Я запишу, что в сердце человека  
Такое чувство существует.

*Байрон*

### Глава первая

#### сицилия

#### I

Фернандо шел по горному хребту,  
С холма на холм, с высот на высоту;  
Под ним, вдали, равнина вод лежала  
И так была сапфирна и чиста,  
Так весело свод неба отражала,  
Что всякий бы, взор кинув на разлив  
Роскошных струй, признал высокий миф:  
Из этих волн родилась Красота.

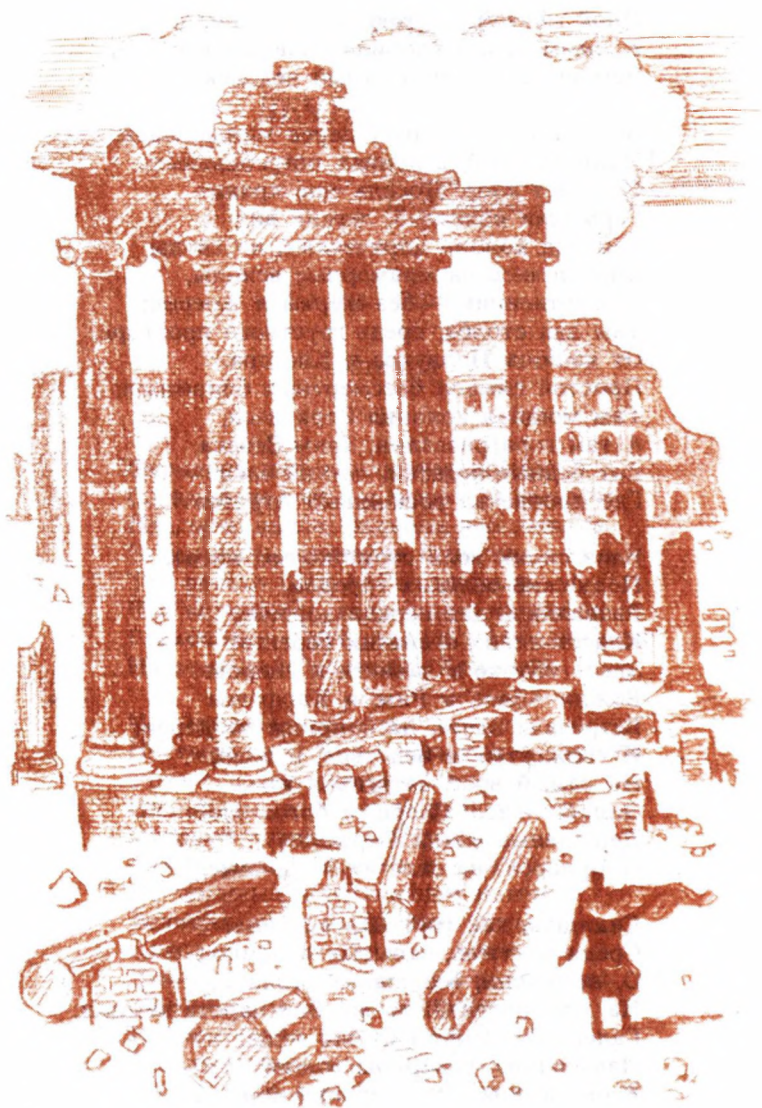
Кто посещал забытую долину?..  
Пустыня дум! Как будто дождь камней,  
Упав с небес, рассыпался по ней,  
Иль груды скал — преграда исполину —  
Ударами озлобленной руки  
Разбросаны, разбитые в куски!  
Но подними, дряхлеющий потомок  
Великих, здесь почивающих племен,  
Которым ты не ведаешь имен,  
Любой кусок, любой в пыли обломок:  
Ужели ты не можешь прочесть  
На нем труда изящного печать?  
Ужель в часы, когда ты расхищаешь  
На скудный дом гроба твоих отцов,  
Ограбленных, забытых мертвецов,  
В минувшее очей не обращаешь,  
И скорбь души холодной не томит,  
Что мужи те, которые сложили  
В бессмертный свод и мрамор, и гранит,

Иной мечтой, другою жизнью жили,  
К иным делам клонили славный век,  
Чем ныне ты, ничтожный человек!

Богини храм, в кругу деревьев миндальных,  
Поникнувший, в руинах погребальных,  
Смущает взор. Досель еще хранит  
Гармонии изящный, легкий вид  
Сей ряд колонн дорических; но своды  
Обрушились на мраморные входы,  
И жертвенник — без жервы и жрецов;  
Там два столба, средь грустного простора,  
От капища Поллукса и Кастора,  
Простой символ бессмертных близнецов;  
Там мощная колонна Геркулеса,  
А там гора развалин, храм Зевеса,  
Вот бедные остатки, легкий след,  
Где процветал роскошный Агригент!..

Близ синих волн стоят холмы нагие,  
Подножие великих городов.  
Развалины, для сердца дорогие,  
Классических эгейских берегов!  
Здесь яблоко и зависти и споров:  
Вожди Афин, и Рим, и Карфаген  
Встречали здесь, на поприще раздоров,  
И торжество, и бедствие, и плен.  
Но самый враг, затягивая узы,  
Оплакал вас... Свершен богов завет:  
Державные упали Сиракузы  
И Бриарей, не спас их — Архимед!..

Сидящая, как грустная вдовица,  
Среди пустынь, забытых и немых,  
О, не ропщи, безлюдная столица,  
На жребий свой: то жребий царств земных.  
Галерами взметая бурны воды,  
Надменною, коварною толпой,  
Верь, не придут соперники-народы  
Из дальних стран ругаться над тобой:  
Лежат в земле дней славных исполины!  
Давно исчез великий Карфаген,  
Унижены блестящие Афины,  
Облекся Рим в бессилие и тлен.



*Облеся Рим в бессилие и тлен.*



Вот жизнь в гробах, вот город на кладбище!  
Здесь лавы ток страну завладел,  
Но он еще, дымясь, не охладел,  
А человек беспечное жилище  
Поставил вновь, забыв отцов удел.  
Амфитеатр, разгневанной природы  
Игралище, под трауром лежит:  
В нем черный ток как бы досель бежит,  
Залив навек колонны, окна, входы,  
Не жить людям, где воцарилась смерть!  
О! если б ты, пришлец иноплеменный,  
Хотел взглянуть на город поглощенный  
И прежнюю Катанию узреть:  
Ступай один в подземный край видений!  
Там навсегда погас отрадный свет,  
Там остовы минувших поколений,  
Там города погибшего скелет.  
Земля весны, Цереры и денницы,  
Сицилия! не загремят опять  
Твоих вождей истлевших колесницы,  
Не соберут сынов усопших рать!  
Но пусть твое величие сокрылось,  
Пусть к нам дошел от славных тех племен,  
Которыми ты, сильная, гордилась,  
Лишь перечень деяний и имен;  
Пускай давно упали саркофаги,  
Пусть моет дождь и закрывает пыль  
На них резцом начертанную быль;  
Пускай твои долины всюду наги,  
Обрушилась героев и царей  
Забтая священная обитель;  
Развеял ветер, пустынь унылый житель,  
Прах городов и пепел алтарей:  
Но и теперь, хоть гордою судьбою  
Ты лишена державы золотой,  
И век торжеств минул, как сон пустой,  
Благоговел Фернандо пред тобою!  
И кто бы, кто решился укорять  
Вождей, певцов, царей великих мать,  
Поникшую, в дни старости согбенной,  
Детей своих над урною бесценной,  
Живущую среди пустынь немых  
Лишь памятью, рассказами о них!..

Все редкости искусства и природы  
В стране могил Фернандо обозрел,  
Он в таинства печальные прозрел,  
Уразумел, зачем живут народы...

## II

Теперь он шел по горному хребту,  
С холма на холм, с высот на высоту;  
Угрюмая в очах его картина!  
До облаков вздымался Пеллегрино,  
Орел вился над черным верхом скал,  
Ручей, как меч, граниты рассекал;  
А там, внизу, безмерная равнина,  
Убогий кров, могильных два креста,  
Забывтый храм, платан, иль голубое,  
Столетнее, недвижимое алоэ,  
Иль кипарис, иль пальма сирота;  
Лазурная пучина океана:  
По ней корабль, смиренных вод краса,  
Летел, скользил, раскинув паруса,  
И наконец, под зыбию тумана,  
На берегах являлся город тот,  
Где грозного Прочиды тень живет.

Час от часу даль меркнет и пустеет,  
Все более угрюмый лес густеет,  
Неверный путь дубов грядами сжат:  
Одни — как строй гигантов недоступных,  
Недремлющих, суровых, неподкупных, —  
Волшебную обитель сторожат;  
Другие — бурь не вынесли тревогу:  
Но, верные и в самой смерти долгу,  
Как ратники убитые, лежат,  
Покрыв собой заветную дорогу.  
В ногах хрустит иссохший, бледный лист;  
Протяжный скрип, или мгновенный свист,  
Иль дикий рев пустыню оглашает;  
Денница круг обычный довершает  
Кой-где пронзит ветвей густую сень,  
Кой-где падет, оканчивая день,  
На влажный мох багровыми лучами;  
Вечерний мрак творение облек, —  
И хитрый зверь, усиливая скок,  
Блестит в кустах зелеными очами.

### III

Но вот редееет темный лес,  
Открылся ясный свод небес;  
Пред путником отлогий холм:  
Дворец готический на нем,  
Раскинутый между садов,  
Вознес зубцы до облаков.  
Как пышен здесь долин наряд!  
Лимоны, мирты, виноград,  
Кусты индийских гордых фиг,  
Обвитых цепью повилик,  
Гранаты, кактус, апельсин  
И рощи лавров и маслин,  
То длинной нитью, то дугой,  
Рукой природы всеблагой  
Насажены. Красы венец!  
Не человек, а сам Творец  
В очарование облек  
Безвестный этот уголок!

### IV

Садилось солнце между тем,  
Но тихий, радостный Эдем  
Ему покинуть стало жаль:  
И вот зеркальных струй эмаль,  
Румянцем розовым горя,  
Пьет долгий поцелуй царя;  
На холм, на рощи, на залив  
Упал тот сладостный отлив,  
Тот нежный, мягкий полусвет,  
Который, изменяя цвет  
Растений, зданий, вод живых,  
Разнообразит прелесть их.  
Как воздух сладко растворен  
Дыханием цветных корон!  
Какая свежесть, красота,  
Гармония и пестрота,  
Когда, по воле ветерка,  
Сто раз меняется река,  
И листья, тихо лепеча,  
Горят отсветами луча!  
Но срок заветный настает,

День погрузился в лоно вод,  
И вечер тенью легких крыл  
Мир успокоенный покрыл.

## V

Предупреждая ночи мрак,  
Фернандо ускоряет шаг;  
Достиг холма, и, наконец,  
Пред ним таинственный дворец,  
Созданье смелого ума.  
Подзоры, башни, терема,  
Резца восточного бразды,  
Окошек стрельчатых ряды,  
Шпиц легкий, гордый, озлащен,  
Двор белым мрамором мощен.  
И мнилось, здесь полет годов  
Оставить не дерзнул следов;  
Казалось, прах не смел тут лечь,  
И гениев незримых меч  
Чертоги счастья хранит.  
Повсюду наслажденья вид,  
Повсюду неги аромат;  
Но странника у пышных врат  
Не встретил лаем верный пес,  
Привета страж не произнес;  
Обитель жизни лишена:  
Молчанье, сон и тишина,  
Как будто в области теней!  
Лишь водомет в углу сеней,  
Живыми брызгами ключа  
О мрамор жалобно стуча,  
Гремит среди безмолвных стен,  
Как бы стараясь звуком тем  
Своих владельцев пробудить,  
Давно истлевших, может быть!

## VI

Фернандо из сеней вперед  
С невольным трепетом идет,  
Бросая изумленный взгляд  
На бесконечный комнат ряд:  
Их ходы закрывала ткань,

Но, заплатя столетьям дань,  
Она лежит теперь в кусках!  
Лазурь и злато на стенах;  
В истлевшем бархате амвон;  
Лес тонких мраморных колонн  
Цветной поддерживает свод;  
Пол — мозаических работ,  
На нем золотые письмена:  
Не смысла времени волна  
С блестящих этих мозаик  
Халифов набожный язык.  
Завет людей щадят века;  
Но где же ныне та рука,  
Что бросила на грань плиты  
Души любимые мечты?..

## VII

Путем далеким утомлен,  
У белых и резных колонн  
Фернандо сел, на пьедестал  
Главу склонил и очи в даль,  
Без цели, грустно устремил.  
Уже полночный мрак затмил  
Все углубления аркад;  
Одеты в траурный наряд,  
Стоят угрюмые столбы,  
Как неподвижные рабы.  
Унылый путник в этот час  
Как будто слышит тихий глас,  
Крыл веянье и шелест ног,  
Дыханье жаркое и вздох.  
Таинственной могилы дверь  
Пред ним открылася теперь,  
И настоящее с былым  
Узлом скрепилось одним.  
Воспоминанье, грусть, мечты  
Живые приняли черты;  
Наполнен образами свод,  
Теней мелькает хоровод,—  
Кружатся перед ним оне  
Не наяву и не во сне,—  
А месяц бледный из-за туч  
Сомнительный роняет луч.

### VIII

И видит он чертоги Эскурьяла,—  
Фернандо был в Испании рожден,—  
Где смелая душа его алкала  
Узнать судеб таинственный закон;  
Где, с юных дней похищенный от света,  
Он требовал науки и совета  
У мудрецов, у вековых страниц,  
От мрачных стен и царственных гробниц;  
Где предвкушал святое наслажденье,  
Где в будущем провидел наперед,  
Как завесу людского заблужденья  
Властительной рукою раздерет  
И племена, неверные их долгу,  
Сзовет опять на верную дорогу.  
Блаженный сон! как часто снишься ты  
Душе молодой, высокой и свободной,  
Пока она в толпе неблагородной  
Еще хранит одежду чистоты!  
Но сбудутся ль священные призывы?  
Взойдет ли цвет среди пустынной нивы?  
Удастся ль нам те сны одушевить?  
Как предузнать!.. Счастливее б мы были,  
Когда бы нас желанья не томили,—  
Безумные желанья, может быть!..

Вот юноша уважен стариками,  
А сверстники безмолвствуют пред ним;  
Улыбкою, движением одним  
Владеет он летучими полками,  
И уст его магическая речь  
Даст в руки им или исторгнет меч.  
Стремительны, как шумный ток нагорный,  
Тверды как сталь и грозны как булат,  
Они ему единому покорны,  
Как сын отцу, как брату меньший брат.  
Завидный рок! И кто бы сожалел  
О лучших днях, убитых без возврата  
В немых стенах, под игом дум и дел,  
Когда за них так велика отплата?  
Но, ах! порой не тяжко ль мудрецу,  
Над братьями исполненному власти,  
Давать отчет в их счастье иль несчастье  
Себе, людям, потомству и Творцу?..

Блещат мечи, волнуются знамена,  
Ждут ратники с далеких берегов,  
Чтоб юный вождь, от имени закона,  
Благословя, их ринул на врагов.  
О, как сердца отвагою пылают!  
Как набожно обеты воссылают  
Не робкие, но скромные уста!  
Как жадно слух внимает повеленьям!  
Призыв вождя, руки его движенья,  
Как мание верховного перста.  
Он повелел — и за святое дело  
Вдаль воинство, как буря, улетело,  
И пыль легла бестрепетным вослед...  
Не правда ли, их ждут венки побед?..

Остановись, надежда исполина!  
Неверный твой, сомнительный расчет  
К гибели надменного влечет,  
Не признает судьба в нем властелина!  
Остановись: вот пыльная равнина,  
Где храбрые на вечный сон легли!  
Им не видать родимой их земли,  
Им дотлевать без гроба и без тризны!  
Могильный прах осыпал им чело,  
Страдание черты лица свело,  
А тусклый взор исполнен укоризны  
К вождю полков, к тому, чей произвол  
В подземный дом безвременно их свел.  
Жив этот вождь, но бытия сознание  
Подобного — не есть ли наказание  
Лютейшее... И кто его спасет?  
Он мертвецов по имени зовет,  
Безумные он взоры обращает  
К невнемлющим, далеким небесам,  
Как бы ответа спрашивая там.  
Увы! ему никто не отвечает,  
И он бежит из родины своей  
Вдали сокрыть остаток бедных дней.

## IX

Так лет былых ужасные картины  
Фернандо зрит в мечтаньях пред собой,  
И прошлое тяжелою стопой

Его следит в развалинах чужбины.  
Он молод был! Потерянную честь,  
Обман надежд, смерть братий, груды пепла  
Не мог забыть, не мог он перенести!  
Его душа в страданиях не окрепла,  
Не ведал он седых веков урок,  
Что на земле могуществен порок,  
Что доброму в юдоли бед и плача  
Готовятся преграды, неудача,  
Что не всегда ждет истину венок,  
Что надобно, горя к людям любовью,  
Путь к счастью их облить своею кровью.  
В слезах любви и подвигах труда  
Прекрасный цвет засеян для потомства;  
Не истребит семян тех до плода  
Рука судеб, насилья, вероломства.

## Х

Порою той на темный верх колонн  
Луч месяца из облака скатился,  
И, как гнездо, у сводов осветился  
На воздухе повешенный балкон.  
От мрачных грез Фернандо пробужден:  
Там, где свились чугунные перилы,  
Он видит лик задумчивый и милый,  
Лик женщины! Глазам не верит он,  
И думает: то сон воображенья,  
Чувств огненных, забытых отраженья,  
С родных полей минутный ветерок,  
В дни юности несорванный цветок.  
Ах, в эти дни, дни райских увлечений,  
Свершая путь высоких назначений,  
Он убегал влиянья красоты,  
На зов страстей он не давал ответа;  
Лишь в мирный час полночной темноты  
Какие-то волшебные черты  
Тревожили недолгий сон аскета;  
И вот они воскресли перед ним  
В немых стенах! Вся прелесть идеала,  
Которою он сладко был томим,  
Бывалою красою заблестала!  
И молит он: «О призрак юных дней,  
Живой ответ сердечного кристалла!



Я знаю, ты лишь сон души моей,  
Одна мечта... Но если в мире ей  
Существенность коварно изменила,  
Ты верен буди!.. Близка моя могила:  
Не улетай, останься, погоди,  
В желанный гроб страдальца проводи!»  
Меж тем луна за облако упала,  
Затмился луч — видение пропало...

## Глава вторая

### ЖЕНЩИНА

#### XI

Она не сон, не ложный сон!  
Не бысролетное мечтанье!  
Она живет! Над ней закон  
Любви, восторга и страданья!  
Не призрак легкий и пустой  
Черты святые принимает:  
Душа увлечена бывает  
Одушевленной красотой.

О, верьте сердцу: то влечение,  
Благой природы назначенье,  
Правдивей счастья и бед,  
Надежней громких обольщений  
Богатства, славы и побед,  
Которые придумал свет  
В надменных грезах просвещения!  
Но воспитать небесный дар  
Не всем дано, не всем доступно!  
Недолго тлеет чувства жар  
В душе холодной и преступной!  
Мгновенно любит, кто жесток,  
Не знает вечных уз порок!  
Лишь пылкий сердцем, чистый духом,  
Сын неба меж сынов земли,  
Умеет слышать вещим слухом  
Созвучье веры и любви!  
Лишь он, в порывах исступленья  
Вменяя скорби в наслажденье,  
Как мученик среди костра,

Тем больше небо постигает  
В символах красоты, добра,  
Чем больше пламени игра  
Земной состав его сжигает.  
Не чувствуя палящих жал,  
Он в край бессмертья переходит  
И в недрах вечности находит,  
Что в мире этом обожал.

## XII

Она пред юношей явилась,  
Как тот божественный кумир,  
Которому при звуке лир  
Эллада светлая молилась;  
Но прелесть строгого лица,  
Но негой дышущее тело,  
Как бы иссеченное смело  
Ваяньем древнего резца,  
Смягчались думою и чувством.  
Казалось, мысль зажглася в ней,  
И непослушный жар страстей  
Взял верх над правильным искусством

О, кто же столько нас пленит,  
Как та, которой образ внятно  
Нам, исступленным, говорит,  
Что наше сердце ей понятно!  
Которая, земную лесть  
Державным взглядом отражая,  
Дает улыбкой тихой весть,  
Что грусть любви ей не чужая!  
К богине внемлющей во храм  
Идти мы с жертвою готовы;  
Пылает дух, как фимиам,  
Проходит замысел суровый,  
И головой к ее ногам  
Не стыдно приклониться нам!

Она пред юношей предстала  
Как воплощенье дивных грез,  
Которого душа искала,  
Творя любви апофеоз.  
Она в себе все заключала

Красы и благости начала;  
И если дум иль чувств зерно  
Забывшее в груди лежало,  
Внезапной жизнью оно  
При ней всходило, оживало,  
И новый благовонный цвет  
Богине разливал привет.

Отрадная, как весть прощенья  
В стенах безмолвных заточенья!  
Прекрасная, как первый шаг,  
Как день начальный мирозданья,  
Когда угрюмой ночи мрак  
Не одевал еще созданья,  
Когда небесные лучи  
Лились, как чувство, горячи!  
Сладка, как с другом час свиданья  
В стране печального изгнанья!  
Тиха, как приближенье сна;  
Но полная огня и жизни,  
Как благотворная весна!  
Мила, как счастье отчизны,  
Как оный миг, когда народ,  
Цня заботы и служенье,  
В простых, сердечных выраженьях  
Благословенья нам дает!..

### XIII

«Я Гинда, странник! Я с цветами  
Живу в пустыне! Бог над нами!  
Он посылает день и тьму;  
Зефир, долины, волны, птицы,—  
Дела благой Его десницы;  
Я дочь Его, будь сын Ему.  
Я с каждым утром гимны пела,  
Искала трав, плела венки;  
Когда же в облаках гремело  
И страшный огненный поток  
Вселенную разил и жег,  
Тогда я плакала... боялась  
За птиц, за рощи, за цветы!  
Но снова в блеске красоты  
Творцу природа улыбалась,

Тогда и я смеялась вновь,  
Поняв, что гнев Его — любовь.

Я Гинда, странник! Это слово  
Из уст чужих мне слышать ново.  
Могла я много птиц созвать,  
Их голоса мне сладко пели;  
Но Гиндою меня назвать  
Они, порхая, не умели;  
И песня их была скудна,  
И я была всегда одна!..  
Лишь ты созвучием богатым  
Дум, выражений и сердец,  
Лишь ты, творения венец,  
Меня пленил и стал мне братом;  
И в узах нового родства  
Минуло горе сиротства!  
Твои слова, твои обеты  
Огнем живительным согреты;  
Твоим сияньем я полна,  
Как солнцем тихая луна!  
Растут неведомые силы,  
Призыв я слышу божества,  
Я внемлю тайнам естества,  
Я вижу ангелов, о милый!  
Я вижу, как они кругом  
Долины неба обтекают  
И как в пространстве голубом  
Их крылья белые мелькают!  
Скорее к ним! Вперед, вперед!  
Любовь вольна — и не умрет!..»

## Глава третья

### вечный жид

#### XIV

Волненьем яростной пучины  
Заброшен на утес пловец;  
До срока бедственной кончины  
Оставленный, живой мертвец,  
Он видит только бездны моря,  
Унылый заточенья дом,

И, как волна с волною споря,  
Кипит и пенится кругом.

Читатель, не жалея о нем!  
Хоть в самом деле без ответа  
Вдали от родины и света  
Томится он, но с каждым днем  
Его надежда возникает;  
Он думает: средь белых волн  
Не парус ли вдали мелькает,  
Не реет ли желанный челн?  
Быть может, ветерки домчали,  
Минуя стражу-глубину,  
Унылый глас его печали  
Туда, в родимую страну!  
Быть может, слезы и моление  
Его жены, его сирот  
Проникли за небесный свод —  
И близко, близко избавленье!  
Он будет снова обнимать  
Детей и радостную мать.  
Так обольщенный, он не слышит  
Прихода смерти; сердце в нем  
Горит еще любви огнем,  
Еще надеждой сладкой дышит.

## XV

Гляжу на темный океан,  
Где люди носятся от века,  
И ни один живой обман,  
Который манит человека  
В обетованный, дальний путь,  
Мою не наполняет груди!  
Пусть море в дни покоя, летом,  
Сияет беспредельным светом,  
Воздушной синевой сквозит;  
Но для меня кристалл минутный,  
На время ясный, вечно мутный,  
Лица небес не отразит!  
Пускай пучина забунтует  
И буря воды потрясет:  
Она мой парус не надует,

Она мой челн не унесет!  
Не увлечет меня желанье  
Искать страны очарованья:  
Мир для меня уже не нов!  
Я понял ложь волшебных снов  
И, не робея под грозами,  
Не жду цветущих берегов:  
Ах, в целом мире нет цветов  
Для взора, полного слезами!  
Мне трудно заменить теперь  
Сомнительной приманкой счастья  
Действительность былых потерь!  
Под камнем хладного бесстрастья  
Я схоронил любовь, вражду;  
От струй покорных, волн мятежных,  
Полей цветущих, дебрей снежных  
Я больше ничего не жду!..

И если иногда украдкой  
Приду я к людям в шумный круг,  
Чтоб видом их улыбки сладкой  
Глубокий облегчить недуг;  
Чтоб разделить учащем брата  
Завидное веселье их:  
Тоска, раздумье и утрата  
Следят меня в толпах живых;  
Я песням их не отвечаю,  
Я их восторгом не дышу;  
Я всюду горе то встречаю,  
Которое в себе ношу!

## XVI

Беги от них, беги далеко,  
Унылый гость среди пиров!  
Их добродетелей, пороков,  
Страстей, желаний, детских снов  
Ты разделять уже не можешь!  
Затем ли светлый их покой  
Явленьем горестным встревожишь,  
Не увлекаясь суетой,  
Чтоб их забавы, наслажденья  
Окинуть взглядом осужденья,

Чтоб отвечать на их сердца  
Иль недоверьем осторожным,  
Иль попечением тревожным,  
Иль холодной думой мудреца?..

## XVII

Блажен, кто бремя отчужденья  
На сильных раменах сдержал;  
Кто, понимая заблужденья,  
Презреньем их не раздражал!  
Кто шел с людьми одной тропой,  
Не развевая легких крыл;  
Кто первородство над толпою  
От взоров зависти сокрыл;  
Кого не мучили пороки,  
Кто пыл душевный охладил,  
Кто редко, редко говорил  
Священной истины уроки!  
Кто бытие умел двоить,  
Был человеком и поэтом;  
Свет укоряя, ладил с светом  
И, ненавидя, мог любить!  
Кто воспевал пиры и счастье,  
Кто исторгал у всех участие  
Одной живою остротой,  
Земным, для всех понятным чувством,  
Одним пластическим искусством,  
Материальной красотой!  
Кто жажду славы и тревогу  
Не лил в скудельные сердца;  
Кто пальмой мирного певца  
Людям указывал дорогу;  
Кто обличал, но был готов,  
Завидя стыд иль гнев собрата,  
Смягчить грозу правдивых слов!  
Он, как зефир в часы заката,  
Отвеял зной от всех цветов,  
Не похищая аромата!  
Он ландышу и розе пел  
Гимн неги, страсти, обновленья  
И, разливая умиление,  
В эфир далекий улетел!..

## XVIII

Блажен Фернандо! жизнью новой  
Он с милой Гиндою расцвел!  
Судеб враждебный произвол,  
Условий тяжкие оковы  
На миг забыты им. Любовь  
Одна его волнует кровь.  
О, сладко, сладко нам порою  
Ее божественной игрою  
Усталый разум окрылить!  
Влеченью тайному предаться,  
В невинных радостях теряться,  
Невинные лобзанья пить!  
Но для чего ж желаний сердца,  
Как неутешных просьб младенца,  
Не может усыпить краса?  
Зачем душа так помнит долго  
Три нам завещанные долга:  
Отчизну, мир и небеса?..

## XIX

Уж ночь природу облачила  
Своей роскошной темнотой,  
И Гинда в храмине златой,  
Прекрасная, давно почила.  
Фернандо, страж ее и брат,  
Заботливо кидает взгляд  
На деву счастья и мира.  
Он шепчет: «Будь всегда чиста!  
Не избирай себе кумира!  
Пускай невинные уста  
Не вкусят обаяний мира!  
Туман страстей, желаний дым  
Пусть не оденет мглою очи,  
И целомудренные ночи  
Да веют воздухом святым!»  
Так говоря, у милых ног  
Челом горящим он прилег.

## XX

Не тихий сон, оцепененье  
Сковало юношу; испуг,



Изнеможение, нетерпенье  
Слились в мучительный недуг.  
И вот, когда душой томился  
Фернандо, неподвижен, нем,  
Внезапно от высоких стен  
Какой-то образ отделился:  
Повитый мглой гигантский стан,  
Трудом, годами изнуренный;  
Лицо, как в полночь океан,  
Луною тускло озаренный.  
Как страшно было в нем читать  
Угрюмой вечности печать!  
Как тяжело нависли тучи  
Глубокой думы над челом!  
Как ярко взглядов пламень жгучий  
Горел нездешним бытием!

## XXI

Неведомый подходит к спящей,  
И долго с нежностью отца  
На прелесть юного лица  
Глядит, безмолвный и скорбящий.  
Потом Фернандо манит он  
Своею длинною рукою,  
И юноша, расторгнув сон,  
Идет за ним, как за судьбою,  
Идет дрожащею стопою  
По узкой лестнице витой  
Все выше, выше. Призрак скрылся,  
И в башне ветхой и пустой  
Один Фернандо очутился.  
В решетки ржавые окна  
Льет свет печальная луна.

Под слоем пыли древний свиток  
Фернандо видит и берет,  
Одoleвая чувств избыток.  
О, много тайнств разовьет  
Пергамент этот! Но былого,  
Всегда священного для нас,  
Не уцелел вполне рассказ  
В истлевших начертаньях слова!  
Лишь, непонятные, как сны,  
Одни отрывки спасены.

## Глава четвертая

### РУКОПИСЬ

#### XXII

Когда свод неба раскаленный  
Лучами ослепляет взор  
И ты, о странник утомленный,  
Придешь на мой широкий двор,  
Увидишь полные прохлады  
Мои жемчужные каскады,  
Мои зеленые сады,  
Тогда, кляня свои труды,  
Безмерный путь и зной полдневный,  
Воскликнешь, горестный и гневный:  
«Зачем эмир Сазд-Эддин,  
Полей, чертогов господин,  
Нейдет к усталому с приветом?  
Знать, он забыл, богач скупой,  
Гостеприимства долг святой!  
Знать, чаши пожалел с шербетом,  
Сосуд отрекся дать простой  
Для омовенья, с влагой ясной!»  
Ах, странник, не вини напрасно!  
Эмиру не встречать гостей!  
Он в гроб ушел, его зарыли,  
Теперь он горсть ничтожной пыли  
Да груды тлеющих костей!  
Руками черни раболепной  
Эмир, слабеющий старик,  
В полях чертог великолепный  
В честь милой дочери воздвиг,  
Во имя Цизы... Дочь моя!  
В тебе одной любви светило  
Лучом последним бытия  
Над белой головой светило!  
Но как я ни был стар и сед,  
А умер не от лет — от бед!..

Раз говорил я: ты прекрасна,  
Аллахом посланная дочь!  
Твои глаза темны, как ночь,  
Как день, твоя улыбка ясна;

Твоя любовь — желанный рай  
Для мусульмана... Почему же  
Не хочешь указать ты мужа?  
Зачем ты медлишь? Выбирай!  
Как много витязей доныне  
Поют в вечерние часы  
Твои суровые красы  
На заунывной мандолине!  
Как много дротиков, мечей,  
Блиставших смертью на ловитве,  
Изломано в ревнивой битве  
За чудный блеск твоих очей!  
И все бесплодно, все напрасно:  
Ты равнодушна и бесстрашна!

Зачем ты хочешь презирать  
Арабов огненную рать?  
Зачем ты думаешь, что воин  
Владеть тобою недостоин?  
Коран, вместилище наук,  
Оставила; бежишь подруг  
И, неверна улемов игу,  
Не выпускаешь ты из рук  
Еврейскую святую книгу?  
Иль хочешь прочитать ты в ней  
Судьбу твоих грядущих дней?..  
Когда мятежная пучина  
С ветрами в битве заревет,  
Какая тайная причина  
На берега тебя зовет?  
Зачем желанья, нрав дочерний  
Глубоко пред отцом таишь  
И в час торжественный, вечерний,  
О Циза, с кем ты говоришь?

Я досказал, она молчала;  
Ее смятение я видал,  
Ответа долго ожидал,  
Увы, она не отвечала!..

«Младенец под сердцем, в могиле отец,  
И Циза младая с супругом  
Одни населяют безлюдный дворец,  
Врагом позабытый и другом!

Зачем, непонятный, тогда лишь со мной  
Отпраздновал брак ты наш чудный,  
Когда мой единый властитель земной,  
Родитель, уснул непробудно?

Но вечные тайны могу ли понять  
И как их пучины измерить?  
Я знаю одно лишь: в молчанье страдать,  
Умею любить я и верить.

Младенец под сердцем... Его не ласкать!  
Мой взор первенца не увидит!  
Для дочери милой несчастная мать  
В могилу холодную снидет.

Что здесь приготовили нам небеса,  
Не будет, не станет иначе!  
Пред разумом только склонилась краса,  
Но разум победу оплачет».

И жизнь в утрате обретя,  
Как цвет, растущий на могиле,  
Годами матери дитя  
Росло и укреплялось в силе.  
Зачем, спасая дочь и мать,  
Не мог за Цизу умереть я  
И тяжкое мое бессмертье  
Малютке Гинде передать?..

Так Гинда резвая не знает,  
Как разлученный с ней отец,  
Проникнув ночью во дворец,  
Ланиты дочери лобзает;  
Она, беспечная, растет  
На лоне матери-природы.  
Дни смертного, как бурны воды,  
Текут; последний, страшный год  
Уже настал, уже минует;  
Отца смятение волнует,  
Ах, кто за дочь еще умрет?  
Кто будет Гинде покровитель?  
Но вот приходит избавитель...  
Он был роскошный, смелый грек,  
В избытках неги возмужавший;

На бытие, Эдем увядший,  
На человечество, на век  
Бросая взор эпикурейца,  
В незлобном обольщении сердца,  
Душой усталой он дремал.  
Недавний секты идеал,  
Отцов языческая вера,  
Хула, наградные венцы,  
Все, что сказали мудрецы,  
Ему являлось как химера,  
Как заблуждений долгий сон,  
И ни во что не верил он.  
Но ты, о мать Афродита,  
Изящных предков божество!  
Ты для него была не скрыта!  
Твое он славил торжество,  
Тебе он нес остаток жизни,  
Минуя жертвенник отчизны!  
Тебя, когда душой кипел,  
Он исповедовал и пел!  
У ног твоей прекрасной жрицы,  
Пред милой девой, без забот,  
Закрыв он влажные зеницы  
И умер; Гинда вновь живет.

Второй минует период;  
Отца смятение волнует:  
Кто Гинде жизнь опять дарует  
И за нее еще умрет?

И падших царств строитель новый,  
Угрюмый, пламенный, суровый,  
Явился деве паладин;  
Лицо под сению решетки,  
Душой и телом исполин,  
Соединя палаш и четки  
И шарф повеся на плечо,—  
Священный дар подруги милой,—  
Он был исполнен чудной силой,  
Любил и верил горячо.  
Он тленье к вечному приблизил,  
Он чувству основал престол,  
Земное до небес возвел,  
А небо до земли унизил...

Он, исступленный, придавал  
Той деве, что была любима,  
Несотворенный идеал,  
Бесплотный образ херувима;  
Он думал, что свершает путь  
В краях святыни бесконечной,  
Когда огонь любви сердечной  
Испепелял младую грудь;  
Он заблуждался... но ошибку  
Свою постигнуть он не мог!  
Благословляя сладкий долг  
И на устах храня улыбку,  
Он умер; Гинда все живет.

Лета минули... Близок третий,  
Ужасный сердцу период!  
Дни красоты своею смертью  
Продлить, Фернандо, твой черед!

### XXIII

Окончен свиток; долго, долго  
Безмолвный юноша сидит;  
Невольню робкая тревога  
Простое сердце тяготит;  
Душа неведеньем томится,  
Как поступить, на что решиться?  
«Принять бесчувствия обет,  
Убить красу, эдемский цвет  
Жестокой волей эгоизма;  
Власть на рассудке основать  
И вековой покров сорвать  
Любви, надежды, мистицизма;  
Подвинуть целый шар земной  
Холодной мыслию одной...  
В личине мертвой разноверца,  
Не внемля голосу молвы,  
Копить богатства головы  
На счет обкраденного сердца;  
Сбирать познания горький плод  
В вертепах скуки и забот;  
Отвергнуть нежное участие,  
Таить и мысли и дела,  
Быть неприступным как скала,

Мечтать о нераздельном счастье;  
Покинув чувства благодать,  
С природой связи разорвать  
И свет в железные объятья  
Схватить, стенанья и проклятья  
В немом бесчувствии внимать,  
И наконец, пред волей рока  
Случайной, на стезях порока  
Упасть с надменной высоты,  
И власти храм недовершенный  
Обрушить в хаос пустоты:  
Вот бытие без красоты,  
Вот мир, изыска лишенный!

Ужасный путь!.. Не лучше ль нам,  
Созданьям быстро преходящим,  
Доверясь благотворным снам,  
Жить, упиваясь настоящим?  
Глядеть с улыбкою на мир,  
И, воцаря наслажденье,  
Венчать цветами заблужденья  
Бессмертной прелести кумир;  
И духа жалкое бессилье  
Материального обилья  
Дарами от очей сокрыть?  
Вот жизни лучшей указанье!  
Познание счастливым быть  
Не есть ли высшее познание?

Но ум, могущий все понять,  
Повязкой детской спеленать...  
Но, славные отринув цели,  
Однообразно годы влечь  
И в гроб таким же точно лечь,  
Каким пришел из колыбели:  
Бессильным выступить на бой  
С людьми, природой и судьбой...  
Но мертвыми струями неги  
Деяний жажду потушить  
И наслажденьем заглушить  
Высоких замыслов побеги;  
К подножью гордой красоты,  
Признав ее земное царство,  
Сложить небесное богатство,

Рассудок, волю и мечты...  
О, нет! Сокройся, обольщенье!  
Исчезни, пагубная тьма!  
Для мужа силы и ума  
Такое ль в мире назначенье?  
Нет, по тернистому пути,  
Ведомый истины звездою,  
Хочу отныне я идти  
Холодной, твердою стопою:  
Владеть хочу я, не служить!  
Пусть жребий Гинды знаменует,  
Что царство прелести минует;  
Я жить хочу! я буду жить!»

## Глава пятая

### ПРОЩАНИЕ

#### XXIV

Луна плывет; на мхах развалин  
Дрожащий свет ее печален;  
С зефиром легким темный мирт  
О чем-то грустном говорит;  
Цветы головками живыми  
Поникли к бархатным лугам;  
Теснятся волны к берегам,  
Как бы страхась разлуки с ними...

Ах, недалек ужасный день,  
Давно назначенный судьбою!  
Последней этой ночи тень  
Умчит кого-то за собою...

#### XXV

Широкий лес, зеленый дол,  
Отлогий берег, все, что было  
Для сердца памятно и мило,  
Фернандо с Гиндой обошел.  
Как бы готовясь на изгнание,  
Он звал о прошлом воспоминанье;  
Он каждый холмик, каждый куст,  
Облитый тихим лунным светом,  
Встречал задумчивым приветом,



Исполненный унылых чувств.  
И все, что дева говорила  
Когда-то, страстию полна,  
Теперь он молит, чтоб она  
Пред ним до слова повторила.  
Но для чего же милый звук  
Его не облегчает мук?  
Зачем подруги нежный лепет  
Безрадостно внимает он?  
Что значит затаенный стон,  
И дикий взгляд, и дикий трепет?  
К чему твердит он, жизнь кляня:  
«Сестра моя, прости меня!»

## XXVI

Идет в чертоги он. Окрестность  
В волнах тумана, как безвестность,  
Как бесконечный путь, видна  
В раствор широкого окна.  
Кругом творение молчало;  
Казалось, природа-мать,  
Детей умея понимать,  
На думы думой отвечала.  
Фернандо, грустный и немой,  
Сидел пред девою молодой,  
И с арфы дланию нетвердой  
Срывал печальные аккорды,  
И песнь его, как в ночь река,  
Была уныла и дика.

### Песня разлуки

Моя сестра, возлюбленная дева,  
Едва настал любви желанный год,  
Послушная, без ропота и гнева,  
В холодный гроб из милых стран идет.  
Кто слышал уст младенческих укору?  
Кто видел ток ее невинных слез?  
Опущены к земле святыя взоры,  
А на челе венки из белых роз.

Ее красой гордилась природа,  
Ей гимны пел свободный ветерок;

Под куполом широким небосвода  
Она была роскошнейший цветок.  
Леса и дебрь звучали ей струнами,  
И океан любовью дрожал,  
Когда порой кристальными волнами  
Прекрасный лик богини отражал.

Но мрачный дух забот и отрицанья,  
Боготворя один суровый долг,  
Предмет надежд, мечты и созерцанья  
Безжалостным рассудком пренебрег.  
Ударил час... царица вдохновенья,  
Холодному покорная уму,  
Скрывается, как легкое виденье,  
В далекую, неизвестную страну.

Померкни же, блистание дневное,  
Утратьте жизнь, и рощи, и цветы;  
Величие, изящество земное,  
Покиньте мир с богиней красоты;  
Предшествуй ей в колоннах, прах летучий,  
Путь озаряй, кровавых молний свет,  
И, ветрами растерзанные тучи,  
За ней, за ней неситесь вослед.

●

## XXVII

Вдруг юноша окончил пенье,  
И взор боязни и смятенья  
В лицо подруги устремил:  
Быть может, ранний луч зарницы  
Поникшее чело девицы  
Неверной бледностью покрыл  
В то время; но ему казалось,  
Что смерть губительной косой  
Уже блистала над красой,  
К невинной жертве прикасалась.  
Тогда горячих слез поток  
Скрывать он долее не мог  
И произнес, в порывах муки,  
Несвязного вопроса звуки:  
— Ты, Гинда, хочешь умереть?  
— Я все хочу, что́ ты желаешь;  
И как иного мне хотеть?



*...смерть губительной косой  
Уже блистала над красой...*

Мое ты сердце, милый, знаешь!  
Но для чего же ты рыдаешь?  
Скажи, что значит — умереть?

## XXVIII

«Умереть? — и, как в испуге,  
Голос юноши дрожал,  
И внимающей подруге  
Чем-то страшным угрожал.—  
Умереть? Красу и силу,  
Волю, чувство, разум, страсть  
В роковую кинуть пасть,  
В ненавистную могилу.  
Разорвать союза нить  
С миром, братьями и веком,  
Перестать быть человеком,  
Мыслить, действовать, любить.

Умереть? сказать природе:  
Ты мне более не мать!  
Я не стану на свободе  
Дланью сына обнимать  
Грудь твою, для всех родную,  
И сосцов твоих млеко  
Не прольет струю живую  
В сердце, спящем глубоко...  
Эти формы, чувство, тело,  
Мой состав и образ мой,  
Все, что жизнью кипело,  
Что юнело красотой,  
Истреби ты ныне смело!  
На разгневанную мать,  
Верь, не стану я роптать!  
Об одном молю: по смерти  
Дай забытый уголок,  
Где бы след мой, кости эти,  
Положить я в землю мог!  
Пусть ладья моя причалит,  
Где не веет бытие;  
Пусть мертвец не опечалит  
Все живущее твое!..  
Умереть? — на голос друга

В первый раз не отвечать,  
И когда зовет подруга  
Воплем горестным, молчать.  
Пусть во мгле осенней ночи  
Обожаемые очи  
Плачут долго у креста;  
Пусть над мраморной плитою  
Шепчут милые уста  
Речи, полные тоскою:  
Обитатель недр земных  
Равнодушен, нем и тих!  
Кровных и друзей несчастье,  
Незабвенных тихий глас  
Без раздела, без участия  
Оставляет в первый раз.

Умереть? — напечатленье  
Рук зиждительных Творца  
Заменить покровом тленья,  
Бледным ликом мертвеца.  
Там блистательная дева,  
Чувств и мыслей королева,  
Движет пылкие сердца;  
Нежных уст ее дыханье,  
Будто роз благоуханье;  
Звук неясных, детских слов  
Вечно сладок, вечно нов;  
Шум походки, шелест платья,  
Взгляд очей, руки пожатье  
Увлекают в мир иной  
Юношей веселый рой.  
Дева, в играх наслажденья  
Укрепляя милый плен,  
Не боится охлажденья  
И не ведает измен...  
Вдруг губительной косою,  
Равнодушна и слепа,  
Смерть махнула над красою:  
Где ж поклонников толпа?..  
Пред останками подруги  
Сам любовник задрожал  
И, забыв обет, в испуге  
Прочь от гроба убежал!..»

## XXIX

— О, замолчи! Суровым хладом  
На душу веет речь твоя!  
Друг, страшно мне прощальным взглядом  
Окинуть прелесть бытия!  
Земля так радостно светлеет!  
И с вами, горы и леса,  
Моря, потоки, небеса,  
Расстаться Гинда не умеет!

Но если пылкая любовь  
И жизнь не в нашей слабой воле,  
Оконча дни, хочу я вновь  
Ожить в каком-нибудь символе...  
Под сенью дуба, вешний цвет,  
Росла фиалка на долине:  
И где ж фиалка эта ныне?  
Ее уж нет! Ее уж нет!  
Но ею все благоухает  
Осиротелая страна,  
И путник аромат вдыхает,  
Где некогда цвела она.  
Когда сияет месяц бледный,  
Встает из гроба призрак бедный,  
Знакомый принимает вид,  
О прошлом с милым говорит...  
О, верь, усопших мир безвестный  
Не заключен в могиле тесной,  
И, посещая тот гранит,  
Где прах сестры любимой скрыт,  
Ты собери молодые силы,  
Надеждой грудь обогати,  
Стань на колени у могилы,  
А очи к небу обрати:  
Оттоль звездою голубою  
Гореть я буду над тобою  
И звать: — Ко мне! сюда, сюда!  
Здесь нет ни горя, ни труда!

Взгляни, там клонятся леса,  
Там льются голубые воды;  
Ах, не лишай меня природы,  
Оставь мне эти небеса!

Не отнимай росы, зефира,  
Движенья, говора, лучей,  
Прохлады утра, звезд ночей  
Богатого, родного мира.  
Я их люблю! я жить хочу!  
Я чувства рождена царицей,  
Я матери-земле сторицей  
За дни блаженства заплачу.  
Трудов, печальных мыслей ношу  
Невинной облегча игрой,  
Я розы на утесы брошу,  
Зажгу мечтаний легкий рой,  
И этому живому рою  
Чертоги таинства открою,  
Куда людей тропой забот  
Ни ум, ни мужество, ни твердость,  
Ни самолюбие, ни гордость,  
Ни жезл властей не приведет,  
Страна любви и вдохновенья!  
Пред взором обнаружишь ты  
Бесчисленных духов явленье  
В единстве вечной красоты.

Но, ах! багряною одеждой  
Покрылся голубой восток!  
Ужель настал ужасный срок?  
Ужель проститься мне с надеждой?  
Так вдруг, так рано умереть!  
Не зреть денницы восходящей!  
О, тяжела, горька ты, смерть,  
Для груди, жизни кипящей!

### XXX

«Ты не умрешь, мое дитя!» —  
Вскричал Фернандо, обхватя  
Стан девы бледной и молящей:  
«Ты не умрешь!.. Ах! кто бы мог  
Быть столько хладен и жесток?  
Ах! в чьей душе достало б силы  
Отринуть светлую мечту,  
Облечь живую красоту  
Холодным саваном могилы?  
Нет, Гинда, нет! ты не умрешь!

Клянусь, еще далек рубёж,  
Где умолкает голос сердца,  
Где смертный признает за ложь  
Восторги и мечты младенца!  
И чем бы заменил наш век  
Блаженство страстных упоений,  
Которым в дни земных смятений  
Доселе счастлив человек?  
Что дал бы он, сухой и скудный,  
За мир — эдем фантазий чудный?  
Ему ли жертвовать судьбой?  
Ах, может быть, для нас готовы  
В грядущих новых временах  
Иные общества основы!..  
Но для того огнем любви,  
Воображенья райским цветом  
Владей, блаженствуй в мире этом,  
Живи, прекрасная, живи!  
А я... бесстрашными глазами  
На мой удел хочу взглянуть!  
Я выбрал, Гинда, лучший путь  
Между неверными стезями,  
Умел я жертву принести...  
Прости, забудь меня, прости!»

Сказал, и с горькими слезами,  
Рыдая, к ней на грудь упал,  
Как бы прощаясь, все земное,  
Нам драгоценное, родное,  
В одном объятье обнимал...  
День юный вспыхнул той порою  
Лучом свободным над горою,—  
Но дня Фернандо не видал.





# М. Ю. Лермонтов

## ДЕМОН

### *Восточная повесть*

#### Часть I

##### I

Печальный Демон, дух изгнания,  
Летал над грешною землей,  
И лучших дней воспоминанья  
Пред ним теснились толпой;  
Тех дней, когда в жилище света  
Блистал он, чистый херувим,  
Когда бегущая комета  
Улыбкой ласковой привета  
Любила поменяться с ним,  
Когда сквозь вечные туманы,  
Познавья жадный, он следил  
Кочующие караваны  
В пространстве брошенных светил;  
Когда он верил и любил,  
Счастливый первенец творенья!  
Не знал ни злобы, ни сомненья,  
И не грозил уму его  
Веков бесплодных ряд унылый...  
И много, много... и всего  
Припомнить не имел он силы!

##### II

Давно отверженный блуждал  
В пустыне мира без приюта:  
Вослед за веком век бежал,  
Как за минутою минута,  
Однообразной чередой.  
Ничтожной властвуя землей,  
Он сеял зло без наслажденья.  
Нигде искусству своему



*Печальный Демон, дух изгнания,  
Летал над грешною землей...*

Он не встречал сопротивленья —  
И зло наскучило ему.

### III

И над вершинами Кавказа  
Изгнанник рая пролетал:  
Под ним Казбек, как грань алмаза,  
Снегами вечными сиял,  
И, глубоко внизу чернея,  
Как трещина, жилище змея,  
Вился излучистый Дарьял,  
И Терек, прыгая, как львица  
С косматой гривой на хребте,  
Ревел,— и горный зверь и птица,  
Кружась в лазурной высоте,  
Глаголу вод его внимали;  
И золотые облака  
Из южных стран, издалека  
Его на север провожали;  
И скалы тесною толпой,  
Таинственной дремоты полны,  
Над ним склонились головой,  
Следя мелькающие волны;  
И башни замков на скалах  
Смотрели грозно сквозь туманы —  
У врат Кавказа на часах  
Сторожевые великаны!  
И дик и чуден был вокруг  
Весь Божий мир; но гордый дух  
Презрительным окинул оком  
Творенье Бога своего,  
И на челе его высоко  
Не отразилось ничего.

### IV

И перед ним иной картины  
Красы живые расцвели:  
Роскошной Грузии долины  
Ковром раскинулись вдали;  
Счастливый, пышный край земли!  
Столпообразные раины,  
Звонко-бегущие ручьи

По дну из камней разноцветных,  
И кущи роз, где соловьи  
Поют красавиц, безответных  
На сладкий голос их любви;  
Чинар развесистые сени,  
Густым венчанные плющом,  
Пещеры, где палящим днем  
Таятся робкие олени;  
И блеск, и жизнь, и шум листов,  
Стозвучный говор голосов,  
Дыханье тысячи растений!  
И полдня сладострастный зной,  
И ароматною росой  
Всегда увлажненные ночи,  
И звезды яркие, как очи,  
Как взор грузинки молодой!..  
Но, кроме зависти холодной,  
Природы блеск не возбудил  
В груди изгнанника бесплодной  
Ни новых чувств, ни новых сил;  
И все, что пред собой он видел,  
Он презирал иль ненавидел.

## V

Высокий дом, широкий двор  
Седой Гудал себе построил...  
Трудов и слез он много стоил  
Рабам послушным с давних пор.  
С утра на скат соседних гор  
От стен его ложатся тени.  
В скале нарублены ступени;  
Они от башни угловой  
Ведут к реке, по ним мелькая,  
Покрыта белою чадрой <sup>1</sup>,  
Княжна Тамара молодая  
К Арагве ходит за водой.

## VI

Всегда безмолвно на долины  
Глядел с утеса мрачный дом;

---

<sup>1</sup> Покрывало.

Но пир большой сегодня в нем —  
Звучит зурна <sup>1</sup>, и льются вины —  
Гудал сосватал дочь свою,  
На пир он созвал всю семью.  
На кровле, усталной коврами,  
Сидит невеста меж подруг:  
Средь игр и песен их досуг  
Проходит. Дальними горами  
Уж спрятан солнца полукруг;  
В ладони мерно ударяя,  
Они поют — и бубен свой  
Берет невеста молодая.  
И вот она, одной рукой  
Кружа его над головой,  
То вдруг помчится легче птицы,  
То остановится, глядит —  
И влажный взор ее блестит  
Из-под завистливой ресницы;  
То черной бровью поведет,  
То вдруг наклонится немножко,  
И по ковру скользит, плывет  
Ее божественная ножка;  
И улыбается она,  
Веселья детского полна.  
Но луч луны, по влаге зыбкой  
Слегка играющий порой,  
Едва ль сравнится с той улыбкой,  
Как жизнь, как молодость, живой.

## VII

Клянусь полночною звездой,  
Лучом заката и востока,  
Властитель Персии златой  
И ни единый царь земной  
Не целовал такого ока;  
Гарема брызжащий фонтан  
Ни разу жаркою порою  
Своей жемчужною росой  
Не омывал подобный стан!  
Еще ничья рука земная,  
По милому челу блуждая,

---

<sup>1</sup> Вроде волынки.

Таких волос не расплела;  
С тех пор как мир лишился рая,  
Клянусь, красавица такая  
Под солнцем юга не цвела.

### VIII

В последний раз она плясала.  
Увы! завтра ожидала  
Ее, наследницу Гудала,  
Свободы резвое дитя,  
Судьба печальная рабыни,  
Отчизна, чуждая поныне,  
И незнакомая семья.  
И часто тайное сомненье  
Темнило светлые черты;  
И были все ее движенья  
Так стройны, полны выраженья,  
Так полны милой простоты,  
Что если б Демон, пролетая,  
В то время на нее взглянул,  
То, прежних братьев вспоминая,  
Он отвернулся б — и вздохнул...

### IX

И Демон видел... На мгновенье  
Неизъяснимое волненье  
В себе почувствовал он вдруг.  
Немой души его пустыню  
Наполнил благодатный звук —  
И вновь постигнул он святыню  
Любви, добра и красоты!..  
И долго сладостной картиной  
Он любовался — и мечты  
О прежнем счастье цепью длинной,  
Как будто за звездой звезда,  
Пред ним катилися тогда.  
Прикованный незримой силой,  
Он с новой грустью стал знаком;  
В нем чувство вдруг заговорило  
Родным когда-то языком.  
То был ли признак возрожденья?  
Он слов коварных искушенья

Найти в уме своем не мог...  
Забуть? — забвенья не дал Бог:  
Да он и не взял бы забвенья!..

. . . . .

## Х

Измучив доброго коня,  
На брачный пир к закату дня  
Спешил жених нетерпеливый.  
Арагвы светлой он счастливо  
Достиг зеленых берегов.  
Под тяжелой ношею даров  
Едва, едва переступая,  
За ним верблюдов длинный ряд  
Дорогой тянется, мелькая:  
Их колокольчики звенят.  
Он сам, властитель Синодала,  
Ведет богатый караван.  
Ремнем затянут ловкий стан;  
Оправа сабли и кинжала  
Блестит на солнце; за спиной  
Ружье с насечкой вырезной.  
Играет ветер рукавами  
Его чухи<sup>1</sup>, — кругом она  
Вся галуном обложена.  
Цветными вышито шелками  
Его седло; узда с кистями;  
Под ним весь в мыле конь лихой  
Бесценной масти, золотой.  
Питомец резвый Карабаха  
Прядет ушами и, полный страха,  
Храпя косится с крутизны  
На пену скачущей волны.  
Опасен, узок путь прибрежный!  
Утесы с левой стороны.  
Направо глубь реки мятежной.  
Уж поздно. На вершине снежной  
Румянец гаснет, встал туман...  
Прибавил шагу караван.

---

<sup>1</sup> Верхняя одежда с откидными рукавами.

## ХІ

И вот часовня на дороге...  
Тут с давних лет почиет в Боге  
Какой-то князь, теперь святой,  
Убитый мстительной рукой.  
С тех пор на праздник иль на битву,  
Куда бы путник ни спешил,  
Всегда усердную молитву  
Он у часовни приносил;  
И та молитва сберегала  
От мусульманского кинжала.  
Но презрел удалой жених  
Обычай прадедов своих.  
Его коварною мечтою  
Лукавый Демон возмущал:  
Он в мыслях под ночью тьмою  
Уста невесты целовал.  
Вдруг впереди мелькнули двое,  
И больше — выстрел! — что такое?..  
Привстав на звонких стременах <sup>1</sup>,  
Надвинув на брови папах <sup>2</sup>,  
Отважный князь не молвил слова;  
В руке сверкнул турецкий ствол,  
Нагайка щелк — и, как орел,  
Он кинулся... и выстрел снова!  
И дикий крик и стон глухой  
Промчались в глубине долины —  
Недолго продолжался бой:  
Бежали робкие грузины!

## ХІІ

Затихло все; теснясь толпой,  
На трупы всадников порой  
Верблюды с ужасом глядели;  
И глухо в тишине степной  
Их колокольчики звенели.  
Разграблен пышный караван;  
И над толпами христиан  
Чертит круги ночная птица!

---

<sup>1</sup> Стремена у грузин вроде башмаков из звонкого металла.

<sup>2</sup> Шапка, вроде ериванки.



Не ждет их мирная гробница  
Под слоем монастырских плит,  
Где прах отцов их был зарыт;  
Не придут сестры с матерями,  
Покрыты длинными чадрами,  
С тоской, рыданием и мольбами  
На гроб их из далеких мест!  
Зато усердную рукою  
Здесь у дороги, над скалою  
На память водрузится крест;  
И плющ, разросшийся весною,  
Его, ласкаясь, обовьет  
Своею сеткой изумрудной;  
И, своротив с дороги трудной,  
Не раз усталый пешеход  
Под Божьей тенью отдохнет...

### XIII

Несется конь быстрее лани,  
Храпит и рвется, будто к брани;  
То вдруг осадит на скаку,  
Прислушается к ветерку,  
Широко ноздри раздувая;  
То, разом в землю ударяя  
Шипами звонкими копыт,  
Взмахнув растрепанною гривой,  
Вперед без памяти летит.  
На нем есть всадник молчаливый!  
Он бьется на седле порой,  
Припав на гриву головой.  
Уж он не правит поводами,  
Задвинув ноги в стремяна,  
И кровь широкими струями  
На чепраке его видна.  
Скакун лихой, ты господина  
Из боя вынес, как стрела,  
Но злая пуля осетина  
Его во мраке догнала!

### XIV

В семье Гудала плач и стоны,  
Толпится во дворе народ:



Скакун лихой, ты господина  
Из боя вынес как стрела...

Чей конь примчался запыленный  
И пал на камни у ворот?  
Кто этот всадник бездыханный?  
Хранили след тревоги бранной  
Морщины смуглого чела.  
В крови оружие и платье:  
В последнем бешеном пожатье  
Рука на гриве замерла.  
Недолго жениха молодого,  
Невеста, взор твой ожидал:  
Сдержал он княжеское слово,  
На брачный пир он прискакал...  
Увы! но никогда уж снова  
Не сядет на коня лихого!..

## XV

На беззаботную семью,  
Как гром, слетела Божья кара!  
Упала на постель свою,  
Рыдает бедная Тамара;  
Слеза катится за слезой,  
Грудь высоко и трудно дышит;  
И вот она как будто слышит  
Волшебный голос над собой:  
«Не плачь, дитя! не плачь напрасно!  
Твоя слеза на труп безгласный  
Живой росой не упадет:  
Она лишь взор туманит ясный,  
Ланиты девственные жжет!  
Он далеко, он не узнает,  
Не оценит тоски твоей;  
Небесный свет теперь ласкает  
Бесплотный взор его очей;  
Он слышит райские напевы...  
Что жизни мелочные сны,  
И стон и слезы бедной девы  
Для гостя райской стороны?  
Нет, жребий смертного творенья,  
Поверь мне, ангел мой земной,  
Не стоит одного мгновенья  
Твоей печали дорогой!

На воздушном океане,  
Без руля и без ветрил,

Тихо плавают в тумане  
Хоры стройные светил;  
Средь полей необозримых  
В небе ходят без следа  
Облаков неуловимых  
Волокнистые стада.  
Час разлуки, час свиданья —  
Им ни радость, ни печаль;  
Им в грядущем нет желанья  
И прошедшего не жаль.  
В день томительный несчастья  
Ты об них лишь вспомяни;  
Будь к земному без участия  
И беспечна, как они!

Лишь только ночь своим покровом  
Верхи Кавказа осенит,  
Лишь только мир, волшебным словом  
Завороженный, замолчит;  
Лишь только ветер над скалою  
Увядшей шевельнет травкою,  
И птичка, спрятанная в ней,  
Порхнет во мраке веселей;  
И под лозою виноградной,  
Росу небес глотая жадно,  
Цветок распухнет ночью;  
Лишь только месяц золотой  
Из-за горы тихонько встанет  
И на тебя украдкой взглянет,—  
К тебе я стану прилетать;  
Гостить я буду до денницы  
И на шелковые ресницы  
Сны золотые навевать...»

## XVI

Слова умолкли в отдаленье,  
Вослед за звуком умер звук.  
Она, вскочив, глядит вокруг...  
Невыразимое смятенье  
В ее груди; печаль, испуг,  
Восторга пыл — ничто в сравненье.  
Все чувства в ней кипели вдруг;  
Душа рвала свои оковы,

Огонь по жилам пробежал,  
И этот голос чудно-новый,  
Ей мнилось, все еще звучал.  
И перед утром сон желанный  
Глаза усталые смежил;  
Но мысль ее он возмутил  
Мечтой пророческой и странной.  
Пришлец туманный и немой,  
Красой блистая неземной,  
К ее склонился изголовью;  
И взор его с такой любовью,  
Так грустно на нее смотрел,  
Как будто он об ней жалел.  
То не был ангел-небожитель,  
Ее божественный хранитель:  
Венец из радужных лучей  
Не украшал его кудрей.  
То не был ада дух ужасный,  
Порочный мученик — о нет!  
Он был похож на вечер ясный:  
Ни день, ни ночь,— ни мрак, ни свет!..

## Часть II

### I

«Отец, отец, оставь угрозы,  
Свою Тамару не брани;  
Я плачу: видишь эти слезы,  
Уже не первые они.  
Напрасно женихи толпою  
Спешат сюда из дальних мест...  
Немало в Грузии невест;  
А мне не быть ничьей женою!..  
О, не брани, отец, меня.  
Ты сам заметил: день от дня  
Я вяну, жертва злой отравы!  
Меня терзает дух лукавый  
Неотразимую мечтой;  
Я гибну, сжался надо мной!  
Отдай в священную обитель  
Дочь безрассудную свою;  
Там защитит меня Спаситель,  
Пред Ним тоску мою пролью.

На свете нет уж мне веселья...  
Святыни миром осеня,  
Пусть примет сумрачная келья,  
Как гроб, заранее меня...»

## II

И в монастырь уединенный  
Ее родные отвезли,  
И власяницею смиренной  
Грудь молодую облекли.  
Но и в монашеской одежде,  
Как под узорною парчой,  
Все беззаконною мечтой  
В ней сердце билось, как прежде.  
Пред алтарем, при блеске свеч,  
В часы торжественного пенья,  
Знакомая, среди моления,  
Ей часто слышалася речь.  
Под сводом сумрачного храма  
Знакомый образ иногда  
Скользил без звука и следа  
В тумане легком фимиама;  
Сиял он тихо, как звезда;  
Манил и звал он... но — куда?..

## III

В прохладе меж двумя холмами  
Таился монастырь святой,  
Чинар и тополей рядами  
Он окружен был — и порой,  
Когда ложилась ночь в ущелье,  
Сквозь них мелькала, в окнах кельи,  
Лампада грешницы молодой.  
Кругом, в тени деревьев миндальных,  
Где ряд стоит крестов печальных,  
Безмолвных сторожей гробниц,  
Спевались хоры легких птиц.  
По камням прыгали, шумели  
Ключи студеною волной,  
И под нависшею скалой,  
Сливаясь дружески в ущелье,  
Катились дальше, меж кустов,  
Покрытых инеем цветов.

#### IV

На север видны были горы.  
При блеске утренней Авроры,  
Когда синеющий дымок  
Куруется в глубине долины,  
И, обращаясь на восток,  
Зовут к молитве муэцины,  
И звучный колокола глас  
Дрожит, обитель пробуждая;  
В торжественный и мирный час,  
Когда грузинка молодая  
С кувшином длинным за водой  
С горы спускается крутой,  
Вершины цепи снеговой  
Светло-лиловою стеной  
На чистом небе рисовались,  
И в час заката одевались  
Они румяной пеленой;  
И между них, прорезав тучи,  
Стоял, всех выше головой,  
Казбек, Кавказа царь могучий,  
В чалме и ризе парчевой.

#### V

Но, полно думою преступной,  
Тамары сердце недоступно  
Восторгам чистым. Перед ней  
Весь мир одет угрюмой тенью;  
И все ей в нем предлог мученью —  
И утра луч, и мрак ночей.  
Бывало, только ночи сонной  
Прохлада землю обоймет,  
Перед божественной иконой  
Она в безумье упадет  
И плачет; и в ночном молчанье  
Ее тяжелое рыданье  
Тревожит путника вниманье;  
И мыслит он: «То горный дух  
Прикованный в пещере стонет!»  
И, чуткий напрягая слух,  
Коня измученного гонит...

## VI

Тоской и трепетом полна,  
 Тамара часто у окна  
 Сидит в раздумье одиноком  
 И смотрит вдаль прилежным оком,  
 И целый день, вздыхая, ждет...  
 Ей кто-то шепчет: он придет!  
 Недаром сны ее ласкали,  
 Недаром он являлся ей,  
 С глазами, полными печали,  
 И чудной нежностью речей.  
 Уж много дней она томится,  
 Сама не зная почему;  
 Святым захочет ли молиться —  
 А сердце молится ему;  
 Утомлена борьбой всегдашней,  
 Склонится ли на ложе сна:  
 Подушка жжет, ей душно, страшно,  
 И вся, вскочив, дрожит она;  
 Пылают грудь ее и плечи,  
 Нет сил дышать, туман в очах,  
 Объяття жадно ищут встречи,  
 Лобзанья тают на устах...

. . . . .  
 . . . . .

## VII

Вечерней мглы покров воздушный  
 Уж холмы Грузии одел.  
 Привычке сладостной послушный.  
 В обитель Демон прилетел.  
 Но долго, долго он не смел  
 Святыню мирного приюта  
 Нарушить. И была минута,  
 Когда казался он готов  
 Оставить умысел жестокой.  
 Задумчив, у стены высокой  
 Он бродит: от его шагов  
 Без ветра лист в тени трепещет.  
 Он поднял взор: ее окно,  
 Озарено лампадой, блещет;  
 Кого-то ждет она давно!





*Тамара часто у окна  
Сидит в раздумье одиноком...*

И вот средь общего молчанья  
Чингура<sup>1</sup> стройное бряцанье  
И звуки песни раздались;  
И звуки те лились, лились,  
Как слезы, мерно друг за другом;  
И эта песнь была нежна,  
Как будто для земли она  
Была на небе сложена!  
Не ангел ли с забытым другом  
Вновь повидаться захотел,  
Сюда украдкою слетел  
И о былом ему пропел,  
Чтоб усладить его мученье?..  
Тоску любви, ее волненье  
Постигнул Демон в первый раз;  
Он хочет в страхе удалиться...  
Его крыло не шевелится!  
И, чудо! из померкших глаз  
Слеза тяжелая катится...  
Поныне возле кельи той  
Насквозь прожженный виден камень  
Слезую жаркою, как пламень,  
Нечеловеческой слезой!..

## VIII

И входит он, любить готовый,  
С душой, открытой для добра,  
И мыслит он, что жизни новой  
Пришла желанная пора.  
Неясный трепет ожиданья,  
Страх неизвестности немой,  
Как будто в первое свиданье  
Спознались с гордою душой.  
То было злое предвещанье!  
Он входит, смотрит — перед ним  
Посланник рая, херувим,  
Хранитель грешницы прекрасной,  
Стоит с блистающим челом  
И от врага с улыбкой ясной  
Приосенил ее крылом;  
И луч божественного света

---

<sup>1</sup> Чингар — род гитары.

Вдруг ослепил нечистый взор,  
И вместо сладкого привета  
Раздался тягостный укор:

## IX

«Дух беспокойный, дух порочный,  
Кто звал тебя во тьме полночной?  
Твоих поклонников здесь нет,  
Зло не дышало здесь поныне;  
К моей любви, к моей святыне  
Не пролагай преступный след.  
Кто звал тебя?»

Ему в ответ  
Злой дух коварно усмехнулся;  
Зарделся ревностью взгляд;  
И вновь в душе его проснулся  
Старинной ненависти яд.  
«Она моя! — сказал он грозно. —  
Оставь ее, она моя!  
Явился ты, защитник, поздно,  
И ей, как мне, ты не судья.  
На сердце, полное гордыни,  
Я наложил печать мою;  
Здесь больше нет твоей святыни,  
Здесь я владею и люблю!»  
И Ангел грустными очами  
На жертву бедную взглянул  
И медленно, взмахнув крылами,  
В эфире неба потонул.

. . . . .

## X

Т а м а р а

О! кто ты? речь твоя опасна!  
Тебя послал мне ад иль рай?  
Чего ты хочешь?..

Д е м о н

Ты прекрасна!

Т а м а р а

Но молви, кто ты? отвечай...

## Д е м о н

Я тот, которому внимала  
Ты в полуночной тишине,  
Чья мысль душе твоей шептала,  
Чью грусть ты смутно отгадала,  
Чей образ видела во сне.  
Я тот, чей взор надежду губит;  
Я тот, кого никто не любит;  
Я бич рабов моих земных,  
Я царь познания и свободы,  
Я враг небес, я зло природы,  
И, видишь,— я у ног твоих!  
Тебе принес я в умиление  
Молитву тихую любви,  
Земное первое мученье  
И слезы первые мои.  
О! выслушай — из сожаленья!  
Меня добру и небесам  
Ты возвратить могла бы словом.  
Твоей любви святым покровом  
Одетый, я предстал бы там,  
Как новый ангел в блеске новом;  
О! только выслушай, молю,—  
Я раб твой,— я тебя люблю!  
Лишь только я тебя увидел —  
И тайно вдруг возненавидел  
Бессмертие и власть мою.  
Я позавидовал невольно  
Неполной радости земной;  
Не жить, как ты, мне стало больно,  
И страшно — розно жить с тобой.  
В бескровном сердце луч нежданный  
Опять затеплился живей,  
И грусть на дне старинной раны  
Зашевелилася, как змей.  
Что без тебя мне эта вечность?  
Моих владений бесконечность?  
Пустые звучные слова,  
Обширный храм — без божества!

## Т а м а р а

Оставь меня, о дух лукавый!  
Молчи, не верю я врагу...

Творец... Увы! я не могу  
Молиться... гибельной отравой  
Мой ум слабеющий объят!  
Послушай, ты меня погубишь;  
Твои слова — огонь и яд...  
Скажи, зачем меня ты любишь!

### Д е м о н

Зачем, красавица? Увы,  
Не знаю!.. Полон жизни новой,  
С моей преступной головы  
Я гордо снял венец терновый,  
Я все бывшее бросил в прах:  
Мой рай, мой ад в твоих очах.  
Люблю тебя нездешней страстью,  
Как полюбить не можешь ты:  
Всем упоением, всей властью  
Бессмертной мысли и мечты.  
В душе моей, с начала мира,  
Твой образ был напечатлен,  
Передо мной носился он  
В пустынях вечного эфира.  
Давно тревожа мысль мою.  
Мне имя сладкое звучало;  
Во дни блаженства мне в раю  
Одной тебя недоставало.  
О! если б ты могла понять,  
Какое горькое томленье  
Всю жизнь, века без разделенья  
И наслаждаться и страдать,  
За зло похвал не ожидать,  
Ни за добро вознагражденья;  
Жить для себя, скучать собой,  
И этой вечною борьбой  
Без торжества, без примиренья!  
Всегда жалеть и не желать,  
Все знать, все чувствовать, все видеть,  
Стараться все возненавидеть  
И все на свете презирать!..  
Лишь только Божие проклятье  
Исполнилось, с того же дня  
Природы жаркие объятья  
Навек остыли для меня;  
Синело предо мной пространство;

Я видел брачное убранство  
Светил, знакомых мне давно...  
Они текли в венцах из злата;  
Но что же? прежнего собрата  
Не узнавало ни одно.  
Изгнанников, себе подобных,  
Я звать в отчаянии стал,  
Но слов, и лиц, и взоров злобных,  
Увы! я сам не узнавал.  
И в страхе я, взмахнув крылами,  
Помчался — но куда? зачем?  
Не знаю... прежними друзьями  
Я был отвергнут; как Эдем,  
Мир для меня стал глух и нем.  
По вольной прихоти теченья  
Так поврежденная ладья  
Без парусов и без руля  
Плывет, не зная назначенья;  
Так ранней утренней порой  
Отрывок тучи громовой,  
В лазурной вышине чернея,  
Один, нигде пристать не смея,  
Летит без цели и следа,  
Бог весть откуда и куда!  
И я людьми недолго правил,  
Греху недолго их учил,  
Все благородное бесславил  
И все прекрасное хулил;  
Недолго... пламень чистой веры  
Легко навек я залил в них...  
А стоили ль трудов моих  
Одни глупцы да лицемеры?  
И скрылся я в ущельях гор;  
И стал бродить, как метеор,  
Во мраке полночи глубокой...  
И мчался путник одинокой,  
Обманут близким огоньком;  
И в бездну падая с конем,  
Напрасно звал — и след кровавый  
За ним вился по крутизне...  
Но злобы мрачные забавы  
Недолго нравились мне!  
В борьбе с могучим ураганом,  
Как часто, подымая прах,

Одетый молнией и туманом,  
Я шумно мчался в облаках,  
Чтобы в толпе стихий мятежной  
Сердечный ропот заглушить,  
Спасть от думы неизбежной  
И незабвенное забыть!  
Что повесть тягостных лишений,  
Трудов и бед толпы людской  
Грядущих, прошлых поколений,  
Перед минутою одной  
Моих непризнанных мучений?  
Что люди? что их жизнь и труд?  
Они прошли, они пройдут...  
Надежда есть — ждет правый суд:  
Простить он может, хоть осудит!  
Моя ж печаль бессменно тут,  
И ей конца, как мне, не будет;  
И не вздремнуть в могиле ей!  
Она то ластится, как змей,  
То жжет и плещет, будто пламень,  
То давит мысль мою, как камень —  
Надежд погибших и страстей  
Несокрушимый мавзолей!..

Т а м а р а

Зачем мне знать твои печали,  
Зачем ты жалуешься мне?  
Ты согрешил...

Д е м о н

Против тебя ли?

Т а м а р а

Нас могут слышать!..

Д е м о н

Мы одне.

Т а м а р а

А Бог!

Д е м о н

На нас не кинет взгляда:  
Он занят небом, не землей!



*Одетый молнией и туманом,  
Я шумно мчался в облаках...*



Т а м а р а

А наказание, муки ада?

Д е м о н

Так что ж? Ты будешь там со мной!

Т а м а р а

Кто б ни был ты, мой друг случайный,—  
Покой навеки погубя,  
Невольно я с отрадой тайной,  
Страдалец, слушаю тебя.  
Но если речь твоя лукава,  
Но если ты, обман тая...  
О! пощади! Какая слава!  
На что душа тебе моя?  
Ужели небу я дороже  
Всех, не замеченных тобой?  
Они, увы! прекрасны тоже;  
Как здесь, их девственное ложе  
Не смято смертною рукой...  
Нет! дай мне клятву роковую...  
Скажи,— ты видишь: я тоскую;  
Ты видишь женские мечты!  
Невольно страх в душе ласкаешь...  
Но ты все понял, ты все знаешь —  
И сжалишься, конечно, ты!  
Клянися мне... от злых стяжаний  
Отречься ныне дай обет.  
Ужель ни клятв, ни обещаний  
Ненарушимых больше нет?..

Д е м о н

Клянусь я первым днем творенья,  
Клянусь его последним днем,  
Клянусь позором преступленья  
И вечной правды торжеством.  
Клянусь паденья горькой мукой,  
Победы краткою мечтой;  
Клянусь свиданием с тобой  
И вновь грозящею разлукой.  
Клянуся сонмищем духов,  
Судьбою братий мне подвластных,  
Мечами ангелов бесстрастных,

Моих недремлющих врагов;  
Клянуся небом я и адом,  
Земной святыней и тобой,  
Клянусь твоим последним взглядом,  
Твоею первою слезой,  
Незлобных уст твоих дыханьем,  
Волною шелковых кудрей,  
Клянусь блаженством и страданьем,  
Клянусь любовью моей:  
Я отрекся от старой мести,  
Я отрекся от гордых дум;  
Отныне яд коварной лести  
Ничей уж не встревожит ум;  
Хочу я с небом примириться,  
Хочу любить, хочу молиться,  
Хочу я веровать добру.  
Слезой раскаянья сотру  
Я на челе, тебя достойном,  
Следы небесного огня —  
И мир в неведение спокойном  
Пусть доцветает без меня!  
О! верь мне: я один поныне  
Тебя постиг и оценил:  
Избрав тебя моей святыней,  
Я власть у ног твоих сложил.  
Твоей любви я жду, как дара,  
И вечность дам тебе за миг;  
В любви, как в злобе, верь, Тамара,  
Я неизменен и велик.  
Тебя я, вольный сын эфира,  
Возьму в надзвездные края;  
И будешь ты царицей мира,  
Подруга первая моя;  
Без сожаленья, без участия  
Смотреть на землю станешь ты,  
Где нет ни истинного счастья,  
Ни долговечной красоты,  
Где преступленья лишь да казни,  
Где страсти мелкой только жить;  
Где не умеют без боязни  
Ни ненавидеть, ни любить.  
Иль ты не знаешь, что такое  
Людей минутная любовь?  
Волненье крови молодое, —

Но дни бегут и стынет кровь!  
Кто устоит против разлуки,  
Соблазна новой красоты,  
Против усталости и скуки  
И своенравия мечты?  
Нет! не тебе, моей подруге,  
Узнай, назначено судьбой  
Увянуть молча в тесном круге  
Ревнивой грубости рабой,  
Средь малодушных и холодных,  
Друзей притворных и врагов,  
Боязней и надежд бесплодных,  
Пустых и тягостных трудов!  
Печально за стеной высокой  
Ты не угаснешь без страстей,  
Среди молитв, равно далеко  
От божества и от людей.  
О нет, прекрасное создание,  
К иному ты присуждена;  
Тебя иное ждет страданье,  
Иных восторгов глубина;  
Оставь же прежние желанья  
И жалкий свет его судьбе:  
Пучину гордого познания  
Взамен открою я тебе.  
Толпу духов моих служебных  
Я приведу к твоим стопам;  
Прислужниц легких и волшебных  
Тебе, красавица, я дам;  
И для тебя с звезды восточной  
Сорву венец я золотой;  
Возьму с цветов росы полночной;  
Его усыплю той росой;  
Лучом румяного заката  
Твой стан, как лентой, обовью,  
Дыханьем чистым аромата  
Окрестный воздух напою;  
Всечасно дивною игрою  
Твой слух лелеять буду я;  
Чертоги пышные построю  
Из бирюзы и янтаря;  
Я опущусь на дно морское,  
Я полечу за облака,  
Я дам тебе все, все земное —  
Люби меня!..

## XI

И он слегка  
Коснулся жаркими устами  
Ее трепещущим губам;  
Соблазна полными речами  
Он отвечал ее мольбам.  
Могучий взор смотрел ей в очи!  
Он жег ее. Во мраке ночи  
Над нею прямо он сверкал,  
Неотразимый, как кинжал.  
Увы! злой дух торжествовал!  
Смертельный яд его лобзанья  
Мгновенно в грудь ее проник.  
Мучительный, ужасный крик  
Ночное возмутил молчанье.  
В нем было все: любовь, страданье,  
Упрек с последнею мольбой  
И безнадежное прощанье —  
Прощанье с жизнью молодой.

## XII

В то время сторож полуночный.  
Один вокруг стены крутой  
Свершая тихо путь урочный,  
Бродил с чугуною доской,  
И возле кельи девы юной  
Он шаг свой мерный укротил  
И руку над доской чугуновой,  
Смутясь душой, остановил.  
И сквозь окрестное молчанье,  
Ему казалось, слышал он  
Двух уст согласное лобзанье,  
Минутный крик и слабый стон.  
И нечестивое сомненье  
Проникло в сердце старика...  
Но пронеслось еще мгновенье,  
И стихло все; издалика  
Лишь дуновенье ветерка  
Роптанье листьев приносило,  
Да с темным берегом уныло  
Шепталась горная река.  
Канон угодника святого

Спешит он в страхе прочитать,  
Чтоб наваждение духа злого  
От грешной мысли отогнать;  
Крестит дрожащими перстами  
Мечтой взволнованную грудь  
И молча, скорыми шагами  
Обычный продолжает путь.

. . . . .

### XIII

Как пери спящая мила,  
Она в гробу своем лежала,  
Белей и чище покрывала  
Был томный цвет ее чела.  
Навек опущены ресницы...  
Но кто б, о небо! не сказал,  
Что взор под ними лишь дремал  
И, чудный, только ожидал  
Иль поцелуя, иль десницы?  
Но бесполезно луч дневной  
Скользил по ним струей златой,  
Напрасно их в немой печали  
Уста родные целовали...  
Нет! смерти вечную печать  
Ничто не в силах уж сорвать!

### XIV

Ни разу не был в дни веселья  
Так разноцветен и богат  
Тамары праздничный наряд.  
Цветы родимого ущелья  
(Так древний требует обряд)  
Над нею льют свой аромат  
И сжаты мертвою рукою,  
Как бы прощаются с землею!  
И ничего в ее лице  
Не намекало о конце  
В пылу страстей и упоенья;  
И были все ее черты  
Исполнены той красоты,  
Как мрамор, чуждой выраженья.  
Лишенной чувства и ума,



*Как пери спящая мила,  
Она в гробу своем лежала...*

Таинственной, как смерть сама.  
Улыбка странная застыла,  
Мелькнувши по ее устам.  
О многом грустном говорила  
Она внимательным глазам:  
В ней было хладное презренье  
Души, готовой отцвести,  
Последней мысли выражение,  
Земле беззвучное *прости*.  
Напрасный отблеск жизни прежней,  
Она была еще мертвей,  
Еще для сердца безнадежней  
Навек угаснувших очей.  
Так в час торжественный заката,  
Когда, растаяв в море злата,  
Уж скрылась колесница дня,  
Снега Кавказа, на мгновенье  
Отлив румяный сохраняя,  
Сияют в темном отдаленье.  
Но этот луч полуживой  
В пустыне отблеска не встретит,  
И путь ничей он не осветит  
С своей вершины ледяной!..

## XV

Толпой соседи и родные  
Уж собрались в печальный путь.  
Терзая локоны седые,  
Безмолвно поражая грудь,  
В последний раз Гудал садится  
На белогривого коня,  
И поезд тронулся. Три дня,  
Три ночи путь их будет длиться:  
Меж старых дедовских костей  
Приют покойный вырыт ей.  
Один из праотцов Гудала,  
Грабитель странников и сёл,  
Когда болезнь его сковала  
И час раскаянья пришел,  
Грехов минувших в искупленье  
Построить церковь обещал  
На вышине гранитных скал,  
Где только вьюги слышно пенье,

Куда лишь коршун залетал.  
И скоро меж снегов Казбека  
Поднялся одинокий храм,  
И кости злого человека  
Вновь успокоились там;  
И превратилась в кладбище  
Скала, родная облакам:  
Как будто ближе к небесам  
Теплей посмертное жилище?..  
Как будто дальше от людей  
Последний сон не возмутится...  
Напрасно! мертвым не приснится  
Ни грусть, ни радость прошлых дней.

## XVI

В пространстве синего эфира  
Один из ангелов святых  
Летел на крыльях золотых,  
И душу грешную от мира  
Он нес в объятиях своих.  
И сладкой речью упованья  
Ее сомненья разгонял,  
И след проступка и страданья  
С нее слезами он смывал.  
Издавна уж звуки рая  
К ним доносились — как вдруг,  
Свободный путь пересекая,  
Взвился из бездны адский дух.  
Он был могущ, как вихорь шумный,  
Блистал, как молнии струя,  
И гордо в дерзости безумной  
Он говорил: «Она моя!»

К груди хранительной прижалась,  
Молитвой ужас заглуша,  
Тамары грешная душа.  
Судьба грядущего решалась,  
Пред нею снова он стоял,  
Но, Боже! — кто б его узнал?  
Каким смотрел он злобным взглядом,  
Как полон был смертельным ядом  
Вражды, не знающей конца,—  
И веяло могильным хладом  
От неподвижного лица.



«Исчезни, мрачный дух сомненья! —  
Посланник неба отвечал,—  
Довольно ты торжествовал;  
Но час суда теперь настал —  
И благо Божие решенье!  
Дни испытания прошли;  
С одеждой брэнною земли  
Оковы зла с нее ниспали.  
Узнай! давно ее мы ждали!  
Ее душа была из тех,  
Которых жизнь — одно мгновенье  
Невыносимого мученья,  
Недосягаемых утех:  
Творец из лучшего эфира  
Соткал живые струны их,  
Они не созданы для мира,  
И мир был создан не для них!  
Ценой жестокой искупила  
Она сомнения свои...  
Она страдала и любила —  
И рай открылся для любви!»

И Ангел строгими очами  
На искушителя взглянул  
И, радостно взмахнув крылами,  
В сиянье неба потонул.  
И проклял Демон побежденный  
Мечты безумные свои,  
И вновь остался он, надменный,  
Один, как прежде, во вселенной  
Без упованья и любви!..

---

На склоне каменной горы  
Над Койшаурскою долиной  
Еще стоят до сей поры  
Зубцы развалины старинной.  
Рассказов, страшных для детей,  
О них еще преданья полны...  
Как призрак, памятник безмолвный,  
Свидетель тех волшебных дней,  
Между деревьями чернеет.  
Внизу рассыпался аул,  
Земля цветет и зеленеет;



*И вновь остался он, надменный.  
Один, как прежде, во вселенной...*

И голосов нестройный гул  
Теряется, и караваны  
Идут, звеня, издалека,  
И, низвергаясь сквозь туманы,  
Блестит и пенится река.  
И жизнью вечно молодою,  
Прохладой, солнцем и весною  
Природа тешится шутя,  
Как беззаботное дитя.

Но грустен замок, отслуживший  
Когда-то очередь свою,  
Как бедный старец, переживший  
Друзей и милую семью.  
И только ждут луны восхода  
Его незримые жильцы:  
Тогда им праздник и свобода!  
Жужжат, бегут во все концы.  
Седой паук, отшельник новый,  
Прядет сетей своих основы;  
Зеленых ящериц семья  
На кровле весело играет;  
И осторожная змея  
Из темной щели выползает  
На плиту старого крыльца,  
То вдруг сошьется в три кольца,  
То ляжет длинной полосой  
И блещет, как булатный меч,  
Забытый в поле давних сеч,  
Ненужный падшему герою!..  
Все дико; нет нигде следов  
Минувших лет: рука веков  
Прилежно, долго их сметала,  
И не напомнит ничего  
О славном имени Гудала,  
О милой дочери его!

Но церковь, на крутой вершине,  
Где взяты кости их земель,  
Хранима властью святой,  
Видна меж туч еще поныне.  
И у ворот ее стоят  
На страже черные граниты,  
Плащами снежными покрыты;  
И на груди их вместо лат

Льды вековечные горят.  
Обвалов сонные громады  
С уступов, будто водопады,  
Морозом схваченные вдруг,  
Висят, нахмурившись, вокруг.  
И там метель дозором ходит,  
Сдувая пыль со стен седых,  
То песню долгую заводит,  
То окликает часовых;  
Услыша вести в отдаленье  
О чудном храме, в той стране,  
С востока облака одне  
Спешат толпой на поклоненье;  
Но над семьей могильных плит  
Давно никто уж не грустит.  
Скала угрюмого Казбека  
Добычу жадно сторожит,  
И вечный ропот человека  
Их вечный мир не возмутит.



**”В ЧАС  
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ  
ЗАКАТА...”**



# В. А. Жуковский

## КАМОЭНС

### *Драматическая поэма*

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

Дон Лудвиг Камоэнс.  
Дон Иозé Квеведо Кастель Бранка.  
Васко, его сын<sup>1</sup>.  
Смотритель главного госпиталя в Лиссабоне.  
(1579)

#### I

Тесная горница в большом лазарете лиссабонском: стены голы, кое-где обвалилась штукатурка: с одной стороны стол с бумагами и стул: с другой большие кресла и за ними, ближе к стене, полуизломанная кровать. На ней лежит Камоэнс и спит: к кровати прислонен меч: над изголовьем висит на стене лютя, покрытая пылью. С правой стороны дверь. Входит дон Иозé Квеведо вместе с смотрителем госпиталя. У последнего за поясом связка ключей, под мышкой большая книга.

Иозé Квеведо, смотритель госпиталя, Камоэнс.

Квеведо

Ой, ой, как высоко! Неужто выше  
Еще нам подыматься?

Смотритель

Нет, пришли.

Квеведо

Ну, слава Богу! я почти задохся...  
Так здесь он?

Смотритель

Здесь. Вот, сами посмотрите,

---

<sup>1</sup> Васко Мусинхо де Квеведо Кастель Бранка, по свидетельству знатоков португальской литературы, более всех других поэтов Португалии приблизился к Камоэнсу. Его эпическая поэма «Альфонс Африканский», в которой особенно замечательны изображение мучений Фердинанда и описание сражения Алькассарского, издана в 1611 году.

Что у меня записано в реестре:  
*Дон Лудвиг Камознс, десятый номер* —  
И на двери *десятый номер*; это он.

К в е в е д о

Ну, хорошо. Да разве боле ты  
Об нем не знаешь?

С м о т р и т е л ь

Нет.

К в е в е д о

И никогда  
Об нем не слыхивал и не имеешь  
Об нем понятия?

С м о т р и т е л ь

Какое тут  
Понятие! Лишь был бы только номер,  
Что нам до имени, что нам до слухов?  
*Дон Лудвиг Камознс, десятый номер,*  
И все тут; так записано в реестре.

К в е в е д о

Ты человек, я вижу, аккуратный;  
И книги у тебя в порядке...  
(Осматривается.)

Боже!

В какой тюрьме он заперт; как темно.  
Тесно, нечисто! Стены голы; окна  
С решетками, и потолок так низок.  
Что душно.

С м о т р и т е л ь

Здесь до сих пор сумасшедших  
Держали: но ему так захотелось  
Быть одному, а этот номер был  
Никем не занят — так его сюда я  
И перевел.

К в е в е д о

К безумным? поделом!  
Ты поступил догадливо; я вижу,  
Ты расторопный человек. Я всех бы

Проклятых этих стихотворцев запер  
В дом сумасшедших. Тише! Кто лежит  
Там на кровати? уж не он ли?

С м о т р и т е л ь

Он,  
Синьор; он спит... Я разбужу.

К в е в е д о

Не трогай;  
Я подожду, пока он сам проснется.

С м о т р и т е л ь

Так оставайтесь с Богом здесь; а я  
Пойду: есть дело...

К в е в е д о

Хорошо, поди —  
И вот тебе за труд.

С м о т р и т е л ь

Благодарю,  
Синьор.  
(Уходит.)

## II

Иозé Квеведо и Камозэнс.

К в е в е д о

Итак, я наконец его  
Нашел. Трудненько было мне сюда  
Карабкаться, и рад я, что могу  
Немного отдохнуть. Когда б не сын,  
Моя нога сюда не забрела бы;  
Да мой пострел совсем рехнулся; горе  
Мне с ним великое; не знаю сам,  
Что делать; с отвращеньем смотрит он  
На наше ремесло и не проценты  
Считает — стопы, да стихи плетет,  
Да о венках лавровых беспрестанно  
И сонный и несонный бредит. Денег  
Ему не надобно; все для него



Равно, богач ли он иль нищий; мне,  
Отцу, не хочет подражать, а вслед  
За Камознсом рвется... Вот тебе  
Твой Камознс, твой образец: изволь  
Им любоваться! здесь, в госпитале,  
В отрепье нищенском лежит с своими  
Он лаврами,— седой, больной, иссохший,  
дряхлый,

Безглазый, всеми брошенный, великий  
Твой человек, твой славный Лузиады  
Певец, сражавшийся перед Ораном  
И перед Цейтою. Вот полюбуйся;  
Он в доме сумасшедших, позабыт  
Людьми, и все имущество его —  
Покрытый ржавчиною меч да лютия  
Без струн... Зачем он жил? и что он нажил?  
*Дон Лудвиг Камознс, десятый нумер.*  
И всё тут — так записано в реестре...  
А я, над кем так часто он, бывало,  
Смеялся, я, которого ослом,  
Телячьей головой он называл,  
Который на вес продаю изюм  
Да виноград да в добрые крузады  
Мараведисы превращаю, я —  
Я человек богатый, свеж, румян  
И пользуюсь всеобщим уваженьем;  
Три дома у меня, и в море пять  
Галер отправлено с моим товаром:  
За славой он пошел, я за прибытком,  
И вот мы оба здесь. Пускай его  
Мой сын увидит и потом свой выбор  
Пускай сам сделает. За тем-то я  
Сюда и влез; пускай расскажет сыну  
Сам этот сумасброд, какому вздору  
Пожертвовал он жизнью своею...  
Он шевелится, охает, открыл  
Глаза...

#### К а м о з н с

Мой сон опять был на минуту;  
То был не вечный сон, конец всему,  
Не смерть, а только призрак смерти...  
Кто здесь?  
Неужто человек? Здесь? Человек?

У Камоэнса?.. Кто ты, друг? Чего  
Здесь ищешь? Ты ошибся...

К в е в е д о

Нет, синьор,  
Я вас искал, и дело мне до вас.

К а м о э н с

Ах да, я и забыл, что я пишу  
Стихи! Вы, может быть, синьор, хотите  
Стихов на свадьбу иль на погребенье?  
Иль слов для серенады? Потрудитесь  
Порыться там в бумагах на столе —  
Там всякой всячины довольно. Я  
Беру недорого. Реаля два,  
Не боле, за пиесу.

К в е в е д о

Нет, синьор,  
Не то...

К а м о э н с

Так, может быть, хотите вы,  
Чтоб я для вас особенные сделал  
Стихи? Нет, государь мой, я не в силах:  
Вы видите, я болен; я едва  
Таскаю ноги.

*(Встает и, опираясь на меч,  
переходит к креслам, в которые садится.)*

Нет ни чувств, ни мыслей;  
Что у меня найдется, тем и рад;  
Извольте взять любое из запаса.

К в е в е д о

Не за стихами я сюда пришел.  
Всмотрись в мое лицо, дон Лудвиг; разве  
Не узнаешь меня?

К а м о э н с

Синьор, простите,  
Не узнаю.

К в е в е д о

Не может быть; ты должен  
Меня узнать.

К а м о э н с

Не узнаю, синьор.

К в е в е д о

В Калвасе мы ходили вместе в школу.

К а м о э н с

Мы?

К в е в е д о

Да, в Калвасе. Мы частенько там  
Друг с другом и дирались, и порядком  
Ты иногда отделявал меня.  
Подумай — вспомнишь: мы знакомы  
с детства.

К а м о э н с

Синьор, прошу вас не взыскать: я стар,  
И голова моя слаба; никак  
Не вспомню, кто вы.

К в е в е д о

Боже мой, но, верно,  
Меня узнаешь ты, когда скажу,  
Что я Иозé Квеведо Кагель Бранка,  
Сын крестной матери твоей, Маркитты?

К а м о э н с

Иозé Квеведо ты?

К в е в е д о

Да, я Иозé  
Квеведо — тот, которого, бывало  
Ты называл телячьей головою,  
Которого так часто ты...

К а м о э н с

Чего ж  
Ты ищешь здесь, Иозé Квеведо?

К в е в е д о

Как

Чего? Хотелось мне тебя проведать,  
Узнать, как поживаешь. Правду молвить,  
Мне на тебя невесело смотреть.  
Ты худ, как мертвый труп. А я — гляди,  
Как раздобрел. Так все идет на свете!  
Кто на ногах — держись, чтоб не упасть.  
Идти за счастьем скользко...

К а м о э н с

Правда, скользко.

К в е в е д о

Вот ты теперь в нечистом лазарете,  
Больной полумертвец, безглазый, нищий,  
Оставленный...

К а м о э н с

Зачем, Иозé Квеведо,  
Считаешь ты на лбу моем морщины  
И седины на голове моей,  
Дрожащей от болезни?

К в е в е д о

Не сердися,  
Друг, я хотел сказать, что времена  
Переменяются, что вместе с ними  
Переменяемся и мы. Теперь  
Ты уж не тот красавчик, за которым  
Так в старину все женщины гонялись,  
С которым знать водила дружбу,— ты  
Не прежний Камоэнс.

К а м о э н с

Не прежний, правда!  
Но пусть судьбой разрушена моя  
Душа, пускай все было то обман,  
Чему я жизнь на жертву добровольно  
Принес,— поймешь ли это ты? Моим  
Судьей быть может ли какой-нибудь  
Квеведо?

К в е в е д о

(про себя)

Вот еще! Как горд! когда б  
Не сын, тебе я крылья бы отшиб.

(Вслух.)

Твои слова уж чересчур суровы;  
Другого я приема ожидал  
От старого товарища. Но, правда,  
Ты болен, иначе меня бы встретил  
Ты дружелюбней. Нам о многом прошлом  
Друг с другом можно поболтать.

Ведь детство

Мы вместе провели; то было время  
Веселое... Ты помнишь луг за школой,  
Где мы, бывало, в мяч играли? Помнишь  
Высокий вяз... кто выше влезет? Ты  
Всегда других опережал. А наша  
Игра в охоту — кто олень, кто псарь,  
А кто собаки... то-то было любо:  
Вперед! крик, лай, визжанье, беготня...  
Что? помнишь?

К а м о э н с

Помню.

К в е в е д о .

А походы наши

В соседский сад, и там осада яблонь,  
И возвращение домой с добычей?  
А иногда с садовником война  
И отступление?

К а м о э н с

Да; то было время

Веселое! Мы были все народ  
Неугомонный.

К в е в е д о

Да, лихое племя!

А наш крутой пригорок, на котором  
Лежала груда камней? Он для нас  
Был крепостью; ее мы брали штурмом,

И было много тут побитых глаз  
И желваков...

К а м о э н с

Вот этот мой рубец  
Остался мне на память об одном  
Из наших подвигов тогдашних...

К в е в е д о

Правду

Сказать, не раз могла потеха стоять  
Нам дорого. Вот, например, морской  
Поход наш по реке. Мы все устали  
И воротились; ты ж один...

К а м о э н с

Да, мне

Казалось, что вдали передо мной  
Был новый, никогда еще никем  
Не посещенный свет; во что б ни стало  
К нему достигнуть я решился, сила  
Теченья мне препятствовала долго  
Мой замысел исполнить; наконец  
Ее я одолел и вышел гордо  
На завоеванный, желанный берег...  
О молодость, о годы золотые!..

*(Помолчав.)*

Дай руку мне! ты знаешь, мы с тобою  
В то время не были друзьями: ты  
Казался — но, быть может, не таков ты,  
Каким тогда казался нам... Ну, дай же  
Мне руку: в детстве ты со мной играл,  
Со мной делил веселье; а теперь  
Туманный вечер мой ты осветил  
Воспоминанием прекрасной нашей  
Зари... Я так один — хотя б ты был  
И злейший враг мой, мне тебя теперь  
Обнять от сердца должно...

*(Обнимает его.)*

К в е в е д о

*(помолчав)*

Ну, скажи же,

Как жил ты, что с тобой происходило  
С тех пор, как мы расстались? Мне отец  
Велел науки кончить и покинуть  
Калвас и в Фигуэру ехать. Там  
Иная сказка началась: пришлось  
Не об игре уж думать — о работе.

К а м о э н с

Меня судьба перевела в Коимбру,  
Святылище науки; там впервые  
Услышал я Гомера; мантуанский  
Певец меня гармонией своей  
Пленил, и прелесть красоты  
Проникла душу мне; что в ней дотоле  
Невидимо, неведомо хранилось,  
То вдруг в чудесный образ облеклось;  
Что было тьма, то стало свет, и жизнью  
Затрепетало все, что было мертвым;  
И мне во грудь предчувствие чего-то  
Невыразимого впилося...

К в е в е д о      я

Признаться, до наук охотник был  
Плохой. Отец меня в сидельцы отдал  
Знакомому купцу; и должно правду  
Сказать, уж было у него чему  
Понаучиться: он считать был мастер.  
А ты?

К а м о э н с

Промчались годы, в школе стало  
Мне тесно; я последовал влеченью  
Души — увидел Лиссабон, увидел  
Блестящий двор, и короля во славе  
Державного могущества, и пышность  
Его вельмож... Но я на это робко  
Смотрел издалека и, ослепленный  
Блистательной картиною, за призрак  
Ее считал.

К в е в е д о

Со мной случилось то же  
Точь-в-точь, когда на биржу в первый раз

Я заглянул и там увидел горы  
Товаров...

К а м о э н с

В это время встретил я  
Ее... О Боже! как могу я теперь,  
Разрушенный полумертвец, снести  
Воспоминание о том внезапном,  
Неизглаголанном преображенье  
Моей души!.. Она была прекрасна,  
Как Бог в своей весне, животворящей  
И небеса и землю!

К в е в е д о

И со мной  
Случилось точно то ж. У моего  
Хозяина была одна лишь дочь,  
Наследница всему его имению;  
Именье ж накопил себе старик  
Большое; мудрено ли, что мое  
Заговорило сердце?

К а м о э н с

*(не слушая его)*

О святая

Пора любви! Твое воспоминанье  
И здесь, в моей темнице, на краю  
Могилы, как дыхание весны,  
Мне освежило душу. Как тогда  
Все было в мире отголоском звучным  
Моей любви! каким сияньем райским  
Блистала предо мной вся жизнь с своим  
Страданием, блаженством, с настоящим,  
Прошедшим, будущим!.. О Боже! Боже!..

К в е в е д о

Отцу я полюбился; он доволен  
Был ловкостью моей в делах торговых  
И дочери сказал, что за меня  
Ее намерен выдать; дочь на то  
Сказала: «воля ваша», и тогда же  
Нас обручили...

К а м о э н с

О, блажен, блажен,



Кому любви досталась награда!..  
Мне не была назначена она.  
Нас разлучили; в монастырской келье  
Младые дни ее угасли; я  
Был увлечен потоком жизни; в буре  
Войны хотел я рыцарски погибнуть,  
Сел на коня и бился под стенами  
Марокко, был на штурме Цейты;  
Из битвы вышел я полуслепым,  
А смерть мне не далась.

#### К в е в е д о

Со мною было  
Не лучше. Я с женой недолго пожил:  
Бедняжка умерла родами... Сильно  
По ней я горевал... Но мне наследство  
Богатое оставила она,  
И это, наконец, кое-как стало  
Моей отрадой.

#### К а м о э н с

Все переживешь  
На свете... Но забыть?.. Блажен, кто носит  
В своей душе святую память, верность  
Прекрасному минувшему! Моя  
Душа ее во глубине своей,  
Как чистую лампаду, засветила,  
И в ней она поэзией горела.  
И мне была поэзия отрадой:  
Я помню час, великий час, меня  
Всего пересоздавший. Я лежал  
С повязкой на глазах в госпитале;  
Тьма вокруг меня и тьма во мне...  
И вдруг — сказать не знаю — подошло,  
Иль нет, не подошло, а подлетело,  
Иль нет, как будто Божие с небес  
Дыханье свеяло — свежо, как утро,  
И пламенно, как солнце, и отрадно,  
Как слезы, и разительно, как гром,  
И увлекательно, как звуки арфы,—  
И было то как будто и во мне  
И вне меня, и в глубь моей души  
Оно вливалось, и волшебный круг  
Меня тесней, теснее обнимал;

И унесен я был неодолимым  
Могуществом далеко в высоту...  
Я обеспамятел; когда ж пришел  
В себя — то было первое мая.  
Живая песня. С той минуты чудно  
Исчезла ночь во мне и вокруг меня;  
Я не был уж один, я не был брошен;  
Страданий чаша предо мной стояла,  
Налитая целебным питием;  
Моя душа на крыльях песнопенья  
Взлетела к Богу и нашла у Бога  
Утеху, свет, терпенье и замену.

К в е в е д о

Мне посчастливилось; свое богатство  
Удвоил я, потом ушестерил...  
А ты как? Что потом с тобой случилось?

К а м о э н с

Я в той земле, где схоронил ее,  
Не мог остаться. Вслед за Гамой славный  
Путь по морям я совершил, и там,  
Под небом Индии, раздался звучно  
В честь Португалии мой голос: он  
Был повторен волнами Тайо; вдруг  
Услышала Европа имя Гамы  
И изумилась; до пределов Туле  
Достигнул гром победный Лузиады.

К в е в е д о

А много ль принесла тебе она?  
У нас носился слух...

К а м о э н с

Мне принесла

Гонение и ненависть она.  
Великих предков я ничтожным внукам  
Осмелился поставить в образец,  
Я карлам указал на великанов —  
И правда мне в погибель обратилась:  
И то, что я любил, меня отвергло,  
И что моей я песнию прославил,  
Тем был я посрамлен — и был, как враг,  
Я Португалией моей отринут...

*(Помолчав.)*

Я муж, и жалобы я ненавижу;  
Но всю насквозь мне душу эта рана  
Прогрызла; никогда не заживет  
Она и вечно, вечно будет рвать  
Меня, как в оный миг разорвала,  
Когда отечество так беспощадно  
От своего поэта отрелось.

**К в е в е д о**

Ну, не крушись; забудь о прошлом; кто  
Не ошибается в своих расчетах?  
Теперь не удалось — удастся после.

**К а м о э н с**

И для меня однажды солнце счастья  
Блеснуло светлою зарей. Когда  
Король наш Себастьян взошел на трон,  
Его орлиный взор проник в мою  
Тюрьму, с меня упала цепь, и свет  
И жизнь возвращены мне были снова;  
Опять весна в груди моей увядшей  
Воскресла... но то было на минуту:  
Все погубил день битвы Алькассарской.  
Король наш пал великой мысли жертвой —  
И Португалия добычей стала  
Филиппа... Страшный день! о, для чего  
Я дожил до тебя!

**К в е в е д о**

Да, страшный день!  
Уж нечего сказать! И с той поры  
Все хуже нам и хуже. Бог на нас  
Прогневался. По крайней мере, ты  
Похвастать счастьем не можешь.

**К а м о э н с**

**Солнце**

Мое навек затмилось, и печально  
Туманен вечер мой. Забыт, покинут,  
В болезни, в бедности я жду конца  
На нищенской постели лазарета.  
Один мне оставался друг — он был



*И для меня однажды солнце счастья  
Блеснуло светлою зарей.*

Невольник; иногда я называл  
Его в досаде черною собакой,  
Но только что со мной простилося счастье,  
Он сделался хранителем моим:  
Он мне служил, и для меня работал,  
И отдавал свою дневную плату  
На пищу мне. Когда ж болезнь меня  
К постели приковала, день и ночь  
Сидел он надо мной и утешал  
Меня отрадными словами ласки,  
И, сам больной, по улицам таскался  
За подаванием для Камознса.  
И наконец, свои истратив силы,  
Без жалобы, без горя, за меня  
Он умер — черная собака!.. Бог  
То видел с небеси... Покойся, друг,  
Последний друг мой на земле, в твоей  
Святой могиле! там тебе приютно,  
А на земле приюта не бывает.

К в е в е д о

(про себя)

Теперь пора мне к делу приступить.

(Ему.)

Сердечный друг, тебе удел нелегкий  
Достался, нечего сказать! Ты славил  
Отечество, и чем же заплатило  
Оно тебе за славу? Нищетой.  
С надеждами пошел ты в путь, а с чем  
Пришел назад? Ровнехонько ни с чем.  
И вот теперь, при нашей поздней встрече,  
Когда твою судьбу сравню с моею,  
То, право, кажется — не осердися,—  
Что выбор мой сто раз благоразумней  
Был твоего. Вот видишь, я богат;  
По всем морям товар мой корабли  
Развозят; а бывало, на меня  
Смотрел ты свысока. Сказать же правду,  
Хоть лаврами я лба и не украсил,  
Но, кажется, что на вес мой барыш  
Тяжеле твоего...

К а м о з н с

Ты в барышах —

Не спорю. Но на свете много есть

Вещей возвышенных, не подлежащих  
Ни мере, ни расчетам торгаша.  
Лишь выгодой определять он может  
Достоинство; заметь же это, друг:  
Лавровый лист скупать ты на вес можешь,  
Но о венках лавровых не заботься.

К в е в е д о  
(про себя)

Уж не смеется ль он над нашим званьем?..  
Постой, уж попадись ко мне ты в руки,  
Я отплачу тебе порядком.  
(Ему.)

Ты  
Обиделся, я вижу; а в тебе  
Я искренно участие принимаю.  
Да я и с просьбою пришел; послушай,  
Оставь ты лазарет свой, сделай дружбу,  
Переселись ко мне; мой дом просторен;  
Чужим найдется много места в нем,  
Не только что друзьям. Ну, Камознс,  
Не откажи мне; перейди в мой дом;  
Ты у меня свободно отдохнешь  
От прошлых бед, и мой избыток  
Охотно я с тобою разделю..  
Не слышишь, что ли, Камознс?

К а м о з н с

Что? что  
Ты говоришь? Меня к себе, в свой дом  
Зовешь?

К в е в е д о

Да, да! К себе, в свой дом, тебя  
Зову. Согласен ли?

К а м о з н с

Жить у тебя?

Но, может быть, ты думаешь, Квеведо...  
Нет, нет! твое намеренье, я в этом  
Уверен, доброе — благодарю;  
Но мне и здесь покойно: я доволен;  
Нет нужды мне тебя теснить; да в этом  
И радости не будет никакой:

О радостях давно мне и во сне  
Не грезится.

К в е в е д о

Меня ты потеснишь?  
Помилуй, что за мысль! Ты мне, напротив,  
Полезен можешь быть; я от тебя  
Жду помощи великой.

К а м о э н с

От меня?  
Ждешь помощи? И я могу тебе  
Полезен быть? я? мечтатель жалкий,  
Который никому и ни на что  
Не нужен был на свете и себя  
Лишь только погубить умел? Квеведо,  
Не шутишь ли?

К в е в е д о

Какая шутка! Сам  
Ты рассуди; дал Бог мне сына — ну,  
Уж нечего сказать, таких немного,  
Каков мой Васко; он до этих пор  
Был радостью моей, и я им хвастал  
И уж заране веселил себя  
Надеждою, что он мое богатство,  
Которому всему один наследник,  
Удвоит, мне, как должно, подражая,—  
Ан нет, иначе вышло на поверку:  
Отцовским званьем он пренебрегает,  
В проклятые зарылся пергаменты,  
Ударился в стихи, в поэты метит.

К а м о э н с

Безумство! жалкий бред!

К в е в е д о

Я то же сам  
Ему пою; да он не верит. Музы —  
Ему отец, и мать, и все земное  
Его богатство.

К а м о э н с

Так мечтают все  
Они, но то обман...

К в е в е д о

Напрасно я

Увещевал его: он слов моих  
И понимать не хочет. Видишь ли теперь,  
Как много мне ты можешь быть полезен,  
Дружище? Укажи ему на твой  
Пример, пускай узнает он, как ты,  
Его достойный образец, был щедро  
От света награжден; пусть Камознса  
Увидит он в госпитале, больного,  
В презренье, в нищете, быть может...

К а м о з н с

Так

Пускай меня увидит он! Пришли  
Его сюда; я вылечу его  
От гибельной мечты. Слепец! безумец!  
Ненужною доселе жизнь свою  
Я почитал; теперь мне все понятно:  
Им пугалом должна служить она!

К в е в е д о

Так ты его остережешь? спасешь?

К а м о з н с

Остерегу, спасу... Пришли его  
Сюда...

К в е в е д о

Он недалёко; крылья имя  
Твое придаст ему; через минуту  
Он будет здесь; и вместе с ним в мой дом  
Пожалует желанный гость — не правда ль?  
Ты будешь, друг?

К а м о з н с

Увидим.

К в е в е д о

Ну, прости же,  
Любезный.

*(Про себя.)*

Слава Богу! все как должно



Улажено. Лишь только б сына он  
На путь наставил... сам же... что за дело  
Мне до него!.. Пускай в госпитале  
Околеваает.

*(Уходит.)*

### III

К а м о э н с  
*(один)*

Я устал; все силы  
Мои истощены; и жар и холод  
Я чувствую; в глазах моих темнеет;  
Уж не она ль? Не смерть ли, званый друг,  
Ко мне подходит?..

*(Помолчав.)*

Всех я схоронил;  
Все, что любил я, что меня любило,  
Давно во гробе... Я стою один  
Перед своей могилою, один...  
И не протянет мне никто руки,  
Чтобы помочь в нее сойти; свалюся  
Туда, как чумный труп, рукой наемной  
Толкнутый в общий гроб. Счастлив  
стократно  
Простой поселянин! Трудом прилежным  
Довольный, скромный, замыслов высоких  
Не ведая, своей тропинкой он  
Идет; когда же смертный час его  
Наступит, он, в кругу своих, близ доброй  
Жены, участницы всего, что было  
И горького и радостного в жизни,  
Среди детей, воспитанных с любовью,  
Смирненно, тихо, ясно умирает;  
И всеми он любим, и, с ним прощаясь,  
Все плачут, и глаза ему родная  
Рука при смерти зажимает. Я же?  
О, как меня все обмануло! Я  
Жил одинок и одинок умру...  
Сокровищем она казалась мне  
В тот час, когда нас буря окружала,  
Когда корабль наш об утес в щепы  
Расшибся,— да, сокровищем тогда

Она, мое создание, Лузиада,  
Казалась мне! и в море с Лузиадой  
Я кинулся, и отдал на пожранье  
Волнам все, все, и с гордым торжеством  
На берег нищим вышел... спасена  
Была мое создание, Лузиада!  
Час роковой! погибельная песнь!  
Погибельный венец, мне данный славой!  
Для них от мирного, земного счастья  
Отрекся я — и что ж от них осталось?  
Разуверение во всем, что прежде  
Я почитал высоким и прекрасным...

(Помолчав.)

Мне холодно, и дрожь в моих костях:  
Последняя минута Камознса —  
И никого, чтоб вздох его принять!  
В прошедшем ночь, в грядущем ночь;  
расстроен,  
Разрушен гений; мужество и вера  
Потрясены, и вся земная слава  
Лежит в пыли... Что жизнь моя была?  
Безумство, бешенство... он справедливо  
Сказал: барыш мечтателя — мечта.

## IV

**Камознс и Васко Квеведо.**

В а с к о

Здесь, сказано, могу его найти...  
Ах, вот он!.. Это он!.. Таким видал я  
Его во сне... но только бодрым, смелым,  
И молнии в глазах, и голова,  
Поднятая торжественно и гордо...  
Что нужды! Это он... Хотя и стар  
И хил, но на лице его печать  
Его великой песни.

## К а м о з н с

## Кто тут?

Васко

## Васко

Квеведо, сын знакомого твоего,  
Иозэ Квеведо...

К а м о э н с

Ты?

В а с к о

Отец меня

Прислал сюда, дон Лудвиг, пригласить  
Тебя в наш дом переселиться; там  
Найдешь достойное тебя жилище  
И дружбу... но не рано ль я пришел?

К а м о э н с

Когда б промедлил час, пришел бы поздно.  
Приблизься, посмотри: уж надо мной  
Летает ангел смерти; для меня  
Все миновалось; но прими совет  
От умирающего Камозенса  
И сохрани его на пользу жизни...

В а с к о

Ты умираешь?.. Нет, не может быть,  
Чтоб умер Камозенс!

К а м о э н с

Минуты, друг,

Нам дороги; послушай, сын мой, ты,  
Я слышал от отца, служенью муз  
Жизнь посвятить свою желаешь... правду ль  
Сказал он?

В а с к о

Правду, я клянуся Богом!

К а м о э н с

Одумайся; то выбор роковой;  
Ты молод, и твоя душа, земного  
Еще не ведая, стремится к небу.  
И ты свое стремление зовешь  
Любовию к поэзии, от неба  
Исшедшей, как твоя душа. Но знай,  
Любовь еще не сила; постигать  
Не есть еще творить; а увлекаться

Стремлением к великому еще  
Не есть великого достигнуть.

В а с к о

Знаю.

К а м о э н с

Так загляни ж во глубину своей  
Души, и что ее бы ни влекло —  
Самонадеянность, иль просто детский  
Позыв на подражанье, иль тревога  
Кипучей младости, иль раздраженье  
Излишне напряженных нерв — себя,  
Мой друг, не ослепляй. Другие все  
Искусства нам возможно приобрести  
Наукою; поэт же творит —  
Святейшее оставив про себя —  
Природа; гении рождаются сами;  
Нисходит прямо с неба то, что к небу  
Возносит нас.

В а с к о

Того, что происходит  
Теперь во мне и что я сам такое,  
Я изъяснить словами не могу.  
Но выслушай мою простую повесть:  
Ребенком тихим, книги лишь одни  
Любя, я вырос, преданный мечтанью.  
Мой взор был обращен вовнутрь моей  
Души; я внешнего не замечал;  
Уединение имело голос,  
Понятный для меня; и прелесть лунных  
Ночей меня стремил в область тайны.  
На путь отца смотрел я с отвращеньем;  
Меня влекло неведомо к чему...  
Вдруг раздалась чудесно Лузиада —  
И стало все во мне светло и ясно;  
Сомненье кончилось, и выбирать  
Уж нужды не было... *за ним, за ним!*  
В моей душе гремело и пылало;  
И каждое биенье сердца мне  
Твердило то ж: *за ним! за ним!..* И власть,  
Влекущая меня, неодолима.  
Теперь реши, поэт ли я иль нет?

## К а м о э н с

Свидетель Бог! твои глаза блестят,  
Как у поэта; но послушай, друг,  
Хотя б их блеск и правду говорил,  
Остановись, не покидай смиренной  
Тропы, протянутой перед тобою;  
Судьба тебе добра желает; мне  
Поверь, я дорогой купил ценой  
Признание, что счастье земное  
Не на пути поэта.

## В а с к о

Дай его  
Мне заслужить — и пусть оно погибнет!

## К а м о э н с

Слепец! тебя зовет надежда славы.  
Но что она? и в чем ее награды?  
Кто раздает их? и кому они  
Даются? и не все ль ее дары  
Обруганы завидующей злобой?  
За них ли жизнь на жертву отдавать?  
Лишь у гробов, которым уж никто  
Завидовать не станет, иногда  
Садит она свой лавр, дабы он цвел  
Над тлением, которое когда-то  
Здесь человеком было и страдало,  
Нося торжественно на голове  
Под лаврами пронзительные терны.  
Но для того, кто в гробе спит, навеки  
Бесчувственный для здешних благ и бед,  
Не все ль равно — полынь ли над костями  
Его растет иль лавр... Не вся ль тут слава?

## В а с к о

Я молод, но уж мне видать случалось,  
Как незаслуженно ее венец  
Бесстыдная ничтожность похищала,  
Ругаясь над скромно-молчаливым  
Достоинством? Но для меня не счастье,  
Не золото — скажу ли? — и не слава  
Приманчивы...

К а м о э н с

Не счастье и не слава?  
Чего же ищешь ты?

В а с к о

О, долго, долго  
Хранил я про себя святую тайну!  
Но посвященному, о Камознс,  
Тебе, я двери отворю в мое  
Святилище, где я досель один  
Доступному мне божеству молился.  
Нет, нет! не счастья, не славы здесь  
Ищу я: быть хочу крылом могучим,  
Подъемлющим родные мне сердца  
На высоту, зарей, победу дня  
Предвозвещающей, великих дум  
Воспламенителем, глаголом правды,  
Лекарством душ, безверием крушимых,  
И сторожем нетленной той завесы,  
Которою пред нами горний мир  
Задернут, чтоб порой для смертных глаз  
Ее приподымать и святость жизни  
Являть во всей ее красе небесной —  
Вот долг поэта, вот мое призванье!

К а м о э н с

О молодость на крыльях серафимских!  
Как мало ход житейского тебе  
Понятен! возносить на небеса  
Свинцовые их души, их слепые  
Глаза воспламенять, глухонемых  
Пленять гармонией!..

В а с к о

Что мне до них,  
Бесчувственных жильцов земли иль дерзких  
Губителей всего святого! Мне  
Они чужие. Для чего Творец  
Такой им жалкий жребий избрал, это  
Известно одному Ему; Он благ  
И справедлив; обителей есть много  
В доме Отца — всем будет воздаянье.  
Но для чего сюда Он их послал,—  
О, это мне понятно. Здесь без них

Была ли бы для душ, покорных Богу,  
Возможна та святая брань, в которой  
Мы на земле для неба созрееваем?  
Мы не затем ли здесь, чтобы средь тяжких  
Скорбей, гонений, видя торжество  
Порока, силу зла и слыша хохот  
Бесстыдного разврата иль насмешку  
Безверия, из этой бездны вынести  
В душе неоскверненной веру в Бога?..  
О Камознс! Поэзия небесной  
Религии сестра земная; светлый  
Маяк, самым Создателем зажженный,  
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились  
С пути. Поэт, на пламени его  
Свой факел зажигай! Твои все братья  
С тобою заодно засветят каждый  
Хранительный свой огонь, и будут здесь  
Они во всех странах и временах  
Для всех племен звездами путевыми;  
При блеске их, что б труженик земной  
Ни испытал,— душой он не падет,  
И вера в лучшее в нем не погибнет.  
О Камознс! о, верь моим словам!  
Еще во мне того, что в этот миг  
Я чувствую, ни разу не бывало;  
Бог языком младенческим моим  
С тобою говорит: ты совершил  
Свое святое назначенье, ты  
Свой пламенник зажег неугасимо;  
Мне в душу он проник, как Божий луч;  
И скольких он других согрел, утешил!  
И пусть разрушено земное счастье,  
Обмануты ласкавшие надежды  
И чистые обруганы мечты...  
Об них ли сетовать? Таков удел  
Всего, всего прекрасного земного!  
Но не умрет живая песнь твоя;  
Во всех веках и поколениях будут  
Ей отвечать возвышенные души.  
Ты жил и будешь жить для всех времен!  
Прямой поэт, твое бессмертно слово!

К а м о з н с

Его глаза сверкают, щеки рдеют;  
Пророчески со мной он говорит;

От слов его вся внутренность моя  
Трепещет; не самим ли Богом прислан  
Ко мне младенец этот?.. Ты, мой сын,  
Лишь о грядущем мыслишь — оглянись  
На настоящее и на меня,  
Певца твоей великой Лузиады.  
Смотри, как я, в нечистом лазарете,  
Отечеством презренный и забытый  
Людьми, кончаю жизнь на этом одре,  
Где за два дня издох в цепях безумный.  
Таков в своих наградах свет: страшишь  
Моей стези; беги надежд поэта!

#### В а с к о

Бежать твоих надежд, твоей стези  
Страшиться?.. Нет, бросаюсь на колени  
Перед твоей страдальческой постелью,  
На коей ты, как мученик смиренный,  
Зришь небеса отверзтые, где ждет  
Тебя твой Бог, тебя не обманувший.  
Благодарю тебя, о Камознс,  
За все, чем был ты для моей души!  
И здесь со мной тебя благодарят  
Все современники и всех времен  
Грядущих верные друзья святыни,  
Поклонники великого, твои  
По чувству братья. Пусть людская злоба,  
Презрение, насмешка, нищета  
Достоинству в награду достаются —  
Прекрасней лавра, мученик, твой терн!  
И умереть в темнице лазарета  
Верх славы... О судьба! дай в жизни мне  
Быть Камознсом! дай, как он, быть светом,  
Отечества и века моего  
Величием! — и все земные блага  
Тебе я отдаю на жертву!

#### К а м о з н с

О!

Клянусь моей последнею минутой,  
И всей моей блаженно-скорбной жизнью,  
И всем святым, что я в душе хранил,  
И всеми чистыми ее мечтами  
Клянуся, ты назначен быть поэтом.



Не своелюбие, не тщетный призрак  
Тебя влекут — тебя зовет сам Бог;  
К великому стремишься ты смиренно,  
И ты дойдешь к нему — ты сердцем чист.

В а с к о

Дойду?.. О Камознс! ты ль это мне  
Пророчишь?.. Повтори ж мне, буду ль я  
Поэтом?

К а м о з н с

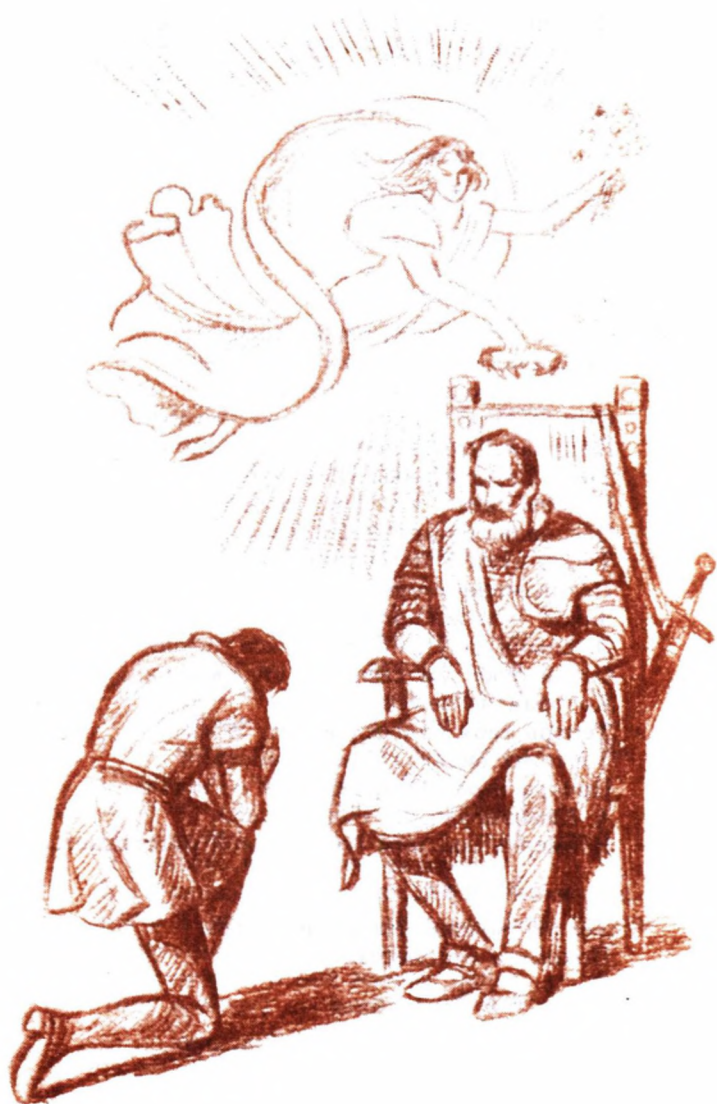
Ты поэт! имей в себе  
Доверенность, об этом часе помни;  
И если некогда захочет взять  
Судьба свое и путь твой омрачится —  
Подумай, что своим эфирным словом  
Ты с Камознсовых очей туман  
Печали свеял, что в последний час,  
Обезнадеженный сомнением, он  
Твоей душой был вдохновлен, и снова  
На пламени твоём свой прежний пламень  
Зажег — и жизнь прославил, умирая.  
О, помни, друг, об этом часе, помни  
О той руке, уж смертью охлажденной,  
Которая на звание поэта  
Теперь тебя благословляет. Жизнь  
Зовет на битву! с Богом! воссияй  
Прекрасным днем, денница молодая!  
А Камознсово уж солнце село,  
И смерть над ним покров свой расстилает...

В а с к о

Ты не умрешь. На имени твоём  
Покоится бессмертье.

К а м о з н с

Так, оно  
На нем покоится. Его призыв  
Я чувствую: я был поэт вполне.  
Неправедно роптал я на страданье;  
Мне в душу Бог вложил его — Он прав;  
Страданием душа поэта зреет,  
Страдание святая благодать...  
И здесь любил я истину святую,



*Мой сын, мой сын, будь тверд душою,  
не дремли!  
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.*

И голос мой был голосом ее;  
И не развеется, как прах ничтожный,  
Жизнь вдохновенная моя; бессмертны  
Мои мечты; их семена живые  
Не пропадут на жатве поколений.  
Пред Господа могу предстать я смело.

В а с к о

Что, что с тобой?

В эту минуту совершается видение: над головою Камознса является дух в образе молодой девы, увенчанной лаврами, с сияющим крестом на груди. За нею яркий свет.

К а м о з н с

Оставь меня, мой сын!

Я чувствую, великий час мой близко...  
Мой дух опять живой исполнен силы;  
Передо мной исчезла тьма могилы,  
И в небесах моих опять зажглась  
Моя звезда, мой путеводец милый!..  
О! ты ль? тебя ль час смертный мне отдал,  
Моя любовь, мой светлый идеал?

Тебя, на рубеже земли и неба, снова  
Преображенную я вижу пред собой;  
Что здесь прекрасного, великого, святого  
Я вдохновенною угадывал мечтой,  
Невыразимое для мысли и для слова,  
То все в мой смертный час приняло образ

твой

И, с миром к моему приникнув изголовью,  
Мне стало верою, надеждой и любовью.

Так, ты поэзия: тебя я узнаю;  
У гроба я постиг твое знаменованье.  
Благословляю жизнь тревожную мою!  
Благословенно будь души моей страданье!  
Смерть! смерть, великий дух! я слышу

весть твою;

Меня всего проникнуло сиянье!

*(Подает руку Васку, который падает на колени.)*

Мой сын, мой сын, будь тверд душою,  
не дремли!

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

*(Умирает.)*

# Джакомо Леопарди

## ДРОК, ИЛИ ЦВЕТOK ПУСТЫНИ

Но люди более возлюбили тьму,  
нежели свет.  
*Евангелие от Иоанна, III, 19*

Здесь, на хребте иссохшем  
Немыслимой горы,  
Везувия-злодея,  
Где ни деревьев, ни цветов не видно,  
Разбрасываешь редкие кусты  
Лишь ты, душистый дрок.  
Я видел: стебель твой, пустыни друг,  
Был украшеньем диких мест вокруг  
Стен города, когда-то  
Цветущего, как женщина; казалось,  
Великолепья прежнего утрата  
Была ясней из-за цветов твоих.  
И вот тебя я вижу вновь окрест,  
Любитель мрачных мест,  
Покинутых всем миром,  
Несчастья спутник верный.  
На этой почве, пеплом  
Засыпанной бесплодным,  
Окаменевшей лавою покрытой,  
Звнящей под ногой скитальца; здесь,  
Где, извиваясь в солнечных лучах,  
Змея ютится, здесь,  
Где кролик убегает  
В знакомую извилистую норку,  
Когда-то были пашни и усадьбы  
Богатые, колосья золотились,  
Стада мычали; тут  
Владык дворцы стояли;  
Цвели сады — приют  
Досугов их, и в славе городá;  
Но их и всех, кто жил в них, затопил  
Поток, извергнут бешеной горой,  
Из огненного зева изрыгавшей  
Фонтаны молний. Нынче все вокруг  
Развалинами стало,

Где ты растешь, цветок прекрасный; как бы  
Сочувствуя чужому горю, ты  
Шлешь в небо утешающий пустыню  
Свой запах нежный. Пусть на эти склоны  
Придет привыкший славить наш удел,  
И пусть увидит он  
Смысл истинный забот  
О человеке любящей природы.  
И как могуч наш род,  
О том узнать здесь истину он сможет:  
Захочет — половину уничтожит  
Кормилица-природа смертных нас  
Одним движеньем легким  
В любой нежданный час,  
А чуть сильнее вздрогнет —  
И вмиг исчезнут все.  
Тут, на земле, осталось следом дивным  
То самое, что нынче  
Зовут «грядущим светлым, прогрессивным».  
Гляди на отражение свое,  
Век глупый и надменный,  
Покинувший стезю,  
Намеченную возрожденной мыслью,  
Вспять повернув, гордишься тем, что прав,  
Попятный путь назвав  
Движением вперед.  
И все умы, которым  
Тебя в отцы дала судьбина злая,  
Твоим капризам потакают льстиво,  
А за спиной глумливо  
Кривляются, но я  
В могилу столь постыдно не сойду —  
Пусть будет на виду  
Все, что душа моя  
Скопила, — я откроюсь,  
Хоть знаю участь, ждущую того,  
Кто досаждаст веку своему.  
Над нашим общим злом  
Смеюсь я до сих пор.  
Мечтаешь о свободе, но опять  
Мысль хочешь в слуги времени отдать,  
Ту мысль, благодаря которой мы  
Из варварства едва лишь  
Восстали, мысль во славу

Гражданственности, к высям  
Повсюду судьбы общества ведущей.  
Тебе же не по нраву  
Прямая правда о ничтожном месте,  
Природою нам данном на земле.  
Поэтому ты стал спиною к свету,  
И — жалкий трус — ты называешь трусом  
Стремящегося к свету смельчака,  
Достойным же — глупца иль хитреца,  
Кто, над собой глумясь иль надо всеми,  
Наш бедный жребий славит без конца.  
И если бедный, слабый человек  
Быть честным, благородным  
Желает — он ни называть не должен  
И ни считать себя богатым, сильным,  
Ни выставлять для нас  
И доблесть и богатство напоказ;  
Не должен и того стыдиться он,  
Что золотом и силой обделен.  
Он это признает  
Открыто, заставляя  
Ценить лишь то, что в нем и вправду есть.  
И благородным я не в силах счесть  
Рожденного на гибель,  
Взросшего в лишениях  
И говорящего: «Для наслаждений  
Я создан!» Изливает  
Он смрадную гордыню на бумагу  
И соблазняет будущим блаженством  
И полнотою счастья  
(Которые и небу неизвестны,  
Не только что земле).  
Всех обитателей планеты нашей,  
В то время как довольно  
Морской обычной бури,  
Землетрясения или  
Тлетворных ветров, чтобы навсегда  
Несчастный смертный сгинул без следа.  
А благороден тот,  
Кто может без боязни  
Очами смертными взглянуть в лицо  
Уделу общему и откровенно,  
Ни слова не скрывая,  
Поведать о несчастной доле нашей,

О жизни беззащитной и ничтожной;  
Тот благороден — сильный и великий  
В страданиях, — кто несчастья  
Не углубляет тем,  
Что зло таит на брата (всяких бед  
Опасней это), в горе  
Своем не человека обвиняя,  
Но истинно виновную, для смертных  
Мать — по рожденью, мачеху — по жизни.  
Ее-то благородный человек  
Врагом и называет,  
И, полагая, что в боренье с ней  
Сплоченней и сильней  
Все общество людское стать должно, —  
Считает он людей  
Одним союзом, предлагая всем  
Свою любовь сердечную, всегда  
Спеша на помощь иль прося о ней  
В опасностях бесчисленных, в тревогах  
Борьбы всеобщей. Он  
Считает глупым брать оружие, ставить  
На ближних западни  
В ответ на оскорбленья их; они —  
Друзья на поле битвы; разве можно  
Лицом к лицу с врагом, в разгар сраженья,  
Противника забыть  
И учинить жестокий спор с друзьями,  
И собственные рати,  
Мечом сверкая, в бегство обращать?  
Когда народ опять  
Узнает эти мысли, как когда-то,  
И страх перед природой,  
Всех издавна связавший  
В общественную цепь, чуть-чуть ослабнет  
Благодаря познанию — тогда  
Содружество людей,  
Добро и справедливость  
Взойдут не из чванливого безумства,  
На коем честность зиждется толпы,  
Хоть неизбежное грозит паденье  
Всему, что зиждется на заблужденье.

Сию я часто ночью  
Здесь, в безотрадном месте,

Одетом в траур замершим потоком,  
Хранящим вид движенья; здесь, в степи  
Унылой, вижу я,  
Как в чистом синем небе блещут звезды,  
Там, в море, отражаясь;  
Как в ясной пустоте весь мир сверкает  
И вспыхивают искры.  
Когда на них я устремляю взгляд,  
Мне кажется, горят  
Лишь точки в вышине, а в самом деле  
Земля с ее морями  
В сравненье с ними точка — так они  
Огромны, и не только человек —  
Им не видна планета,  
Где человек затерян; и когда  
Я вижу те далекие созвездья,  
Что кажутся туманом,  
Откуда уж ни люди, ни земля  
Неразличимы, ни все наши звезды  
Бесчисленные вместе с ярким солнцем,  
Иль выглядят такими, как они  
Нам видятся — в туманном свете точкой,—  
Когда я вижу это,—  
Каким в моих глазах  
Ты выглядишь, о род людской! И вспомнив  
Об участи твоей, которой символ —  
Земля вот эта под моей ступней,  
И вспомнив также то,  
Что видишь ты в себе и господина,  
И цель всего, и вспомнив, как ты любишь  
Пустую болтовню; и как поэты,  
Из-за тебя вселенную забыв  
И обратясь к неведомой песчинке  
По имени Земля, тебя развлечь  
Стараются; и как ты до сих пор,  
Когда мы превзошли расцветом знаний  
Все времена другие,  
Ум оскорбляешь истинный, чтоб только  
Мечтанья смехотворные воскресли,—  
Тогда не знаю я: в душе моей  
Насмешка или жалость — что сильнее?

Как маленькое яблоко, созрев,  
В осенний день летит



На землю и уничтожает, давит  
И сокрушает тяжестью паденья  
    Построенные в мягкой  
    Земле, с большим трудом,  
Жилища муравьев, все их богатства,  
Накопленные летом терпеливо,  
    Так ночь и разрушенье,  
    Швыряя сверху пемзу,  
    Куски горы и пепел,  
Гремящим лоном в вышину небес  
    Извергнутые, вместе  
    С бегущим по траве  
    Взбесившимся потоком  
    Расплавленных камней,  
    Металла и песка,  
За несколько мгновений искрошили,  
    Засыпали и смяли  
Обласканные морем города  
На дальнем берегу; теперь пасутся  
    Здесь козы; города  
Другие поднимаются, подножьем  
Им служат погребенные, а стены  
Повергнутые злобная гора  
    Как будто попирает.  
Природе эта нравится игра:  
Ей род людской — что племя муравьев.  
    Различье только в том,  
Что муравьи, конечно, плодовитей  
И числят меньше бедственных событий.

Уж восемнадцать минуло столетий  
С тех пор, как в диком пламени исчезли  
    Людские поселенья —  
Крестьянин же, возделавший вот эти  
Пустые обессиленные земли  
    Под жалкий виноградник,  
Еще бросает трепетные взгляды  
    На роковую гору,  
Хоть присмирившую, но все еще  
    Внушающую ужас  
И все еще грозящую ему,  
    Его семье и скарбу  
Уничтоженьем. Часто  
Несчастный ночь без сна

Лежит на крыше хижины своей  
Под свежим ветерком, и то и дело  
Он вскакивает, глядя  
На извержение страшного огня  
Через хребет песчаный  
Из лона дикого, и отражают  
Все это вод глубины  
Вблизи Неаполя и Мерджеллины.

И если он заметит, что огонь  
Придвинулся, или услышит звуки  
Клокочущей внутри его колодца  
Воды кипящей, он поспешно будит  
Детей, жену и, захватив с собой  
Все, что успел, бежит  
И издали глядит,  
Как милое гнездо с клочком земли —  
От голода защитой —  
Становится добычей  
Потока разрушительного, с треском  
Ползущего, чтоб затопить его.  
Прошли века забвенья,  
Погибшая Помпея вновь открылась  
Для солнечных лучей,  
Как бы скелет, землею  
Из скупости иль жалости наверх  
Отныне возвращенный;  
И странник созерцает  
На площади пустынной  
Средь колоннад разрушенных, двойной  
Хребет, в дыму вершину,  
Еще грозящую руинам древним.  
Средь ужасов, таинственную ночью,  
Как будто мрачный факел,  
В пустом дворце, вдруг видит он воочью  
В театре опустевшем,  
В домах разрушенных, в руинах храма,—  
Нетопырей приюте,—  
Мелькает отблеск смертоносной лавы,  
Пылающей вдали,  
Окрашивая местность в красный цвет.  
Вот так природа, ни о человеке  
Не ведая, ни о веках, которым  
Он дал название древних,



*Ты ж мудр и мощен столь,  
Что знаешь истину: в твоём бессмертье  
Ни ты не властен, ни твоя судьба.*

И ни о том, что внуки дедам вслед  
Приходят, остается вечно юной.

И путь ее столь длинен,  
Что кажется она недвижной. Гибнут  
Народы. И погибель все пророчит.

Природе дела нет.  
А человек о вечности бормочет.

И ты, о слабый дрок,  
Душистыми кустами  
Украшивший пустыню, скоро ты  
Отступишь перед силою жестокой  
Подземного огня, когда ползком,  
Не зная, не жалея ни о ком,  
Он будет возвращаться  
И к зарослям твоим бессильным жадно  
Язык протянет свой.  
И ты, склонясь безвинной головой,  
В потоке тотчас сгинешь;  
Но до того мгновенья унижаться  
Не станешь ты, моля о снисхожденье  
У будущего палача; но также  
Не воззовешь в безумии гордыни  
Ни к звездам, ни к пустыне,  
Где от рожденья ты играешь роль  
Не властелина рока, но раба.  
Глупа людей природа и слаба,  
Ты ж мудр и мощен столь,  
Что знаешь истину: в твоём бессмертье  
Ни ты не властен, ни твоя судьба.



# Альфред де Виньи

## ХИЖИНА ПАСТУХА

### *Письмо к Еве*

#### I

Коль сердце у тебя, стена под грузом мира,  
Нависшего над ним громадой ледяной,  
Похоже на орла, насельника эфира,  
Что ранен и влачит крыла в пыли земной;  
Коль, кровью исходя, оно дрожит от боли;  
Коль с высоты небес ему не светит боле  
Любовь, последняя звезда во тьме сплошной;

Коль у тебя душа прикована к галере  
И так устала жить под вечный свист бичей,  
Что захотела вдруг всплакнуть, по крайней мере,  
И позабыть на миг о каторге своей,  
И вот она глядит сквозь люк весельный в волны  
И видит в них, от слез и ужаса безмолвна,  
Клеймо, что на плече железо выжгло ей;

Коль тело у тебя, хоть страсть в нем и сокрыта,  
Так целомудренно, что, сдерживая гнев,  
Уединения ты ищешь нарочито,  
Чуть глянет на тебя развязный светский лев;  
Коль, ядом лжи сквернясь, твой рот пересыхает  
И вся краснеешь ты при мысли, что вздыхает  
Тот, с кем чужие вы, в мечтах тебя узрев,—

Беги из городов, столь перенаселенных,  
Что кажутся они возвышенным умам  
Застенком для племен, навек поработенных,  
Но пусть дорожный прах не льнет к твоим ногам:  
Как море шумное вокруг островов бесплодных,  
Поля и рощи — вот приют для душ свободных,  
И ты с цветком в руке от всех укройся там.

Природа строгая в безмолвии застыла  
И жаждалась тебя. Встает туман кругом.

Качает лилии, как иерей — кадило,  
Последний вздох Земли, прощающейся с днем.  
Дым меж деревьями клубится, словно в храме,  
Холмы скрываются из глаз, и над волнами  
Склоняет ива ствол, что сходен с алтарем.

Слетают сумерки, друзья четы влюбленной,  
На изумруд лугов и злато спелых нив,  
На дальний ручеек и на тростник бессонный,  
Над лесом трепетным спокойствие разлил.  
С плеч серый плащ они на русла рек свергают  
И виноградники стеною облегают,  
Ночным цветам тюрьму дневную приоткрыв.

Так густо вереском порос мой холм любимый,  
Что путнику ночлег готов на нем всегда,  
И в этом вереске, неслышны и незримы,  
Мы спрячемся с тобой, как в прошлые года,  
И там твою вину божественную скроем,  
А если он лежит еще не плотным слоем,  
Дом пастуха могу я прикатить туда.

Нет, то не дом — возок под крышей обветшалою.  
Как прежде, хоть дождей немало пролилось,  
Окрашен в тот же цвет, что щек твоих кораллы.  
Подкатит тихо он — не скрипнет даже ось,  
И распахну опять я дверь в альков укромный,  
Где волосам твоим однажды ночью темной  
С моими кудрями сплетаться довелось.

Велишь — уедем мы с тобой в края иные,  
Где выжжена земля огнем лучей дневных,  
Иль ветры буйствуют, гоня валы шальные,  
Иль полюс грозный спит в оковах ледяных.  
Мы будем там, куда судьба нас кинет властно.  
Что для меня весь мир, что жизнь? Они прекрасны.  
Коль скоро это я прочту в глазах твоих.

Хвала Создателю! Теперь локомотиву  
Нетрудно нас умчать, куда мы захотим,  
Но Божий ангел пусть хранит его ревниво,  
Чтоб не произошло беды внезапной с ним,  
Когда он побежит, то в глубь земли ныряя,  
То через ширь реки прыжком перелетая  
Поспешней, чем олень, что сворой псов гоним.

Да, если ангела в одежде белоснежной  
Бог не решит послать с машиной, чтобы тот  
Следил, не слишком ли пары в котле мятежны,  
Успеет ли она, коль нужно, сбавить ход,—  
На рельсы камешек шалун пред ней положит,  
И соскочить с них печь магическая может,  
А то — не дай Господь! — и под откос пойдет.

До срока оседлал наш род быка стального,  
Подстегнут алчностью и жаждой перемен.  
Вверяем прихоти чудовища слепого  
Мы даже малышей, хоть их способно в тлен  
Быстрее превратить подобное создание,  
Чем чрево божества, в чьем медном изваянье  
Чтил символ золота когда-то Карфаген.

Стремимся победить мы время и пространство,  
Нам умереть милей, чем опоздать хоть раз.  
Нажива — вот где мир являет постоянство,  
Вот цель, которой все подчинено сейчас.  
Наш общий клич: «Вперед!» Но обуздать дракона  
Не властен даже сам творец его ученый.  
Ввязались мы в игру с тем, что сильнее нас.

И все ж да здравствуют ревущие машины,  
Что в поезда теперь торговлей впряжены!  
Их к жизни вызвали корыстные причины,  
Зато любовью в них крыла обречены.  
Коммерции «Ура!» и слава кадуцею,  
Коль к милой при нужде за сутки я поспею,  
Хоть разделяют нас большие две страны!

Но если только друг в печали беспредельной  
Нас руку помощи не попросил подать,  
Иль нам отечество в опасности смертельной  
Рожком военным сбор не вздумало сыграть,  
Иль перед тем, как ей смежит кончина веки  
И в лучший мир уйдет душа ее навеки,  
Узреть своих детей не пожелала мать,—

Не будем дел иметь с дорогою железной.  
С такою быстротой по ней летит вагон,  
Что кажется стрелой, свистящею над бездной,  
И пассажир его возможности лишен

Дышать всей грудью, взор в пейзаж вперив беспечно:  
Он видит лишь одно в природе бесконечной —  
Удушливый туман, что молнией пронзен.

Прощайте, прежние неспешные поездки,  
Отдохновение и праздник для души,  
Дороги звонкие, густые перелески,  
Веселый стук копыт и скрип осей в тиши,  
Друг, встреченный в пути, объятья, разговоры,  
Часы, которые проходят слишком скоро,  
Ночлег на воздухе в какой-нибудь глуши.

Теперь, когда людей ведет наука к цели  
И средства мощные им в руки опыт дал,  
Мы расстояние и время одолели,  
Но шар земной для нас уныл и тесен стал.  
Нет больше Случая. Мы следуем маршруту,  
Который с точностью до метра и минуты  
Холодный разум нам заранее рассчитал.

Но за корыстью вслед спешить стезею этой  
Раздумью кроткому навек возбранено:  
Не только различать явления и предметы —  
Их сущность тайную постичь ему дано;  
А так как сразу же не может вещь раскрыться,  
Раздумью нужен срок, чтоб на нее воззриться;  
Поэтому всегда медлительно оно.

## II

Увы, поэзия, жемчужина мышленья!  
Волнения души, равно как и морей,  
Не властны угасить то бледное свеченье,  
Что образуется под мантией твоей;  
Но стоит гению украситья тобою,  
Как чернь кошунствовать начнет, от страха воя,—  
Твой блеск божественный его внушает ей.

Энтузиазм всегда враждебен слабым душам:  
Опасен кажется им жар, сокрытый в нем.  
Но почему? Ведь мы в себе отнюдь не тушим  
Другие светочи, что нас палят огнем,—  
Жизнь, веру и любовь. Кому придет желанье  
Без солнца навсегда оставить мирозданье?  
Мы ценим бытие, хотя подчас клянем.





Увы, поэзия, жемчужина мышленья!  
Волнения души, равно как и морей,  
Не властны угасить то бледное свечение,  
Что образуется под мантией твоей...

Но насмехается над музой мир по праву:  
В нас подозрение она селит с тех пор,  
Как стали грубые сатиры ей по нраву,  
А голос задрожал и помутился взор.  
Учить нас мудрости она не смеет ныне  
И жадно тянется за скудной благостыней,  
И медяки, как брань, швыряют ей в упор.

О девка без стыда, хотя и дочь Орфея!  
Будь, словно встарь, суров прекрасный облик твой.  
Не пела б ты, хрипя, как уличная фея,  
Для сброда жалкого на грязной мостовой.  
Нет, ты б двусмысленных куплетов не слагала,  
И не жужжали бы, как мухи, мадригалы  
Над синеокою твоею головой.

Ты в Греции еще успела развратиться,  
Затем что старого распутника ввела  
В соблазн задрать тебе священный пеплум жрицы  
И наготу свою узреть толпе дала.  
Привыкшая к пирам, где пил с тобой Гораций,  
Вольтером ко двору приученная шлаться,  
Лобзаний их досель не стерла ты с чела.

Весталка, чей огонь потух! Сегодня стыдно  
Мужам серьезным быть в числе жрецов твоих.  
Слыть лишь поэтами им, право же, обидно:  
Увядший твой венок скромней наград других.  
Нет, им милей ветра, что веют на трибуне,  
А те, капризностью подобные Фортуне,  
Чуть ими поиграв, во прах сметают их.

Гремят ораторы, а почва почему-то  
Уходит из-под ног у них то там, то тут.  
Они кадят толпе, и каждую минуту  
Овациями им за это воздают,  
И толпы новые стекаются на форум,  
Но все одна цена политикам-актерам —  
Цветы без запаха, что завтра же умрут.

Мир для таких людей низвелся к балагану —  
К Палате, где всегда стоит истошный крик:  
Так там избранники народа спорят рьяно;  
А сам народ внимать вполуха им привык

И на никчемные забавы смотрит эти  
С тем удивлением, с каким взирают дети  
На чудо новое — сторукий паровик.

На выборы нейдет крестьянин осторожный —  
Не склонен жертвовать он целым днем трудов,  
Чтоб депутатом стать мог адвокат ничтожный,  
Что все нетленное охаивать готов.  
Не в душу веруя, а в болтовню свою же,  
Он в символах твоих лишь глупость видит вчуже,  
Поэзия, о страсть возвышенных умов!

Не будь тебя, алмаз, в котором преломились  
Те мысли, чей досель не угасает свет,  
Они бы ни за что до нас не сохранились.  
Зерцало прошлого, племен забвенных след,  
Ты как из-под земли встаешь порой пред нами,  
Когда пытаемся найти мы под ногами  
Руины городов, которых больше нет.

Пути, которыми идет неспешный разум,  
Сияньем озари, слепительный алмаз,  
И чтобы виден был ты всей вселенной разом,  
Да укрепит тебя Пастух, ведущий нас,  
На кровле своего всем отпертого Дома.  
День не настал еще, хотя от окоема  
Не отрываем мы надеждой полных глаз.

Земные племена — как дети без пригляда.  
Присматриваются они одни к другим,  
И грубые свои орудья без пощады  
Обрушивать на всех соседей любо им.  
Бог Термин — вот с кем мы сравнить себя могли бы:  
Верх — бюст из мрамора, низ — каменная глыба.  
По пояс в варварстве мы до сих пор стоим.

Но дух наш быстр, и мы для достижения цели  
Всем арсеналом средств его оснащены.  
Незримое в душе живет на самом деле,  
И клады без числа в ней нагромождены.  
Все сущее в себе Создатель воплощает.  
Глагол Его в себя умы людей вмещает,  
Равно как их тела в пространство вмещены.

### III

Известна ли тебе твоя природа, Ева,  
Смысл назначения и долга твоего?  
Ты знаешь ли, что Бог, когда коснулся древа  
Познания человек, презрев запрет Его,  
Так сделал, чтобы мы любовь к себе питали  
И благом ту любовь первейшим почитали,  
Хотя любить себя нам и вредней всего?

Но, Ева, ты затем приставлена к мужчине,  
Чтоб зеркалом была твоя душа ему,  
Чтобы творила суд над ним его рабыня,  
Чтоб он смягчался, вняв напеву твоему,  
И чтоб служил тебе, тобой повелевая,  
А ты надежду в нем селила, проливая  
Сердечное тепло в него, как свет во тьму.

Так нежен голос твой, язвящий так глубоко,  
Так красота грозна, так взор порой жесток,  
Что в Песни Песней сам премудрый царь Востока  
Недаром сильною, как смерть, тебя нарек.  
Кто не роптал из нас на приговор твой краткий?..  
Но сердце у тебя отлично от повадки:  
Без боя верх над ним берет мгновенно рок.

Хоть серну мысль твоя обгонит без усилия,  
Ей без проводника далёко не уйти:  
Слепит ей день глаза, ломает ветер крылья,  
И камни ноги в кровь стирают на пути.  
Она одним прыжком взлетает на высоты,  
Но нету у нее ни мочи, ни охоты  
Жить там, откуда вихрь грозит ее смести.

Зато опасливой разумности чужда ты  
И отзываешься на каждый горький стон,  
Как отзываются органы раскаты  
На вздох, которым храм безмолвный оглашен.  
Ты речью пламенной толпу одушевляешь,  
Сочувственной слезой обиды исцеляешь.  
Мужчину будишь ты, и меч хватает он.

Внять человечеству, его скорбям и пеням  
Всегда готова ты, но стогны городов —

Не место, где святым пылают возмущеньем:  
Удушлив воздух там и слишком нездоров.  
А вот вдали от них несчетные рыдания —  
Гражданских первых бурь глухое громоуханье —  
Сливаются в один и ясно слышный зов.

Приди же! Над твоей головкой милой выгнут,  
Как светоносный нимб, лазурный небосвод,  
И холм наш — это храм, что в честь твою воздвигнут,  
А купол у него — лес, что над ним встает.  
Благоуханье льют цветы, щебечут птицы,  
Чтоб свежестью могла ты вволю насладиться.  
Земля к твоим ногам ковром зеленым льнет.

Как буду я любить, о Ева, все творенье,  
Узрев его в твоих задумчивых очах,  
Дарующих мне жизнь, надежду, утешенье!  
Приди же! Долго я от ран душевных чах,  
Последних сил лишен житейской непогодой.  
Не оставляй меня наедине с Природой:  
Я с ней знаком, и мне она внушает страх.

Сказала мне она: «На сцене необъятной,  
Которою должна я для людей служить,  
Меняться можете вы, гаеры, стократно —  
Ни пьесой, ни игрой меня не удивить.  
Вперяя сонный взгляд с трудом в юдоль мирскую,  
За человеческой комедией слежу я,  
А небо зрителем на ней не хочет быть.

В моих глазах равны вы, люди, с муравьями —  
Презреньем ледяным я к вам и к ним полна  
И не стремлюсь узнать, какими именами  
На мне живущие зовутся племена.  
Мнят матерью меня, тогда как я — могила.  
Зимой не жаль мне тех, кого я поглотила;  
Весной мне радость тех, кто уцелел, смешна.

Вращаясь на оси той сферы гармоничной,  
Начала и конца которой не сыскать,  
До вас я в небесах свершала путь обычный,  
И ветер кудри мне не успевал ласкать.  
Но я и после вас скитаться буду снова  
В безмолвье девственном пространства мирового  
И вновь эфир челом надменным рассекаю».

Я выслушал ее, и задрожал от гнева,  
И ненавистью к ней проникся сей же час,  
И, вспомнив, как она, чтоб напитать посевы,  
Пускает, чуть умрем, на удобренье нас,  
Велел своим глазам, что восхищались ею:  
«Взор отведите прочь и будьте впредь мудрее —  
Любуйтесь только тем, что видите лишь раз».

Да, дважды не придет в мир женщина такая,  
Чья красота с твоей сравнима, ангел мой;  
Чьи очи, яростней, чем молнии, сверкая,  
Лучатся вместе с тем безмерной добротой;  
Чей столь же строен стан, движенья столь же гибки  
И чье лицо с его страдальческой улыбкой  
Сияет, как твое, небесной чистотой.

Природа, если ты действительно богиня,  
Живи и презирай в бесстрастье ледяном  
Людей, невольников, гонимых по пустыне,  
Хоть должен человек быть над тобой царем.  
Как ни прекрасна ты, как ни полна покоя,  
Но чту я не тебя — страдание людское,  
И теплых чувств к тебе нет в голосе моем.

А мы, скиталица, с тобою на пороге  
Пастушьей хижины пробудем вечер весь  
Иль убредем туда, где дремлют у дороги  
Те, кто свершил свой путь и отдыхает днесь.  
Мир нескончаемый пред нами распахнется,  
И явью для тебя внезапно обернется  
Все, что мне Чистый Дух о нем поведал здесь.

Шагая по земле, иссушенной и скудной,  
Над мертвыми, покой вкушающими в ней,  
Заговорим о них мы в этот час безлюдный  
В немом присутствии лишь наших двух теней,  
И ты во мгле кустов негромко и неожиданно  
Заплачешь горестней Дианы у фонтана  
О скрытой ото всех большой любви своей.



# Альфонс де Ламартин

## ВИНОГРАДНИК И ДОМ

### *Псалмодии души*

#### РАЗГОВОР МЕЖДУ МНОЮ И МОЕЙ ДУШОЙ

Я

Душа моя, какое время  
На ложе старости тебя тоской гнетет?  
Так будущую мать, когда приспееет время,  
Зачатый для скорбей, терзает болью плод!  
Темнеет... Потерпи, не спи еще немного!  
Закат грядущему рассвету даст дорогу.  
Смотри: лесной убор от холода пожух.  
Смотри: твоих оков уже распались звенья,  
И, ранней осени почуя дуновенье,  
С чертополоха в пруд летит белесый пух!  
Смотри: и мой убор редее, серебрится!  
Смотри: гнездо себе свивая в черепице,  
Мою седую прядь уносит в клюве птица,  
И эта прядь на шерсть похожа, что пушится  
На пряхках сгорбленных старательных старух.

Повита молодость моя туманом стылым,  
И все медлительней струится кровь по жилам —  
Прощай, листва! Настал плодоношенья час.  
Что дни считать? Их бег следят иные очи!  
Восславь Всевышнего, что до прихода ночи  
Отрадой сумерек одаривает нас.  
Мой голос некогда воспел твоё рожденье,  
Ему внимала ты в минуту пробужденья,  
Неясный лепет твой перелагал я в пенье,  
И ныне я готов унять печаль твою:  
Тебя я, как Давид угрюмого Саула,  
Утешу музыкой и, чтобы ты уснула,  
Псалом целительный спою!

Д у ш а

Нет! Одиночеством томясь в земной юдоли,  
Я вижу, что земля изнемогла от боли,

Как мать, чьих отпрысков унес кровавый пир.  
Мне только сумерки во всей природе милы,  
И слушать я люблю лишь тот псалом унылый,  
Что над усопшими заводит скорбный клир.

Я

Но полон сладостной истомы час вечерний —  
Так все минувшее, от радостей до терний,  
На склоне наших дней нам душу веселит:  
Все слезы пролиты, ничто не застит взгляда,  
В самом отчаянье нисходит к нам отрада,  
А опыт горестный забвением избыт.

Мы внемлем сумеркам в благоговенье робком,  
Как легкой поступи по мшистым тайным тропкам;  
Прощание звучит, как ласковый укор.  
И все прозрачнее хрустальный влажный воздух.  
И синева небес, в еще неярких звездах,  
Льнет к синеве туманных гор.

! Покуда сумерки покоят наше зренье,  
И слуху сладкое дано отдохновенье;  
В дремотной тишине малейший слышен звук:  
То невзначай в листве завозится пичуга,  
То ветер прошуршит, то на траву упруго  
Созревший плод сорвется вдруг.

Забрезжит первый луч — и в тусклом свете солнца  
По саду плавают седые волокнца,  
Которые прядут незримые персты;  
И пряжа влажная, провиснув меж стволами,  
Вмиг обрывается и тянется за вами,  
Ложась на мокрые деревья и кусты.

В обманчивом тепле осенних полдней ярких  
Роится мошкарка, плодясь в лучах нежарких;  
Ей сгннуть суждено, едва пахнет зимой;  
И запоздалая пчела о меде сладком  
Еще заботится, спеша с последним взятком  
В темницу теплую — домой.

О сирая душа, входи под кров печальный,  
Что был свидетелем твоей поры начальной;  
Безмолвно вороши погибшей жизни прах,



На опустелый сад, на ряд безмолвных окон  
Гляди, как бабочка глядит на старый кокон,  
Вспорхнув на радужных крылах!

---

Печальной памятью влекомый,  
Ищу следы былых времен:  
Не изменился край знакомый,  
Но стал необитаем он.

Гляди ж, не отрывая взгляда:  
Прогретый холм все так же крут,  
И так же лозы винограда  
По склону южному ползут.

Замри, на дом старинный глядя:  
Все тот же каменный фасад  
В плюще, как в траурном наряде;  
Порог истоптанный покат.

Там, за холмом, вокруг давлен, —  
Веселье, крик, людей полно:  
Наверно, урожай обилён,  
И потечёт рекой вино!

А здесь по выщербленной кладке  
Взобрался, оплетя карниз,  
Побег лозы, живой и хваткий,  
И над окошками навис!

Еще один побег корявый,  
Подобный гибнущей змее,  
Сползает в корчах по трухлявой,  
Червем источенной скамье.

Когда-то звали лозы эти  
Отца и мать в густую тень,  
А ягоды срывали дети,  
Клевали птицы что ни день.

Ползет к оконному проему  
И к стеклам никнет виноград:  
Как старый пес, он верен дому  
И нашему приходу рад.

Сегодня над тропею мшистой  
Его последние листы,  
Изябнув на заре росистой,  
Еще кивают с высоты.

И дрозд, нетерпелив и жаден,  
Оставил на одной из лоз  
Гроздь золотистых виноградин —  
Предмет ребячьих наших грез.

Прозрачней, чем фарфор Востока,  
Она, светясь в лучах зари,  
Еще роняет капли сока,  
Блестящие, как янтари.

Душа, ужель под этой сенью,  
Под этой ласковой лозой  
Ты не стряхнешь оцепененья,  
Не станешь вновь сама собой?

Лоза приветит нас любовней  
Кормилицы, что для тепла  
Питомцам выросшим жаровню  
Вновь, как бывало, разожгла!

Букет листов и ягод горстка  
Утешат нас и исцелят,  
Как тешит молодая шерстка  
Остриженных к зиме ягнят!

### Д у ш а

На что мне этот склон, и сад, и дом пустынный?  
Без прежних лиц к чему мне прошлого картины?  
Будь небеса пусты — мы б не молились им!  
Вновь посещать места, что прежде были милы,—  
Ведь это все равно, что разрывать могилу,  
Где похоронен тот, кто нами был любим!

### I

Красна под дождем черепица,  
И серые стены влажны,  
И мохом зеленым пушится  
Фундамент осевшей стены.

Вода шелестит в водостоке,  
Под кровлею — грязи потеки,  
Журчанье и плеск на крыльце,  
И струйки дождя по известке  
Бегут, оставляя бороздки,  
Как сетку морщин на лице.

По двери клубится забитой  
Густое паучье тканье:  
Не слышал паук деловитый,  
Чтоб кто-то стучался в нее;  
Со створками ставен трухлявых,  
Что с петель срываются ржавых,  
Играет докучный сквозняк;  
И ласточке, здешней жилище,  
От холода любо укрыться  
В зияющий комнатный мрак.

И только ее щебетанье  
Звучит из пустого угла  
В промозглом, заброшенном здании,  
Где поступь времен замерла.  
И тень от безмолвного дома,  
Простершись по лугу пустому,  
Свой путь начинает с утра;  
Не будь этой тени унылой,  
И вовсе б ничто не живило  
Забытого всеми двора.

## II

Скрой от зениц моих родное пепелище  
Или верни меня в минувшее, Творец!  
Расшевели, как встарь, безмолвное жилище  
Биеньем молодых и радостных сердец!

Бывало, распахнут все ставни в доме этом,  
Как только новый день войдет в росистый сад  
И в окна с утренним теплом и ярким светом  
Сгустившийся в ночи вольется аромат.

Казалось, дышит дом, и свежестью душистой  
Вся каменная плоть его напоена,  
И жизнь являет нам свой лик, прекрасный, чистый,  
Как личики детей, глядящих из окна.

Вот белокурые растрепанные косы  
Беспечных девочек струятся на ветру;  
Летит до самых гор их клич многоголосый,  
И эхо издали вступает в их игру.

Потом, наслушавшись их беготни и крика,  
Как квочка к выводку, во двор выходит мать  
И, всех расцеловав от мала до велика,  
Велит им вслед за ней молитву повторять.

Бывало, щебета и гомона такого  
И летнею порой не услыхать, когда  
Хлопочет ласточка вокруг выводка родного  
И учит петь птенцов, глядящих из гнезда.

Бывало, лестница скрипит, топочут слуги,  
И в кухне и в сенях все ходит ходуном,  
Собачий звонкий лай гремит по всей округе  
И нищий милостыню кланчит под окном —

Так начинался день; меж тем в гостиной рьяно  
Девичьи пальчики в который раз подряд  
Твердили заданный урок на фортепьяно  
Звончей стрекочущих в густой траве цикад.

### III

Но становилась жизнь все тише:  
Пустели комнаты, а те, кто жил в дому, —  
Одни умчались вдаль из-под родимой крыши,  
Другие канули во тьму.

Шли весны; милые невесты в белых платьях  
Прощальный устремляли взор  
На плачущую мать и ласково в объятьях  
Сжимали маленьких сестер.

Почил глава семьи; чуть горе поостыло —  
Смерть жертву избрала опять,  
А вскоре новых две... Один старик унылый  
Остался век свой доживать.

И пошатнулся дом, скользя неторопливо  
В пучину невозвратных лет;

И двери заперты, и двор порос крапивой,  
И прежней жизни канул след!..

#### IV

Семья! Тайнственное сердце всей вселенной!  
Над колыбелями ты в доброте смиренной  
Струишь живой поток уюта и любви;  
Ты ласковым теплом всю землю пронизала,  
И все рожденное на ней берет начало  
В неиссякающей, густой твоей крови!

Ты материнскими объятьями доселе  
Уберегаешь нас от ледяной метели,  
От ложа нашего отводишь смертный хлад:  
Мы льнем к твоей груди и до скончания века  
Всё помним сладкий вкус иссякнувшего млека  
И чувствуем его целебный аромат.

О первый нежный взор, нас озаривший светом.  
Очаг, впервые нас пригревший в мире этом,  
Приветный первый смех, звучавший нам в тиши,  
И череда разлук, и встреч, и расставаний,  
И ночь в чужих краях, и боль воспоминаний  
Об очаге родном, о родине души...

. . . . .

Вы, в ком любовь и верность живы,  
Отриньте гордеца брезгливо,  
Что проклял дом, где он возрос!  
Химер поборник безотрадных,  
Ревнитель чувств и мыслей стадных  
Не стоит ни тепла, ни слез!

Пусть он, изгнанник добровольный,  
Напрасно мир обыщет дольный,  
Но ласки отчей не найдет;  
Пусть будет он мечтой обманут,  
Пусть ни в одном краю не станут  
Оплакивать его уход!

Пускай, как шершень, полный злобы,  
Он грабит скромный улей, чтобы  
Дать выход зависти своей,

Пускай перечит воле горней,  
Что в почве жить велела корню,  
Чтоб вызрел плод среди ветвей.

Пускай траву кладбищ безгласных  
Он топчет в поисках напрасных,  
Чужак среди чужих могил!  
Пускай, отринутый родными,  
Не знает — честное ли имя  
От них в наследство получил!

## V

О всеблагой Господь, чей промысел небесный  
Сердцами нам дано постичь, а не умом!  
Вкруг нас в родном краю сплоти толпою тесной  
Всех тех, с кем связаны мы кровью и теплом!

Там, где возрастают измлада  
Резвые дети — награда  
Двух умиленных сердец;  
Где под безоблачным небом  
Вдоволь и млеком и хлебом  
Кормят их мать и отец.

Там, где румянятся лица,  
Вяжут проворные спицы,  
Мирно журчит разговор...  
Вечер, исполненный ласки!  
Все твои пестрые краски  
Помнит наш мысленный взор.

Все тени милые передо мной предстали:  
Та в спальне, тот в сенях, те в обветшалом зале,  
И мнится — здесь они, лишь руку протянуть!  
Так в зеркале реки мы видим отраженье  
Прекрасного лица, но тщетно искушенье  
Устами пылкими к его устам прильнуть.

Напрасно ль память нам дарована тобою?  
О нет, мы времени вернем все дни свои,  
И, как в одной реке две разные струи,  
Так с бранным вечное и с будущим былое  
Сольются наконец в едином бытии.



*Возможно ль отделить от нашей жизни вечной  
Былое — радостный Эдем души беспечной?*

Возможно ль отделить от нашей жизни вечной  
Былое — радостный Эдем души беспечной?  
Что было на веку — то нам навек дано!  
И разве души тех, кто был при жизни с нами,  
В твоих объятиях, в твоём предвечном храме  
Нам обрести не суждено?

Ты людям дал любовь к родному пепелищу,  
Ты им послал детей, ты им промыслил пищу —  
Зачем же ныне здесь царит могильный мрак?  
Ужель ты не найдешь во всей своей вселенной  
Залитый солнцем холм и дол благословенный,  
Где возродился бы разрушенный очаг?

Не лучший, не иной, а тот, давно знакомый,  
Дом, черепицею покрытый иль соломой,  
Где сердце к сердцу нежно льнет,  
Где строг отец, а мать кротка, благочестива,  
Где бабушка глядит на внуков горделиво  
И кровь родную узнает.

О Боже! Ласточек, гонимых зимним хладом,—  
И тех уносишь ты на благодатный юг,  
Так неужели нам, твоим бескрылым чадам,  
Ты не укажешь край, где спрятаться от вьюг?  
Как мать в большой семье, благое Провиденье,  
Ты смотришь с мудрою улыбкой снисхожденья  
На плачущих детей, что ползают в пыли;  
Но вспомни: человек — не Божье ли творенье,  
И разве ты — не мать земли?

Я

Душа вершит полет свободный,  
Но короток осенний день:  
И вскоре по траве холодной  
От дома протянулась тень.  
Я наблюдал за этой тенью,  
И мнилось, что мое смятенье  
Истаяло с исходом дня,  
И мнилось, ангел милосердный  
Свивальник, а не саван смертный  
Уже готовит для меня.





## ПРИМЕЧАНИЯ

Поэмы, включенные в настоящий сборник, расположены в хронологическом порядке; даты первой публикации (кроме специально оговоренных случаев) указаны в скобках. Тексты печатаются с сохранением некоторых особенностей авторской орфографии и пунктуации. При комментировании учтен опыт отечественных и зарубежных изданий.

### УИЛЬЯМ БЛЕЙК (1757—1827)

Книга *Тэль* (1789).— Впервые отпечатана самим поэтом, с собственными гравюрами, в 15 экземплярах. Здесь печатается по изданию: Блейк У. Стихи. М.: Прогресс, 1982.

Одна из первых «пророческих книг» Блейка. *Тэль* — др.-греч. «воля», «желание»; *Лува*, *Гар*, *Адона* — имена-символы в индивидуальной мифологии поэта. Возможные толкования приведены в комментариях А. М. Зверева к указанному изданию.

### СЭМЮЭЛЬ ТЭЙЛОР КОЛЬРИДЖ (1772—1834)

Поэма о Старом Моряке (1798).— Печатается по изданию: Кольридж С. Т. Стихи. М.: Наука, 1974.

В издании 1919 г. (Пг., Всемирная литература) было помещено предисловие Н. С. Гумилева к поэме.

С. 27. *Бернет* Томас (1635—1715) — английский писатель.

С. 33. ...и мне на шею Альбатрос повешен ими был.— Некоторые исследователи сближают эти строки с так называемой «печатью Каина» — крестом, выжженным, по преданию, на челе Каина, убившего своего брата Авеля и осужденного на вечные скитания (Бытие, 4, 14).

С. 48. *Как ночь, брожу из края в край*...— Мотив скитания объединяет Моряка, убившего Альбатроса, не только с Каином, но и с Агасфером (Вечным жидом), оскорбившим Христа и наказанным бессмертием.

### УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ (1770—1850)

Майкл (1800).— На русском языке публикуется впервые.

С. 51. *Грасмир* — деревня в Озерном крае, на северо-западе Англии, где жил и умер Вордсворт. Все топонимы в поэме связаны с этим краем

### ФРИДРИХ ГЕЛЬДЕРЛИН (1770—1843)

Рейн (1808).

Миф о рождении Рейна от Громовержца (Зевса) и Матери-Земли (Геи) принадлежит, по-видимому, самому Гельдерлину.

С. 63. *Синклер* Исаак (1775—1815) — юрист и поэт, республиканец, друг Гельдерлина.

*Морея* — одно из названий греческого полуострова Пелопоннеса.

С. 64. *Родан* — античное название реки Роны; *Тессин* (Тичино) — левый приток реки По; все три реки (включая Рейн) имеют истоки в Альпах недалеко от перевала Сен-Готард.

С. 68. *Билерзее* — в окрестностях этого швейцарского озера (кантон Берн) жил Руссо с 1765 г.

С. 69. ...*сумел мудрец... в буйство не впасть на пиру*.— Ассоциация с Сократом (см. заключительную сцену диалога Платона «Пир», где Сократ единственный среди пирующих сохраняет трезвость духа).

### ВАЛЬТЕР СКОТТ (1771—1832)

Поле Ватерлоо (1815).— Печатается по изданию: Скотт В. Собр. соч.: В 20 т. Т. 19. М.; Л., 1965.

С. 70. *Ватерлоо* — селение в Бельгии, в 16 километрах от Брюсселя, прославленное битвой 18 июня 1815 г., в которой союзные армии англичан и пруссаков нанесли поражение армии Наполеона. Скотт написал поэму после посещения места битвы.

*Суаньи* — селение вблизи места сражения.

С. 71. *Угумон* — замок, вблизи которого располагался правый фланг английской армии, подвергшийся сильнейшим атакам французов.

С. 72. *...скирдами высились тела сраженных в этот день.* — В сражении французы потеряли 25 тысяч убитыми и ранеными, союзники — 22 тысячи.

С. 76. *...но с ними горестный удел сам разделить не захотел.* — Ср.: «Со словами «Теперь все погребло» Наполеон поскакал с поля не останавливаясь и не переводя духу до Шарлеруа...» — Скотт В. Жизнь Наполеона Бонапарта. СПб., 1837. Т. 4. С. 137. По воспоминаниям очевидцев, Наполеон не хотел оставлять армии, но уступил доводам приближенных. См., напр., «Memoires de Fleury de Chaboulon». V. II, P. 197—199.

*А Тот — отчизны щит и меч...* — герцог Веллингтон (1769—1852), командовавший английскими войсками при Ватерлоо.

С. 78. *Груши* Эммануэль (1766—1847) — маршал Франции; должен был примкнуть со своим отрядом к главной армии Наполеона, но его опередил Блюхер, командовавший прусскими войсками, что и решило судьбу сражения.

*...воздя, что притязал на императорский венок...* — Речь идет о Катилине, который повел на Рим войска; в сражении 5 января 62 г. до н. э. с войсками консула Гая Антония потерпел поражение и погиб. См.: *Саллюстий*. Сочинения. М.: Наука, 1981.

*Маренго, Лоди и Ваграм* — места победоносных для Наполеона сражений.

С. 79. *Березина* — правый приток Днепра; в начале ноября 1812 г. при отступлении из России Наполеон переправился через Березину, потеряв половину (около 40 тысяч) остававшегося у него войска.

*...донских степей сыны.* — Среди преследовавших наполеоновскую армию русских войск был отряд донских казаков под командованием генерала Платова.

*...под Лейпцигом...* — 16—19 октября 1813 г. произошло сражение под Лейпцигом (так называемая «битва народов»), в котором армия Наполеона потерпела поражение от соединенных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.

С. 81. *...река приняла тело поляка.* — В битве под Лейпцигом маршал наполеоновской армии Иосиф Понятовский (1763—1813) утонул в реке Эльстере, прикрывая отступление французов.

*...витиям дерзким покорись...* — 21 июня 1815 г. палата депутатов собралась в Париже, чтобы решить судьбу Наполеона; 22-го она потребовала отречения императора или, в случае несогласия Наполеона, его низложения. В тот же день Наполеон отрекся от престола.

*...искать приюта у врагов...* — 15 июля 1815 г. Наполеон добровольно поднялся на борт английского корабля «Беллерофон», т. е. сдался в плен Англичам; с «Беллерофона» он пересел на фрегат «Нортумберлэнд», который привез 15 октября 1815 г. пленного императора на остров Св. Елены.

*...ни остров, ни единый край теперь своим наречь...* — Когда в 1814 г. Наполеон по требованию союзников подписал отречение, ему был отдан во владение остров Эльба и сохранен титул императора; с этого острова Наполеон бежал и 1 марта 1815 г. высадился во Франции (начало «ста дней»).

С. 82. *...высокий сан, поток наград...*— После победы над Наполеоном Веллингтон получил титул князя Ватерлооского.

С. 84. *Азенкур, Кресси* — места сражений Столетней войны (1337—1453), в которых англичане победили французов.

С. 85. *...Египет зрел его восход...*— Речь идет о морском сражении 1—2 августа 1798 г. в Абукирской бухте (вблизи Александрии), где англичане под командованием вице-адмирала Нельсона победили французский флот.

*Майда* — селение в Южной Италии, вблизи которого в сражении 4 июля 1806 г. англичане одержали победу над французами.

**ДЖОРДЖ НОЭЛ ГОРДОН БАЙРОН (1788—1824)**

Осада Коринфа (1816).— Печатается по изданию: *Байрон Дж.-Г.* Поэмы. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1940.

С. 87. *Гобгоуз* (Хобхаус) Джон Кэм (1786—1869) — литератор, близкий друг Байрона.

*Проведитор* — военный советник в Венецианской республике; в его ведении находились общественные службы и управление провинциями.

*Дек* — палуба; *хрящ* — крупный песок, образовавшийся из обломков твердых горных пород.

С. 88. *Эпир* — область на западе Греции.

*Арнауты* — турецкое название албанцев.

С. 89. *Тимолеон* — коринфянин, государственный деятель (ок. 411 г.—337 г. до н. э.); противник тирании, он способствовал убийству своего брата, стремившегося захватить власть.

*...царь персидский* — Ксеркс (ок. 519 г.—465 г. до н. э.), потерпевший поражение в войне с греками при Саламине в 480 г. до н. э.

*Акрополь* — верхняя часть города, обнесенная стеной, крепость; здесь, очевидно, Акрополь в Афинах.

*Киферон* — лесистые горы на границе Беотии и Аттики (Греция).

*Спаги* — восточная конница.

С. 92. *«Пасть льва»*.— Имеются в виду отверстия в стене Дворца Дожей в Венеции, окруженные мраморными барельефами в виде львиных голов, в которые опускались тайные доносы.

*Али Кумурджи* — по-видимому, Али-паша (ок. 1667—1716); при нем была отвоевана у Венеции Морея, захвачен остров Крит. 5 августа 1716 г. австрийская армия, выступавшая на стороне Венеции, под командованием *принца Евгения Савойского* (1663—1736) разбила турок; Али-паша был смертельно ранен.

*Калигула* (12—41) — римский император, известный своей жестокостью.

С. 93. *Кулеврина* — длинноствольное артиллерийское орудие.

С. 94. *Конфессьонал* (Конфессионал) — исповедальня в католической церкви.

*Собесский Ян*. (1629—1696) — король Речи Посполитой (под именем Ян III); в 1683 г. разгромил турецкую армию, осаждавшую Вену; под Будой турки были разбиты Карлом Лотарингским.

*Менелай* — спартанский царь, муж Елены, похищенной троянцем Парисом; это событие вызвало Троянскую войну.

С. 97. *Назарей* — у мусульман (и других иноверцев) название христианина (по имени города Назарета, где родился Христос).

С. 98. *Фермопилы* — горный проход между южной и северной частями Греции; в 480 г. до н. э. 300 спартанцев во главе с царем Леонидом остановили у Фермопил армию персидского царя Ксеркса.

С. 105. *Гоблен* — гобелен.

- С. 108. *Алла-Гу!* — воинственный клич мусульман.  
 С. 110. *Патрокл* — герой «Илиады»; убитый Гектором, он был жестоко отомщен своим другом Ахиллом.  
 С. 111. *Дели* — турецкая кавалерия.  
 С. 114. *Старый лев* — крылатый лев, изображенный в гербе Венеции.  
 С. 116. *Потир* — церковная чаша.

#### ТОМАС МУР (1779—1852)

*Пери и ангел* (1817) — одна из четырех поэм, соединенных прозаическим повествованием в одно произведение — «Лалла Рук». У Мура эта вставная поэма называется «Рай и Пери». Печатается по изданию: *Мур Т. Избранное*. М.: Художественная литература, 1981.

С. 119. *Пери* — см. примеч. А. Подолинского к поэме «Смерть Пери» в настоящем издании.

*Индейцы* — здесь: индийцы, жители Индии.

С. 121. *...острова благоуханий...* — легендарные затонувшие острова Панчайа.

С. 122. *Зенан* — женская половина дома в Древней Индии и Персии; гарем, сераль.

С. 125. *...на... водах Мерида...* — ныне высохшее озеро в Египте (по преданию, искусственное), считалось одним из чудес света.

С. 126. *Былие* — злак, растение, трава.

С. 131. *Ливанон* — Ливан.

*Веретеницы* — ящерицы.

С. 133. *Соломонова печать* — символ владения тайнами природы (по имени библейского царя Соломона, славившегося своей мудростью).

С. 134. *Имарет* — восточное название богадельни.

С. 135. *Эвлис* (Эблис) — мусульманское название дьявола.

#### ДЖОН КИТС (1795—1821)

*Гиперион* (1820). — Печатается по изданию: *Китс Дж. Стихотворения*. Л.: Наука, 1986. Не закончив этой поэмы, Китс в 1819 г. начал работу над новым ее вариантом, но вскоре оставил и этот замысел.

В основе поэмы — миф о свержении титанов олимпийскими богами. Титаны — архаические боги, рожденные Землей (Геей) и Небом (Ураном). У Китса, объединившего различные мифологические источники, к числу титанов и титанид относятся следующие боги: Азия, Атлант, Бриарей, Гиперион (бог солнца), Гий, Долор, Иапет, Кей, Кибела, Климена, Котт, Крий, Океан, Опс, Порфирион, Сатурн, Тейя, Тифон, Фемида, Форкий и Энкелад. Борьбу олимпийских богов против титанов возглавлял Зевс, сын Сатурна.

С. 138. *Наяда* — божество (нимфа) источников, ручьев и родников, хранительница вод.

*Амазонки* — племя женщин-воительниц.

*Ахилл* — античный герой, персонаж «Илиады», отличавшийся необыкновенной силой.

С. 139. *Иксион* — царь мифического племени лапифов; за свои преступления был по приказанию Зевса привязан к вечно вращающемуся огненному колесу.

*Сфинкс из Мемфиса* — громадная статуя Сфинкса, высеченная из цельной скалы.

С. 144. *Оры* — богини времен года.

С. 146. *...проникновенный и негромкий шепот...* — Передавая здесь сочувственную речь Неба (Урана), Китс отступает от традиционной мифо-

логии, согласно которой сами титаны в свое время свергли своего отца.

С. 148. *Друиды* — жрецы у кельтских народов.

С. 150. *Каф* — см. примеч. А. Подолинского к поэме «Смерть Пери» в настоящем издании.

*Окс* — древнее название Амударьи.

С. 152. *Афинские рощи* — священная роща Академа, в которой Платон беседовал с учениками (отсюда — современное «академия»).

С. 154. *...юный бог морей...* — Нептун, один из олимпийских богов, сын Сатурна.

С. 156. *...Победа — крылатое, неверное создание...* — В греческой мифологии победа персонифицировалась в образе крылатой Ники, дочери океаниды и титанида.

С. 157. *Мемнон* — герой послегомеровских мифов; одна из двух гигантских статуй, воздвигнутых при фараоне Аменхотепе III, считается изображением Мемнона. При землетрясении в 27 г. до н. э. верхняя часть ее обвалилась, и статуя с тех пор на рассвете издавала звук, воспринимавшийся древними как приветствие Мемнона своей матери Эос, богине зари.

С. 159. *Дельфийская арфа и дорийская лютня* (точнее, флейта; в оригинале — flute) — символы Аполлона, покровителя искусств.

*Киклады* — группа островов в Греции.

*...мать и свою ровесницу-сестру...* — олимпийские богини Латона и Диана.

С. 160. *...богиня с грозно-величавым ликом* — Мнемозина, богиня памяти, родившая от Зевса девять дочерей (муз); хотя в античной мифологии Мнемозина тоже одна из титанид, у Китса она, покровительствуя Аполлону, изменяет ради него своим братьям и сестрам.

#### АЛЬФОНС ДЕ ЛАМАРТИН (1790—1869)

Человек (1820)

С. 163. *...адских сил оплот...* — Эти слова вызвали резкое неудовольствие Байрона. «Да разве это не подсудно? — писал он Томасу Муру 13 июля 1820 г. — Разве такое можно стерпеть, черт побери! Певец адских сил! Хорошенькое прозвище для человека, сомневающегося, существует ли вообще такое место — ад!» (The letters and journals of Lord Byron with notices of his life. Ed. by Thomas Moore. London, 1873. P. 451.)

С. 168. *Ты сам же мне послал создание одно...* — В этих и последующих строчках речь идет о г-же Шарль, в которую был влюблен поэт; умерла в 1817 г.

#### ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ (1792—1822)

Адонаис (1821). — Печатается по изданию: Шелли П. Б. Полн. собр. соч.: В 3 т. Пер. К. Д. Бальмонта. Т. 3. СПб., 1907.

С. 171. *Адонаис* — имя героя Шелли восходит к Адонису, герою античного предания о прекрасном юноше, возлюбленном Афродиты, погибшем и оплаканном ею; одновременно Адонаис воплощает в себе и вечно воскресающее и обновляющееся природное начало, и бессмертие духа поэзии.

*Ты блистал сперва среди живых...* — двустипшие Платона; *Веспер* — поэтическое название утренней звезды — звезды Венеры (Афродиты).

*Мосх и Бион* — греческие поэты II в. до н. э.; «Эпитафия Биону» («Плач о Бионе»), по мнению современных исследователей, приписывается Мосху неосновательно; Биону, среди прочих, принадлежит стихотворение «Плач об Адонисе».

*Моя хорошо известная неприязнь к тем узким эстетическим принципам...* — До публикации «Адонаиса» Шелли не высказывался о Китсе

в печати, но по его переписке и воспоминаниям современников можно заключить, что его не удовлетворяла тяга Китса к простоте и безыскусности поэтического выражения, в то время как Китс считал стиль Шелли слишком отвлеченным и дидактичным (см. Ward A. John Keats. A biography. N. Y., 1963. P. 95).

С. 172. *...под пирамидальной гробницей Цестия...* — Гай Цестий Эпул (ум. до 12 г. до н. э.) — претор и трибун в Древнем Риме; его гробница пирамидальной формы у ворот Св. Павла в Риме сохранилась до сих пор.

*Дикий критический разбор «Эндимиона»...* — Имеется в виду опубликованный журналом «Куотерли ревью» в сентябре 1818 г. резко отрицательный отзыв Дж. У. Крокера на поэму Китса.

*...последовала скоротечная чахотка...* — Шелли писал редактору «Куотерли ревью» У. Гиффорду: «Рецензия повергла несчастного Китса в ужасное состояние, она омрачила ему жизнь... следствием явилась болезнь, от которой он едва ли оправится» (Шелли: Письма. Статьи. Фрагменты. М.: Наука, 1972. С. 222). Современные исследователи считают, однако, что фатальные для Китса последствия критической атаки преувеличивались его друзьями — см., напр.: *Елистратова А. А.* Наследие английского романтизма и современность. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 472. Уже Байрон в «Дон-Жуане» (песнь XI, строфа 60) вслагал версию об «убийстве Китса критикой» с очевидной иронией; во всяком случае, здоровье Китса ухудшилось еще до публикации статьи Крокера, а после нее появились в печати и одобрительные отклики, которые далее упоминает сам Шелли.

*Лэфаню Алиса (?—1817)* — английская писательница, автор остро-сюжетных романов; *Баррет Итон Стэннер (1786—1820)* — английский поэт; *Пайн (Пейн) Говард (1791—1868)* — англо-американский поэт, актер, драматург.

*Мильман Генри Гарт (1791—1868)* — драматург, поэт и историк.

С. 173. *Северн Джозеф (1793—1879)* — художник, сопровождал Китса в Италию и до последнего дня ухаживал за больным поэтом.

*...из того вещества, из которого созданы сны* — слова Просперо из «Бури» Шекспира (акт IV).

С. 174. *Уrania* — эпитет Афродиты как дочери бога Неба; Афродита Уrania — богиня живых растительных сил и плодородия.

*Он умер, тот, кто был Властитель слова...* — По мнению исследователей, речь здесь идет о Мильтоне, одном из любимых поэтов Шелли.

С. 178. *Был Гиацинт для Феба — упоенье, и для себя — Нарцисс...* — Гиацинт (Гиакинф), по одной из версий мифа, — сын музы Клио; был любимцем Аполлона (Феба), который нечаянно убил его, попав в него во время метания диском; из крови Гиацинта выросли красные цветы гиацинты, как бы обгащенные кровью. Нарцисс — сын речного бога Кефисса и нимфы Лириопы, прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение; он не мог оторваться от лицезрения самого себя и умер от любви к себе; на месте его гибели вырос цветок, названный нарциссом.

С. 182. *...ластухи толпою от гор пришли... и Вечности явился Пилигрим...* — Под первым среди «ластухов», пришедших оплакивать смерть Китса, подразумевается Байрон: формула «Пилигрим Вечности» — перифраз строки из «Паломничества Чайльд-Гарольда» (песнь III, строфа 70).

*...Эрин... послал певца воздушнейших созвучий...* — Речь идет о Томасе Муре; *Эрин* — Ирландия.

*...явился хрупкий Лик...* — По мнению исследователей, имеется в виду Вордсворт, которого в эти годы Шелли критиковал за отход от демократических убеждений юности. Отсюда образ «тучки... той бури, что уж кон-

чилась» и образ Актеона — мифического охотника, который подглядел купание Артемиды и был за это по воле разгневанной богини превращен в оленя и растерзан собственными псами.

С. 183. *Подобный леопарду, Дух прекрасный...* — Исследователи считают, что в строфах 32—34 Шелли говорит о себе.

С. 184. *...нежнейший меж умов, кто мертвого всегда ценил...* — Комментаторы относят эту строфу к поэту и журналисту Ли Ханту (Генту) (1784—1859), близкому другу Китса и Шелли.

С. 187. *Чаттертон* Томас (1752—1770) — английский поэт; рано обнаружил свой талант, но не нашел поддержки издателей; покончил с собой; *Сидней* (Сидни) Филип (1554—1586) — английский лирический поэт; погиб в Нидерландах во время войны с Испанией. Шелли следовал Сидни в сходном по жанру и заглавию литературном манифесте «Защита поэзии»; *Лука* Марк Анней (39—65) — римский поэт; участвовал в заговоре против Нерона и по приказу императора покончил с собой.

С. 189. *...могилы все кругом так молоды...* — Китс был похоронен на протестантском кладбище в Риме рядом с могилой трехлетнего сына Шелли.

### АЛЬФРЕД ДЕ ВИНЬИ (1797—1863)

Тюрьма (1822). — Печатается по изданию: *де Виньи А.* Избранное. М.: Искусство, 1987.

В качестве источника сюжета о таинственном узнике Бастилии под железной маской исследователи называют вышедшие в 1793 г. мемуары (более или менее апокрифические) Л.-Ф.-А. де Виньеро Дюплесси, герцога Ришелье (1696—1788), двоюродного внука знаменитого кардинала Ришелье. О других документах, связанных с этой историей, см.: *Татаринев Ю. Б.* Новый ответ на загадку французской истории // Вопросы истории. 1979. № 10.

С. 194. *«...воздем начертанный губительный секрет».* — Ср. сходный эпизод в пушкинском переводе отрывка из «Века Людовика XIV» Вольтера (*Пушкин А. С.* О Железной маске // Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л.: Наука, 1951. Т. 7. С. 349).

С. 198. *«Печалью пресыщен и краткодневен тот, кто женщиной рожден»* — Иов, 14, 1.

С. 200. *«Из бездны я воззвал...»* — Псалтирь, 129; *«...от недругов меня, о Господи, укрой!»* — Псалтирь, 37.

### КОНДРАТИЙ ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1795—1826)

На л и в а й к о. — Отрывки «Киев», «Смерть чигиринского старосты», «Исповедь Наливайки» напечатаны в «Полярной звезде на 1825 г.»; остальные фрагменты — Вестник Европы. 1888. № 12.

С. 201. *Наливайко* Северин — предводитель казачьего восстания против шляхты (1594—1596); был выдан казаками польскому гетману и казнен в Варшаве.

*Печерская обитель* — Киево-Печерская лавра, древнейший монастырь.

*Гедимин* — великий князь литовский; годы правления: 1316—1340 или 1341.

С. 204. *Чигирин* — город на границе Киевской и Херсонской областей; основан в 1589 г., в XVII в. — один из центров староства — надежда, выделенного польским королем в пожизненное пользование польским и украинским магнатам.

*Аргамак* — рослая азиатская лошадь.

С. 206. *Лобода* Григорий (?—1596) — запорожский гетман; в 1596 г.

примкнул к Наливайко, был выбран вождем вместо него; был убит казаками, когда после ряда неудач начал переговоры с врагами.

С. 208. *И вот страстная* — страстная неделя, последняя неделя великого поста перед пасхой.

С. 211. *Жолкевский* Станислав (1547—1620) — польский гетман и канцлер, подавивший восстание под предводительством Наливайко и Лободы.

С. 212. *Тясмин* — приток Днепра, берет начало недалеко от Чигирина; *очерет* — камыш, тростник.

#### ИВАН ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ (1779—1840)

Чернец (1825).— В первом издании поэме был предпослан эпиграф из «Гяура» Байрона (приводим его в переводе Г. Шенгели): «Руина телом и душой, // Обломок страсти отжитой, // Пергамент сморщенный, листок, // Что ветер горя приволок!»

С. 213. *Прекрасный друг минувших светлых дней...*— обращено к жене поэта, Софье Андреевне.

#### АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799—1837)

Цыганы (1827).— Первоначально Пушкин хотел предпослать поэме эпиграфы: «Мы люди смиренные, девы наши любят волю — что тебе делать у нас?» (Молдавская песня) — и не вполне точную цитату из стихотворения П. Вяземского «Толстому»: «Под бурей рока — твердый камень, в волненьях страсти — легкий лист».

С. 236. *Меж нами есть одно преданье...*— Речь идет о римском поэте Публии Овидии Назоне (43 г. до н. э.— ок. 18 г. н. э.), сосланном императором Августом Октавианом в Томи (западное побережье Черного моря).

С. 242. *Буджак* — территория между Днестром и Дунаем; присоединена к России по Бухарестскому миру, заключенному после русско-турецкой войны 1806—1812 гг.

С. 249. *Где повелительные грани...*— По Бухарестскому миру Бессарбия отошла к России и европейская граница между Россией и Турцией была отодвинута от Днестра к Пруту.

#### АДАМ МИЦКЕВИЧ (1798—1855)

Конрад Валленрод (1828).— Печатается по изданию: *Мицкевич А. Избр. произв.*: В 2 т. Т. 1. М., 1955.

С. 252. *Конрад Валленрод* — великий магистр Тевтонского ордена, избранный в 1391 г., продолжал войну ордена против Литвы и Польши; в 1393 г. умер в припадке бешенства. Предание сделало его литовцем, вступившим в орден с целью разрушить его. А. Мицкевич в «Объяснениях» к своей поэме так пишет об исторической основе изображаемых событий: «Мы назвали нашу повесть исторической потому, что характеристика действующих лиц и все описание важнейших упоминаемых в ней событий основаны на исторических данных. Хроники того времени, сохранившиеся в отрывочных и неполных списках, часто требуют догадок и должны быть дополнены домыслами, чтобы на их основе воссоздать какое-нибудь историческое целое. Излагая историю Валленрода, я допустил домыслы, но я надеюсь, что сумею оправдать их соответствием исторической правде. Согласно хроникам, Конрад Валленрод не происходил из известного немецкого рода Валленродов, хотя выдавал себя за члена этого рода. Он был как будто чьим-то незаконнорожденным сыном. Крулевская хроника (библиотеки Валленрода) указывает: «Он был сыном церковного служителя». О характере этого странного человека мы имеем возможность читать самые разнообразные и противоречивые предания.



Большинство летописцев ставит ему в укор гордость, жестокость, пьянство, суровое отношение к подчиненным, недостаточное радение о вере и даже ненависть к духовенству. «Он был настоящим головорезом» (хроника библиотеки Валленрода). «Сердце его постоянно стремилось к войне, к раздорам и сварам; и хотя по своей принадлежности к Ордену он должен был быть человеком богобоязненным, он внушал, однако, отвращение всем благочестивым духовным лицам». С другой стороны, летописцы того времени признают за ним величие ума, мужество, благородство и силу характера; действительно, без исключительных качеств он не мог бы удержать власть среди общей ненависти и бедствий, в которые поверг Орден. Вспомним теперь, каково было поведение Валленрода. Когда он принял на себя бразды правления Орденom, был благоприятный момент для войны с Литвой, так как Витольд обещал немцам, что сам поведет их на Вильно и щедро вознаградит их за помощь. Валленрод, однако, оттягивал войну и, что еще хуже, оттолкнул Витольда и в то же время так легкомысленно доверился ему, что князь этот, тайно помирившись с Ягеллой, не только ушел из Пруссии, но, вступая по дороге в немецкие замки как друг, предавал их огню, а гарнизоны вырезывал. При такой неблагоприятной перемене обстоятельств следовало бы отказаться от войны или приступить к ней с большими предосторожностями. Великий магистр объявляет крестовый поход, опустошает казну Ордена на военные приготовления (пять миллионов марок, около миллиона венгерских золотых — сумма для того времени умопомрачительная), идет на Литву. Все же он мог бы взять Вильно, если бы не тратил времени на пиры и на ожидание подкреплений. Наступила осень. Валленрод, оставив лагерь без продовольствия, в полном беспорядке, уходит обратно в Пруссию. Летописцы того времени и позднейшие историки не в состоянии разгадать причину столь неожиданного отъезда его и не находят в тогдашних обстоятельствах никакого повода к этому. Некоторые объясняли бегство Валленрода его умопомешательством. Все отмеченные здесь противоречия в характере и действиях нашего героя удастся примирить, если допустить, что он был литовцем и что он вступил в Орден, чтобы мстить ему. В самом деле, его правление нанесло самый тяжелый удар могуществу крестоносцев. Допустим, что Валленрод был тем самым Вальтером Стадионом, сократив лишь на какой-либо десяток лет время, прошедшее между отъездом Вальтера из Литвы и появлением Конрада в Мариенбурге. Валленрод умер в 1394 году внезапной смертью, причем смерть его сопровождалась весьма странными обстоятельствами. «Он умер,— повествует хроника,— в бешенстве, без последнего миропомзания, без пасторского благословения. Незадолго до его смерти бушевали бури, ливни, наводнения; Висла и Ногат прорвали свои плотины... в то же время воды проложили себе новое русло там, где теперь находится Пилава». Хальбан, или, как его называют летописцы, доктор Леандер фон Альбанус, монах, единственный и неразлучный товарищ Валленрода, хотя носил маску благочестия, был, по свидетельству летописца, еретиком, язычником, а может быть, и кодуном. О смерти Хальбана нет точных сведений. Некоторые пишут, что он утонул, другие — что он загадочно исчез или был похищен сатаной. Хроники мы приводили преимущественно из сочинения Коцебу «Древняя история Пруссии». Гарткнох, называя Валленрода безумцем, дает о нем очень краткие сведения.

*Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы...*— Эпиграф взят из трактата Никколо Макиавелли (1469—1527) «Князь».

*Залесские Бонаventura и Иоанна* — друзья Мицкевича, с 1827 г. жили в Москве, где поэт читал им «Конрада Валленрода» в рукописи.

*Ольгерд* (1341—1377) и *Витольд* (Витовт) (1350—1430) — великие литовские князья.

С. 253. *Ягеллоны* — польско-литовская династия, ведущая свое происхождение от литовского князя и польского короля Ягайло (Ягелло) (правил с 1377 г.).

*Что бессмертно в мире песнопений...* — из стихотворения Ф. Шиллера «Боги Греции»; перевод М. Лозинского.

*Сто лет прошло...* — Покорение пруссов Тевтонский орден завершил к 1283 г., а действие поэмы начинается в 1391 г.

С. 254. *...земли Палемона...* — название Литвы по имени легендарного римлянина Палемона, приплывшего к берегам Балтики и поселившегося там вместе со своими спутниками.

С. 255. *Вайделоты* — жрецы, в обязанность которых входило рассказывать на праздниках о деяниях предков.

*С Мариенбургской башни...* — Мариенбург был с 1309 г. столицей ордена.

С. 260. *Святой Душе Божий! Голубе Сиона!* — Дух Божий, по Евангелию, нисходил на землю в виде голубя — см., напр., Матфей, 3, 16; Сион — здесь: символ присутствия и благословения Божия.

*Меч Петра* — Апостол Петр, по преданию, первый епископ Рима, основатель папства.

С. 265. *Жмудская* (земля) — область великого княжества Литовского.

*Витольд... пришел у Ордена просить заслона.* — Витольд действительно дважды вступал в союз с крестоносцами против своего двоюродного брата Ягеллы.

С. 266. *Мендог* (Миндовг, Миндаугас) — великий князь литовский (XIII в.), возглавил в 1260—1261 гг. восстание против ордена. В «Объяснениях» к поэме «Гражина» Мицкевич писал: «Под Новогрудком есть гора, которая зовется... горой Мендога и которая, как полагают, является могилой этого героя» (Указ. соч. С. 393; пер. А. Тарковского). Новогрудок — город, где родился Мицкевич (ныне в Белоруссии).

С. 273. *День Патрона.* — Покровителем рыцарских орденов считался св. Георгий; его день отмечался 23 апреля.

С. 279. *О песнь народа! Ты — ковчег Завета...* — Ковчег Завета, по Библии, место, где хранились скрижали Моисея; здесь: святыня.

С. 281. *Перун* — Перкунас (лит.) — бог грома.

*Кейстут* (1297—1382) — великий князь литовский, сын Гедимина и отец Витольда.

С. 282. *Винрих* — Винрих фон Книпрое, великий магистр ордена в 1351—1382 гг.

С. 287. *...Рудавская страшная битва...* — сражение на реке Рудаве в 1370 г. между литовскими войсками Кейстута и Ольгерда и крестоносцами во главе с Винрихом фон Книпрое.

С. 294. *Булла* — папское послание.

С. 308. *Самсон* — библейский герой, обрушивший опоры дома филистимлян — своих врагов и погибший вместе с ними (Книга Судей, 16),

## ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800—1844)

*Цыганка* (1831). — В первом издании поэма называлась «Наложница».

С. 313. *Неделя Светлая* — пасхальная неделя; *Новинское* — село под Москвой, место пасхальных гуляний; позднее Новинский бульвар; ныне улица Чайковского.

*Там клепер знает чет и нечет...* — Клепер — немецкая порода лошадей, использовавшихся для дрессировки; в цирковых представлениях эти лошади выбирали нужные цифры.

С. 328. *Великий пост уж подходил...*— Во время великого поста прекращались балы.

С. 340. *Стогны* — площади.

С. 342. *...египетское племя...*— В то время цыгане считались выходцами из Египта.

### ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ (1809—1849)

Ламбро, греческий повстанец (1833).— Печатается по изданию: *Словацкий Ю* Избр. соч.: В 2 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1960.

С. 345. *Ламбро Качони* — морской офицер русской службы, грек по происхождению. Во время русско-турецкой войны (1787—1791) отправился в Грецию, на свой счет вооружил судно и с двумя другими примкнувшими к нему военными кораблями вышел в море и в течение нескольких лет уничтожал, где мог, турецкие суда. Умер после 1801 г. В предисловии к третьему тому «Поззии», в состав которого вошла поэма, Словацкий писал: «Ламбро — человек, являющийся портретом нашего века, его бесплодных усилий; это воплощенная насмешка судьбы, и жизнь его похожа на жизнь многих гибнущих ныне людей, о которых друзья пишут, кем они могли бы быть, о которых посторонние говорят, что они не были ничем» (Указ. соч. Т. 1. С. 267; пер. К. Сенкевич). Байрон упоминает Ламбро в поэме «Абидосская невеста» (1813) и в «Дон-Жуане» (1818—1824).

*Майниоты* — жители Майны, южной оконечности Пелопоннеса; считали себя потомками спартанцев.

*Архипелаг* — так раньше называли Эгейское море.

*Медуза* — Горгона, чудовище со змеями на голове, чей взгляд обращал все живое в камень.

С. 345. *Лаокоон* — знаменитая античная мраморная группа, изображающая троянского жреца Лаокоона и его двух сыновей, обвитых двумя громадными змеями.

*Дафна* — нимфа, которая, спасаясь от любви Аполлона, превратилась в лавровое дерево — с тех пор любимое дерево Аполлона; *Ипсара* — остров в Эгейском море; *Ниоба* — дочь Тантала, жена царя Фив Амфиона; обладая многочисленным потомством, возгордилась перед богиней Лето, имевшей двух детей (Аполлона и Артемиду). Разгневанная богиня наказала Ниобу гибелью всех ее детей, и Ниоба окаменела от горя.

С. 348. *Нам полночь тайно в руки меч вложила...* — Полночь в поэтической традиции — обозначение Севера; ср. в «Медном всаднике» Пушкина: «Когда полночная царица дарует сына в царский дом»; Екатерина II рассылала манифесты к грекам, призывая их к борьбе против турок с помощью русского оружия.

*...о царице Екатерине, которая... предала их...*— Имеется в виду Кючук-Кайнарджийский мир, который Екатерина II заключила с Турцией в 1774 г.

С. 350. *Ригас Константин* (1757—1798) — греческий поэт, участник борьбы против турок; на пути из Венеции был схвачен в Триесте австрийскими властями и выдан турецкому наместнику в Белграде, где и был расстрелян. Ю. Словацкий излагает иную версию: ср. в предисловии к третьему тому «Поззии»: «Автор славного гимна повстанец Ригас, которого Турция выдала туркам, погиб бесславной смертью: его повесили на мачте фрегата» (Указ. соч. Т. 1. С. 267).

*Клефты* — греческие партизаны, боровшиеся против турецкого владычества.

*...как некогда титаны...*— Речь идет о борьбе титанов с олимпийцами — см. примеч. к поэме «Гиперион».

С. 351. *Пери* — см. примеч. А. Подолинского к поэме «Смерть Пери» в настоящем издании.

*Епанча* — широкий плащ, бурка.

*Мисюрка* — военная шапка с железной маковкой и сеткой.

С. 353. *Тантал* — в античной мифологии герой, наказанный богами: стоя по горло в воде, он не может напиться, так как вода отступает от его губ.

С. 354. *...напоминая Лотову подругу...* — По ветхозаветному преданию, праведник Лот был спасен Богом, поразившим неправедных жителей городов Содомы и Гоморры; на пути из Содомы Лоту и его семье нельзя было оглядываться, но жена Лота нарушила запрет и превратилась в соляной столб (Бытие, 19).

С. 356. *Трехбунчукный* — Бунчук — прядь волос из конских хвостов; здесь: знак высшей власти в Турции.

С. 357. *Ненюфары* (фр.) — водяные лилии, кувшинки.

*...луртур Тира.* — Речь идет о знаменитой краске, с древних пор добываемой в финикийском городе Тире из раковин пурпурной улитки (багрянки).

С. 361. *Спардек* — верхняя палуба трехпалубного судна в XIX в.

С. 364. *Входящие, оставьте упования* — Данте. Божественная комедия. Ад. Песнь III.

*Левшафан* — в Библии — морское чудовище, напоминающее крокодила, или гигантского змея, или дракона (напр., Иов, 40, 20—41).

С. 378. *Ай-София* (Айя-София) — Софийский собор в Константинополе (Стамбуле), сооружен в 532—537 гг.

С. 384. *Аksamит* — старинный плотный бархат.

АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ (1810—1857)

Ролла (1833)

С. 388. *...Геракл, одетый шкурой львиной...* — Один из подвигов Геракла — убийство немейского льва; по преданию, с тех пор герой носил львиную шкуру; *сильваны* — боги лесов и дикой природы.

*...над развалинами римскими свирепо пронесся ураган из северных земель...* — Речь идет о падении Римской империи от нашествия варваров.

*...с Лазарем...* — Лазарь, по евангельской легенде, был воскрешен Христом на четвертый день после смерти (Иоанн, 11).

С. 391. *...Павел... учитель римских толп?* — Апостол Павел был казнен в Риме при императоре Нероне.

*Мария из Магдалы* — Мария Магдалина, грешница, исцеленная Христом и раскаявшаяся (Лука, 8, 2); об умещении ног Христа грешницей (не Магдалиной) рассказано в Евангелии от Луки (7, 37—38).

*Иоанн* — Иоанн Креститель, Предтеча, пророчествовал о пришествии Христа.

*Тиберий* (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — римский император; последние годы его правления отличались усилением тирании, кровавыми политическими процессами по доносам, властью временщиков; *Клавдий* (10 г. до н. э. — 42 г. н. э.) — римский император; известен своей бесхарактерностью и полным подчинением воле своих жен — Мессалины и Агриппины.

*Сатурн последнее свое дитя пожрал...* — Сатурн (см. примеч. к с. 138), зная, что будет свергнут одним из сыновей, пожирал своих детей.

С. 392. *...Геракл увидел двух к нему спешащих дев...* — О выборе Геракла рассказывает софист Продик (V в. до н. э.) в аллегории «Геракл на распутье».

С. 393. *Алкивиад* (451—404 гг. до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель.

*Персть* — пыль, прах, земля.

С. 395. *Маргарита* — персонаж «Фауста» Гете, символ невинности и простоты.

С. 396. *О Фауст, разве ты не помышлял о смерти...* — Реминисценция из сцены I «Фауста».

С. 398. *Весталка* — в Древнем Риме девственная жрица богини Весты.

*...Мария имя ей, совсем не Марион.* — Марион — распространенное во Франции имя куртизанки.

С. 400. *На тайной вечери печален был Христос...* — Тайная вечеря — последний ужин Христа с его учениками, на котором Христос объявил им, что его ожидает смерть (Матфей, 26, 17—29).

С. 401. *Сейчас к его столу подсядет Командор* — Командор — персонаж распространенного европейского сюжета о Дон-Жуане (Тирсо де Молина, Мольер, Байрон, Пушкин); явление Командора воплощает возмездие Дон-Жуану.

С. 402. *Взгляни же, Аруз...* — Мюссе обращается к Вольтеру, чье настоящее имя Франсуа Мари Аруз; как и многие романтики, Мюссе видит в Вольтере воплощение рационалистической философии Просвещения и атеизма.

*Брут* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — глава заговора против Цезаря, один из его убийц; потерпев поражение в битве с войском Октавиана и Антония, покончил с собой.

С. 403. *Эскусс* Виктор (1813—1832) — французский поэт, отравившийся угарным газом из-за неудачи своих пьес.

С. 404. *...завеса порвалась...* — Когда распятый Христос испустил дух, в храме разорвалась надвое завеса (Матфей, 27, 51).

С. 406. *О гаитянское истерзанное племя...* — В 1797 г. потомки вывезенных на Гаити негров-рабов изгнали французов и провозгласили самостоятельную монархию (с 1820 г. — республика).

### ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ (1798—1837)

*Палинодия* (1835). — Печатается по изданию: *Леопарди Дж.* Лирика. М.: Художественная литература, 1967.

С. 411. *Палинодия.* — Название поэмы происходит от греческого слова *palin* — «опять, назад». Употребленное как жанровое определение, оно означает и «отречение», и «покаянную песнь». Строя формально свою поэму как панегирик буржуазному прогрессу и его защитникам, Леопарди как бы отрекается от своего постоянного пессимизма и критицизма по отношению к нему, но это отречение пронизано язвительной иронией.

*Каппони* Джино (1792—1876) — друг Леопарди, один из видных деятелей буржуазного либерализма 30-х гг., пытавшихся привлечь Леопарди на свою сторону.

*И в воздушных вечно нет спасенья.* — Эпиграф взят из трактата Петrarки «О средствах против превратностей судьбы» (CV, 4).

С. 412. *...трех парок веретена.* — Парки в римской мифологии — богини судьбы, прядущие и обрезающие нить жизни человека.

*Сим, Хам и Иафет* — по Библии, сыновья патриарха Ноя (Бытие, 7, 10).

*...дальний берег Атлантики...* — Имеется в виду Америка.

С. 413. *Вольта* Алессандро (1745—1829) — итальянский физик, один из основателей электрохимии; создал первый химический источник тока (вольтов столб); *Дэви* Гемфи (1778—1829) — английский химик и физик; описал электрическую дугу.

С. 416. *А под широким ложем Темзы будет прорыт тоннель...* —

Речь идет о тоннеле в Лондоне под Темзой, запроектированном еще в 1799 г. и завершнном через несколько лет после смерти Леопарди.

С. 416. *Один твой друг...*— Имеется в виду писатель и филолог Никколо Томмазо (1802—1874), примыкавший к либеральному движению.

С. 418. *...щеки, покрытые густыми волосами.*— Речь снова идет о современных Леопарди либералах — на этот раз о молодежи, у которой было в моде, вслед за карбонариями, носить бороду.

#### АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ПОДОЛИНСКИЙ (1806—1886)

Смерть Пери (1837)

С. 419. *D'Herbelot* (д'Эрбело Бартелеми) — французский ориенталист XVII в., автор «Восточной библиотеки» (1697).

С. 434. *...сказание о смерти Геракла...*— Смертельно раненный Гераклом кентавр (центавр) Несс, чтобы отомстить герою, посоветовал его жене Деянире собрать его (Несса) кровь, чтобы сохранить любовь Геракла. Пропитанный кровью кентавра плащ был послан Гераклу, принос к его телу, и яд стал проникать сквозь кожу. Геракл сжег себя на костре.

#### АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОЛЕЖАЕВ (1804 или 1805—1838)

Кориолан (1838)

С. 452. *Кориолан* Гней Марций — римский патриций; прозвище Кориолан он получил за взятие Кориола, города вольсков (493 г. до н. э.). Во время голода в Риме (491 г. до н. э.) предложил сенату повысить цены на хлеб из государственной житницы, вызвав этим вспышку народного гнева. Был призван на суд в народное собрание, но не явился туда, а ушел к своим недавним врагам вольскам. С ними пошел на Рим, опустошил римские владения и подошел к городу, угрожая осадой. Просьбы жены и матери заставили Кориолана отступить от Рима.

*...обезоруженный Самсон...*— в Библии рассказывается о том, как влюбленный в филистимлянку Далилу герой Самсон был усыплен ею и острижен, отчего лишился своей могучей силы (Книга Судей, 16).

С. 454. *Фабриций* — вероятно, Кай Фабриций Лусцин (III в. до н. э.) — римский консул, полководец, прославившийся своей неподкупностью; *Регул* — римский политический деятель (III в. до н. э.) — консул, полководец; попал в плен к карфагенянам, не принял никаких предложений о мире и умер мучительной смертью.

*Капитолия* — правильное Капитолий — холм и храм Юпитера на нем, святилище Рима; на Капитолии находился римский сенат.

С. 455. *Антоний* Марк (82—30 гг. до н. э.) — римский триумvir, родственник Цезаря по матери; в день похорон Цезаря обратился к народу с горячей речью, направленной против убийц императора.

*Каиафа* (Кайафа) — имя первосвященника, предавшего Христа на суд Понтия Пилата (Матфей, 26).

*Miserere* («Смилуйся») — латинское начало и название 50-го псалма царя Давида.

*Чичисбей* — в Италии XVIII — начала XIX в. постоянный спутник состоятельной замужней женщины, сопровождавший ее на прогулках и в увеселениях.

С. 458. *Тарпея* — утес на западной стороне Капитолийского холма; с него сбрасывали приговоренных к смерти преступников.

*Диана* — здесь: луна.

С. 471. *Рамена* — плечи.

**Е. БЕРНЕТ (АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ ЖУКОВСКИЙ) (1810—1864)**

**Вечный жид.**— Печатается по единственной публикации: Библиотека для чтения. 1839. № 6. Т. 34.

С. 474. *...признал высокий миф...*— миф о рождении Афродиты из морской пены. В рукописи к этому месту есть примечание поэта: «Средиземное море имеет необыкновенный лазурный цвет. Из волн его Древние производили богиню любви и красоты» (здесь и далее примечания Бернета приводятся по рукописи поэмы — РО ГБЛ. Б-Ж, I, 1, лл. 32—32 об.).

С. 475. *...сей ряд колонн дорических...*— «Храм Юноны. В описаниях древних зданий, местностей и растительного царства автор не позволял себе ни малейшего вымысла» (примеч. Бернета).

*Капище* — языческий храм; *Поллукс* и *Кастор* — римские имена близнецов Полидевка и Кастора (диоскуров), сыновей Зевса.

*Агригент* — древний город на юге Сицилии.

*Державные упали Сиракузы...*— Город Сиракузы был взят римлянами после двухлетней осады в 212 г. до н. э., при этом погиб Архимед.

С. 477. *Здесь лавы ток страну завладел...*— Речь идет об извержении Этны в 1669 г.

*Катания* — город в Сицилии, разрушенный во время извержения 1669 г.

*Церера* — богиня плодородия.

С. 478. *...город тот, где грозного Прочида тень живет.*— «Палермо. В стенах этого города совершилось событие, известное в истории под именем сицилийских вечерень, которого главный виновник был Иоанн Прочида» (примеч. Бернета). Сицилийская вечерня — кровавое восстание против Карла Анжуйского в 1282 г., которое возглавил сицилийский государственный деятель Прочида (ок. 1225 — после 1299).

С. 480. *...перед ним таинственный дворец...*— «Замок Цизы, в окрестностях Палермо, построен во время владычества мавров» (примеч. Бернета).

*Водомет* — фонтан. «Этот водомет находится среди сеней; здесь он перемещен для благозвучия стиха» (примеч. Бернета).

С. 482. *...чертоги Эскурьяла...*— Замок Цизы сравнивается здесь с Эскурьялом — знаменитым дворцом, усыпальницей королей Испании.

С. 495. *Улемы* — мусульманские богословы в Турции и арабских странах.

### **МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814—1841)**

**Демон.**— Над поэмой Лермонтов работал с 1829 по 1839 г. Отрывки впервые напечатаны в «Отечественных записках» в 1842 г. Полностью впервые за границей (1856), в России — в 1860 г.

С. 511. *Столпообразные раины* — пирамидальные тополя.

С. 515. *Питомец резвый Карабаха* — карабахская верховая лошадь.

С. 523. *Муэцины* — муэдзины; у мусульман — священнослужители, сзывающие на молитву с минаретов.

### **ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783—1852)**

**Камознс** (1839) — перевод (вольный, особенно во второй части) драматической поэмы австрийского писателя Э.-Ф. Мюнх-Беллинггаузена (1806—1871), писавшего под псевдонимом Фридрих Гальм.

С. 546. *Камознс Луис* (ок. 1524—1580) — португальский поэт.

С. 549. *Лузиада* — «Лузнады» (1572) — крупнейшая поэма Камознса.

...перед Ораном и перед Цейтою — Оран и Цейта (Сеута) — места сражений (на африканском побережье) португальцев с маврами; в сражении при Сеуте Камознс потерял глаз.

...а добрые крузады мараведисы превращаю... — Крузады — старинные португальские золотые монеты; мараведисы — испанские золотые монеты.

С. 555. В Коимбру — Камознс учился в Коимбрском университете.

...мантуанский певец... — Вергилий (70—19 гг. до н. э.) — римский поэт, родился близ Мантуи.

С. 556. Она была прекрасна... — Предание повествует о любви Камознса к Катарине де Атиде, придворной даме королевы, воспетой им под именем Натерсия.

С. 557. ...под стенами Марокко... — Марокко (Маррокеш) — одна из столиц султаната Марокко.

С. 558. Вслед за Гамой... — Васко да Гама (1460—1524) — знаменитый португальский мореплаватель, проложил путь в Индию. Ему посвящены «Лузиады».

С. 559. Себастьян — португальский король; годы правления: 1557—1578.

Алькассарская битва — сражение у г. Алькассар-Квивира (1578) между португальцами и маврами, в котором войско короля Себастьяна было разбито, а сам он погиб.

...Португалия добычей стала Филиппа... — После гибели короля Себастьяна испанский король Филипп (1527—1598) со своей армией занял страну и был провозглашен португальским королем (1580).

С. 570. ...обителй есть много в дому Отца... — Иоанн, 14, 2.

## ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ

Дрок, или Цветок пустыни (напис. 1836, опубл. 1845). — Печатается по изданию: *Леопарди Дж.* Лирика. М.: Художественная литература, 1967.

С. 581. ...обласканные морем города... — Стабия, Геркуланум и Помпея погибли во время извержения Везувия в 79 г.

## АЛЬФРЕД ДЕ ВИНЬИ

Хижина пастуха (1844). — Печатается по изданию: *де Виньи А.* Избранное. М.: Искусство, 1987.

С. 585. Ева — французские исследователи высказывают разные предположения о том, какой конкретный адресат подразумевается под этим символическим именем.

С. 586. ...локомотиву нетрудно нас умчать... — здесь и в следующих строфах отразилось потрясение, испытанное Виньи при известии о железнодорожной катастрофе 8 мая 1842 г. на линии Париж — Версаль.

С. 587. ...чрево божества, в чем медном изваянье... — По библейской легенде, в жертву Молоху, языческому богу золота, в Карфагене приносили дети (Иеремия, 32, 35).

Кадуцей — жезл вестников и глашатаев (от названия жезла Меркурия, посланца и вестника олимпийских богов).

С. 590. Орфей — мифический поэт и музыкант, чье пение обладало чудодейственной силой; символ искусства.

Пеплум — в Древней Греции и Древнем Риме — женская верхняя одежда из легкой ткани.

...пил с гобой Гораций... — Вакхическая тема — одна из любимых в поэзии римского поэта Горация (65 г. до н. э. — 8 г. н. э.); *Вольтером ко двору приученная шляться*... — Вольтер в различные периоды своей жизни был близок ко двору Людовика XV и прусского короля Фридриха II.



*Слыть лишь поэтами им, право же, обидно...*— Здесь и в следующих строфах французские комментаторы усматривают намек на Ламартина, который, будучи с 1833 г. членом палаты депутатов, написал в предуведомлении к своей поэме «Жослен» (1836): «Поэт еще не есть весь человек, равно как и воображение и чувствительность не составляют еще всей его души. Что сказать о человеке, который только и делал в жизни, что рифмовал свои поэтические грезы, в то время как его современники ожесточенно сражались на благо отечества и цивилизации, а весь нравственный мир изнемогал в муках рождения новых идей и вещей? Такой человек всего лишь паяц, помеха для истинно серьезных мужей, и его надобно со всеми его побрякушками сослать в тамбурмажоры» (*Lamartine* A. Jocelyn. Paris, Garnier, 1960. P. XXVIII—XXIX).

С. 591. *Термин* — в римской мифологии божество границ и межевых знаков.

*...равно как их тела в пространство вмещены.*— Реминисценция из трактата французского религиозного философа Никола Мальбранша (1638—1715) «О разыскании истины» (1674—1675); в 3-й книге трактата говорится: «...своим присутствием Бог теснейшим образом связан с нашими душами, так что можно сказать, что он есть место духов, подобно тому как пространство в известном смысле есть место тел» (Антология мировой философии: В 4 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2. С. 444).

С. 592. *...недаром сильною, как смерть, тебя нарек.*— Цитата из библейской «Песни Песней Соломоновых»: «Крепка, как смерть, любовь» (8, 6).

#### АЛЬФОНС ДЕ ЛАМАРТИН

*Виноградник и дом* (1857).— На русском языке публикуется впервые.

С. 595. *...как Давид угрюмого Саула...*— В Библии (1 Книга Царств, 16, 23) рассказывается, что, когда царя Саула тревожил злой дух, Давид играл ему на гуслях и «отраднее и лучше становилось Саулу».

С. 600. *Другие канули во тьму...*— В последних двух строфах этой части поэмы Ламартин описывает одну за другой кончины членов своей семьи — старшего брата отца («почил глава семьи»), сестер, матери. «Один старик унылый», доживающий свой век,— отец Ламартина.

# Содержание

А. Карельский, Л. Соболев. Золотой век романтической поэмы 3

## «ЧУДНЫЙ МИР ТРЕВОГ И БИТВ»

У. Блейк. КНИГА ТЭЛЬ. Перевод С. Маршака . . . . .	22
С. Т. Кольридж. ПОЭМА О СТАРОМ МОРЯКЕ. Перевод Н. Гумилева . . . . .	27
У. Вордсворт. МАЙКЛ. Перевод А. Карельского * . . . . .	50
Ф. Гельдерлин. РЕЙН. Перевод Г. Ратгауза * . . . . .	63
В. Скотт. ПОЛЕ ВАТЕРЛОО. Перевод Ю. Левина . . . . .	70
Дж. Г. Байрон. ОСАДА КОРИНФА. Перевод Г. Шенгели . . . . .	87
Т. Мур. ПЕРИ И АНГЕЛ. Перевод В. Жуковского . . . . .	119
Дж. Китс. ГИПЕРИОН. Перевод Г. Кружкова . . . . .	138
А. де Ламартин. ЧЕЛОВЕК. Перевод А. Карельского * . . . . .	163
П. Б. Шелли. АДОНАИС. Перевод К. Бальмонта . . . . .	171
А. де Виньи. ТЮРЬМА. Перевод Ю. Корнеева . . . . .	191
К. Рылеев. НАЛИВАЙКО . . . . .	201
И. Козлов. ЧЕРНЕЦ . . . . .	213
А. Пушкин. ЦЫГАНЫ . . . . .	231
А. Мицкевич. КОНРАД ВАЛЛЕНРОД. Перевод Н. Асеева . . . . .	252
Е. Баратынский. ЦЫГАНКА . . . . .	309
Ю. Словацкий. ЛАМБРО, ГРЕЧЕСКИЙ ПОВСТАНЕЦ. Перевод Е. Полонской . . . . .	344
А. де Мюссе. РОЛЛА. Перевод Е. Баевской * . . . . .	388
Дж. Леопарди. ПАЛИНОДИЯ. Перевод А. Ахматовой . . . . .	411
А. Подолинский. СМЕРТЬ ПЕРИ . . . . .	419
А. Полежаев. КОРИОЛАН . . . . .	452
Е. Бернет (А. Жуковский). ВЕЧНЫЙ ЖИД . . . . .	474
М. Лермонтов. ДЕМОН . . . . .	509

## «В ЧАС ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКАТА...»

В. Жуковский. КАМОЭНС . . . . .	546
Дж. Леопарди. ДРОК, ИЛИ ЦВЕТOK ПУСТЫНИ. Перевод А. Наймана . . . . .	576
А. де Виньи. ХИЖИНА ПАСТУХА. Перевод Ю. Корнеева . . . . .	585
А. де Ламартин. ВИНОГРАДНИК И ДОМ. Перевод Е. Баевской * . . . . .	595
Примечания . . . . .	605

**«СВОБОДНОЙ МУЗЫ ПРИНОШЕНИЕ...»**

**ЕВРОПЕЙСКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭМА**

**Составители**

*Альберт Викторович Карельский,  
Лев Иосифович Соболев*

**Заведующая редакцией**

*Л. Сурова*

**Редактор**

*И. Колчина*

**Художественный редактор**

*А. Данилин*

**Технический редактор**

*И. Лукашова*

**Корректоры**

*Н. Кузнецова, Е. Коротаева, Н. Пачкова*

## **ИБ № 3650**

Сдано в набор 22.10.87. Подписано к печати 23.05.88.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 1. Гарнитура  
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт.  
65,10. Уч.-изд. л. 34,94. Тираж 75000 экз. Заказ 3258.  
Цена 3 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Москов-  
ский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопруд-  
ный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»: 103473,  
Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.









